

Юрий Левада
Ищем человека

НОВАЯ И С Т О Р И Я

Юрий Левада
Ищем человека

Социологические очерки, 2000–2005

Серия «Новая история» издается с 2003 года

Издатель Евгений Пермяков
Продюсер Андрей Курилкин
Дизайн Анатолий Гусев

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»

Редактор	Андрей Курилкин
Графики	Рубен Ванециан
Фотография на обложке	Анатолий Гусев

Л34 Левада Ю. А.
Ищем человека: Социологические очерки, 2000–2005
М.: Новое издательство, 2006. — 384 с. — (Новая история).

ISBN 5-98379-070-6

В книге крупнейшего российского социолога Юрия Левады собраны его работы последних лет, посвященные динамике общественного мнения по наиболее острым вопросам экономического, политического, социального и культурного развития страны, меняющимся и устойчивым характеристикам «человека советского», аналитическим возможностям и границам социологического подхода. Статьи основаны на материалах регулярных массовых опросов Левада-центра (в 1988–2003 годах — ВЦИОМ) и в совокупности представляют систематическую картину российского общества постсоветской эпохи.

7	От автора
I	ДИНАМИКА ОБЩЕСТВА — ДИНАМИКА МНЕНИЙ
11	Общественное мнение у горизонта столетий
25	Три «поколения перестройки»
33	Поколения XX века: возможности исследования
45	Заметки о «проблеме поколений»
51	Время перемен: предмет и позиция исследователя. <i>Ретроспективные размышления</i>
62	Исторические рамки «будущего» в общественном мнении
76	Свобода от выбора? <i>Постэлекторальные сопоставления</i>
91	Отложенный Армагеддон? <i>Год после 11 сентября в общественном мнении России и мира</i>
115	Уроки «атипичной» ситуации. <i>Попытка социологического анализа</i>
129	Восстание слабых. <i>О значении волны социального протеста 2005 года</i>
140	Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни. <i>Неюбилейные заметки</i>
149	Парадоксы и смыслы «рейтингов»: попытка понимания
163	Сегодняшний выбор: уровни и рамки
II	АТТРИБУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
177	Механизмы и функции общественного доверия
187	Люди и символы. <i>Символические структуры в общественном мнении</i>
202	Варианты адаптивного поведения
213	«Истина» и «правда» в общественном мнении. <i>Проблема интерпретации понятий</i>
224	Фактор надежды
III	КООРДИНАТЫ ЧЕЛОВЕКА
233	Человек в корруптивном пространстве
248	Координаты человека. <i>К итогам изучения «человека советского»</i>
263	«Человек советский»: реконструкция архетипа
271	Перспективы человека: предпосылки понимания

285	«Человек ностальгический»: реалии и проблемы
300	«Человек советский» в эпоху перемен
312	«Человек советский» как человек «особенный»
322	«Человек советский» и его рамки самоопределения
336	Функции и динамика общественных настроений
350	О «большинстве» и «меньшинстве»
364	«Человек обыкновенный» в двух состояниях
380	Библиографическая справка
381	Указатель имен
383	Summary

В этой книге собраны статьи, публиковавшиеся в журнале «Мониторинг общественного мнения» (с сентября 2003 года выходит под названием «Вестник общественного мнения») в 2000–2005 годах.

Статьи предыдущих лет составили аналогичную книгу, изданную ранее¹.

1

Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1994–2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000.

Все статьи основаны на регулярных исследованиях коллектива Левада-центра (до сентября 2003 года — ВЦИОМ), все представленные в них соображения многократно обсуждались на семинарах, конференциях, в ходе постоянного творческого общения с коллегами по Центру. И все-таки, конечно, за предложенные читателю анализ и выводы ответственность несет только автор.

Многие статьи, вошедшие в книгу, непосредственно связаны с исследовательской программой «Советский человек», над которой мы с коллегами работаем с 1989 года. В более широком плане практически все проводимые нами исследования общественного мнения означают постоянный напряженный коллективный поиск понимания действий и настроений «массового» человека в различных его измерениях. Это оправдывает смысл названия настоящей книги — «Ищем человека».

Должен высказать особую признательность Б. Дубину за большое участие в подготовке материала книги к изданию.

Смена века: событие или дата?

Горизонт, как известно, — понятие сугубо условное и субъективное. В каждый данный момент он определяется позицией наблюдателя, его положением над уровнем моря; видимое до этой границы зависит от наличных средств и опыта наблюдения. Это относится и к горизонту времени, особенно в том случае, когда перед нами, как сейчас, самый крупный из доступных простому глазу, вековой, рубеж. (Два-три поколения, которые вписываются в столетие, могут быть предметом живой памяти, тогда как одновременно отмечаемый рубеж миллениума — всего лишь предмет хронологических спекуляций.) Несомненно, реальна мера человеческого или социального действия, смены поколений, политических эпох или пиков популярности; каждый такой отрезок времени, измеряемый годами или месяцами, обладает собственными ритмом и структурой, у них «свой век». Век как столетие кажется совершенно искусственной, навязанной извне мерой, которая не имеет никакого отношения к реальным процессам. Но в любых реально происходящих социальных процессах принимают участие внимание, воображение и воля людей. Одна из их функций — задавать структуру времени, не только занятого конкретными делами и планами, но и «пустого». В «вековом» случае структурообразующими служат воображение, ожидание и пр. — не столько практического, сколько идеологического (социально-мифологического) порядка. В человеческом (социальном, массовом) восприятии именно мифологизированные события, именуемые «историческими» (победы, катастрофы, прорывы, интриги, разочарования, жертвы и др.), придают смысл потоку событий.

Смена века представляется сменой такой рамки — или даже самого типа рамки. Притом по-разному заметной. Грань XVIII–XIX веков определили, а отчасти и смазали, революционные перевороты во Франции (и менее заметный — в Северной Америке), наполеоновские войны и сама фигура парвеню-завоевателя. Переход от XIX века к XX в Европе ожидался в атмосфере напряженности и некоторой фантастичности: за порогом «века прогресса», каким он (XIX) казался, видели одновременно и катастрофу традиционных ценностей (нравственности, красоты, религии, социального порядка), и осуществление утопий, социальных и технических. Вот как описывал Р. Музиль эту «иллюзию, нашедшую свое воплощение в магической дате смены столетий»: «Из масляно-гладкого духа двух последних десятилетий XIX века во всей Европе вспыхнула вдруг какая-то окрыляющая лихорадка. <...> Любили сверхчеловека и любили недочеловека. <...> Мечтали о старых аллеях замков, осенних садах, стеклянных прудах, но и о прериях, широких горизонтах, кузницах и прокатных станах, голых борцах, восстаниях трудящихся рабов, первобытной половой любви и разрушении общества. <...> Это были, конечно, противоречия и весьма разные боевые кличи, но у них было общее дыхание <...>»¹.

На деле же начало того века обозначили куда более прозаично и страшно даты Первой мировой войны (в России — с «опережающим опозданием» — 1905 год).

Конец XX, на людской памяти, самого катастрофического столетия, обозначат, должно быть, позже: то ли падением коммунистической системы, то ли объединением Европы. Но смена веков не кажется катастрофой — может быть, потому, что все катастрофы уже произошли? (на момент написания этой статьи до 11 сентября оставалось еще несколько месяцев) — скорее, она воспринимается как карнавально-фестивальное событие.

Впервые к определению смены веков допущено общественное мнение. Но прежде всего не как «эксперт», а как участник, действующее начало процесса.

В экспертном же качестве, т.е. в роли «понимающей стороны», интерпретатора, ценителя событий векового масштаба, общественное мнение весьма ограничено в своих возможностях. Оно неизбежно оказывается близоруким, поскольку, как правило, принимает «злобу» последних лет или месяцев за событие века, пристрастно оперирует заданным набором стереотипов, так как находится под влиянием текущих настроений, и т.д. Но именно эти характеристики общественного мнения представляют важный предмет исследовательского интереса.

XX век — первый массовый

Очевидно, что уже по масштабам массового участия в социально значимых акциях и процессах уходящее столетие несравнимо ни с одним из предшествующих. Тотальные войны, многомиллионные армии, всеобщие мобилизации, жертвы войн и геноцида, технические и социально-организационные средства массового уничтожения, массовое стандартизованное производство, ориентированное на массовое потребление, всеобщая грамотность («бумажная», потом и «электронная»), всеохватывающая аудитория СМИ, всеобщие выборы и референдумы, всеобщая вакцинация, массовая культура и т.д. Дело не просто в количественных параметрах таких процессов. Более существенно то, что в каждом из них люди оказываются предельно обезличенной, как бы гомогенизированной массой пассивных участников, зрителей и жертв (эти позиции нередко сочетаются). Социальная иерархия, профессиональные и другие рамки не устраняются, соответствующие разделения даже становятся глубже, но они могут действовать только через массовые процессы, как необходимое дополнение к ним. А также как условие воздействия (влияния и манипулирования) на такие процессы.

Накануне и в начале XX века широкое распространение имели настроения панического испуга перед «восстанием масс» (Х. Ортега-и-Гассет), пришествием «грядущего Хама» (Д. Мережковский), а с другой стороны — надежды на «трудящиеся массы», на тех, которым «нечего терять, кроме своих цепей». В социально-психологической литературе массы иногда уподобляют толпе, описанной в XIX веке Г. Ле Боном или Г. Тардом². Сейчас можно сказать, что ни эти опасения, ни эти надежды не оправдались. В исключительных, предельных ситуациях массы могут выступать как толпа, управляемая как будто лишь собственными групповыми эмоциями (где-ни-

будь в Уганде, на палестино-израильской границе). Однако практически все массовые процессы, характерные для XX века, оказались управляемыми — и через социальные организации, и через специфические средства массового воздействия (массовой пропаганды и рекламы, осуществляемых с помощью массмедиа). При ближайшем рассмотрении действия современных «толп» оказываются в зависимости от идеологических и психологических установок систем массового воздействия.

Специфическая особенность управления массовыми процессами — в том, что их объектом служит не отдельный человек, а статистическая совокупность. Нельзя повлиять на политическое или потребительское поведение отдельного человека (как нельзя и предсказать его), но можно с достаточно большой эффективностью воздействовать на поведение многих тысяч и миллионов людей (равно как изучать и предсказывать его с помощью выборочных опросов).

Средоточием управления массовыми процессами выступили государства, их промышленные, военные, политические и другие организации. В XX веке во всем мире происходило не «отмирание», а всестороннее укрепление государственных организаций с их специфическими институтами, бюрократией и т.д. Причем консолидация наций в государства и выяснение отношений (границ и сфер влияния) определили содержание всех основных политических процессов столетия — войн, соглашений, деколонизации, формирования надгосударственных и межгосударственных институтов и пр. Иллюзорными оказались представления о «борьбе классов» как главной движущей силе истории, а также лозунги наподобие «уничтожения эксплуататорских классов и классов вообще». Классы как социально-профессиональные группы не исчезли, но отношения между ними развивались в национально-государственных рамках и преимущественно в относительно мирных формах.

Если XVII век считался «веком разума», XVIII — веком Просвещения, а XIX — веком Прогресса, то XX был по преимуществу «веком наций» (причем этот последний символ явно лишен позитивно-ценностной окраски). Две мировых войны и все процессы национального самоутверждения на периферии Европы и в постколониальном мире проходили под этим знаком. В XIX веке катаклизмы кровавых войн, переворотов, восстаний, колониальных экспедиций и пр. могли «списываться» (задним числом) как условия или теневые стороны всепобеждающего «прогресса». В веке XX таких универсальных оправданий не существовало. Эксцессы социальных утопий (которые были сочинены под знаменами того же прогресса в XIX веке, но реализовывались в XX) могут иметь свои объяснения, но не оправдания.

В XX веке потерпели крушение все грандиозные социальные конструкции, предполагавшие, как казалось их разработчикам, некий план рациональной, оптимальной, справедливой организации, который должен быть навязан обществу. Это относится не только к двум экстремальным (по способам осуществления) проектам — коммунистическому и фашистскому, но и к целому ряду промежуточных или переходных форм, характерных для «третьего мира» развития. Соответственно исчерпала себя и утратила смысл характерная для утопических идеологий мифологизация социальных процессов и конфликтов. Остаются конфликты крупных или мелких сил, интересов, амбиций и пр., но попытка представить их в мифологическом обличье («мировое добро» против «мирового зла» или что-нибудь в этом роде) бесперспективна.

Играя парадоксами, О. Уайльд утверждал более ста лет назад, что существуют только две трагедии: первая, когда человеческие желания не исполняются, а вторая, когда они исполняются, и только вторая трагедия — настоящая. XX век показал, каким кошмаром оказывается осуществление «снов золотых», навеянных человечеству столетием ранее.

В данном случае важно отметить наличие массовой «компоненты» во всех процессах, событиях, катаклизмах уходящего столетия.

Догмой государственной жизни XX века во всех странах (за малым исключением) стало то всеобщее, равное, прямое избирательное право, которого долго опасались как либеральные политики, так и радикальные революционеры, называвшие себя «пролетарскими»: и те и другие считали, что голос темных, неискушенных в политике и поддающихся давлению масс исказит расклад общественных сил и помешает осуществлению рациональных программ. Сейчас это право повсеместно служит основой выборов, плебисцитов, референдумов — как демократических, так и управляемых. Всеобщие голосования перестали быть опасными с тех пор, как ими научились манипулировать. В отечественной истории первые всеобщие и альтернативные выборы (в Учредительное собрание 1917 года) оказались опасными для власти, следующие, уже безальтернативные (в Верховный Совет СССР в 1937 году), стали средством ее демонстративной массовой поддержки.

Всеобщие альтернативные выборы, особенно если они происходят на дуалистической основе, придают государственно-политическое значение соотношению большинства и меньшинства. А точнее, тем нескольким процентам колеблющихся избирателей, от которых зависит баланс голосов или мнений. Коллизии вокруг этой «решающей середины» разворачивались в последнее время — в разных условиях — на выборах в Югославии и США. Это показывает, что сам механизм массового выбора далеко не безупречен.

Диктаторские режимы в XX веке — это режимы насилия над массами с помощью организованных масс (массовых партий, движений, систем массовой поддержки). А сами диктаторы выступают как лидеры, вознесенные и возлюбленные массами, одновременно помышляющие ими и нуждающиеся в их поддержке. Подобных функций лидеры XIX века (наполеоны и наполеончики) не знали.

Массовый век существенно изменил способы деятельности политических и других социальных элит. Появилась публичная элита (массокоммуникативная).

В XIX веке определились роли парламентских и правительственных лидеров, в XX — массовых политических кумиров, представленных через СМИ, особенно через телевидение (теледебаты, интервью, а также «нечаянное» попадание в кадр как важнейшее средство утверждения политического деятеля массового типа. Отсюда и страх перед «экранной» критикой, столь явно присутствующий в российской политической жизни с 2000 года).

Характерный для XX века образец организации масс был задан прежде всего новым типом войн — двумя мировыми войнами и их дополнениями (к числу последних относятся, несомненно, гражданские войны в России и Китае). Это тип «тотальной» войны, охватывающей своим воздействием в принципе все население и все сферы жизни общества: всеобщая военная мобилизация дополнялась экономической, по-

литической и идеологической, выражаемой, в частности, в мобилизации общественного мнения.

Другой узел массовых процессов, характерных для уходящего века, — массовое производство с его обновляющимися технологиями. Созданная им (в развитых странах) возможность реально решать проблемы нищеты и голода не путем «дележа», а путем умножения социальных благ нанесла решающий удар эгалитаристским устремлениям и смогла превратить социалистические иллюзии в реальность социальных программ и гарантий.

В XX веке впервые в производственную и — шире — «внедомашнюю» деятельность включилось большинство женщин, что изменило функцию семьи, брака, воспитания детей.

Необходимое дополнение и одновременно предпосылка массового производства — система массового потребления, ставшая реальностью в этом столетии. Она означает не только возможность всеобщего удовлетворения определенного уровня запросов в отношении питания, одежды, жилища, транспорта и пр., но и возможность потребительского выбора.

И наконец, итоговый, наиболее очевидный и быстро развивающийся феномен массового века — системы массовой информации, увенчанные Интернетом, позволяющие связать воедино всю планету и оказывать сильнейшее воздействие на поведение человека.

Вероятно, оправданно считать XX век самым противоречивым; все новые его феномены неоднозначны по своему воздействию. Век, сформировавший предпосылки для всеобщего благополучия, в то же время создал средства всеобщего уничтожения, притом не только технические, но социальные. Все вместе взятые гуманитарные идеи и начинания уступают по силе воздействия тому заряду взаимного отчуждения, страха и ненависти, который был накоплен конфликтами этого столетия.

Таблица 1. «Какое определение кажется Вам наиболее подходящим для общей характеристики XX века?»

(Август 1999 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, здесь и далее ответы ранжированы по частоте упоминаний)

век войн	32
век разрушения окружающей среды	25
век природных катаклизмов, катастроф	20
век научных открытий и прогресса	22
век жестокости и террора	19
век космических исследований	18
век создания оружия массового уничтожения	15
век разъединения народов и стран	14
век массовой информации	13
век фашизма и национализма	9
век крушения идей социализма	9
век больших возможностей для большинства людей	5
век объединения людей	4
век демократических преобразований	4
век создания основы для материального благополучия людей	3
век создания мировой системы социализма	2

Давление «середины»

Выделим лишь два наиболее характерных узла коллизий, порожденных появлением масс и массовых процессов на авансцене общественной жизни. Один из них связан с давлением «средних» массовых кри-

териев на различные формы политической, социальной, культурной и другой деятельности, которое создает угрозу подмены «серьезной» политики примитивным популизмом, «высокого» искусства — массовым и т.д. Второй — с конфликтами так называемой (и называемой неудачно) «запаздывающей» модернизации. Обе угрозы достаточно серьезны.

Конечно, массовая аудитория политики или культуры неизбежно питает «свой», доступный ей (и потому воздействующий на нее) уровень политических акций или обещаний, поп-культуры, поп-литературы и т.п. Сам по себе этот уровень ниже, примитивнее по сравнению с аналогичными формами, адресованными элитарным или сословным группам специфически (т.е. в данной области) грамотных людей. В массовом веке неизбежно появляются фигуры, которые действуют на примитивно-массовом уровне, связывают с ним свой успех, карьеру. Вопрос в том, насколько самодостаточными являются «массовые» формы, насколько они могут влиять на «высшие», профессиональные уровни (а отнюдь не на искусственно конструированный «средний балл»). В «нормальных» условиях массовые формы деятельности занимают свои ниши, но никак не воздействуют на высшие, профессиональные уровни³.

Для пояснения возьмем сопоставление «высокой» и популярной науки. Понятно, что школьная, газетная, телевизионная грамотность приводят к небывалому распространению именно упрощенных, вульгаризованных представлений о различных научных феноменах. Воображаемый «средний балл» научных знаний оказывается существенно ниже, чем в те времена, когда монополией на знание обладали специалисты высокого класса, но такое сравнение не имеет никакого смысла. «Высокая», профессиональная наука не страдает от популярной, потому что имеет свою институциональную базу, кадры, традиции, технологические связи и т.д. Распространить подобную модель на культуру и политику нельзя. Массовая культура, как и массовая политика, — это не упрощенный вариант соответствующих «больших» феноменов. Массовая литература — не школьный пересказ Л. Толстого, а особый социокультурный институт со своей аудиторией, своими творцами, своей системой критериев и т.д. Аналогичным образом массовая политика в XX веке — не популярно-пропагандистское изложение правительственных решений и дипломатических уверток, а особая система социальных ролей, установок, способов участия, рассчитанных на формирование и использование определенных массовых интересов, оценок, страстей. Все это просто не существовало столетием ранее.

Социальные, национальные, национально-религиозные, индипендентские, синдикалистские, сектантские, мессианистские, феминистские, экологические и другие движения со своими лидерами, доктринами, фанатичными и скептическими последователями — специфический феномен массового века. Одна из новых ролей в этом круговороте — массовый политик, ориентированный не на сложившуюся институциональную систему, а на внимание массовой аудитории (активных и «зрительских» участников соответствующего действия). Другая роль — это собственно роль массового участника, зрителя, слушателя. Дополняют систему разнообразные посредники, медиаторы, интерпретаторы, в том числе масскоммуникативные.

3

См.: Дубин Б. Группы, институты и массы // Мониторинг общественного мнения. 1998. № 4.

Таблица 2. «Какие из перемен в образе жизни людей кажутся Вам наиболее важными?»

(Август 1999 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

распространение бесплатного здравоохранения	42
распространение бесплатного образования	41
развитие средств массовой информации	28
техническая оснащенность быта, бытовая техника	27
достижение в большинстве стран всеобщей грамотности	27
всеобщая вакцинация населения, победа над эпидемиями	24
распространение систем социального обеспечения для престарелых и инвалидов	20
достижение равноправия женщин	20
сокращение рабочей недели, оплачиваемые отпуска	20
свобода перемещений по всему миру	18
массовое производство одежды, обуви, товаров народного потребления	14
самостоятельность молодежи, развитие молодежной культуры	13
увеличение продолжительности жизни	11
ускорение темпов жизни	10
формирование «среднего класса»	10
переселение населения из сельской местности в города	8
сокращение рождаемости	7
распространение противозачаточных средств, планирование семьи	7
распространение наднациональной массовой культуры	6
широкое распространение межнациональных браков	5
смягчение наказаний, сокращение использования смертной казни	5
признание прав сексуальных меньшинств	5
распространение разводов	3

Системы массовой коммуникации создают собственную аудиторию и возможности манипулирования ею. Но в разных общественных условиях эта аудитория имеет свои особенности. Различны также возможности и само содержание тех приемов, которые принято именовать манипулированием. Ведь любое воздействие на массовое сознание и поведение (если оставить в стороне пугающие фантазии на психотропные темы) происходит только через собственные структуры такого сознания, т.е. через установки, ориентации, механизмы социальной мобилизации и пр.

Химеры модернизации

Более или менее всеобщим девизом века может быть «модернизация», поскольку этот девиз означает лишь общее направление, но не общую программу, не «проект», не современный вариант всеоправдывающего прогресса. Основным содержанием событий XX века явились скорее катаклизмы и коллизии, связанные с противоречиями модернизационных процессов, «запаздывающей» модернизацией, особенностями модернизационных процессов, развивающихся на разных социокультурных уровнях.

Главные конструктивные элементы, «клетки» модернизационных процессов — технических, экономических, социальных, коммуникативных, ценностных и т.д. — видимо, аналогичны в любых условиях, но их сочетания могут сильно разниться, как и количество самих «клеток», используемых в отдельном наборе. Самые прогрессивные технологии могут использоваться, скажем, для укрепления деспотизма традиционного или «революционного» типа, масскоммуникативные системы воздействия — для агрессивного изоляционизма, современное оружие — для архаических обществ. Подобным образом совершенные социальные программы могут оказаться тормозом экономической активности, а глобализация вступать в непримиримые противоречия

с интересами локальных производителей. Все это, разумеется, не случайные сочетания разнородных элементов, а неизбежный результат взаимодействия социальных субъектов, каждый из которых стремится взять из всего набора «клеток» нечто полезное для себя и блокировать то, что считается вредным или опасным. Подобный отбор происходит и на международных уровнях, и внутри отдельных стран, обществ, между различными группами или слоями.

Отсюда и такая «безумная» (а в реальности обладающая своей логикой) картина всемирной интеграции на одном уровне — и противостоящих ей процессов локального, этнического, национально-государственного, группового и даже индивидуального самоутверждения.

Советский опыт массовой мобилизации

Советская система выработала устойчивые образцы массовой организации, массовой мобилизации, массового пропагандистского воздействия в интересах жестко диктаторского режима. В этом плане советское общество послужило своего рода экспериментальной лабораторией, результаты деятельности которой получили широкое распространение — от нацистского рейха до «третьемирских» «освободительных» диктатур, не говоря уже о структурно близких режимах «соцлагеря». Отметим некоторые черты этого образца.

Массовые организации (от партийной до, скажем, писательской) как средство управления массами.

Система массового информационного давления через монопольные СМИ (газеты, радио, кино плюс литература, музыка, театр «направленного» действия).

Регулярные пароксизмы массовой ненависти и принудительного массового энтузиазма. Поддержание мобилизационной ситуации требовало постоянного напряжения «борьбы» против внутренних и внешних врагов. Как «всемирной», так и с главными (назначенными таковыми) противниками режима. В каждой области, в каждой сфере деятельности, в каждой научной дисциплине назначались «свои» уклонисты, извратители и т.д., разоблачение, осуждение, изгнание которых служило средством проверки кадров на «преданность» линии руководства.

Создание культа «образцовых героев» в разных сферах при полнейшем пренебрежении к реальным людям (в польском варианте эта черта представлена в «Человеке из мрамора» А. Вайды).

Непременный образ абсолютно непогрешимого руководящего центра («великого вождя», «мудрой партии», «всепобеждающего учения»).

Никакого массового участия в управлении государством не существовало. Была отработанная и принятая обществом маска массовости, народности, позволявшая правящей верхушке говорить от имени «интересов народа». И, что особо важно, массы, воспитанные в обстановке абсолютной безальтернативности, с готовностью принимали эту мифологию и были готовы демонстрировать преданность вождю и партии, когда от них это требовали: во время ритуальных выборов, торжественных демонстраций и всенародного проклинания «врагов народа» или «поджигателей войны».

Неточно было бы характеризовать режим советского типа как популистский. Демонстративное обращение к «народу», постоянные

ссылки на действия «от имени народа», регулярное натравливание полуграмотных низов на «премудрых и заумных» («антинародное» творчество и т.п.) не являются популизмом, во всяком случае, в его западном, латиноамериканском и других вариантах. Популистские политики зависят от массовых настроений, от массовой поддержки, гонятся за ней, опасаются ее потерять. Советское руководство никогда от массовых настроений не зависело, а механизм всеобщего голосования решилось использовать лишь тогда, когда было уверено во всеобщем единогласии (или безгласии).

Советская система, стабилизировавшись после гражданской войны, не испытывала никакого страха перед массовым недовольством. Искусственно создаваемая атмосфера страха перед «врагами» нужна была как средство насаждения массового доносительства и страха окатиться жертвой карательных «органов».

В этом режиме не было «диктатуры большинства» над меньшинством (которая провозглашалась декларациями революционного периода), поскольку не допускалось существования какого бы то ни было меньшинства. Была ничем не ограниченная власть правящей иерархии над «всеми» — распыленными и беспомощными единицами.

Советское общество — одна из химер модернизации XX века. Оно испытало все рычаги массового принуждения, не пройдя периода, который У. Ростоу назвал «массовым потреблением».

Правда, зона направленного влияния советской системы на массовое сознание (поддержание соответствующих стереотипов страха, ненависти и пр.) ограничивалась преимущественно активной, организованной частью городского населения. Далее начиналась зона простого принуждения (налоги, хлебосдача), подкрепленная карательными мерами.

Век общественного мнения

Только в XX веке общественное мнение было признано и как фактор общественной жизни, и как предмет специального изучения. Об общественном мнении философы и публицисты говорили с XVIII века, имея при этом в виду мнение света, образованной публики, политизированной элиты. В XX веке действует массовое, «всеобщее» общественное мнение в современном его понимании, явленное в массовом поведении (голосованиях, потреблении), массовых вкусах и массовых опросах, дополненных другими видами исследований.

XX век — век всеобщих выборов, плебисцитов, референдумов, массовой рекламы, «хитов» эстрады и политики. К общественному мнению апеллируют дизайнеры и парламентарии, поп-музыканты и авторитарные правители. Апеллируют по-разному, но дело не только в этом: при ближайшем рассмотрении предметом их обращения являются существенно разные феномены.

Два типа общественного мнения в XX веке

В профессиональных исследованиях последних десятилетий, со времен Дж. Гэллага и других прославленных пионеров изучения общественного мнения, предметом служат различные позиции в условиях офи-

циально признанного плюрализма предпочтений различных общественных групп. Только в таких условиях разнообразные мнения могут быть организованы, имеют своих выразителей, открыто конкурируют друг с другом и т.д. В закрытых обществах типа советского и немецкого 30-х годов, нынешнего иракского или северокорейского подобных условий нет (по другим причинам там обычно отсутствует и массовый потребительский выбор). Из этого нередко делают вывод о том, что в таких обществах просто «нет никакого общественного мнения». Такой вывод, как представляется сейчас, слишком упрощает ситуацию и саму динамику общественного мнения.

Повод для уточнения определений — видимые трансформации общественной атмосферы в разных странах. В Веймарской Германии 20-х годов несомненно существовали признанный плюрализм и конкуренция мнений, в 30-х годах они сменились агрессивным единодушием, в конце 40-х ситуация плюрализма (и изучения) общественного мнения была восстановлена. Позже прошли аналогичную трансформацию Польша, Чехия и другие страны; отход от монолитной модели общественного мнения наблюдается в Югославии. Трансформации общественного мнения в нашем обществе сложнее — от зачаточного плюрализма к «монолиту» советского периода, затем к формированию политического плюрализма. В последнее время наблюдаются признаки его вырождения и тенденции (пока еще только тенденции) возвращения к монолитной модели — как известно, фантастические версии трансформации общества в этом направлении описаны в ряде антиутопий, в том числе в «1984» Дж. Оруэлла. Разумеется, большой интерес представляют варианты формирования общественного мнения в странах, до недавнего времени относимых к третьему миру.

Это заставляет пристальнее рассмотреть особенности двух принципиальных моделей современного общественного мнения и условий их взаимных трансформаций.

«Классическая», т.е. служащая стандартным предметом исследования, — это, как уже отмечено, модель открытого, конкурентного общественного мнения, в котором соперничают различные позиции.

Основная (бросающаяся в глаза?) особенность структуры такой модели — наличие возможностей публичного выражения (прежде всего через СМИ) и тем самым организации плюрализма мнений. Различие позиций не формируется само собой в «толще» общественного мнения, а предьявляется лидерами мнений, партиями, движениями и т.д. через масскоммуникативные и другие (межличностные, межгрупповые) каналы. Общественное мнение плюралистично, если (и поскольку) ему предлагаются варианты действий, программ, лидеров, стилей руководства, которые становятся для него необходимыми.

По характеру действия открытая, конкурентная модель общественного мнения близка к модели массового потребительского выбора. Для этого необходимы соответствующие условия: достаточно широкое предложение товаров или услуг, возможность сравнить потребительские качества с ценой предлагаемых благ и пр. (в отличие от избирателя потребитель может непосредственно знакомиться с качеством предлагаемых благ и сам за них платить; избирателям приходится строить свой выбор на доверии к лидерам, посредникам, партиям, а проблема выигрыша и цены может решаться только в перспективе, и то косвенным образом).

Конкурентное общественное мнение неизбежно должно быть в определенной мере толерантным по отношению к точкам зрения оппонентов.

Монолитное, закрытое общественное мнение имеет существенно иную структуру. В нем имеется место только для одной, заведомо истинной позиции, носителем которой выступает единственно возможная «осевая» система лидера — партии — идеологии. Любое отклонение от позиции, представленной массам в качестве единственно правильной, расценивается как враждебное. Поэтому проводящиеся выборы на деле заменяются плебисцитом, т.е. выражением доверия к одной, уже утвердившейся позиции.

Условиями монолитного единомыслия, как правило, являются политическая мобилизованность общества, психологически агрессивная общественная атмосфера, крайняя нетерпимость к инакомыслию и расколу в собственных рядах, к любым «чужим», в том числе иностранцам, инородцам. Психологическая агрессивность может сопрягаться и с ситуацией изоляционизма, «осажденной крепости»; свежие примеры — положение С. Хусейна и, до недавнего времени, С. Милошевича. Отечественный опыт не нуждается в напоминании.

Опросы общественного мнения, по крайней мере на политические темы, в закрытых обществах бессмысленны и вредны, поскольку они могут обнаружить опасные очаги или хотя бы случаи «неправильных» мнений. Но о ситуации в таких средах можно судить по иным показателям — тем же массовым (плебисцитарным) голосованиям, массовым выражениям демонстративной поддержки лидеру или ненависти к враждебным силам, отсутствию протестов, характеру политических преследований.

Нельзя объяснить подобные ситуации просто массовым принуждением или обстановкой всеобщего устрашения. И наш собственный, и чужой опыт свидетельствуют о значительной роли добровольного массового участия в поддержании атмосферы всеобщего единодушия — единогласия — единомыслия. Стремление «быть как все», более того, готовность упиваться собственным «растворением» в массе — распространенная разновидность социального мазохизма, которая предельно упрощает жизнь, избавляет человека от мук совести, от индивидуальной ответственности, сложности нравственного выбора, превращает его в потенциального добровольно-безответственного соучастника массовых акций, в том числе и массовых преступлений режима. В подобном пароксизме восторженного самоуничтожения не столь важно, на кого переносится ответственность — непосредственно на «всех» («действуй как все»), на непогрешимого харизматического лидера («фюрер думает за тебя») или на некую идеологическую, религиозную структуру. Такого рода «растворенная» сопричастность создает сильнодействующую иллюзию безопасности, как внутренней (от сомнений), так и внешней (от враждебных сил). Более того, малейшая попытка противостоять всеобщему единодушию, сохраняя какую-то собственную позицию, вызывает спонтанное возмущение и яростный — не только по приказу — коллективный отпор: ведь сама возможность отдельного мнения подрывает всю систему коллективной безответственности.

Поэтому столь часто зачаточный, искусственно созданный плюрализм с такой легкостью уступает новому единомыслию. Особенно в условиях социально-политической мобилизации и воинственной напряженности.

Российский «мобилизационный» эксперимент 1999–2000 годов дает поучительный материал для понимания подобной трансформации. Впервые за последнее десятилетие на политической сцене сложилась ситуация фактической безальтернативности, отсутствия соперников у претендента на главную должность в государстве. Впервые была искусственно создана ситуация мобилизационной напряженности как главное условие политической сплоченности и безальтернативного выбора. Впервые избирательная ситуация оказалась предельно технологизированной, цинично свободной от идеологических нагрузок. И наконец, впервые столь крупную роль в поддержке ранее малоизвестного деятеля, не имевшего за спиной ни структурных, ни традиционных опор, сыграла непосредственная апелляция к общественному мнению. Однако в социальной реальности никакой эксперимент не может слишком долго оставаться чистым. По мере того как первоначальные политические эффекты уступают место вынужденным компромиссам, маневрам, самооправданиям, мобилизационная напряженность спадает, изменяется если не масштаб, то значение массовой поддержки избранного лидера. При этом сохраняется ситуация безальтернативности политического поля, дезориентации всего демонстративного политического спектра. Тенденция нового «монолитизма» существует, но, для того чтобы она стала реальностью, требуются существенные изменения в политических и социальных структурах. Существует и возможность формирования реального — хотя бы дуалистического — плюрализма позиций и мнений. Чтобы стало ясно, какая из этих тенденций возобладает, потребуется время: скорее всего, не месяцы, а годы.

Таблица 3. «Говорят, что люди XX века во многом отличаются от тех, кто жил в XIX веке и раньше. А как Вы думаете, правда ли, что наши современники более...»

(1999 год, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

раздражительные	45
образованные	42
умные	31
безнравственные	28
нетерпимые	24
несчастные	21
терпимые	15
невежественные	13
добрые	11
глупые	8
нравственные	7
счастливые	6
спокойные	4

«Массовый разум» и «массовый человек»

В судьбах и трагедиях XX века общественное мнение занимает значительное место — не просто как зеркало, но как организатор, как фактор сплочения человеческих множеств, формирования иллюзий, увлечений, кумиров, оправдания (реже — осуждения) массовых преступлений. Можно полагать, что в понимании событий этого века свое место когда-нибудь займет и *критика массового разума* («критика» в том смысле, который ей придавался в классический период, — как анализ возможностей, пределов, условий существования).

Специфический персонаж, главный герой XX века — *массовый* человек, джинн, выпущенный из бутылки в XX столетии, — оказался не героем, не великаном, не борцом, а «средним» человеком, который значительно повлиял на все процессы и перемены, от производства до войн, от системы ценностей и социальной мифологии до спорта и досуга. Именно этот персонаж является характерным предметом изучения в репрезентативных опросах общественного мнения.

Он — массовый производитель и массовый потребитель все большего количества и разнообразия благ.

Он умеет работать и понимает необходимость работы, но больше ценит досуг, семью, малые бытовые радости жизни.

Он — не герой и — в обычных условиях — не поклонник героев. Он гордится тем, что он обычный, простой человек.

Он не верит в пользу утопий и переворотов, но надеется на постепенное улучшение собственной жизни и жизни своих детей.

Он пошловат, приземлен, узко практичен в своих интересах; его прототип в годы «героических» страданий клеймили как обывателя, мещанина и пр.

Именно он (а не воинственные контрасты или поэтизированные «белые стаи») является главным и эффективным противником бунтов и революций XX века.

Он технически грамотен, освоил бытовую технику, автомобиль, в ближайшие годы стопроцентно освоит компьютер с Интернетом. Он верит в научно-технический и медицинский прогресс, но не ждет от него чудес, меняющих представления о жизни и счастье.

Он практический космополит, способный жить, учиться, работать, отдыхать в любой точке земного шара; что, впрочем, не мешает ему испытывать определенную привязанность к отечеству.

Обычно он не любит деспотов и деспотизма, но в экстраординарных ситуациях может создавать их и становиться их жертвой.

В известном смысле он задает тон, служит образцом для подражания со стороны других. Но не составляет большинства в мире, вызывает ненависть обделенных (или считающих себя таковыми, в том числе и обделенных чувством собственной значимости).

Нет нужды обращаться к глобальной географии, чтобы рассмотреть реальную пестроту маргинальных человеческих типов, пытающихся бросить вызов массовому человеку. Весь этот набор можно встретить в нынешнем, глубоко маргинальном российском обществе.

Рамки массовых ожиданий

Распространенные представления о наступающем столетии, как и следовало ожидать, оказываются довольно примитивными. В них обычно используется один из двух приемов. Либо допускается, что «там», за воображаемой гранью веков, — примерно то же самое, что и здесь (продолжение известного), либо предполагается, что «там» все иначе (отрицание известных порядков, реализация «запредельных» надежд, всеобъемлющая катастрофа или что-то в этом роде). Сейчас явно преобладают ожидания первого, «актуалистического» типа. Ждут дальнейших улучшений там, где они наметились, верят в технику и медицину (между прочим, довольно оптимистически смотрят на

генную инженерию, вопреки преобладающему тону СМИ), но не в утопии и перевороты.

Таблица 4. «Как Вы считаете, жизнь в XXI веке будет более напряженной или более спокойной, чем в наши дни?»

(Август 2000 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

более напряженной	53
более спокойной	17
такой же, как сейчас	13
в чем-то более спокойной, в чем-то более напряженной	7
затрудняюсь ответить	10

Таблица 5. «Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее остро будут стоять в XXI веке?»

(Август 2000 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	В мире	В России
загрязнение окружающей среды	55	37
распространение СПИДА и других смертоносных эпидемий	36	34
распространение наркомании	23	33
исчерпание природных ресурсов	25	22
международный терроризм	17	16
природные катастрофы и климатические катаклизмы	22	11
падение уровня рождаемости	15	29
нищета и голод в отдельных странах	14	15
глобальный экономический кризис	8	11
локальные вооруженные конфликты	8	14
угроза новых мировых войн	16	8
опасные изменения в генетике человека	10	4
перенаселение	6	1
угроза войны с космическими пришельцами	1	1

Стоит обратить внимание на явное разделение преимущественно «наших» и преимущественно «общих» (точнее, «чужих») проблем. Наркомания, падение рождаемости, экономический кризис, локальные конфликты — то, что беспокоит прежде всего нас; причины не требуют пояснения («глобальный экономический кризис» для нас — это август 1998-го). Загрязнение среды, природные катастрофы, мировые войны, опасность генетических изменений, перенаселение — это, скорее, «их» проблемы. Общими (одинаково важными) остаются СПИД, терроризм, нищета и голод. Довлеет дневи злоба его...

Таблица 6. «Как Вы думаете, возможно ли в XXI веке...»

(Август 2000 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Обязательно произойдет	Вполне возможно	Мало- вероятно	Совершенно невероятно	Затрудняюсь ответить
объединение всех государств Земли					
в единый союз	2	21	36	30	11
установление единого языка	1	16	37	36	10
существенное					
увеличение продолжительности жизни	2	32	39	18	10
распространение генной инженерии	7	49	18	7	19
полная автоматизация производства	8	48	27	7	9
появление колоний землян					
на Луне и планетах	3	21	32	31	14

Десять лет перемен и потрясений, начавшихся в русле перестройки, по-разному затронули жизнь *трех поколений* бывшего советского общества — 60-, 40- и 20-летних. Оценки этих событий в общественном мнении в большинстве случаев остаются неоднозначными, причем наиболее очевидные «водоразделы» позиций проходят по горизонталям социального времени, т.е. между поколениями. Анализ таких различий представляется полезным для понимания природы и глубины произошедших социальных сдвигов.

Материалом для настоящей статьи служат данные трех близких по времени однотипных (мониторинговых) опросов, проведенных в ноябре 1994 года, январе и марте 1995 года по всероссийской выборке. В соответствии с целями работы используется более дробная, чем обычно, шкала возрастов респондентов — с пятилетними интервалами.

«Возрасты перелома»

Начнем с самых общих оценок. Традиционный мониторинговый вопрос об отношении к суждению «было бы лучше, если бы все оставалось... как до 1985 года» раскалывает массив респондентов примерно в пропорции 1:2 — до 40 и старше 40 лет. С 40-летнего возраста устойчиво и все более сильно преобладает согласие с тем, что «лучше — до 1985 года».

Вопрос о том, принесло ли *время перестройки* больше хорошего или плохого, выявляет иной расклад мнений по возрасту (рис. 1). Во всех возрастных группах преобладают негативные оценки, разница лишь в соотношении: до 25 лет они встречаются примерно в полтора раза чаще, чем позитивные, а в старших по возрасту группах — в два, три, четыре и более раз чаще. Самую суровую характеристику время перестройки получает у лиц в возрасте 65–75 лет (отрицательные мнения

Рисунок 1. «Перестройка принесла...»

(Ноябрь 1994 года, N=2957 человек, % от числа опрошенных)

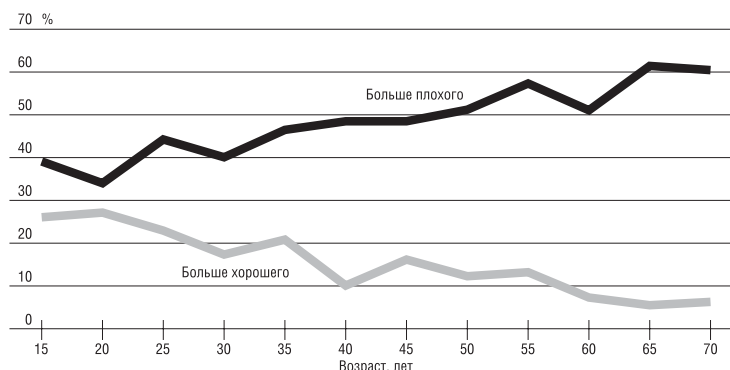
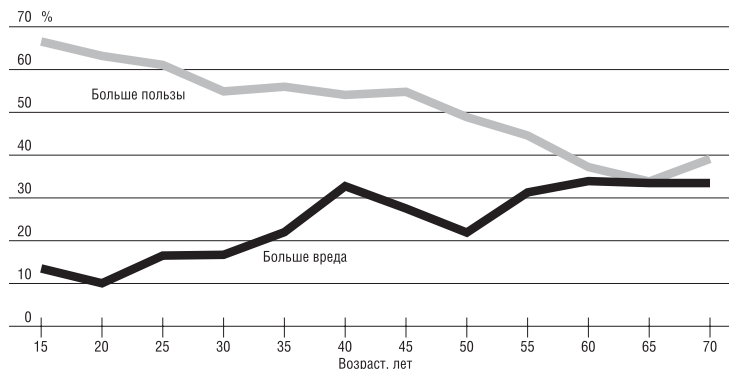


Рисунок 2. «Свобода слова, печати принесла...»

(Ноябрь 1994 года, N=2957 человек, % от числа опрошенных)



встречаются в 10–12 раз чаще). Можно полагать, что в данном случае фактором резкого роста негативных мнений служит само присутствие в тексте вопроса отрицательно окрашенного в общественном мнении термина «перестройка». Это, кстати, дает лишний повод для размышлений о значении провоцирующих терминов. Для аналитической работы, скорее, пригодны ответы на более конкретные вопросы.

Так, например, вопрос об оценке *свободы слова и печати* обнаруживает перелом мнений с 60 лет (рис. 2). До этого возраста заметно преобладают представления о том, что свободы принесли больше пользы, чем вреда; начиная с 60-летних оценки сближаются (правда, преобладание негативных мнений и в старших возрастах невелико).

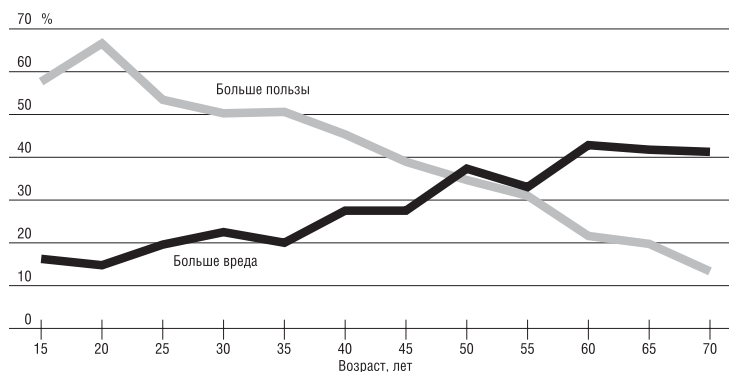
У респондентов старше 60 лет изменяется и соотношение мнений о *свободе выезда из страны* — начинают преобладать отрицательные суждения.

Свобода предпринимательства представляется, скорее, полезной до 50 лет, в более старших группах ее чаще оценивают как вредную (рис. 3).

Многopатийные выборы чаще оценивают положительно только в возрастном интервале 25–40 лет, а младшие и старшие, скорее, считают, что они принесли больше вреда. Можно предположить, что здесь действуют разные мотивы отрицательных оценок: для более моло-

Рисунок 3. «Свобода предпринимательства принесла...»

(Ноябрь 1994 года, N=2957 человек, % от числа опрошенных)



дых — недовольство неэффективностью работы и консервативным составом депутатского корпуса, для более старших — несогласие с политическим плюрализмом.

Экономические (рыночные) реформы считают необходимым продолжать только те, кто моложе 40 лет. (В 1994 году перелом отношений проходил по рубежу 50 лет.) И опять-таки, начиная с 40 лет преобладают мнения о преимуществах планово-распределительной системы хозяйства над рыночной.

Роль *Горбачева* в мировой истории скорее позитивно оценивают лишь те, кто моложе 25 лет; в старших возрастах преобладают отрицательные оценки. Роль *Сталина* получает преимущественно положительные оценки у 60- и 70-летних.

Впрочем, не все ключевые перемены столь явно выступают функцией возраста. Так, *сближение со странами Запада* все без исключения возрастные группы считают скорее полезным, чем вредным. Соответственно суждение о том, что «Россия должна как можно скорее включаться в мировую экономику, науку, культуру», не встречает сколько-нибудь серьезного противодействия ни в каком возрасте. Здесь перед нами некие универсалии — или, скажем, общие места — современного общественного мнения. А поскольку общие места не требуют доказательств и не подлежат обсуждению, они преспокойно уживаются с декларациями прямо противоположной направленности. Скажем, мнение о том, что «Запад стремится превратить Россию в колонию», вызывает не слишком сильное возражение большинства (43:41) только в возрастной группе 25–30 лет, в других группах значительно (3:1, 4:1) преобладает согласие.

Память и забвение

Известно, что социальная память организована избирательно, люди запоминают или забывают определенные события в соответствии со своими впечатлениями и интересами. Анализ имеющихся данных показывает, что живая (опирающаяся на личный опыт) память о деятелях перестройки локализована преимущественно в довольно узком поколенческом слое. Наибольшая доля содержательных ответов (т.е. минимум затруднившихся ответить) относительно роли Е. Гайдара в годы перестройки приходится на возрастную группу 60–64 года (84%), М. Горбачева — 50–54 года (92%), Б. Ельцина — 50–54 года (96%), Г. Попова — 60–69 лет (51%), А. Сахарова — 55–59 лет (84%), А. Яковлева — 55–59 лет (51%), Ю. Афанасьева — 60–64 года (28%). (У последнего, правда, видимо в связи с его деятельностью в молодежной среде, имеются еще два совершенно аналогичных по высоте «пика» известности — среди лиц 25–29 лет и 45–49 лет.) Причем в каждом из этих случаев «пиковая» группа довольно отчетливо отделена от окружающих. Так, роль Горбачева затрудняются оценить 22% в 45–49 лет, 8% в 50–54 года, 13% в 55–59 лет; для Ельцина соответствующий ряд — 26, 4 и 12%, для Сахарова — 44, 16 и 32%.

Таким образом, *политических* лидеров перестройки больше всего запомнили те, кому сейчас немного за 50, *интеллектуальных* лидеров — люди на 5–10 лет постарше. Для более молодых память об этих временах уже вторична, опосредована позднейшим опытом и средствами

массовой информации. (Знак оценки деятелей в данном случае не рассматривается.) «Ось» живой памяти перестройки проходит примерно на рубеже 50–60 лет.

Сопоставим с этим некоторые другие линии социальной памяти. Октябрь 1917-го — событие весьма значимое для всех поколений, но более половины отмечают его важность только среди молодежи до 20 лет («школьная» память), в 35–45 лет и во всех группах старше 60 лет. Победу 1945 года чаще всего (более 80%) вспоминают после 65 лет, т.е. в собственно ветеранском поколении, сталинский террор — в 65–69 лет, коллективизацию — те, кто старше 70, XX съезд КПСС — в 70–74 года (кстати, в те же годы относительно чаще вспоминают и путч 1991 года). Чернобыль значительно интенсивнее вспоминают респонденты до 40 лет. События октября 1993 года более всего привлекают внимание двух групп: 20–29 и 50–59 лет.

Явное ограничение социальной памяти рамками личного опыта различных поколений — характерная черта нынешнего состояния общественного сознания, почти лишенного идеологических, хрестоматийных (школьных), традиционных или каких-либо иных общезначимых символов и стереотипов восприятия собственного прошлого.

Два «разочарованных» поколения

Все возрасты согласны с тем, что за последние годы в стране «произошли большие изменения». Здесь даже трудно нащупать отличия между старшими и младшими. Но вот мнения разочарованных («недавно казалось, что жизнь изменилась, но теперь я вижу, что все идет по-старому») сконцентрированы в двух группах, которые в этом отношении выделяются на общем фоне достаточно четко.

Это, во-первых, 60-летние (60–69 лет). Здесь разочарованных 21–23% (при средней по населению доле 16% и 7–18% — в соседних по возрасту группах). И, во-вторых, «ранние» 40-летние (40–44 года). Здесь доля разочарованных тоже 23% (при «соседних» 11–13%).

По сути дела, эти группы представляют два ключевых поколения нынешнего общества, каждое из которых имеет свою судьбу и функцию в жизни. И разочарованы в переменах они, видимо, тоже по-разному. 60-летние, как видно, в частности, из приведенных данных, отягощены социальной памятью больше, чем какое-либо иное поколение. Более того, при отсутствии общепризнанных нормативных рамок исторического восприятия именно данная группа, в личном опыте которой соединяются времена террора и «стройки века», годы войны и повороты XX съезда, перестройка и путч, реформы и «Афган», оказывается средством связи времен и поколений. В известном смысле — это *осевое поколение* сегодняшнего общества, правда неоднородное и неоднозначное. Именно к этому поколению принадлежат «шестидесятники», люди протеста и надежд 60-х годов, те, кто с наибольшей готовностью поддерживал иллюзии перестройки и потому больше других был потрясен их провалом. Но в то же время (и в подавляющем большинстве, разумеется) — это последнее поколение «сталинской» закалки со своим, державным пониманием войны, победы и всего последующего. Поэтому «переломы» на рубеже 60-летия, о которых говорилось ранее, содержат две компоненты — разочарование в иллюзиях и «просто» сопротивление вполне определенного прошлого.

Это поколение — самое «политизированное» в нынешнем обществе. Людей, которые «в большой степени» интересуются политикой, чаще всего можно встретить среди возрастных групп от 55 до 75 лет. Мнение о том, что положение в России могут спасти «политики», чаще других разделяют в 65–74 года. (Конечно, здесь налицо не практическое участие в политической жизни, а лишь политизированная идеология.) «Среднюю» степень интереса обнаруживают с наибольшей очевидностью в 40–54 года. «В малой степени» интересуются политикой преимущественно до 40 лет.

Примечательно, что разочарование в общественных переменных для 60-летних (в отличие от 40-летних) мало связано с переживанием собственных неудач. Из тех, кто считает, что в стране все оказалось «по-старому», только 37% в этом возрасте аналогичным образом оценивают перемены в личной жизни. Кстати, вопреки столь распространённым «экономическим» объяснениям, никак не удастся напрямую связать скепсис пожилых с их экономическим положением. По опросным данным, именно на возраст 60–74 года приходится максимум (71–80%) лиц со средним душевым доходом.

Иначе обстоят дела с поколением 40-летних. Прежде всего стоит отметить, что у этой группы доля разочарованных переменами в стране почти точно соответствует доле разочаровавшихся изменениями в личной жизни (по 23%). Видимо, здесь надежды на перемены в обществе были тесно связаны с личными планами: из полагающих, что в стране все остаётся по-старому, примерно 70% ту же оценку ситуации относят к собственным делам.

40 лет, согласно многочисленным данным, оказываются временем самого трудного жизненного перелома. Для возраста 40–44 года оценка собственного положения формулой «терпеть... уже невозможно» достигает максимума (59% на март 1995 года). На 35–39 лет приходится наибольшая доля (31%) лиц с низким душевым доходом. Если 58% респондентов в 35–39 лет утверждают, что жизнь их «по большей части» или «совершенно» не устраивает, то сразу же после 40 лет доля таких ответов поднимается до 76%.

Наконец, обратимся к возрастной разбивке ответов о том, как люди «устраивают свою жизнь в переходное время» (ноябрь 1994 года). Наибольшая частота ответов типа «не могу приспособиться», а также «ничего не изменилось» приходится на старшие возрасты (после 65 лет). «Пик» успеха («удастся использовать новые возможности, начать серьёзное дело, добиться большего в жизни») — это 20–30 лет; высота «пика», правда, всего 12–13% от численности группы. А у 40-летних — максимум варианта «приходится вертеться, подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь». Так отвечают более 40% в этой группе (при средней по населению доле 30%).

Между тем ведь 40-летние, как правило, имеют почти взрослых детей, устойчивый (точнее даже, «потолочный») профессиональный и социальный статус и т.д. Судя по приведенным выше данным, на них действуют материальные трудности, психологически «накопленные» ранее, в возрасте «молодых родителей». Происходит, видимо, второй кризис идентификации, связанный с взрослением семейных отношений и отсутствием социально-карьерной перспективы.

Все это относится к циклическим переменным определённого возраста. Нециклическая, поколенческая компонента кризисного мироощущения современных 40-летних связана, по всей видимости, с их аномальным

положением в ряду трансформаций, происходящих в обществе. Можно представить себе, что при нормальном (только воображаемом, конечно) ходе вещей именно 40-летние должны были стать первым практическим «поколением перестройки», которое без оглядки назад, без идеологических иллюзий двигалось бы по новым путям. Этого не произошло. Знамена (а вместе с ними иллюзии и самообманы) перестройки оказались в руках представителей предыдущего поколения, которое не могло реализовать свой потенциал ранее и которое не умело смотреть вперед, не оглядываясь назад, по крайней мере, не делая вид, что оно заботится о «возвращении к истокам» — к «подлинному духу» революции, ленинизма, социалистического гуманизма и т.д. Отсюда, в частности, аполитичность средних и младших поколений на всем протяжении десятилетия, а потому и отсутствие реальной массовой опоры у всех попыток реформ.

Амбиции 40-летних оказались слишком узкими, слишком практичными, а потому и были обречены на неудачу. Поколение не получило ведущих позиций ни в политике, ни в экономике, не вкусило плодов рыночной реформы, но зато получило все тяготы хаоса пореформенного периода.

До общего кризиса доверия к власти, примерно до весны 1994 года, поколение 40-летних еще поддерживало линию реформ, с середины же этого года поддержка сменилась заявленным недоверием. Это означало конец «реформистского» большинства в обществе. (Не следует, однако, смешивать заявленные или декларируемые оценки с практическими установками: де-факто это поколение смиряется с реформами и ищет способа адаптироваться к ним.)

Если поколению 40-летних суждено было остаться промежуточным, обреченным на трудности и разочарования, лишенным общественного успеха и возможности политического участия, то поколением «новой жизни» может оказаться лишь следующее, условно говоря, «двадцатилетнее» (на деле это молодые люди примерно 20–30 лет). Они оптимистичнее всех смотрят на жизнь (лишь порядка 20% считают, что «терпеть невозможно»), они умеют зарабатывать (наибольшая доля лиц с высоким доходом — 30% — приходилась в марте 1995 года на возраст 20–24 года), им лучше всех удастся «использовать новые возможности». Они более всех готовы начать собственное дело и открыты миру, мировым связям и опыту. Кстати, они выше всех оценивают перестройку, а самые молодые (до 20 лет) признают в общем положительную роль Горбачева в перестройке. И только эти самые молодые в большинстве чувствуют себя свободными людьми.

Имеем ли мы здесь дело только с возрастным явлением (иллюзии, увлечения молодости) или с феноменом поколенческим, с новым типом интересов и действий? При всей неизбежной осторожности суждений нельзя не видеть, что новейшее поколение вынуждено использовать условия и возможности, которых ранее просто не существовало. Простого «цикла» возрастных увлечений-разочарований уже поэтому не может быть.

Имена и символы: связка «Горбачев — Сахаров»

В суждениях о людях перестройки, отложившихся в массовом сознании, нет более странного и более значимого сочетания двух имен. Все

ипостаси Горбачева в его запутанных отношениях со своим ближайшим партийным окружением, которые занимали внимание общества пять лет назад («Горбачев — Лигачев» и т.д.), прочно забыты и оставлены кропотливым архивистам. Сравнительные оценки роли Ельцина или Гайдара настолько подчинены злобе последующих лет, что утратили всякую связь с событиями собственно перестроечных времен.

Фактологическая канва оценок имен Горбачева и Сахарова достаточно проста.

Во всех выделенных возрастных группах, за исключением, как отмечалось выше, самой молодой (до 20 лет), роль Горбачева в годы начатой им перестройки получает преимущественно негативные характеристики (рис. 4). Причем самые жесткие — от 60-летних.

Напротив, роль Сахарова в эти годы оценивается в высшей степени положительно всеми без исключения возрастами. Наибольшая степень негативных оценок (11%) наблюдается в группе 65–69 лет, в группе 40-летних доля критиков поднимается до 6% (рис. 5). Можно отметить два пика наиболее позитивных оценок («значительная положительная роль») — в группах до 45 лет и 55–59 лет: очевидно, в первом случае это молодежная романтическая легенда и какая-то память политического участия — во втором. (Выше уже отмечалось особое место политической памяти именно в группе «поздних» 50-летних.)

Рисунок 4. Роль М. Горбачева в годы перестройки

(Март 1995 года, N=1980 человек, % от числа опрошенных)

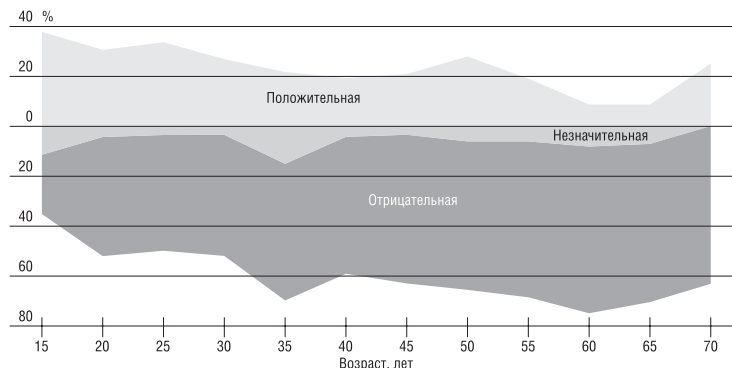
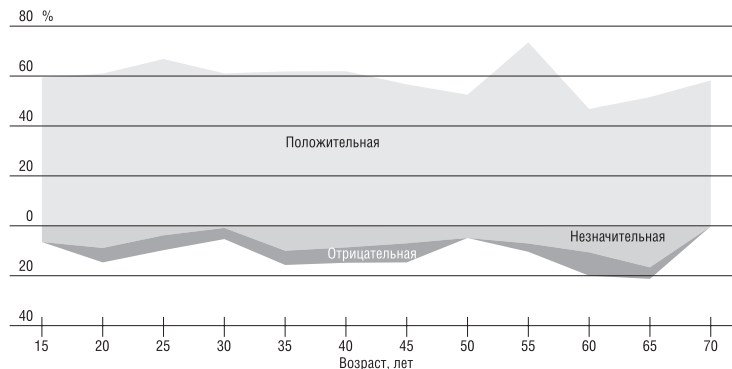


Рисунок 5. Роль А. Сахарова в годы перестройки

(Март 1995 года, N=1980 человек, % от числа опрошенных)



В целом эти ряды довольно близки оценкам, полученным несколько ранее в ходе другого опроса (ноябрь 1994 года), когда речь шла о роли различных известных деятелей в мировой истории. Правда, в таком контексте роль Горбачева негативно оценивают преимущественно в группах старше 30 лет.

Сложнее и содержательнее качественная сторона — смысл оценок. Оба ряда оценок (как Горбачева, так и Сахарова), во-первых, сформированы, так сказать, задним числом, а не в годы «перестроечной», как говорили еще недавно, деятельности. Во-вторых, обе эти оценки фактически совершенно некорректны: и в отношении роли Горбачева, и в отношении роли Сахарова. Сахаров настойчиво — хотя, в общем, безуспешно — стремился придать акциям тех лет цивилизованный и разумный характер, но никогда не был лидером или двигателем перемен. В-третьих, универсальная распространенность и устойчивость однотипных оценок говорит об их неспецифичности: они никак не связаны с особенностями позиций, намерений, действий определенных направлений или групп в обществе. Недостаточно, однако, было бы сослаться на упоминавшиеся выше «общие места» массового сознания. Дело в том, что оба ряда оценок, вместе взятые, образуют, как кажется, некий цельный феномен, исполняющий определенную *мифологическую* функцию в обществе. (О мифе правомерно говорить, поскольку речь идет об определенном образом структурированных и функционально нагруженных рамках движения массового сознания.)

«Горбачевская» легенда в современном общественном сознании исполняет функции мифа о «козле отпущения», на которого свалены все мыслимые общие грехи и напасти. «Сахаровская» легенда — это апелляция к мифологии «ангела-хранителя», который возлагает на себя миссию спасения заблудших душ. Сегодня обе легенды, дополняя друг друга, характеризуют ситуацию очередного общественного тупика. В том числе и межпоколенческого.

Возможности социологического исследования «поколенческого» среза исторического периода, например XX столетия, могут, по-видимому, разрабатываться в двух планах: во-первых, через изучение особенностей различных возрастных групп, во-вторых, через анализ «структуры» поколений и ее значения.

В отечественных условиях имеющиеся в нашем распоряжении данные опросов общественного мнения позволяют непосредственно представить распределение позиций возрастных групп на протяжении примерно одного десятилетия, с конца 80-х годов. Представительство различных возрастных групп в наличном населении, а значит, и в любой выборочной совокупности, неравнозначно: на поколенческую («историческую») структуру населения наложена современная («возрастная»), разделить их можно лишь гипотетически. Кроме того, установки и оценки нынешних пожилых людей, которые могут рассматриваться как представители поколений, доминировавших в определенный период, претерпели несомненные изменения, возможно, в разных направлениях.

Поэтому непосредственные данные изучения возрастных срезов общественного мнения заведомо ограничены и могут быть поняты лишь через призму соответствующих аналитических допущений. (В данном случае возможности использования других эмпирических источников — мемуаров, личных и литературных документов и др. — для изучения динамики поколений не рассматриваются.) Аналогичные соображения можно отнести и к способам анализа различных аспектов «структуры» (динамической структуры) поколений — роли значимых общественных и элитарных групп, символических ресурсов и пр.

«Плавный» переход от одного поколения к другому можно представить только в традиционном обществе, где он совершается в рамках семьи. Социально-политическая история, тем более современная, посттрадиционная, насыщенная поворотами, потрясениями, массовыми надеждами, разочарованиями и комплексами, являет феномены «ключевых» поколений, задающих «тон» (ориентации, символы) на относительно долгий период, «разрывов» между поколениями (в установках и оценках), конфликтов между поколениями «отцов и детей» и т.п. Сама проблема поколений в различных измерениях возникает только в условиях поколенческих разрывов и кризисов.

Социальное значение поколения не может измеряться опытом или настроениями «большинства», «массы», репрезентируемой в опросах общественного мнения. Ретроспективный пример: если представить, что в первой половине XIX века в России существовали бы массовые опросы, в них не были бы заметны ни «поколение 1812 года», ни «лицейское поколение». Ведь в обоих случаях речь идет об элитарных группах, небольших по численности, но сыгравших огромную роль в культурной и политической истории страны. Собственно говоря, в социологическом анализе исторического процесса мы всегда имеем дело

не с «демографическим» поколением (совокупностью людей одного возраста), а с определенными значимыми «поколенческими» группами или структурами (последнее понятие охватывает также механизмы и нормы взаимодействия между людьми)¹.

Как можно полагать, в рамках определенного «крупного» периода (длиной, скажем, в столетие, т.е. в три «зримых» человеческих поколения, — более крупные масштабы социально неощутимы) выделяются поколения, формирующие определенные значимые образцы или рамки поведения, мысли, соответствующий набор символов и прочее — *значимые поколения*. При этом в одних и тех же рамках возможны, разумеется, разные направления действия. Поколенческие образцы формируются *значимыми группами*, которые могут быть массовыми (в ситуации массовых войн) или элитарными.

Разнозначность поколенческих групп — один из инструментов «пульсации» исторического процесса.

1

Несколько лет назад я попытался представить позиции различных поколений российского общества в процессах перемен (см. статью «Три поколения перестройки» в настоящей книге). Некоторые положения этой статьи сейчас кажутся неоправданно упрощенными, в частности характеристики элитарного поведения отнесены к целым поколениям.

Поколенческий ряд XX века

Для социологического анализа сменяющих друг друга поколений важными представляются прежде всего временные рамки формирования (социализации) определенных возрастных групп, которые приходятся на особо значимые, переломные периоды. В российском XX веке таких периодов — и соответственно «значимых» поколений — можно насчитать *шесть*:

1) «Революционный перелом», условно 1905–1930 годы, включающий события войн, революций, Серебряного века российской культуры и периода его преодоления. В эти бурные годы сформировались все идейные и политические направления, все идеологемы и фантазии, противостоявшие друг другу на общественной сцене; в то же время сама эта сцена — территория кровавого фанатизма, подогретого мировым конфликтом, — принципиально отличалась от общественной обстановки XIX века со всеми его катаклизмами. Активные участники (и жертвы) переломного периода — люди, родившиеся примерно в 90-х годах XIX века. В выборочной совокупности современных массовых исследований они не представлены.

2) «Сталинская» мобилизационная система 1930–1941 годов, формирование монолитного тоталитарного общества. Условия формирования — раскрестьянивание, урбанизация, массовый террор, массовое образование, принудительное единообразие и единомыслие и т.д. В этот период политически или физически ликвидированы все стороны противоборств предыдущей, переломной эпохи. Основные действующие лица периода родились около 1910 года. В нынешнем взрослом населении России эта группа составляет около 4%.

3) Военный и непосредственно следующий за ним послевоенный период 1941–1953 годов доводит тенденции предшествующей эпохи до крайних, экстремальных форм, поскольку встал вопрос о выживании тоталитарного режима в противостоянии с внешним аналогом, а также в вынужденном сотрудничестве с демократическими союзниками. В послевоенные годы это противостояние продолжено созданием

идейно-политических основ холодной войны («материальная» сторона соперничества, т.е. гонка новейших вооружений, приобрела значение позже, в следующую эпоху). Политические «чистки» приобрели характер военно-полицейских кампаний (высылки целых народов и т.п.), жертвами истребительной «идеологической борьбы» стали уже не «классовые враги», а «свои», безропотно принявшие режим и воспитанные им, но заподозренные в каких-то чуждых влияниях. Существенную роль в развитии политической ситуации в стране играла скрытая борьба за наследие стареющего диктатора. Активные участники событий эпохи — люди 1920–1928 годов рождения, сейчас это около 7% взрослого населения.

4) «Оттепель» 1953–1964 годов. (Такое словоупотребление утвердилось в последнее время. В более строгом смысле «оттепельными» считались первые годы сдержанной либерализации режима — с 1953 года до начала 1956-го, когда скрытая конкуренция между партийными лидерами понуждала их выступать в качестве реформаторов. После XX съезда КПСС шумные обличения «культа» Сталина постоянно сопровождалась попытками «подморозить» общественную атмосферу, чтобы не допустить дискредитации партии и режима.) Формируется первое в советской истории поколение (точнее, значимая поколенческая группа), свободное от массового страха и надеющееся на гуманизацию социализма. Характер и потолок устремлений этой группы вполне укладываются в позднейшую пражскую формулу «социализма с человеческим лицом». По преимуществу это люди, не захваченные войной, т.е. родившиеся в конце 20-х — начале 40-х (условно в 1929–1943 годах). Сейчас они составляют 21% взрослого населения.

5) Самый длительный период отечественного XX века — «застой» 1964–1985 годов, долго казавшаяся удачной попытка стабилизировать партийно-советский режим при отказе от массовых репрессий и реформ. Впервые в советской истории формируются ориентации массового потребительства, массовой и «верхушечной» коррупции. Поколенческая группа «несбывшихся надежд» начала 60-х превращается в группу «протеста» второй половины десятилетия — создается «поколение „шестидесятников“». Если надежды периода оттепели возлагались преимущественно на реформистские возможности партийного руководства (Н. Хрущева), то протестные ориентации находили выражение и в самостоятельных действиях разных типов и направлений — либеральных и диссидентских, демократических и почвеннических, национальных, религиозных и т.д. «Собственное» поколение застоя — родившиеся с середины 40-х до конца 60-х (1944–1968). Численно это самая крупная группа в современной России — 39% ее взрослого населения.

6) В годы перестройки и «реформ» (1985–1999 годы) в активную жизнь вошло новое поколение, не знавшее переломов и исканий, — родившиеся в конце 60-х (примерно с 1969 года). Это сейчас 28% взрослого населения страны.

Предложенная схема заведомо ограничена и условна. Временные рамки поколенческих групп можно определять иначе, например, принимая во внимание «переломные» группы (о них несколько позже). Используемые в данной статье определения поколенческих групп предполагают взгляд на общество как бы «сверху», со стороны элит, формирующих значения событий и периодов. Понятно, что смена поколенческих типов в наиболее массовых, «низовых» группах городских

и сельских жителей детерминируется другими факторами и имеет иную хронологию, лишь отчасти совпадающую с элитарной (например, в точке «войны»). Эпохи «массовой» жизни определяются такими феноменами, как война, голод, коллективизация, паспортная система, переселение в города, введение и отмена распределения товаров по карточкам, массовое жилищное строительство, автомобилизация, развитие потребления в бездефицитных условиях, дефолт 1998 года и т.п.

Показатели положения и позиций «поколенческих» групп

Обратимся к данным опросов последнего времени, позволяющим судить об установках и ценностях ряда поколений.

Повторю, что на рисунке 1 представлены возрастные группы *современного* населения, их соотношение с определенными поколениями истории XX века носит условный характер. Для наглядности соотнесены графики изменения разных величин — годы, рубли, балльные оценки статусов.

Как видно на рисунке 1, самые молодые имеют относительно более высокие заработки (сказывается способность активно приспосабливаться) и более высокий, по собственным оценкам, социальный статус (видимо, статусные ожидания).

Рисунок 1. Положение поколенческих групп

(Июль 2001 года, N = 2400 человек)

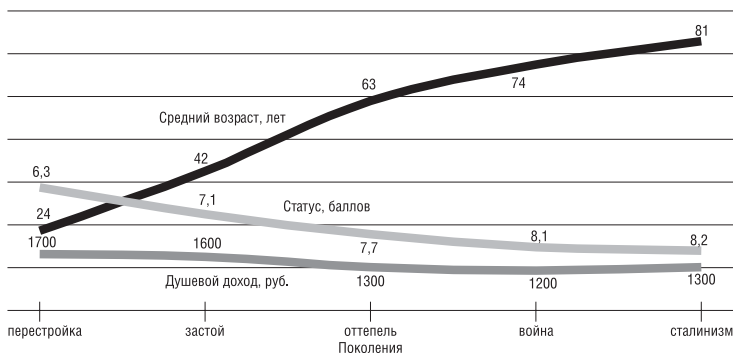
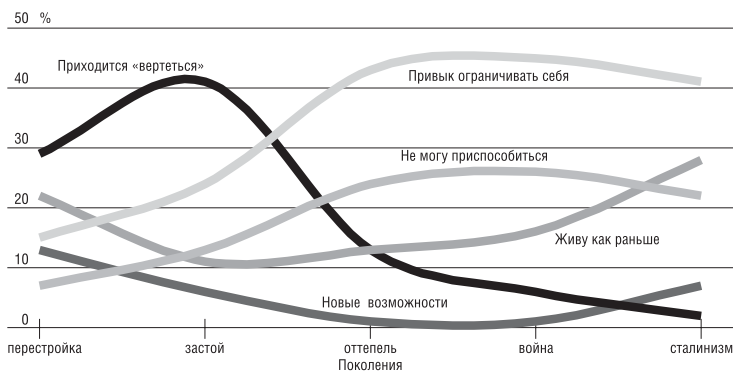


Рисунок 2. Как люди устраивают свою жизнь

(Июль 2001 года, N = 2400 человек, % от числа опрошенных)



Сколько-нибудь активное отношение к жизни свойственно только двум наиболее молодым поколениям (охватывающим, правда, почти все работающее население), причем «повышающая» активность («новые возможности») почти полностью сосредоточена в одной, «перестроечной» поколенческой группе. Чаще всего приходится «вертеться», подрабатывать и т. д. (понижающая адаптация) «детям застоя», сформировавшимся в годы стабилизационной стагнации. Для «детей оттепели» и более старших поколенческих групп наиболее характерные позиции — «привык ограничивать себя» (около половины опрошенных) и «не могу приспособиться» (около четверти). Представляет интерес возрастная динамика позиции «живу как раньше»: здесь максимальные (и довольно близкие — 22% и 27%) значения наблюдаются в самых молодых и самых старших группах. У первых все только начинается, нет базы для сравнений. Среди самых старших более четверти не видят изменений в своем положении — это пенсионеры, домохозяйки, среднеобеспеченные.

Социальные установки «поколенческих» групп

Обратимся теперь к ценностям, которых придерживаются люди, принадлежащие к различным «поколенческим» группам.

Бросается в глаза параллельность изменений двух показателей социальных установок: распространенности представлений о том, что «лучше было бы, чтобы все в стране оставалось как до 1985 года» и что в годы правления Сталина было «больше хорошего, чем плохого». Притом что сами эти показатели для всех поколений, кроме самого старшего, существенно различны. В обеих кривых можно отметить два перелома: в период «оттепели» и в период войны. Представление о том, что «коммунистическая партия дискредитировала себя», разделяет примерно половина самых молодых, для военного поколения эта величина уменьшается до одной трети, но в собственно «сталинском» поколении вновь возрастает почти до половины (последнее, видимо, связано с непосредственным восприятием репрессий старшей группой и пр.). Установка на продолжение экономических (рыночных) реформ, преобладающая у двух младших поколений, вдвое реже встречается во всех

Рисунок 3. Социальные установки поколений

(1999, N = 2000 человек, % от числа опрошенных)

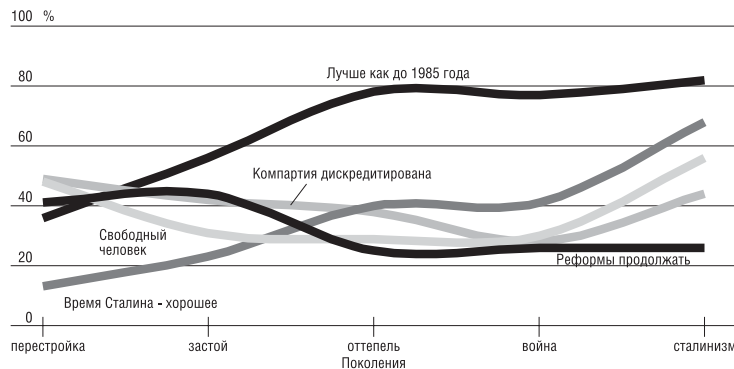
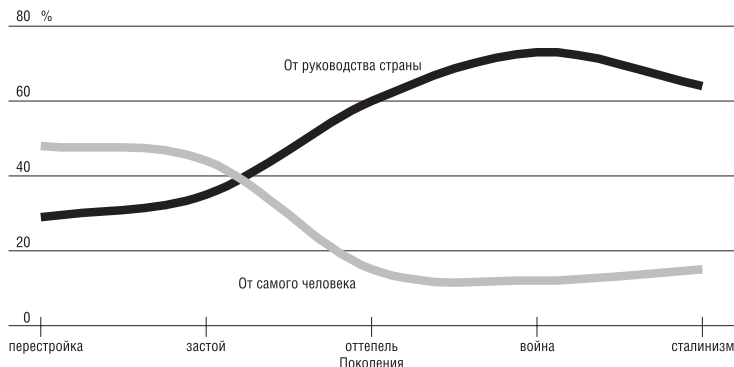


Рисунок 4. «От чего зависит благосостояние человека?»

(2000, N = 2400 человек, % от числа опрошенных)



других группах, начиная с «оттепельной». Наконец, позитивный ответ на вопрос «Считаете ли вы себя свободным человеком?» чаще всего дают самые молодые и самые пожилые; в первом случае это связано с большими возможностями, во втором, скорее всего, с ограниченными запросами.

На рисунке 4 представлено как будто примитивное, но довольно показательное выражение принципиальных социальных установок, дифференцирующих возрастные группы. Доминирующая в активных поколениях демонстративная установка на собственные силы («благосостояние зависит от самого человека») — важная черта, отделяющая эти группы от старших поколений, примета своего рода «разгосударствления» человека.

Как видно на рисунке 5, значимость таких категорий, как долг (по меньшей мере декларативно), заметна больше у «старых» групп по сравнению с «молодыми». Напротив, ориентация на потребительские («рады жизни») и достижительные (доход, стремление жить лучше других) ценности гораздо сильнее выражена у молодых поколений. В то же время у молодых меньше всего интереса к политической активности...

Вот как люди в различных «поколенческих» группах оценивают периоды отечественной истории XX века.

Рисунок 5. Ценностные ориентации поколений. «Считаете ли очень важным...»

(1999, N = 2400 человек, % от числа опрошенных)

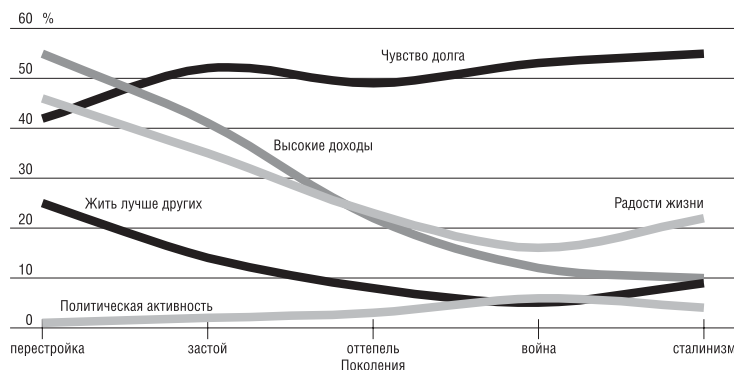
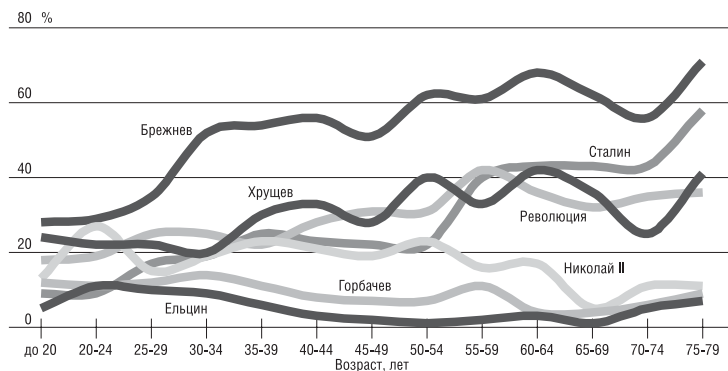


Рисунок 6. Оценки периодов истории от Николая II до Ельцина

(«Время... принесло больше хорошего»)

(1999, N = 2000 человек, % от числа опрошенных)



Еще раз стоит отметить, что самые молодые группы населения минимально интересуются не только политикой, но и историей страны. Однако и у них — как и у всех — буквально кумиром, носителем наибольших «наград» общественного мнения остается застойная, брежневская эпоха. А поскольку нынешние младшие поколения практически не знают этой эпохи, то перед нами весьма любопытный феномен формирования и массового действия легенды об историческом периоде (заставляющий думать о том, что каждая эпоха имеет «свою» легенду о золотом веке — ту, которую она заслуживает). Конечно, массовые представления об эпохе сталинизма тоже опираются на легенду, на своего рода социально-политическую мифологию (собственное восприятие этого периода сохранилось у немногих), но это легенда иного рода, окрашенная и даже сформированная партийно-политическими симпатиями и антипатиями людей.

Как видно на рисунке 6, весьма низко оцениваются всеми без исключения поколенческими группами времена перемен. На первый взгляд кажутся несколько странными более высокие оценки «демократических» вариантов в старших поколенческих группах. Ключ к объяснению, по-видимому, можно найти при более детальном рассмотрении возрастной динамики партийно-политических симпатий.

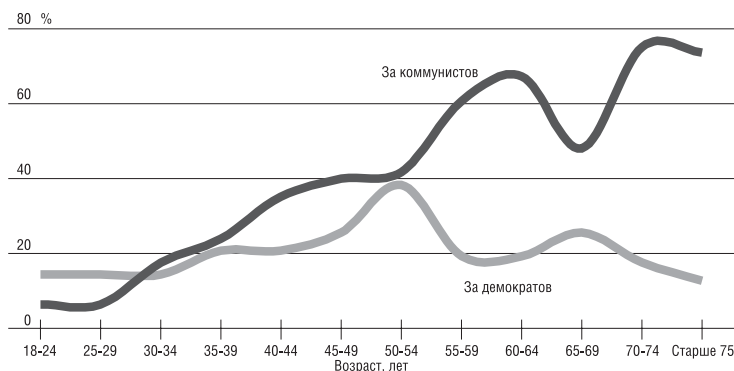
Динамика «крайних» партийных ориентаций

Отметим некоторые возрастные особенности партийных электоратов. Для удобства в данном случае учитываются только крайние позиции — поддержка коммунистов (КПРФ) и демократов («Яблоко» и СПС); симпатии к центристам, или «партии власти», не принимаются во внимание.

На рисунке 7 бросается в глаза, что симпатии к обоим крайним политическим позициям наиболее заметны у старших поколений, молодые почти одинаково безразличны к тем и другим. Здесь мы опять видим, что наибольшая поддержка демократических сил наблюдается не у молодых, как можно было бы ожидать, а у старших, примерно пятидесяти- и шестидесятилетних, т.е. в поколенческой группе, к которой относятся «младшие» (или «поздние») «шестидесятники», наиболее молодые и активные представители этой поколенческой группы.

**Рисунок 7. Партийные симпатии поколений
(намерения голосовать на ближайших выборах)**

(1999, N = 2400 человек, % от числа опрошенных)



Напрашивается вывод: противостояние коммунистов и демократов, составлявшее ось политической борьбы (по крайней мере, демонстративной) в прошедшее десятилетие, теряет свое значение. Демократы «перестроечного» призыва, во многом прямые наследники традиций «шестидесятников», свою историческую миссию выполнили (насколько удачно — другой вопрос). Чтобы сегодня привыкать к рыночной системе или парламентскому разноречью (впрочем, довольно ограниченному), не нужно записываться в демократы, достаточно просто соблюдать лояльность по отношению к президентской власти. «Новых» же демократов, способных предложить свои способы решения современных проблем страны, не видно. Аналогичные соображения можно применить и к коммунистам: это все еще крупная общественная сила, но сила прошлого, влияющая по традиции на пожилых людей и неспособная привлечь своими идеями и методами молодые поколения.

Почувствительной представляется возрастная динамика отношения к сталинизму. Как видно на рисунке 6, позитивные оценки сталинского периода плавно растут с возрастом и несколько снижаются в самых старших группах. По всей видимости, «плавный рост» (кстати, параллельный линии оценок правления Брежнева) в данном случае означает рост интереса. А снижение, как уже говорилось выше, — результат того, что в суммарные оценки вмешивается доля осуждения у старших, т.е. непосредственно затронутых репрессиями или военными неудачами. Это еще раз показывает, что разоблачение сталинизма осталось событием лишь для заинтересованного поколения и не стало катарсисом (по крайней мере, в осознанном виде) для всего общества. Отсюда и явное отсутствие общественного иммунитета по отношению к рецидивам абсолютизма.

«Переломные» поколения

В известной книге У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта» было введено понятие «дважды рожденных» (twice-born) личностей. Речь шла о людях, которые в зрелом возрасте обращаются к какой-то

новой системе мировосприятия, к иной вере, т.е. как бы заново переживают процесс социализации или аккультурации. Нечто подобное можно усмотреть у поколенческих групп, переживающих общественный перелом как переоценку собственных ценностей. (Другие группы могут переживать тот же перелом иначе, например как переход от согласия к оппозиции по отношению к доминирующей системе ценностей.) В российском XX веке таких переломов было два: после 1917 года и в конце 60-х. В первом случае речь шла о принятии победившей системы, во втором — о расхождении (в предельных случаях — о разрыве) с ней. Продуктом первого перелома явилась «советизированная» интеллигенция, второго — «шестидесятники».

Как уже отмечалось, последняя поколенческая группа (по выражению А. Вознесенского, «дети XX съезда»), привлекавшая значительное внимание при изучении процессов последних десятилетий, начала сознавать себя в надеждах «оттепельных» лет, прошла закалку в «заморозках», наступивших после 1956-го и в особенности после 1964 года, создала идею демократической альтернативы режиму и определенные ростки демократической и либеральной оппозиции. В этом, как сейчас можно судить, и состояла историческая функция, как бы миссия, «шестидесятников». Дальнейшая судьба этой группы противоречива и в конечном счете трагична. Иллюзия причастности к власти, возникшая в начале перестройки, сменилась разочарованием в результатах перемен начала 90-х и едва ли не отчаянием к концу десятилетия. В значительной мере такая смена социальных настроений связана с отмеченной выше переоценкой роли демократических сил в общественных процессах.

Роль «военного» поколения во второй половине XX века нередко служит предметом дискуссий. (Значимой группой для этого поколения, скорее всего, можно считать тех, кто прошел фронт в звании младших офицеров²; ср. прижившийся термин «лейтенантская проза».) С одной стороны, тотальная война упрощает и огрубляет все категории мировосприятия до противопоставления «своих» «врагам», утверждает права беспощадного насилия, неизбежность массовых жертв, постольку служит идеальной питательной почвой для тоталитарной идеологии с ее принудительным единомыслием, культом «вождя» и т.п. Несомненным социально-политическим итогом войны 1941–1945 годов стало укрепление сталинского тоталитаризма и его воздействия на людей. Но у многих из «военной» поколенческой группы, прошедших школу ответственности, столкнувшихся с необходимостью практической проверки указаний «сверху», возникали сомнения в этих указаниях и самостоятельные мысли. В дальнейшем часть ее представителей примкнула к более молодым «шестидесятникам».

«Закрытые» и «открытые» поколенческие группы

Представленные выше данные и соображения относятся к социальным, значимым для всего общества, группам. По-видимому, правомерно говорить о поколениях и механизмах их динамики и применительно к более узким и специфическим группам, действующим в профессиональных или кастово-замкнутых средах.

Очевидно, что это относится к военной, бюрократической, академической и другим элитарным средам. Поскольку в них не существует постоянного механизма обновления персонала (ведущего, лидирующего), ротация кадров происходит импульсами, как бы от поколения к поколению. Длительность поколенческого периода может при этом определяться возможностями физического выживания или какими-либо внешними событиями. Например, в замкнутой профессионально-военной среде смена ведущих кадров соответствует последовательности доминировавших в ближайшем прошлом конфликтов. В советские и последующие годы сменявшие друг друга поколения военного руководства составляли последовательно командиры Гражданской, Отечественной, афганской и чеченской (в настоящий момент) войн. (В этом находит свое подтверждение известный тезис о том, что армия всегда готовится к прошлой войне.)

«Поколенческая» ротация руководящих групп всегда была характерна для научных, «творческих» и других организаций советского образца с их закрытыми, несменяемыми элитами. Ротация кадров в таких группах неизбежно оказывается конфликтной, связанной с интригами и корруптивными механизмами. Пример другого типа организации — бизнес-элиты, состав которых определяется критериями эффективности и конкуренции; здесь неизбежна быстрая смена состава (поэтому, в частности, сейчас это самая молодая из существующих элитарных групп, где крупным руководителям может быть до 30 лет).

К типу закрытых поколенческих групп очевидно относилась и высшая (властвующая) бюрократия советского периода. Непременным условием смены правящих верхушек являлся доведенный до демонстративного предела «поколенческий» конфликт: каждая новая входящая в власти группа декларировала принципиальный разрыв с наследием предыдущей, обвиняя ее во всевозможных грехах. Под эту «музыку» последовательно приходили к власти все без исключения правящие группы с 1917 года до 1999-го. Демонстративное отрицание предшественников служило средством самоутверждения для каждого нового поколения лидеров и практически не связывалось с изменениями и преемственностью в средствах или стиле правления. В этом одна из роковых слабостей системы, неспособной к нормальному воспроизводству со сменой действующих поколений.

Поколения перемен и поколения стабилизации

Существует принципиальная разница между относительной стабилизацией политических или экономических структур общества и стабилизацией на «человеческом» уровне. К последнему относится и стабилизация «поколенческого» механизма, т.е. обеспечение регулярной, бесконфликтной смены действующих лиц на социальной сцене. В некоем идеале стабильность или нормальность функционирования этого механизма исключает саму проблему поколений как в обществе, так и в отдельных его структурах. Минувшее XX столетие отечественной истории знало периоды относительной общественной стабильности, но ни разу, ни на одном повороте не видело стабильно действующего механизма поколенческой смены и преемственности — ни в дореволюционные, ни в советские, ни в постсоветские годы.

Монархический строй (о котором сегодня демонстративно вздыхают около 10% опрошенных) весной 1917-го не имел ни защитников, ни реформаторов. Последовавший за ним период бурь и натисков в разных направлениях невоспроизводим и лишен механизма собственного воспроизводства. Самый жесткий за столетие, сталинский, режим, построенный на костях и крови собственных подданных и лидеров, неизбежно оказался катастрофически ломким. Не мог создать механизмов собственного воспроизводства, в том числе на человеческом уровне, и наиболее длительный в XX веке, захвативший почти два поколенческих цикла период «застоя». Нестабильность режима выражалась, в частности, в том, что «дети» политической элиты не хотели и не могли наследовать стиль своих «отцов».

Как известно, в России социальное время в определенном смысле измеряется и пространством: периоды прошлой истории воплощены в бесконечной российской периферии — в российском пространстве существуют и взаимодействуют социальные типы (структуры, отношения), характерные для самых разных, если не для всех исторических периодов — периодов общины, крепостного права, советской власти и т.п. Это долго позволяло советской системе подпитываться человеческими ресурсами «прошлого образца»: обновлять кадры за счет провинции. Этот механизм отказал лишь в середине 80-х, но «по-крупному» (Горбачев, Ельцин).

Начавшаяся после падения Ельцина эпоха вызвала надежды на стабилизацию собственного положения у разных структур и сил — от ближайшего окружения бывшего президента до местных боссов и «олигархов». Пока эти надежды оправдываются в небольшой мере, и в первую очередь это связано собственно с их ослаблением. (Главным способом удовлетворения любых запросов у нас, как хорошо известно, является снижение уровня этих запросов.) В данном случае нас интересует другая сторона стабилизации: может ли формирующий режим обеспечить собственное бесконфликтное воспроизводство при смене своего «человеческого» материала, или он создаст новый вариант социальной стагнации, которая кончится очередным обвалом?

Ответ на этот вопрос придется искать в трех средах — в новом активном поколении, в возможностях нового режима и в изменившемся положении страны в системе мировых связей.

В ближайшие годы наиболее активной поколенческой группой станут люди, вступившие в самостоятельную жизнь в 90-х годах, т.е. родившиеся примерно в 1975–1980 годах. Те, кто свободен не только от «советского» наследия и памяти о нем, но и от переломов, ожиданий и разочарований последних 15 лет, от борьбы за какие бы то ни было социальные цели. Они ничего не выбирали и тем более не завоевывали, им ни к чему не нужно приспосабливаться. Они получили в готовом виде политические и экономические «стены» своего «дома» и озабочены лишь тем, как удобнее в нем устроиться. Они в основном привержены существующему «рынку» и ограниченному политическому разнообразию, но не потому, что предпочитают их каким-то другим порядкам, а просто потому, что ничего другого не видели. Отсутствует у них восприятие социального прошлого как объекта принятия или отторжения. Это прошлое (прежде всего советское) просто незначимо для них. По сути дела, это первое за столетие поколение прагматиков, лишенных исторической (институционализированной) социальной памяти.

В странах с развитой и открытой институциональной структурой преемственность поколений не составляет социально значимой проблемы, поскольку обновление человеческого потенциала происходит постоянно, каждый работник или руководитель, менеджер попадает в сложившуюся систему отношений и норм. Нет поэтому и проблемы «беспамятства» молодых поколений.

Не случайно именно в этой поколенческой группе, группе молодых, прагматичных, ориентированных на успех и благосостояние, относительно сильнее выражена поддержка нынешнего стиля государственного управления, претендующего на сугубую деловитость и свободного от исторических и идеологических ограничений. Но осуществлением собственно властных функций заняты отнюдь не самые молодые: чтобы заслужить поддержку правящей элиты, требуется не только карьерный опыт, но и своего рода экзамен на лояльность, а также на признание роли «старшего» («старшего брата»).

Современный интерес к проблематике и механизму «смены поколений» связан, как представляется (помимо общетеоретических и исторических научных факторов), прежде всего с некоторыми обстоятельствами отечественной истории последних десятилетий. Во-первых, с оценкой роли уходящего поколения «шестидесятников», как будто проложившего путь к современным трансформациям, но, как это чаще всего бывает, не нашедшего в них своего места. А во-вторых, с представлениями о факторах развития страны на ближайшие десятилетия, т.е. с вопросом о том, что несет с собой «племя младое, знакомое». Эмоциональная окраска дискуссий на эти темы в особых комментариях не нуждается. Настоящие заметки — попытка выделить некоторые моменты перевода проблемы в плоскость социологического анализа.

Само перенесение на общественные процессы понятийного аппарата, характерного для рассмотрения «фамильной» преемственности, приводит к появлению мнимых конструкций — таких, как «смена», «конфликт», «разрыв» поколений. «Временная» организованность общества (система связей, обеспечивающих воспроизводство его основных структур, в том числе нормативно-ценностной, при смене «человеческого материала») обеспечивается в первую очередь системой его социальных институтов. Соответственно, общественно значимые перемены в основном связаны с их трансформациями. «Поколенческая» составляющая перемен сводится к тому, что *одним из их факторов* оказывается деятельность относительно небольших групп молодых людей, ориентирующихся на нетрадиционные (часто внешние) образцы и способных влиять на элитарные слои и атмосферу общественной жизни.

«Разрыв поколений», о котором принято говорить, — это, по существу, ценностный раскол, воплощенный в противостоянии небольшой, но значимой группы доминирующей традиции, системе, строю. Такой раскол становился возможным в определенных обстоятельствах социально-исторического развития. В России он наблюдался дважды: в XIX и XX веках.

Знаменитая «проблема отцов и детей» российского XIX века — и даже шире, отраженные в ней судьбы отечественной интеллигенции — отражает катаклизмы начальных стадий перехода традиционно-го российского общества на общецивилизационный путь модернизации. А проблема «шестидесятников» следующего, XX века — попытка как-то повлиять на возвращение страны в утраченное цивилизационное русло. При всем различии количественных параметров, в том числе длительности существования обеих групп, они составляли небольшое, статистически незначимое меньшинство и в обществе, и в своих собственных (демографически измеримых) поколениях. Значение деятельности каждой из этих групп хорошо известно.

Дело, однако, не только в некоторой близости исторических функций упомянутых групп различных веков; имеется и определенное сход-

ство их положения по отношению к доминирующим общественным институтам. В обеих ситуациях «оторвавшиеся» группы противостояли жестко и вертикально организованным институциональным системам. («Вертикально» организованными можно считать общественные системы, опорные структуры которых легитимированы прошлыми, нередко сакрализованными установлениями, нормами, авторитетами, текстами.) Действовала иерархия авторитетов, как бы опрокинутая во времени назад (высшим считается более древний, «исконный»). В таких системах условием социализации, показателем зрелости служила (а в поздние времена считалась) верность традициям, «заветам отцов», принятой догматике и т.д. Отсюда, естественно, неизбежные стремления к закрытости от внешних влияний и постоянная неophobia, боязнь перемен. «Разрыва» поколений в этих условиях не возникало, поскольку действовала жесткая система традиционных институтов социализации и социального контроля; редкие и индивидуальные исключения («казус Гамлета»), если и не были плодом позднейшего литературного воображения, не меняли общей картины.

Дореформенная Россия — почти идеальный пример такого «вертикально» организованного закрытого общества, в котором дворянство и монархия служили хранителями традиционной косности. Конечно, уже с XVIII века эта закрытость превращалась в фантом, со временем все более лицемерный, но постоянно воспроизводилась до конца XIX века. При этом все попытки в какой-то мере расшатать систему исходили от различных по составу и ориентациям групп людей молодых и хлебнувших какого-то «чужого» воздуха (хотя бы книжного). Отсюда и характерное для тогдашней литературной идеологии представление о «разрыве поколений» («Отец понять его не мог...» и т.д.). В «разрывающей» группе последовательно оказывались молодые люди, принадлежавшие примерно к трем поколениям (Герцена, «шестидесятников» и перелома XIX–XX веков).

Но и советское государство вопреки собственным идеологическим вывескам («молодость мира» и т.п.) строилось как вертикальная структура, постоянно оправдывавшая себя обращением к «заветам основоположников» и непогрешимой доктрине. Всякая инициатива пересмотра «основ» (если, конечно, она не исходила от верховного лидера), равно как и всякая попытка апеллировать к молодым силам (в начале 20-х — безуспешная апелляция Л. Троцкого к революционной молодежи, в 30-х — борьба против «комсомольского авангардизма», в начале 60-х — кампания против «молодежных» уклонений в искусстве, философии и т.д.), представлялась опаснейшей ересью. Молодые поколения, обращения к молодежи, призывы к самопожертвованию в военных условиях, организации молодежной муштровки и накачки — все было допустимо только при полном подчинении «вертикали» авторитетов. (Небольшой, но показательный пример: в конце 40-х годов А. Фадееву, знаменитому литературному вождю, пришлось переписать уже прославленную «Молодую гвардию», чтобы добавить линию «партийного руководства».)

Поэтому нарождавшийся в расшатанной системе общественный протест (во всех его направлениях — радикальных и осторожных, левых и либеральных, религиозно и национально окрашенных) неизбежно выглядел «разрывом поколений». На деле, как и столетием ранее, речь шла не о противостоянии поколений, а о вызове определенных

групп «вертикально» организованной косной общественной системе. Выразителями его оказывались тридцатилетние в 60-х и шестидесятилетние в конце 80-х годов.

После этих отступлений к фактам общеизвестным можно подойти к проблеме сегодняшней: возможен ли подобный конфликт в современных условиях?

В нынешнем российском обществе можно, как известно в частности из опросов общественного мнения, обнаружить различия позиций и оценок между разными группами, в особенности между людьми старших и более молодых возрастов (например, моложе и старше 40 лет). На эту тему много написано. Но ни «разрыва» поколений, ни «поколенческого» (или «молодежного») вызова сегодня как будто не существует, трудно усмотреть и возможности для его возникновения в обозримом будущем. Объяснения этому положению можно видеть в следующем:

- 1) замкнутая, «вертикальная» структура общества необратимо разрушена в минувшее десятилетие. При всех катаклизмах и противоречиях произошедших переломов появились определенные контуры общества, которое вынуждено обращаться не к традиционным, а к современным референтам;
- 2) нынешние носители власти (или часть их) воспринимаются значительной долей населения, прежде всего молодыми людьми, как выразители, даже инициаторы, модернизационных перемен;
- 3) власть в стране находится в руках представителей поколения, условно говоря, пятидесятилетних (45–55 лет), наиболее «молодого» из поколений, которые реально могут претендовать на власть («поколение отцов»). Никакие сдвиги группового или персонального порядка этого положения не изменят. Все конфликты и колебания курса, сколь бы велики они ни оказались, могут происходить лишь *внутри* этой поколенческой группы и этой правящей элиты;
- 4) наконец, в обществе практически отсутствует «внешняя» оппозиция по отношению к правящей группе и ее формальному лидеру (президенту). Действуют лишь различные группы давления на властные структуры.

О функциях молодежи в обществе

Известно, что в средневековом обществе социальные позиции (статус, владения, привилегии, обязанности) часто наследовались в 16–20 лет. Социальный статус отца (и соответствующие нормы поведения, ценности, связи и пр.) автоматически доставался сыну. В современном обществе при других возрастных параметрах жизни людей поколения сопряжены друг с другом скорее «внахлест», чем «встык», т.е. в среднем довольно долго влияют друг на друга. Для такого общества характерно взаимодействие представителей *трех поколений* — «детей», «родителей» и «дедов». С этим, в частности, связано и значительное увеличение периода социализации (до 25–30 лет в минувшем XX веке). Поэтому социальные позиции (власть, авторитет и пр.) переходят «по наследству» скорее не от «отцов» к «детям», но от «дедов» к «отцам» (в определенной мере и к «матерям», но это другая проблема). То есть,

условно говоря, не от «сорокалетних» к «двадцатилетним», а от «шестидесятилетних» к «сорокалетним» (понятно, что где 40, там и 45–50 лет).

Это значит, что «лицо» общества каждое поколение сегодняшних молодых людей в перспективе сможет определять только после того, как они перестанут быть молодыми, перейдя в статус «отцов».

Сказанное подводит нас к вопросу о месте и функции «молодежи» (как специфической группы) в процессах социального воспроизводства в современных условиях. Собственно, в других условиях такой проблемы и таких функций просто не существовало: молодежь — сравнительно недавняя социальная категория (примерно ровесница XX века), продукт уже упомянутой растянутой социализации. Социальная статистика относит к ней лиц в возрасте 15–24 лет, это примерно 16–17% российского населения. В отличие от иных категорий населения она обладает статусом универсальной и преходящей (все должны «пройти» через молодежный статус, и никто не может остаться в нем). В этой категории неизбежно сосредоточиваются максимальные социальные и личные надежды, иллюзии, устремления.

В знаменитых переворотах и катаклизмах прошлого молодые, наименее отягощенные грузом традиций «горячие головы», увлеченные пафосом перемен и преувеличенными ожиданиями относительно их результатов, выступали носителями новых социальных ожиданий и иллюзий, самоотверженными ниспровергателями «старых» порядков и т.д. Как правило, именно они становились и первыми жертвами разочарований и «стабилизирующих» акций. Но иногда и инструментами таковых.

Когда-то А. Камю заметил, что «культурная революция» в Китае середины 1960-х годов являлась своего рода бунтом «дедушек» (т.е. ортодоксов революции) против «отцов» (оппортунистов), который совершался руками «внуков» (имелись в виду движения хунвейбинов и цзаофаней, «молодых гвардейцев» и «бунтарей», руками которых осуществлялись массовые расправы с неугодными деятелями). Некоторые аналогии подобных «поколенческих» ситуаций можно найти и в истории идеологических кампаний советских лет — например, в начале 30-х или в конце 40-х, когда молодежь, студенты использовались для организованной партийными властями травли «уклонистов», «космополитов» и т.д. Политическая наивность, безоглядное доверие молодежных активистов к власти и «отцу народов» — впрочем, не без карьерных факторов — служили неперменным условием подобных акций. Правда, в отличие от китайской ситуации здесь речь шла, скорее, о расправах с «ортодоксами» и «старыми кадрами» для упрочения господства команды державных прагматиков.

«Встроенные» в современные общественные институты механизмы перемен практически исключают (или делают заведомо неэффективными, а потому и маловероятными) сокрушительные катаклизмы. Соответственно, утрачивают смысл как «авангардистские» фикции, так и жертвенные роли молодежи в общественных переменах. И в нашей сегодняшней ситуации — по крайней мере в данный момент — внутри- и околоставные интриги не нуждаются в апелляции к молодежной (да и какой-либо иной массовой) поддержке.

Что же касается собственно «молодежных» выступлений и «бунтов» последнего времени, примерно второй половины XX века (напри-

мер, знаменитой волны 1968 года в ряде стран), то они были направлены главным образом на решение сугубо «молодежных» проблем, т.е. на расширение возможностей (временных и нормативных) продленного детства, на присвоение атрибутов «взрослого» мира в качестве элементов игры, развлечения. Понятно, что совершенно иной смысл имеют, например, студенческие демонстрации с требованиями поддержки образования, предоставления работы и др.

По известной характеристике М. Мид, современная цивилизация «проспективна», обращена к будущему, поэтому в ней старшие поколения как бы учатся у младших. Последнее соображение, видимо, нуждается в определенных оговорках. Старшие «учатся», точнее, «заражаются» от молодых (все менее многочисленных, но все дольше и, по-видимому, сильнее действующих на общество) некоторыми элементами стиля поведения, речи, моды и т.п., может быть, и своего рода «энергетикой» действия. Но преимущественно *игрового* действия. Во «взрослый» мир из подросткового перешли спорт, в том числе «зрительский», туризм, «игровой» секс и т.п. Когда-то приходилось писать, что, играя с детьми, взрослые в то же время «играют в детей»: признавая молодежную субкультуру (мир «продленного детства»), любясь ею или даже негодуя по ее поводу, мы как бы играем в подростков. Конечно, в нормальном состоянии взрослые не становятся ни детьми, ни подростками, но лишь выстраивают параллельный, игровой мир наряду с «серьезным» миром работы, семьи, социальной ответственности и обязанностей.

Соотношение этих миров далеко не стабильно. Сугубо игровая спортивно-зрительская горячка довольно давно получила экономические атрибуты (тотализатор, реклама), а в последнее время приобрела способность «запускать» механизм массовой и даже межгосударственной социально-политической истерии. Недавний пример — мобилизация «патриотических» страстей в России вокруг зимних Олимпийских игр 2002 года, имитирующая худшие образцы холодной войны¹. Дело вовсе не в массовом интересе к содержанию каких-то соревнований или к справедливости судейских оценок. Околоспортивные (зрительские) страсти, как оказывается, вновь с легкостью укладываются в русло агрессивно-обиженного противостояния «чужим», «Западу», «заговору» и пр. Все эти психологические модели, отработавшие свое в советскую эпоху (кто не помнит установок типа «Эй, вратарь, готовься к бою...» и т.п.), очевидно, сохраняют свою «боеготовность».

Вот почему никакие, сколь угодно обстоятельные, данные о настроениях, ценностях, установках сегодняшних молодых людей не могут приоткрыть нам картину «завтрашнего» общества, если остается неясным, в какие социальные рамки вольются интересы и энергия молодых. Иными словами, дело не столько во взрослении сегодняшних *молодых*, а во «взрослении», формировании институциональной зрелости *общества*. Претенциозно-пошлые лозунги типа «молодежь — наше будущее» фальшивы. На деле «наше» (общества) будущее — это то, что социальные институты и обстоятельства сделают *с бывшими молодыми*. Только в условиях развитого, социально «зрелого» общества подростковый или юношеский примитивизм (все равно — примитивно-бунтарский или примитивно-патерналистский,

1

Согласно одному из исследований ВЦИОМа (февраль 2002 года, N=1600 человек), 75% опрошенных — без заметных отличий по возрасту и уровню образования! — интересовались не мастерством атлетов, а только успехами российской команды.

вождистский, ксенофобский...) может уступить место «взрослым» формам социальной активности и ответственности. При отсутствии таких условий возникают «старческие» воспроизведения той же «подростковой» наивности, зависимости, жестокости, безответственности, но уже в окостеневших (или склеротических) державно-бюрократических конструкциях.

В той или иной форме этой проблематики приходилось касаться в разные годы. Переосмысление собственного опыта, средств и категорий исследования — одна из постоянных тем исследовательских размышлений. Несколько упрощенно ее можно свести к двум задачам.

Первая из них связана с необходимостью более глубокого анализа изучаемого *предмета* (общества, общественного мнения), который позволил бы видеть различные уровни динамики, различные аспекты событий и т.д.

Приходилось отмечать, что в обстановке социальных потрясений и переломов обнажаются, становятся доступнее для наблюдения скрытые механизмы общественных процессов, их глубинные структуры. Оценивая накопленный опыт, нужно также принять во внимание, что происходят существенные сдвиги в самих этих структурах и механизмах. Претерпевают изменения и структуры общественного мнения, способы его консолидации и мобилизации, критерии оценки и поддержки лидеров, массовых настроений удовлетворенности, недовольства и пр. Общественное мнение в нынешней России, в 2003 году, — не то, что общественное мнение времен первых исследований ВЦИОМа (1988–1989). Другая задача — неизбежная переоценка исследовательской *позиции*.

Серьезный выбор, в том числе — профессиональный, делается редко. Но задумываться над его смыслом приходится на каждом новом витке событий — внешних или внутренних, применительно к «возрасту» общества или своему собственному. Это может относиться к отдельному человеку, к исследовательскому коллективу, а то и к целому «профессиональному поколению». В данном случае речь идет о смысле социологической, исследовательской *«позиции»* в изменяющихся условиях, т.е. о категории существенно иной и более сложной, чем, например, позиция политическая («за» и «против», «с кем» и «против кого»). Стремясь к максимальной объективности — в терминологии М. Вебера, «свободе от ценностей» — своего анализа, исследователь неизбежно оказывается на пересечении силовых линий различных интересов, ожиданий, иллюзий (включая свои собственные). Поэтому в определение «позиции» социолога входят и его отношения к этой системе координат. Только в некоторой ретроспективе, оценивая события и собственные представления постфактум, можно, видимо, достаточно надежно отделить исследовательские установки от интересов и иллюзий времени. В этом состоит одна из главных задач переосмысления позиций исследователя.

Обманчивое противопоставление: «старое» — «новое»

Обсуждение произошедших в стране перемен, а также перспектив дальнейшего развития достаточно часто вращается вокруг оси противопоставления «старого» и «нового» (государства, общества, поряд-

ка, человека). Возникают вопросы о том, насколько «новыми» можно считать нынешние порядки, насколько реально возвращение «старого» образа жизни и пр. Такая постановка вопроса кажется в принципе неверной, поскольку основана на предположении, что общественные процессы носят непременно линейный характер, т.е. сводятся к движению «вперед-назад» в некоем одномерном пространстве. (С такой установкой связано, в частности, обманчивое сосредоточение общественного внимания на фантоме «возвращения» к советскому прошлому; это уводит от оценки сегодняшних альтернатив и реальных опасностей.)

Сдвиги, происходящие в действительности, значительно сложнее и не укладываются в простую схему. События последних примерно 15 лет дают тому многочисленные примеры: разрушение тоталитарной системы происходило (и происходит) не под напором «демократии», а под влиянием авторитарных действий, аппаратных интриг, сепаратистских и просто корыстных расчетов; трудное преодоление изолированности от внешнего мира достигается ценой официальной поддержки западными державами репрессивных акций российских властей, и т.д., и т.п. Многократно осуждавшаяся еще в конце 80-х химера «разумного» авторитаризма как средства перехода к демократическим порядкам получила практическое воплощение в формах далеких от разумности и демократичности — как по средствам, так и по результатам.

На плоскости общественного мнения, в массовом сознании эта ситуация находит свое выражение в постоянных метаниях между тоской по прошлому и приспособлением к изменившимся обстоятельствам, недоверием к властным институтам и иллюзорными надеждами на очередного лидера, стремлением войти на равных в сообщество развитых стран и комплексами державной неполноценности, завистью и ненавистью к богатым и т.п. Налицо, таким образом, сугубо неклассический («нехрестоматийный») набор социальных феноменов и фантомов. Правомерно ли относить подобную «химерность» к специфике нашего национального (национально-исторического) сознания, или это неизбежный атрибут любого «переходного» периода, сочетающего компоненты различных эпох и систем? Видимо, в той или иной форме «химерные» социальные образования вездесущи, а классически «чистые» формы носят лишь идеально-типические конструкции, т.е. исследовательские инструменты. Особую болезненность этой ситуации — а также ее восприятию в общественном сознании — придает историческое запаздывание российских модернизационных переходов, последовательные фазы которых остаются незавершенными и как бы накладываются друг на друга. Соответственно происходит и наложение нерешенных, полурешенных, неверно поставленных и т.д. социальных задач.

Это относится не только к «материальным» выражениям социального развития (например, к сочетанию разных фаз индустриализма и постиндустриализма), но и к интересующим нас в данном случае структурам массового сознания, механизмам самоидентификации, мобилизации, поддержки, доверия, протеста и пр. А также, разумеется, к переходам от общественного возбуждения к массовой апатии, от воодушевления к разочарованиям.

За последние полтора десятка лет в обществе имели место события и коллизии, которых не ожидали даже самые внимательные наблюдатели, ни отечественные, ни зарубежные. К ним относятся попытки политической перестройки в партийно-советских рамках (1988–1989), развал этих рамок с путчем 1991 года (в этом случае неожиданным было не само выступление партийных консерваторов, а его беспомощность), радикализм замысла и противоречия реализации экономической реформы, конфронтация внутри «новой» правящей элиты в 1993 году, военная авантюра в Чечне (1994 год и далее), нарастающая дискредитация первого посткоммунистического режима Б. Ельцина, политический поворот 1999 года с новым типом лидерства, новой фазой чеченской войны, надеждами на стабилизацию в обществе и очередными разочарованиями на разных уровнях. В каждом из этих разнородных и разноточных случаев можно обнаружить сходство в схеме или механизме события: несоответствие друг другу проблемы, способов ее решения и характера исполнителей. Отсюда неизбежная болезненность, конвульсивность перемен, поиски виноватых вместо поисков путей решения проблем и пр.

В этих меняющихся условиях фоном динамики общественного мнения оставалось постоянно пульсирующее массовое недовольство, которое могло быть использовано различными политическими силами. Ожидаемые и неожиданные перемены в этой плоскости являются в данном случае предметом исследовательского внимания.

Первой неожиданностью здесь стала, конечно, воодушевленная и наивная мобилизация общественной поддержки М. Горбачева в «ранние» годы политической перестройки (1988–1989). По опросным данным, уровень полного и неполного одобрения деятельности лидера достигал в конце 1989 года 83%, притом что неодобрение ему высказывали всего 7% (N=2500 человек). Это означало фактическое отсутствие каких-либо альтернатив и, по крайней мере, открытого противодействия провозглашенной линии. В свете последующего опыта можно выделить несколько разнородных компонентов тогдашнего почти всеобщего единодушия. Во-первых, оно было продолжением глубоко укорененной в массовом сознании советской традиции «единодушного одобрения» руководящих персон и лозунгов. Во-вторых, оно отражало разнородность надежд, которые тогда связывали с деятельностью Горбачева: одни («демократы») рассчитывали на демократическую эволюцию режима, другие (партийно-советская элита) — на сохранение своих позиций при косметическом ремонте государственного механизма. На столь противоречивой основе массовая поддержка лидера долго продержаться не могла, за резким ее взлетом последовало еще более резкое падение уже в 1990 году.

Пиковые значения поддержки Б. Ельцина (около 70% одобряющих его деятельность) приходятся на период 1990–1991 годов, точнее, на два момента: первый — в июле 1990 года, после избрания Ельцина председателем российского Верховного Совета и последовавшего за этим принятия Декларации о суверенитете, второй — после ликвидации путча августа 1991 года. Все остальное время правления первого президента отмечено существенным противостоянием в общественном мнении, причем если до конца 1991 года деятельность лидера одобря-

лась относительным большинством, то уже с 1992 года, т.е. с началом болезненных реформ, одобрение выражает только меньшинство, ставшее к концу правления совсем малочисленным.

Ситуация «конфронтационного» общественного мнения в обществе, не имеющем традиций социально-политического плюрализма, заслуживает особого исследовательского внимания. Существование влиятельной оппозиции — притом «слева», со стороны традиционно-советского популизма — вынуждало власть допускать публичную (через массмедиа) критику в свой адрес и искать поддержки у демократически настроенных групп общества. Правда, призывы к «антикоммунистической диктатуре» (1991, 1993, 1996) успеха не имели. Итогом периода, столь богатого конфликтами и коллизиями, закономерно оказался не институционализированный политический плюрализм (с реальной многопартийностью и гарантированными политическими свободами), а чуть ли не всеобщая тоска по порядку и спокойствию, поддержанному «сильной рукой».

С конца 1999 года «путинский» режим, беря на себя роль исполнителя таких чаяний, попеременно использует механизмы воинственной мобилизации и стабилизирующей консолидации общества. Так, исчерпание потенциала «чеченской» социально-политической мобилизации вынуждает искать ресурсы поддержки в консолидации вокруг экономических планов или международных союзов; когда эти направления представляются недостаточно эффективными в каких-то околовластных ситуациях, в ход идут воинственно-мобилизационные приемы популистского типа (например, «антикоррупционные» или «антиолигархические»). Это позволяет поддерживать в общественном мнении довольно стабильный положительный баланс одобрения-неодобрения деятельности президента. При этом явное большинство в «группе несогласия» составляют — как и в ельцинские годы — сторонники компартии, демократическая оппозиция представлена в общественном мнении очень слабо, многие из относящих себя к демократам надеются в какой-то мере опереться на президентскую власть. Аналогичным образом поступает и большинство несогласных с продолжением чеченской войны, поэтому их недовольство не превращается в активный протест. Примерно так же поступают и недовольные экономической политикой, низким уровнем жизни, ущемлением гражданских свобод и т.д.

Создается ситуация, напоминающая ироническую формулу «демократического централизма» советских лет («каждый в отдельности против, но все вместе — за»): неодобрение по конкретным, частным поводам суммируется «в целом» в стабильно высокий уровень поддержки лидера. Формирующаяся таким образом социально-политическая консолидация общественного мнения остается рыхлой, довольно далекой от восторженной мобилизации. (Восторженные оценки президенту неизменно дают 3–4% опрошенных. Вспомним, что даже в моменты самой высокой мобилизации общественных настроений в поддержку нынешней чеченской кампании готовность принять в ней участие выражала небольшая доля опрошенных, около 15%.) В принципе такая консолидация вполне достаточна для того, чтобы существующая расстановка сил без особого напряжения была продлена на ближайших парламентских и президентских выборах. Причем — впервые за постсоветские годы — власть не нуждается для этого ни в поддержке немногочисленных демократов, ни в соблюдении гражданских свобод.

Очевидная оборотная сторона таких отношений между властью и обществом — растущая зависимость власти и ее носителей от узкоаппаратных, групповых интересов, амбиций, интриг. Вполне вероятно, что неожиданная для многих апелляция к популистски-мобилизационным средствам массового возбуждения, проявившаяся летом 2003 года, связана именно с такой зависимостью.

Если отвлечься от канвы событий, а ограничиться только фактами общественного мнения, то здесь неожиданными были обнаруженные в ходе исследований свойства общественных настроений и установок: легковерие, краткосрочная мобилизуемость, готовность обманываться и довольствоваться малым, персонализация надежд, пассивное терпение.

Оглядываясь назад, мы видим на протяжении примерно полутора десятка лет последовательность и сочетания довольно узкого набора состояний общественного мнения. При любом анализе изменений, производимом задним числом, возникает соблазн считать все происходившее неизбежным, единственно возможным и, тем самым, *оправданным*. Преодолеть этот соблазн можно только с помощью какого-то мысленного эксперимента, который позволил бы сопоставить различные факторы и варианты развития ситуаций. Скажем, смена таких фаз динамики общественных настроений, как напряженность и релаксация, увлечения и разочарования, одобрение и сомнения и т.п., — универсальные формы, а способы их нагнетания и использования зависят от соотношения сил и стремлений в данной ситуации. «Короля», как известно, всегда «играет свита», но реальная мера ее влияния (в интересующей нас плоскости общественного мнения) на лидера определяется масштабом личности последнего, сплоченностью групп непосредственной поддержки и давления и пр. Социологическому исследованию общественного мнения динамика «малогрупповых» влияний на властные механизмы и на «массовое» сознание, по определению, не доступна. Перед нашими глазами лишь крупные, массовые образования, выделенные историческим разделением труда, традициями социального знания или нуждами текущего исследования.

Чем больше приходится работать с рядами показателей общественных настроений (удовлетворенности и недовольства, спокойствия и тревожности и т.д.), тем сложнее оценивать их значение. В каждом таком показателе в скрытом виде присутствуют по меньшей мере две составляющие: запросы и их удовлетворение (на деле ситуация гораздо сложнее, поскольку на нее влияют факторы осознания, ожидания, самообмана и т.д.). Поэтому, например, динамика позитивных оценок социальных настроений может свидетельствовать как о насыщении существующих запросов, так и об их уменьшении, иногда о том и о другом одновременно. Имеющиеся данные показывают, что более половины населения вынуждено понижать собственные запросы, приспособляясь к сложившейся ситуации.

А это значит, что показатели «оптимизма» или «пессимизма» в массовых опросах нельзя принимать «за чистую монету», т.е. оставлять без аналитической интерпретации. Скажем, повышение уровня удовлетворенности (собственной жизнью или положением в стране, деятельностью власти) может означать не более как традиционную или благоприобретенную привычку довольствоваться малым из опасений худшего. И напротив, рост уровня критических оценок бывает показа-

телем повышенной требовательности, что никак нельзя считать достойным сожаления. Возможно, при дальнейшей разработке проблемы удастся определить адекватные средства различения упомянутых функций.

Новые фигуры на игровом поле?

В отечественной социологии традиционно-классовый подход к социальной структуре давно сосуществует с различными вариантами выделения значимых страт, доходных и статусных групп и пр. Применительно к задачам анализа общественного мнения представляется целесообразным отслеживать преимущественно функции групп, обладающих специфическим влиянием в рамках этого феномена, — лидеров мнения, элит, слоев и структур массового общества, получивших универсальное распространение во второй половине прошлого века. Накопленный за последние годы опыт работы с данными массовых опросов позволяет считать такой подход вполне пригодным и для понимания существенных сторон формообразования современного российского общества. И напротив, использование категорий исследования общественной структуры, которые были адекватны для середины или конца XIX века, становится малоэффективным.

Ограничусь немногими примерами методологического порядка. В научной и особенно в околonaучной (популярной, публицистической) литературе по-прежнему интенсивно обсуждается тема *«среднего класса»*, его характеристик и возможной роли в становлении нового общественного порядка. Одно время — лет пять назад, в прошлую эпоху — дело чуть ли не дошло до государственной программы формирования такого класса. Недавно в одном из популярных социально-экономических журналов («Эксперт») была даже сделана полусерьезная попытка спрогнозировать партийный состав «слезопослезавтрашнего» парламента (2011 года избрания) на основе представлений о перспективах численности «среднего класса». Слой относительно состоятельных людей в России несомненно существует и, скорее всего, будет численно расти, постепенно сглаживая сегодняшнюю резкую имущественную и статусную дифференциацию. Значительная часть (около половины) населения сегодня хотела бы равняться на стандарты жизни этого слоя. Но никаких шансов превратиться в особый социальный класс (в классическом марксистском, околomarксистском, веберовском и прочем смысле — со своими интересами, своими противниками, своим образом жизни, вкусами и т.д.) он, по всей видимости, не имеет. Неумолимая тенденция развития ведет к массивификации общественных групп, размыванию граней, усреднению доминирующих образцов, а никак не к формированию новых обособленных групп. Кроме того, слишком большим и старомодным упрощением было видеть в современных политических партиях, а тем более — в государствах выражение интересов отдельных классов или подобных им обособленных общественных групп. Это относится и к среднему слою.

Много вопросов вызывает еще одна важная группа, как будто недавно заявившая о своем социально значимом существовании, — *молодежь*. Как особая социальная категория, как носитель специфических интересов и ценностей, своей субкультуры, наконец, как социальная

проблема — это атрибут современного массового общества. Но это «переходная» группа, которую все проходят, но в которой никто надолго не остается. Нетрудно заметить, в том числе и у нас, что молодежь заражает все общество «своими» вкусами, стилем, модой и пр. — т.е. атрибутами собственного «игрового» поведения. Может ли современная молодежь быть распространителем «серьезных» социальных, политических, культурных ценностей — как это было, например, в эпоху «отцов и детей» XIX века? Почему этого не происходит? Многочисленные данные показывают, что молодые люди не отличаются ни радикальностью своих социально-политических позиций, ни активностью участия в общественной жизни. Бессмысленно упрекать в этом современных молодых людей (чем заняты некоторые политики). В позапрошлом веке «западные», модернизационные веяния шли в Россию через молодые поколения — которые тогда играли в «серьезные», «взрослые» игры, а не отгораживались в своем полумире. А сейчас молодые люди проникаются «серьезными», «взрослыми» интересами после того, как перестают быть молодыми; это, видимо, всеобщая тенденция, не только у нас заметная. Поэтому новым («серьезным») веяниям, современным ценностям оказываются открытыми не самые молодые, а следующее поколение, поколение «отцов» этих молодых.

К этому стоит добавить, что за последние годы именно молодежь (самые молодые, до 25 лет), также и по ее собственному признанию, оказалась в выигрыше, — сегодня это (относительно) наиболее состоятельный, наиболее свободный от каких-либо стеснений, обладающий наибольшим ресурсом возможностей для досуга, учебы, работы, общения и т.д. слой общества. Причем все эти возможности не были «завоеваны» в результате какой-то направленной борьбы, а получены как бы в подарок, благодаря стечению социальных обстоятельств. Отсюда и отсутствие у молодых стимулов для обращения к политическим или иным организованным действиям — ни ради общесоциальных целей, ни ради специфически «молодежных» прав (по образцу студенческих «революций» 1968 года в Западной Европе). Поэтому не молодежь как таковая (как особая группа), а условия ее «взросления» могут быть фактором обновления общества.

Остается обратиться к роли «новой» политической элиты, а точнее — сегодняшней конфигурации сил и средств вокруг элитарных функций. За интересующие нас полтора десятка лет эти функции исполняли три различные структуры. «Перестроечную» элитарную структуру определял вынужденный и неустойчивый союз либерального крыла партаппарата с демократически настроенной интеллигенцией, при чрезвычайно высокой поддерживающей активности массмедиа и молчаливом сопротивлении «старого» аппарата. «Постперестроечная» конфигурация — еще более неустойчивый, пронизанный интригами блок нового чиновничества с олигархами, растерянная и частичная поддержка со стороны демократов, преимущественно служебная, отчасти политтехнологическая роль медиа. И наконец, нынешний элитарный механизм: новая чиновничья верхушка из «силовых» кадров, олигархи отодвинуты в сторону, малочисленные демократы загнаны в угол, наиболее массовые медиа (телевидение) подчинены технологическим запросам.

Но важнее изменение функции элитарных структур. Если в первый из перечисленных периодов публичная функция элиты состояла в возбуждении общественного мнения, во втором периоде — в сохране-

нии инерционной поддержки с его стороны, то в современных условиях это прежде всего стабилизация массовых настроений поддержки власти (но, как уже приходилось отмечать, осуществляемая через периодическую дестабилизацию обстановки).

Конечно, все названные элитарные структуры отличны от партийно-советского образца «ведущей» и «всеведующей» силы. Это можно было бы считать весьма позитивным показателем, если бы центры инициативы и активности в обществе действительно переместились на уровень индивидуальных и институциональных субъектов. Но ни действительно новой, ни устойчивой — на определенную перспективу — конфигурации не возникло. Кого бы ни винить в этом — нерешительность М. Горбачева, неподготовленность демократов, непредсказуемость Б. Ельцина, непреодолимое влияние силовых структур на носителей власти, особенно в правление В. Путина, — трудно представить себе иные, альтернативные варианты развития элитарных структур. Объяснить этот «фатализм наоборот» (примененный к прошлым этапам) как будто довольно просто: ничья сознательная воля и никакое организованное целенаправленное действие не играли существенной роли на всех поворотах второй половины 80-х — 90-х годов. Поэтому все перемены, в принципе, осуществлялись по самым вероятным (т.е. запутанным и нерациональным, «стихийно» складывающимся) траекториям, — именно они задним числом и представляются чуть ли не единственно возможными.

«Понижающая» идентификация?

Неожиданный, даже шокирующий, для исследователей сдвиг в общественном мнении — характер перехода от «советской» к «русской» идентификации человека. Очевидно, что это далеко не просто перемена формальных (паспортных) признаков государственной принадлежности. «Советская» идентификация имела значимую социально-политическую и идеологическую нагрузку (сопричастность к социально-политическому строю, ценностям, противостоящим остальному миру). В ряду наивно-демократических ожиданий, распространенных в атмосфере «ранней» перестройки, имелась и надежда на то, что освобожденный от этой обязательной причастности человек станет утверждаться как свободная и ответственная личность, правомочный гражданин, равноправный член европейского и мирового сообщества. Вектор изменений оказался другим: на первый план выступила идентификация с семьей, «малой» родиной, этнической общностью, конфессией, в меньшей мере — со «своим» (но уже деидеологизированным) государством. Иначе говоря, произошел как будто определенный сдвиг в сторону идентификационных механизмов «низшего», более традиционного порядка; понижающей адаптации соответствует и тенденция к «понижающей идентификации» человека.

Правда, эта тенденция не является единственной. В анкетах заметной части опрошенных мы обнаруживаем утверждения о том, что «иногда» или «время от времени» они чувствуют себя свободными гражданами, европейцами и т.п. Считать подобные заявления признаками новой идентификации можно с большими оговорками. Декларативная, даже чисто символическая сопричастность к некоторому

континентальному или всемирному сообществу может иметь идентификационное значение, но вторичное по сравнению с переживанием «своей» общности как привычной, как средоточия «своих» радостей и «своих» огорчений. А смещение вектора идентификации от тоталитарного идеологизированного государства к государству правовому (т.е. к национально-государственной идентичности), в принципе, не означает понижения уровня сопричастности, — если речь идет о действительно современном, либеральном типе государственности. Проблема в том, насколько далеко российское общество сегодня от реализации подобной модели.

Один из показателей такого расстояния — распространенность патерналистского отношения к государству, которое чаще рассматривается как источник заботы о подданных, чем как институт правового общества. Отсюда следует и обратная реакция: если известная формула английского патриотизма («права она или не права, но это моя страна») предполагает отстраненную рационально-критическую оценку собственного отечества; в российской (и советской) традиции «своя» страна права всегда уже потому, что она «своя», а остальной мир по определению чужд и враждебен. Этнополитические конфликты последних лет (прежде всего, конечно, чеченская война) создают фон для высокого и даже растущего уровня этнической ксенофобии. Прагматическое, поведенческое выражение этой установки — широкая поддержка требований ограничить доступ «южан» в крупные города России, а также высокие показатели отчужденности по шкале «социальной дистанции» (в особенности нежелание видеть «чужих» в качестве родственников).

Очевидно, что распространение ксенофобии, почти не встречающей сопротивления в обществе и на различных уровнях государственного аппарата, отодвигает страну от образцов либерального государства и гражданского общества. Но враждебность, психологическая агрессивность по отношению к «чужим» может стать фактором мобилизации общественных настроений только в исключительных и относительно кратковременных ситуациях (например, на некоторых фазах той же чеченской войны). В большинстве же случаев современная ксенофобия — это скорее обратная сторона социально-психологического, «массового» комплекса собственной неполноценности.

Позиция и ценности исследователя

Вернемся теперь к проблеме, обозначенной в начале статьи, — положению исследователя (исследовательской группы, коллектива) на пересечении силовых линий общества. Ведь жесткое разграничение «субъективных», человеческих и «научных» интересов в работе конкретного исследователя существует только теоретически или в идеально-типическом случае; на деле это динамичный стандарт, соблюдение которого требует постоянных усилий. А кроме того, сама энергия научного исследования, особенно в общественных науках, если не всегда, то очень часто подкрепляется человеческими и социальными интересами. Отдельная проблема — влияние на исследование таких внешних (социальных, политических) факторов, как ограничения, допуски, запреты, публичность и пр.

Чтобы выстроить ряд сравнений, приходится начинать с рубежей почти 40-летней давности — с первых поисков возможности социологической работы в стране. Немногие помнят специфическую атмосферу тех лет, когда никаких новых общественных ориентиров не существовало, но как будто появилась некая возможность окунуться в среду языка, стиля, методов социального мышления, заметно отличного от доминирующей идеологической догматики. Этого оказалось достаточно, чтобы начать социологические исследования, причем не только индивидуальные, но и коллективные.

К концу 1980-х годов, когда возник новый общественный интерес к социологической работе, проблема позиций исследователя приобрела иной смысл. Главным стимулом социолога стало стремление участвовать в наметившемся общественном обновлении. Научный интерес был теперь ориентирован как бы вовне, в сферы общественных проблем и перемен. Иллюзия долгожданной общественной востребованности, захватившая тогдашнюю демократически-интеллигентскую среду, оказала сильнейшее влияние на круги и кружки социальных исследователей — особенно тех, кто переживал взлеты и крушения надежд предыдущего времени. Как и всякая иллюзия, она сыграла роль движущей силы, в частности стимулировавшей развитие исследовательских интересов и проектов, и в то же время в определенной мере этот интерес и дезориентировала. Желание видеть успешность и глубину перемен затрудняло анализ сложности происходящих процессов. Кроме того, влияние иллюзий всегда кратковременно, волна общественного разочарования, поднимавшаяся еще в середине 1990-х годов, к концу десятилетия накрыла даже самую увлеченную исследовательскую среду и вынудила ее вновь переоценить стимулы и смыслы собственной деятельности. Переход от позиций «увлечения» к позиции, условно говоря, «наблюдения» остается довольно сложным.

Представления о том, что социальная наука (в данном случае социология общественного мнения) служит интересам общества, — не более чем увлекательная метафора. Конкретная реальность каждого общества — взаимодействие определенных институтов, групп, сообществ, обладающих разными интересами и разными способами их выражения. В условиях резких общественных кризисов и переломов казалось оправданным апеллировать не к наличному, а к «потенциальному» обществу, общественному сознанию, человеку. Условия относительной, хотя бы декларативной стабилизации неизбежно выводят на поверхность вполне конкретных претендентов на роль представителя «общественных интересов» — властные и околовластные группы, различные обслуживающие их организации и т.д. Возникает понятный соблазн подмены общественных интересов сиюминутными запросами одной из таких групп; далеко не все могут ему успешно противостоять.

Другую современную опасность (она же и соблазн) позиции социального исследователя представляет, естественно, приобретающий все более универсальное значение маркетинг. Точнее, присущая маркетингу тенденция подчинять исследовательский интерес конкретным, зримым (или предсказуемым завтрашним) запросам участников потребительского рынка, в том числе социального, политического, идеологического и пр. Эта опасность, пожалуй, сильнее предыдущей.

Столь сложные, осторожно выражаясь, обстоятельства не устраняют позиции объективного исследования (по умолчанию предполагается, что речь идет о «мыслящем», аналитическом исследовании), но делают ее постоянно и напряженно проблематичной. Существуют тенденции изменений, объективно «заряженные» на дальнюю перспективу, выходящую за пределы зрения каких бы то ни было потребителей и заказчиков, и внутренняя логика самого научного исследования, независимая от обстоятельств сегодняшней «затребованности» или, скажем, «нежелательности» каких-то его результатов или целых направлений работы. Когда и какие властные и контролирующие ресурсы группы это признают — вопрос особый и собственно обращенный уже не к исследователям. Это, возможно, один из главных итогов беглого обзора перемен последних лет.

Создавшаяся в последнее время напряженность общественного внимания к перспективам «ближнего» порядка (например, послевыборным или «послепослевыборным» и тому подобным ситуациям, угрозам реставрации) усиливает интерес к более общим или более дальним рубежам.

Как обычно, я ограничиваюсь в предлагаемых размышлениях преимущественно результатами анализа исследований общественно-го мнения. (Если иное не оговорено особо, то в настоящей статье это данные очередной, четвертой волны исследований по программе «Советский человек»; опрос проводился в июле–августе 2003 года, N=2000 человек.)

«Прошлое» и «будущее» как конструкторы

В массовом восприятии текущее, нынешнее время представляется полем конкретных действий и, соответственно, измеряется длительностью таких действий, а также зримых их предпосылок и последствий («вчера» и «завтра» в этом смысле оказываются как бы дополнениями к «сегодняшнему»). Такое поле пересечено множеством разнонаправленных силовых линий, кажется хаотичным, выделяются в нем лишь траектории «своего» поведения. Между тем прошлое как прошедшее, отдаленное от текущих действий, представляется полем каких-то упорядоченных, значимых событий, действий, переживаний и т.д.: социальные силы и персонажи здесь не просто взаимодействуют, но исполняют определенные ролевые функции. В своих истоках структуризация прошлого (или ряда прошлых состояний) мифологична и ритуализована в культовых системах, позднее она оказалась под влиянием фольклора, литературы и идеологии. (В той или иной мере представление прошлых времен и состояний в летописях и исторических сочинениях также идеализировано.) Как и иные подобные конструкторы массового сознания, структуры «прошлого» при всей сложности своего формирования довольно просты и повторяемы.

Но и в социальном восприятии «поля» будущего по определению отсутствуют современные проблемы, человеческие тревоги, поиски, конфликты и пр. Причем это относится как к предельно «позитивному» (утопическому, например), так и к предельно «негативному» будущему апокалиптических антиутопий. Если структуры прошлого как бы задают главные темы массового воображения (а на деле воображение создает эти структуры), то в идеальных порядках будущего эти темы окончательно снимаются. Массовое воображение тем самым заставляет конструируемое им будущее решать «вечные» проблемы прошлого, т.е. проблемы, отнесенные к структурам прошлого. В этом, видимо, основа принципиальной *симметричности* картин прошлого и будущего, которые можно обнаружить в общественном мнении.

Это соображение справедливо не только для конкретных утопических планов, предлагавшихся различными авторами начиная с античности и примерно до конца XIX века, но и для всех вариантов массовых или «авторских» представлений о некоем будущем состоянии общества, лишенном напряженности и проблем (и тем самым, кстати, снимающем с человека ответственность за собственные действия). Недавно завершившийся век покончил как с конструкциями типа идеализированных монастырей и общин (фаланстеров, коммун, хрустальных дворцов, казарм и пр.), так и с надеждами на то, что бурные реки исторического времени рано или поздно впадут в мировой океан всепоглощающего либерализма, эгалитаризма, глобализма, постиндустриализма и т.д. (Никак не лучше и судьба надежд зеркально противоположных, а по сути однотипных — на то, что эти реки потекут вспять, к беспроblemным аркадским идилиям, патриархальной иерархии, «соборному» холопству и пр.) Тенденции XX столетия, наблюдаемые и сейчас, — постоянное умножение и усложнение проблем, которое приходится решать человечеству и человеку на всех направлениях и на всех этапах процессов, которые можно лишь весьма условно именовать прогрессом. Все шаги материального, интеллектуального, социального, глобального продвижения к новым рубежам оказываются как минимум неоднозначными по своим последствиям, создают новые, даже более острые, чем существовавшие ранее, проблемы и коллизии различного масштаба.

С этим, между прочим, связано и очевидное крушение представлений об относительно жесткой детерминирующей зависимости между техническими, научными, производственными, информационными, биомедицинскими и прочими инновациями и решением социальных проблем.

Однако историческая дискредитация самой конструкции идеального, беспроblemного будущего не означает его устранения из массового воображения. Видимо, усложнение проблем человеческого существования — тем более на столь трудных социальных поворотах, как переживаемые, в частности, в российском обществе — стимулируют постоянный возврат массового интереса к изжившим себя моделям.

Поиск «исторической идентичности»

Исследования последних лет обнаруживают значимость исторических координат для национальной самоидентификации россиян.

В разгар перемен и тревог перестройки на первый план в качестве локуса массовой идентификации вышла «малая родина», но с 1994 года приоритет получило *историческое измерение*. К нему несомненно относятся и такие показатели, как «великие люди», «военная мощь», а также традиционные символы (праздники, памятники). отождествление с *современными* структурами (государством) заметно утратило свое значение в переломные годы и лишь отчасти восстановило его в последнее время. Довольно редкой была и апелляция к «передовому строю» как предмету гордости: попытки утвердить в массах новый, послеоктябрьский отсчет исторического времени не увенчались успехом (см. табл. 2).

Таблица 1. «Что в первую очередь связывается у Вас с мыслью о нашем народе?»
(% от числа опрошенных*)

	1989	1994	1999	2003
Наше прошлое, наша история	26	37	48	48
Наша земля, территория, на которой мы живем	12	25	26	32
Родная природа	15	18	18	23
Место, где я родился и вырос	38	41	35	43
Государство, в котором я живу	27	18	19	22
Язык моего народа	22	19	17	19
Великие люди моей национальности	8	10	14	14
Наша военная мощь	2	5	7	8
Вера, религия	3	8	7	8
Знамя, герб, гимн	5	2	3	4
Наше трудолюбие, умение хозяйничать	5	6	10	7
Наши песни, праздники и обычаи	14	17	19	16
Родные могилы, памятники	6	9	7	7
Душевные качества моего народа	14	16	19	15
* 1989 — «Советский человек»-1, N=1250 человек (Россия);				
1994 — «Советский человек»-2, N=3000 человек;				
1999 — «Советский человек»-3, N=2000 человек;				
2003 — «Советский человек»-4.				

Таблица 2. «С какой даты, эпохи, события начинается, по Вашему мнению, история нашей страны?»
(% от числа опрошенных)

С незапамятных времен, «испокон веков»	39
С Киевской Руси	19
С образования русских княжеств	3
С крещения Руси	11
С создания Московского царства	2
С царствования Петра I	10
С Октябрьской революции 1917 года	4
С принятия Декларации о суверенитете РФ (1990)	0
С распада СССР и создания суверенной РФ (1991)	1
С избрания президентом В. Путина	1
Затрудняюсь ответить	10

Наиболее значимы исторические координаты для пожилых (55 лет и старше — 52% упоминаний), для сторонников КПРФ.

«Глубина» реальной массовой исторической памяти невелика и, как видно из материалов исследований (см. ниже табл. 3 и 7), удерживает преимущественно события и лица двух последних веков (XIX и XX): претензия на историческую самоидентификацию обращена преимущественно к «незапамятным», мифологическим временам.

Такое распределение «начальных» ориентиров исторической памяти очевидно свидетельствует о ее *мифологизирующей* функции: необходимости удержать такую систему символических координат, которая сохраняла бы и оправдывала сложившийся набор приоритетов и табу. Значение «реальных» (эмпирически известных) точек отсчета, в том числе современных, как видим, остается минимальным, — несмотря на массовые политические пристрастия последних лет.

«Событийный» контекст исторического сознания

Многолетние наблюдения за состоянием массовой исторической памяти в рамках программы «Советский человек» позволяют судить о вы-

сокой стабильности основных ее параметров — как событийной, так и персонализированной структур.

Таблица 3. Самые значительные события XX века

(% от числа опрошенных*)

	1989	1994	1999	2003
Первая мировая война (1914–1918)	8	19	18	14
Октябрь 1917 года	65	49	49	40
Коллективизация	10	8	6	6
Репрессии 30-х годов	31	18	11	17
Победа в Великой Отечественной войне (1945)	75	73	85	78
Создание социалистического лагеря в Европе		4	5	3
Смерть Сталина (1953)			14	13
XX съезд КПСС (1956)		5	4	4
Полет Ю. Гагарина (1961)	33	32	54	51
Война в Афганистане (1978–1989)	11	24	21	23
Перестройка	24	16	16	21
Чернобыльская катастрофа	36	34	32	35
Падение Берлинской стены, крах социалистического лагеря		6	5	3
«Путч» августа 1991 года		7	6	7
Распад СССР		40	47	42
Реформы Е. Гайдара		6	2	4
События октября 1993 года		7	3	4
Первые многопартийные выборы (1993)		3	1	2
Война в Чечне			24	31
Дефолт (1998)			18	8
Избрание В. Путина президентом (2000)				11

* 1989 — «Советский человек»-2, N=2000 человек; 2003 — «Советский человек»-4.
 век»-1, N=1250 человек; N=3000 человек; 1999 — «Советский человек»-3,
 (Россия); 1994 — «Советский человек»-3,

Распределение оценок событий — которые, собственно, и задают структуру исторического сознания, — как видим, довольно устойчиво, динамика значений сравнительно невелика и объяснима. Наблюдаемые в ряде позиций колебания оценок в 1999 году, отчасти нарушающие общие тенденции, связаны с особенностями момента наблюдения (начало года, непосредственно после тревожных переживаний финансового кризиса 1998 года).

Не лишены интереса «возрастные» особенности восприятия исторических феноменов. Так, по исследованию 2003 года, Первая мировая чаще всего (20% при средней 14%) отмечается самыми молодыми (до 25 лет) — явный признак «школьной» памяти. А октябрь 1917 года вызывает значительно больше внимания в старших группах (40–54 года и старше 55 лет — соответственно 46% и 49%), у молодежи до 25 лет это событие отмечают только 23%; очевидно, в данном случае работает скорее «советская» память, чем «школьная». Для более молодых (до 24 и 25–40 лет) особенно важными оказываются Чернобыль (41% и 37%), войны в Афганистане (27%) и в Чечне (41% и 34%), избрание В. Путина президентом (17% из самых молодых). В старших группах заметно чаще средних значений упоминаются победа 1945 года, смерть Сталина, полет Гагарина, распад СССР. При этом, как видно из таблицы 3, победа 1945 года сохраняет в общественном мнении бесспорный приоритет для всех моментов исследования и для всех групп. Среди других событий только советский космический прорыв конца 50-х, увенчанный полетом Ю. Гагарина, привлекает внимание более половины опрошенных.

Оценки исторических координат массового сознания дополняет распределение мнений о событиях прошлого, которыми гордятся.

Таблица 4. «Что из перечисленного в истории нашей страны вызывает у Вас чувство гордости?»

(% от числа опрошенных*)

	1999	2003
Победа в Великой Отечественной войне	86	87
Ведущая роль страны в освоении космоса	50	59
Достижения российской науки	52	51
Великая русская литература	46	48
Моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость	45	44
Превращение страны после революции в одну из ведущих промышленных держав	42	32
Слава русского оружия	35	35
Великие русские путешественники	33	33
Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока	22	25
Передовой строй, советское бесклассовое общество	14	13
Подвижничество русских святых	10	14
Дух русской волиницы, свободолюбие	12	14
Нравственный авторитет русской интеллигенции	12	11
Перестройка, начало рыночных реформ	2	8
Ничто не вызывает у меня особой гордости	2	2

* 1999 — «Советский человек»-2, N=2000 человек;
2003 — «Советский человек»-4.

За четыре с лишним года распределение «горделивых» оценок почти не изменилось — разве что индустриализация вызывает меньше восторгов, а святые подвижники — больше. Несколько выше оцениваются перемены последних лет.

Таким образом, при подчеркнута нравственном взгляде на исторические феномены, выходящие далеко за рамки XX столетия, центральным (осевым) событием для российского исторического сознания последних лет века оказывается та же победа 1945 года с продолжающими ее научно-космическими успехами 50-х и начала 60-х. Это предмет гордости для всех возрастов, но в наибольшей мере — для старших (87% в группе 40–54 года и 92% у более пожилых). Космические успехи также чаще отмечают в старших возрастах (65% и 61% в группах 40–54 года и старше 55 лет). После 40 лет чаще гордятся также советским строем (22%), терпением и стойкостью русских (48–50%), русской интеллигенцией (12–14%). А чуть более позитивные оценки последнего периода (перестройки и реформ) связаны с позицией младших групп, в которых гордятся этими переменами 10–13%.

Для полноты картины обратимся к объектам «стыдящегося» исторического сознания (см. табл. 5).

Практически без перемен остались масштабы оценок бедности-неустроенности, отставания от Запада, военных поражений. Более остро переживаются грубость нравов, косность, дух рабства, а также репрессии сталинских лет. Заметно изменилось отношение к власти, ее действий реже стыдятся. Бедности и хамства, а также развала СССР чаще всего стыдятся пожилые люди. А отсталости, репрессий, рабского духа — преимущественно в средних возрастных группах.

Центральное событие, своего рода ось не только отечественной, но мировой истории в общественном мнении — победа 1945 года. Ничего сравнимого с этим феноменом в массовой исторической памяти не существует, особенно после того, как поблекли представления об Октябрьской революции 1917 года. Следует отметить некоторые особенности восприятия событий 1945 года в социальной памяти.

Как показывают опросы, преобладающая трактовка войны 1941–1945 годов в общественном мнении вполне совпадает с официально принятой еще со сталинских времен — на первом плане не всемирный масштаб (часть Второй мировой), не антифашистская направленность, а то, что война была «отечественной», т.е. призванной спасти свое государство от враждебных сил. Преобладающее внимание к победоносному окончанию войны вытесняет из массовой памяти трудные вопросы о ее истоках, предвоенной политической ситуации, поражениях и потерях. (Как видно из таблиц 4 и 5, победой гордятся почти 90% опрошенных, а стыдятся поражений — всего 16%.) Российская память о великой военной победе поддерживает представление об успешной конфронтации СССР с внешним миром, между тем как в Европе в связи со Второй мировой войной вспоминают прежде всего о преодолении исторического конфликта и успехах мирного развития.

Таблица 5. «Что вызывает у Вас чувство стыда и огорчения, когда Вы обращаетесь к российской истории XX столетия?»

(% от числа опрошенных*)

	1999	2003
Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности	79	78
Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу	45	52
Разрушение СССР	48	41
Репрессии, террор, выселение народов в 20–50-х годах	34	39
Наша косность, инертность, лень	24	34
Хроническое отставание от Запада	31	32
Наследие крепостничества, дух рабства, привычка людей к подневольному труду	17	23
Военные поражения России	16	16
Ограниченная, некомпетентная, своекорыстная власть	28	20
Гонения на церковь	21	18
Стремление силой навязать свой строй другим странам и народам	15	9
Национальное высокомерие	7	5
Ничто не вызывает у меня особого стыда	1	2

* 1999 — «Советский человек»-2, N=2000 человек; 2003 — «Советский человек»-4.

«Периодическая» структура исторического сознания

Можно обнаружить определенную структурность в массовом восприятии исторических периодов (XX века, более ранние периоды для общественного мнения просто не значимы) (см. табл. 6).

Оценки определенных периодов мало изменяются, диапазон колебаний сравнительно невелик. В разной мере преобладают *позитивные* представления о временах правления царя, Хрущева, Брежнева и, разумеется, Путина. Остаются преимущественно *негативными* оценки периода революции, правления Сталина, Горбачева, Ельцина. Только в самых старших возрастах (55 лет и старше) в 2003 году преобладают положительные оценки революционного и сталинского периодов, а также отрицательные мнения о дореволюционной эпохе. Особенно резок перепад в суждениях о сталинском времени: если в возрасте 40–54 лет соотношение позитивных и негативных его оценок составляет 24:52, то у тех, кому 55 лет и больше, — 48:33.

Стоит остановиться на некоторых особенностях динамики оценок периодов. В качестве наблюдаемого показателя удобно взять простой-

ший индекс — разность между процентами опрошенных, выбравших позитивные и негативные суждения относительно соответствующего периода времени (см. рис. 1).

Таблица 6. «С какой оценкой периодов истории России вы бы скорее согласились: что принесло...»

(% от числа опрошенных*)

	1994	1999	2003
Время Николая II			
Больше хорошего		18	20
Больше плохого		12	16
Ничего особенного		16	17
Затрудняюсь ответить		55	47
Время революции			
Больше хорошего	27	28	28
Больше плохого	38	36	39
Ничего особенного	7	5	6
Затрудняюсь ответить	28	30	27
Время Сталина			
Больше хорошего	18	26	29
Больше плохого	57	48	47
Ничего особенного	5	4	4
Затрудняюсь ответить	20	22	21
Время Хрущева			
Больше хорошего	33	30	28
Больше плохого	14	14	25
Ничего особенного	33	32	24
Затрудняюсь ответить	21	24	22
Время Брежнева			
Больше хорошего	36	51	47
Больше плохого	16	10	15
Ничего особенного	33	25	22
Затрудняюсь ответить	16	15	15
Время Горбачева			
Больше хорошего	16	9	14
Больше плохого	47	61	60
Ничего особенного	17	16	15
Затрудняюсь ответить	20	14	12
Время Ельцина			
Больше хорошего		5	10
Больше плохого		72	63
Ничего особенного		13	17
Затрудняюсь ответить		10	9
Время Путина			
Больше хорошего			51
Больше плохого			9
Ничего особенного			21
Затрудняюсь ответить			19

* 1994 — «Советский человек»-2, N=3000 человек;

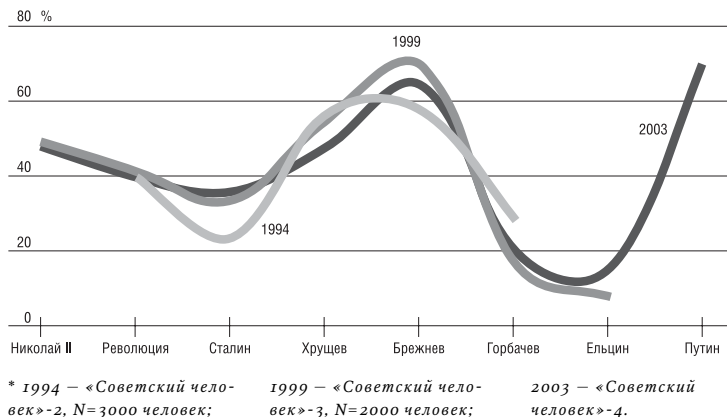
1999 — «Советский человек»-3, N=2000 человек;

2003 — «Советский человек»-4.

Если принять во внимание уже упоминавшуюся специфику ответов 1999 года (настроения после дефолта), то можно обнаружить только одну явно выраженную тенденцию: последовательное *уменьшение частоты отрицательных оценок сталинского времени*. Видимо, с этим связано ухудшение мнений о времени Хрущева, первого официального критика сталинизма. Некоторое уменьшение доли негативных оценок периодов правления Горбачева и Ельцина в 2003 году по сравнению с предшествующей волной исследования, скорее всего, объясняется преувеличенно паническими настроениями начала 1999 года.

Рисунок 1. Индексы оценок исторических периодов XX века

(разность между числом опрошенных*, выбравших позитивные и негативные суждения относительно соответствующего периода времени, %)



Наиболее позитивными представляются общественному мнению эпохи, носящие стабилизационный характер (на языке французских исторических аналогий — «термидорианский»), — периоды правления Брежнева и Путина. Кстати, индекс оценок последнего периода в 2003 году практически точно воспроизводит соответствующий показатель оценок времени Брежнева через призму панического 1999 года.

Может возникнуть недоумение: почему сочетаются как будто усиливающееся чувство стыда и огорчения из-за сталинских репрессий (см. табл. 5) и слабеющий негативизм в отношении этой эпохи? Но если обойти тот же 1999 год, когда в дефолте винули реформы 90-х, оказывается, что репрессиям сохраняется примерно на одном уровне. Те, у кого террор 20–50-х вызывает стыд и огорчение, заметно хуже судят о сталинском времени (индекс –34 при средней величине –18). Но память о злосчастной войне в Афганистане практически не влияет на оценки эпохи Брежнева. А среди отметивших чеченскую войну как одно из важнейших событий XX века оценки периода правления Путина даже несколько выше средних.

Видимо, это означает, что со временем — если не действуют особые факторы актуализации — память о мрачных сторонах определенного периода как бы обесцвечивается, утрачивает непосредственное политическое и нравственное значение, превращаясь в простую историческую «метку». Так происходит с памятью об афганской аванюре, об оккупации Чехословакии в 1968 году. Но это не относится ко все еще «живой», политически и нравственно значимой памяти о сталинизме, которая остается полем острой современной конфронтации сил и принципиальных позиций. Что же касается оценок разных сторон современной действительности (т.е. периода действующего президента), то они пока существуют вне замкнутого контекста, как бы вне взаимной связи, ибо, как сказано было некогда, «довлеет днєви злѡба єго»; сведенные воедино оценки прошедших эпох и исторических деятелей остаются уделом последующего времени.

На рисунке 1 видно, что линии оценок исторических периодов во всех трех исследованиях волнообразны, по форме напоминают синусоиды, означающие чередование преобладания позитивных и негатив-

ных суждений. Известная особенность отечественной истории минувшего сложного века состоит в том, что практически каждая следующая эпоха (ее лидеры, идеологемы, ее массовое сознание) отрицает эпоху предыдущую, обвиняя ее деятелей во всех возможных грехах (что не мешает преемственности стиля и методов управления, подчинения, осмысления и пр.). И ищет аналогий в «позапрошлой» эпохе, отринутой непосредственно прошлой. Так при Сталине искали опору в патриотической монархии, при Хрущеве — в досталинском революционаризме, при Брежневе вновь обращались к сталинским образцам, при Горбачеве реабилитировали «оттепель», а в постперестроечные времена все чаще и на всех уровнях с тоской вспоминают «застойную» стабилизацию. В каждом случае не происходит ни реального возврата «позапрошлого», ни превращения его в предмет исследовательского внимания, скорее имеет место попытка конструирования сугубо утилитарных социальных мифологем.

Рамки исторической персонализации

Еще одна — и весьма важная — рамка структурирования исторического времени определяется набором действующих лиц, сохраняющих значение для массового сознания. Наглядное подтверждение — список «самых выдающихся» людей, составляемый респондентами в каждой волне исследований по программе «Советский человек».

Как состав, так и динамика списка представляют предмет для содержательного исследовательского интереса.

«Голова» списка (собственно, первый десяток имен) почти не подвержена изменениям. Правда, после 1989 года по понятным причинам из фокуса исторического внимания полностью исчезают фамилии основателей марксистского учения и уходит на задний план инициатор перестройки. Первые две строки списка занимают создатели империй — российской и советской. (Как было видно из предыдущего изложения — см. таблицу 6 — период революции оценивается скорее негативно, но главное лицо этого периода, В. Ленин, сохраняет позиции в общественном сознании прежде всего как государственный деятель.) На последующих строках — главные для сегодняшнего общественного мнения имена-символы отечественной культуры, науки и военных (в том числе космических — Гагарин, Королев, Циолковский) успехов.

Характерны траектории популярности (упоминаемости) ряда имен и выраженных ими символических функций в рассматриваемых списках.

В 1989 году К. Маркс собирал 40% опрошенных, в 1994-м — 6%, в 1999-м — 5%, в 2003-м — 4%. Идеологическая оболочка советской державности оказалась предельно слабой, способной разрушиться и почти полностью утратить свое значение, — притом что сама державность, напротив, демонстрирует свою живучесть.

В то же время от волны к волне исследования растет значение Сталина: 11% — 28% — 35% — 40%... Это несомненно связано с ростом всего «державного» компонента массового сознания и угасанием попыток как-то преодолеть наследие жесточайшей диктатуры.

Второй раз за все время работы над исследовательской программой «Советский человек» в списке самых выдающихся людей по-

является — и почти на том же уровне популярности — фамилия действующего лидера (в 1989 году у Горбачева 8-е место и 18%, в 2003 году у Путина 7-е место и 21%).

Таблица 7. «Назовите десять самых выдающихся людей всех времен и народов»
(% от числа опрошенных*)

№	1989	1994	1999	2003				
1	Ленин	77	Петр I	56	Петр I	45	Ленин	43
2	Маркс	40	Ленин	46	Ленин	42	Петр I	43
3	Петр I	39	Пушкин	31	Пушкин	42	Сталин	40
4	Пушкин	25	Сталин	28	Сталин	35	Пушкин	39
5	Ломоносов	22	Суворов	24	Гагарин	26	Гагарин	33
6	Жуков	21	Жуков	19	Жуков	20	Жуков	22
7	Суворов	19	Наполеон	19	Наполеон	19	Путин	21
8	Горбачев	18	Ломоносов	19	Суворов	18	Ломоносов	17
9	Гагарин	18	Сахаров	17	Ломоносов	18	Суворов	16
10	Энгельс	17	Кутузов	16	Менделеев	12	Менделеев	13
11	Толстой	15	Екатерина II	14	Толстой	12	Наполеон	13
12	Менделеев	15	Толстой	11	Кутузов	11	Толстой	12
13	Циолковский	14	Гагарин	11	Екатерина II	10	Брежнев	12
14	Сталин	11	Горбачев	10	Королев	9	Гитлер	11
15	Королев	10	Александр Македонский	10	Лермонтов	9	Королев	11
16	Дзержинский	10	Гитлер	9	Сахаров	8	Екатерина II	11
17	Эйнштейн	10	Брежнев	8	Брежнев	8	Кутузов	10
18	Кутузов	10	Солженицын	8	Гитлер	7	Лермонтов	10
19	Дарвин	8	Менделеев	8	Чайковский	7	Сахаров	9
20	Павлов	8	Столыпин	8	Эйнштейн	6	Горбачев	8
21	Ньютон	7	Николай II	7	Александр Македонский	5	Эйнштейн	7
22	Наполеон	7	Лермонтов	7	Маркс	5	Циолковский	6
23	Александр Македонский	6	Хрущев	7	Циолковский	5	Александр Македонский	6
24	Горький	5	Чайковский	7	Александр Невский	5	Ньютон	6
25	Чайковский	5	Александр Невский	7	Ньютон	4	Есенин	5
26	Лермонтов	4	Маркс	6	Иван IV	4	Чайковский	5
27	Гитлер	3	Королев	6	Рузвельт	4	Иван IV	5
		Юлий Цезарь	5	Горбачев	4	Хрущев	5	
						Маркс	4	

* 1989 — «Советский человек»-1, N=1250 человек; 1994 — «Советский человек»-2, N=3000 человек; 1999 — «Советский человек»-3, N=2000 человек; 2003 — «Советский человек»-4.

И, разумеется, никак не обойти вниманием весьма показательную динамику популярности другого персонажа: Гитлера в 1989 году назвали самым выдающимся менее 3%, в 1994-м — 9%, в 1999-м — 7%, в 2003-м — 11%.

Отметим некоторые особенности «групповых» характеристик массового выбора в последней волне исследования в 2003 году. Имя Ленина называют преимущественно люди старших возрастов — 53% в группе старше 55 лет и только 36% среди самых молодых (при средней частоте 43%). Имя Сталина наиболее популярно среди старших (54%), менее всего — в младшем рабочем возрасте (25–40 лет) — 32%, в самой молодой группе интерес к нему заметно выше (38%). А императора Петра чаще указывают в двух младших группах (48% и 46%), чем в старших (44%, 35%): похоже, что это признак «книжной» или «экранной» массовой памяти. Ю. Гагарин — герой преимущественно

молодежный (космос, наука), а Г. Жуков — «ветеранский». Как Пушкина, так и Путина скорее предпочитают более молодые, в первом случае действует, видимо, школьная память, во втором — современные политические пристрастия.

Имя Гитлера чаще (18%) называют самые молодые, до 25 лет, реже (по 11%) — в возрасте от 25 до 55 лет, совсем редко (5%) — те, кому за 55, т.е. находящиеся в зоне влияния «военной» памяти.

Примечательно, что избравшие В. Путина чаще среднего включают в список также Брежнева — 21% (при среднем 12%), Гагарина — 40% (33%), Горбачева — 18% (8%). Частота упоминаний Ленина, Сталина мало отличается в этом случае от средних значений, а Петр I назван даже реже среднего — 38% (43%). А включившие в список Сталина обнаруживают также повышенное внимание к Ленину (70%), Брежневу (18%), Гагарину (40%) и... Гитлеру (18%, при средней 11%). Те же, кто счел самым выдающимся Гитлера, заметно чаще назвали Сталина (69%), Ленина (53%), Петра I (47%), Ивана Грозного (10%), а также Горбачева (13%). Подобные сочетания предпочтений кажутся неожиданными и невероятными в плане идеологическом — который здесь, скорее всего, большого значения не имеет, — но могут быть понятными, если на первый план выступает реальное или воображаемое сходство признаков «державности», «жесткости», «решительных мер» и т.п.

В общем и целом «персональные» рамки массового исторического сознания, как и следовало ожидать, вполне соответствуют рассмотренным выше рамкам «событийным».

Уроки и смыслы исторического сознания

По известному выражению Гегеля, единственное, чему учит история, — это тому, что люди не умеют извлекать из нее уроков. Он имел в виду «истинную», разумную историю и тех, кто ее творит, — правителей, воителей. Если же спуститься на уровень действующего исторического сознания — будь оно элитарно-политическим или массовым, — то оказывается, что именно исторические конструкции постоянно служат важнейшим средством социального, даже социально-политического самоутверждения и социально-политического воспитания. Поэтому представление исторических рамок (в литературе, преподавании и пр.) неизменно оказывалось полем жесточайших конфронтаций, цензурных запретов, ухищрений и лицемерия, сознательного и скрытого.

Как хорошо известно, с достаточно давних времен власти предержащие, особенно те, которые нуждались в единомысленном послушании подданных, стремились добиться того, чтобы историческая идентификация недвусмысленно служила оправданию наличного порядка и актуальной политики¹. Наведение «идеологической дисциплины» в советский период предполагало многократные «зачистки» исторического прошлого, переоценки событий и деятелей, а вместе с тем и ученых авторитетов, учебников и пр. (Пародийное отображение таких процедур — одна из главных тем «Фермы животных» Дж. Оруэлл.) История «с историей», однако, имеет склонность продолжаться — по меньшей мере в виде имитации. Свежим примером может служить недавно

1

Известный французский автор передает летописный рассказ о том, как жестоко были наказаны первым китайским императором Цинь Ши-хуанди ученые, которые «копались в прошлом, ища доводов, способных опорочить настоящее и смутить народ» (*Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное*. М., 2003. С. 107).

(с конца 2003 года) начата чистка школьных учебников от «псевдолиберальной» крамолы, от «очернения» отечественного прошлого и — что, видимо, главное — от сомнений в достоинствах нынешних властей. Безальтернативная политическая ситуация нуждается в соответствующем представлении истории.

Прямой поддержки в сегодняшнем общественном мнении подобные устремления как будто пока не находят.

Таблица 8. «Какая из точек зрения Вам ближе?»

(% от числа опрошенных)

Важно прежде всего знать об успехах, героях нашей истории, чтобы люди уважали собственное прошлое, и не нужно слишком много говорить о наших ошибках и неудачах	21
Нужно знать всю историческую правду, даже самую тяжелую, чтобы не повторять ошибок и неудач прошлых времен	72
Затрудняюсь ответить	7

Как и следовало ожидать, в наибольшей мере склонны знать «всю правду» более молодые, образованные и демократически настроенные. Но распределения мнений в различных социальных и политических группах, в принципе, довольно близки. Так, если у молодежи до 25 лет соотношение вышеприведенных суждений составляет 20:73, то у пожилых (старше 55 лет) — 26:65, у высокообразованных — 18:78, у малообразованных — 24:65, в электорате СПС — 15:82, у сторонников КПРФ — 29:64.

Оценивать такие мнения приходится с неизбежными оговорками: мы видим, что общественное мнение само по себе сплошь и рядом не обладает способностью противостоять прикрытому давлению, тем более если это последнее подкреплено, например, авторитетом популярного политического деятеля. Большинство не приемлет цензуру, но готово согласиться с государственным контролем СМИ, не одобряет диктатуры, но не может возражать «управляемой демократии», — и уж тем более не способно противостоять переписыванию исторических стандартов. Особенно если это делается под видом возвращения к привычным, давно устоявшимся образцам.

К таким образцам, как уже отмечалось, несомненно относится и установка на изоляцию и противопоставление собственной страны остальному миру — под каким бы предлогом или идеологическим «соусом» это блюдо ни подавалось. В этой точке предельно сближаются официальные и массовые позиции, а чаще всего — еще и примыкающие к ним обеим интеллигентски-элитарные концепции.

Таблица 9. «Включаться в мировую культуру или бороться с чуждым влиянием? С каким из суждений Вы бы скорее могли согласиться?»

(% от числа опрошенных*)

	1999	2003
России нужно активно включаться в мировую культуру, ориентироваться на западные стандарты жизни	23	25
России нужно бороться с чуждыми русскому народу западными влияниями, возродить самобытный уклад жизни русского народа	58	49
Затруднились ответить	19	26

* 1999 — «Советский человек»-3, N=2000 человек; 2003 — «Советский человек»-4.

Некоторые подвиги заметны, но невелики; «бороться» с чуждыми влияниями готовы вдвое чаще, чем «включаться» в мир. Причем только самые молодые (до 25 лет) предпочитают первый вариант (40:36), в других возрастных группах соотношение меняется в пользу готовых «бороться», достигая у тех, кому 55 лет и старше, 11:63. Среди высокообразованных такая пропорция составляет 26:49 (т.е. не отличается от средней!), у имеющих среднее образование — 22:52, у малообразованных — 20:52.

А возвращения России «статуса великой, уважаемой державы» ждали от будущего президента в январе 2000 года 55% опрошенных, а в январе 2004 года — 58%, сближения с Западом — в 2000 году 8% опрошенных, в 2004-м — 7%. Причем среди имеющих высшее образование процент ждущих восстановления статуса великой державы выше среднего, а ожидающих сближения с Западом — ниже среднего (опрашивалось по 1600 человек).

Когда перед респондентами (в последней волне по программе «Советский человек») был поставлен вопрос, от чего России стоило бы избавиться, оказалось, что 18% указало на «неуважение к собственному прошлому», 14% — «подражание чуждым образцам жизни», и только 3% выразили мнение, что избавляться нужно от «попыток противопоставить себя всему остальному миру», еще 4% — «от претензий на главную роль в мире» (подавляющее большинство избрало такие варианты ответов, как «нищета», «пьянство», «беспорядок в жизни», «лень» и пр.).

По всей видимости, только в редкие и недолгие периоды отечественной истории суммирование лозунгов великой державы и «великого противостояния» остальному миру служило наступательной политике и идеологии — где-то в эпоху Екатерины II и после Второй мировой войны, в конце 40-х и в конце 50-х годов прошлого века. Во все прочие времена, тем более в нынешние, идеи великодержавного противостояния — это идеи «оборонительного» изоляционизма (если не просто капитулантского, поскольку шансов на успех они не имеют).

Давно стало ясно, что простого и легкого пути «в мир», в Европу у России нет, что экономическая, социальная и политическая «плата» за реальное вступление страны в мировое сообщество будет весьма высокой. Да и само такое вступление, если оно произойдет — не в одночасье, а в результате ряда долгих и мучительно-сложных процессов, — скорых выгод бывшей великой империи не сулит. Если у каких-то наивных либералов в конце 80-х и были иллюзии легкого и приятного превращения страны в «нормальную» державу, то они давно развеяны ходом событий — и динамикой социальных настроений тоже. «Западный» (точнее, общемировой и в этом смысле «глобальный») путь означает для России лишь трудный и длительный — рассчитанный на десятилетия и поколения — путь развития современной экономики, современного государства и современной демократии.

От «догоняющей модернизации» России, как и большинству стран мира, спрятаться некуда. Вопрос в том, насколько рациональным и эффективным — или, напротив, насколько мучительным и нерациональным — может быть такой процесс. В конечном счете, насколько это можно видеть сегодня, он ведет к формированию некоего единого и в то же время *многообразного* мира. Иной вариант — всестороннее, более или менее привычное загнивание страны под прикрытием отработан-

ных лозунгов «самобытности» (на деле — повторения известных истории образцов разложения в социетальном масштабе). Первый из них требует огромного и целенаправленного напряжения сил, активной роли правящих и интеллектуальных элит. Второй вариант, напротив, в особых усилиях не нуждается, поскольку опирается на исторически заданную инерцию, на энтропию распада. Поэтому он и выходит на передний план на любом трудном повороте событий. Поэтому и сохраняется порочный круг противостояния-изоляции. И постоянно воспроизводится привычный механизм конфронтации страны с миром и временем. Отсюда и «извечное» стремление придать значение вечным символам врага, жертвы, героя, вождя и прочей атрибутике мифологических конструкций будущего-прошлого.

В определенной, хотя и ограниченной мере роль движущей, «толкающей» силы для современной России исполняют внешние влияния, обусловленные существующей системой ее связей с мировым рынком и мировой политикой. Они шаг за шагом размыывают, обесценивают барьеры изоляционизма и косности, но не создают стимулов для самостоятельного, стимулируемого изнутри развития.

Создается впечатление, что в сегодняшней России нет сил, способных разорвать порочный круг «вечного возвращения» к беспомощному противостоянию. Как мы видим, преобладающая часть социальной и интеллектуальной элиты склонна скорее оправдывать этот круг, чем искать способы разорвать его. Большая часть современных публикаций о «путях» России исполнена ламентаций об утраченном счастливом прошлом, осуждений «Запада» и «западников». Голосов другой стороны практически не слышно. Историческая проблема — надолго, может быть, на несколько поколений — в том, чтобы эта сторона смогла определиться и представить обществу варианты выхода из «инерционного» тупика.

Свобода от выбора?

Постэлекторальные сопоставления

Ситуация в российском обществе после выборов 2003–2004 годов требует обстоятельного социологического анализа в нескольких аспектах. Электоральные кампании, как будто не принеся неожиданных изменений в государственных институтах, в высшей степени интересны именно в социологическом плане, поскольку выявляют складывающиеся за последние годы механизмы функционирования и поддержки властных структур, унификации политического поля и лидерства, использования массовых ожиданий и пр., — вплоть до общественной атмосферы околполитических интриг и манипуляций. Тем более что в данном случае на передний план вышла (роковая для всех общественно-политических образований отечественного XX века) проблема преемственности этих механизмов и структур на перспективу, скорее всего, намного превышающую очередной избирательный цикл. Впервые почти за 20 лет как официальные установки, так и массовые ожидания концентрируются не вокруг перемен, а вокруг сохранения как будто достигнутого уровня общественной стабильности (в предыдущем цикле 1999–2000 годов имелось в виду скорее *достижение* такого — по-разному понимаемого — состояния). Поэтому чем менее интересными в «количественном» плане оказались минувшие электоральные кампании, тем важнее их «качественные» стороны, атмосфера, значение, непосредственные и отдаленные последствия.

«Бегство» — от чего? Об одном банальном недоразумении

В известной книге Э. Фромм представлял готовность некоторых европейских народов в XX веке отказаться от демократических свобод в пользу жесткого тоталитаризма как «бегство от свободы»¹. Подобная тема часто звучит в современных дискуссиях относительно характера общественно-политических переломов в России с конца 90-х годов. К сожалению, в содержании и тоне многих из них небезопасные банальности часто подменяют серьезный анализ происходящего. На сетования по поводу утраты (ограничения, зажима) свобод и надежд перестроечных лет как будто резонно отвечают ссылками на то, что в России никогда и не было подлинных демократических институтов, свобод и прав человека, — а потому, собственно, и «бежать» не от чего, и жалеть не о чем. Подобные доводы в последнее время используются в официальных декларациях высокого уровня для отпора либеральной и западной критике при оправдании мер по «упорядочению» политического и информационного поля.

Между тем такие приемы аргументации не просто банальны. Очевидно, что ни в какие моменты своей истории российское общество не приближалось к идеалам подлинной, развитой, устойчивой и т.д. демократии с ее атрибутами. Столь же очевидно, что и в любых обществен-

1
См.: Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1989.

ных системах, имеющих давние демократические традиции, легко обнаружить множество несовершенств и отступлений от демократических принципов (что всегда давало поводы для аргументации типа «сама такая»). Когда речь идет о столь сложных и непросто прививаемых институтах как демократия со всеми ее атрибутами и производными, мало что можно объяснить или понять с помощью формул «да — да, нет — нет, прочее от лукавого». Демократия прежде всего — не состояние, а *процесс* утверждения и защиты определенных институтов и принципов в постоянной, не всегда юридически закреплённой, борьбе с нарушениями или отступлениями от таковых. Мы (страна, общество) не попали в царство демократии с провозглашением политических и гражданских свобод, но «только» — притом не слишком твердо, не слишком осознанно — вступили на долгий и трудный *путь* формирования демократических порядков, *поиска* способов их укоренения на отечественной почве. Этим шагом ознаменован весь исторический — по любым меркам — поворот конца 80-х. И именно он оказывается под угрозой в условиях «упорядочения».

Здесь мы вновь попадаем в паутину тривиальных и глубоко фальшивых суждений: де, после напора всегда происходит откат, за подъемом следует спад, за переворотом — какая-то реставрация, за ускорением — замедление, за революционным хаосом — термидор, «Пиночет», наведение «порядка» и т.д. и т.п. Подобные банальности бессодержательны, потому что аналогии с пульсарами ничего не объясняют, и опасны, потому что превращаются в оправдание, в легитимацию *любого* поворота вспять. Чтобы перейти от декларативных банальностей к анализу, нужно принять во внимание «структуру» происходящих событий (при каких условиях, чьими усилиями, при какой поддержке, при каком сопротивлении, с какой эффективностью и пр. осуществляются данные «накаты» и «откаты»...).

Фантом «авторитарной модернизации»

Лозунг «авторитарной модернизации» стал в последнее время главным оправданием для торжествующей партии власти — за отсутствием иных идей — и главным утешением для разочарованных демократов. Отчаявшись в собственных силах, не видя перспективы — и не желая всерьез оценить ни собственный (страны) исторический опыт, ни современную социальную реальность, — они соединяют голоса в нестройном хоре надежд на твердую руку власти, которая будто бы только и способна двигать общество по желанному пути современной или европейской модернизации.

Реальные возможности «авторитарной модернизации» всегда были ограничены. Отечественный опыт XVIII–XX веков показал, что властные стимулы были пригодны преимущественно для наведения современного лоска на архаичные институты и для внедрения некоторых технических элементов модернизации (ВПК, инфраструктура), — без соответствующей институциональной опоры, в том числе без обеспечения прав и без формирования *интересов* человека как субъекта модернизационного процесса; главным носителем модернизаторских стимулов неизбежно оставалась коррумпированная бюрократия. Уродливость результатов, достигаемых таким образом, наиболее наглядно

демонстрирована в ходе крупнейшего по историческим масштабам, «советского» эксперимента (архаизирующей или традиционализирующей) модернизации — самой неэффективной, самой «затратной» (прежде всего в смысле расходования человеческих и моральных ресурсов общества). Об этом достаточно много и серьезно написано в последнее время.

В конкретных сегодняшних условиях лозунг авторитарной модернизации означает попытку загнать под колпак государственного регулирования едва высвободившуюся от него инициативу бизнеса, граждан, политических и региональных субъектов. На любом сложном историческом повороте отечественной истории авторитарные (а точнее — тоталитарные, архаичные, насильственные) модели изменений выступают на передний план не потому, что они эффективны, и даже не потому, что за ними стоят мощные организованные силы, а потому, что они наиболее просты и «привычны» (для людей, для власти и прочих социальных институтов, т.е. и «сверху», и «снизу»). Чтобы скатываться «вниз» — во всех смыслах этого термина, — требуется меньше усилий, чем для того, чтобы карабкаться «вверх», к более сложным образцам общественной организации. Вариант архаичной модернизации проще, доступнее, он как бы всегда под рукой и легко становится привлекательным, когда более сложные варианты оказываются слишком трудными и не приносят немедленных плодов.

До сих пор половина россиян (49%) полагает, что путь развития, по которому движется страна после 1985 года, ей «искусственно навязан», лишь 37% опрошенных считают этот процесс «естественным и неизбежным». Как обычно, разделителем служит возрастной рубеж 40 лет и уровень высшего образования (январь 2004 года, N=1600 человек). Возврат к «брежневским» временам готов одобрить 41% опрошенных, но вероятным его считают не более 5% (март 2004 года, N=1600 человек).

Четыре ситуации — четыре типа президентских выборов

Каждая ситуация выборов президента в России (1991, 1996, 2000 и 2004 годов) оказывалась уникальной, если принимать во внимание не просто цифры голосующих и отказывающихся это делать, а характер общественно-политического выбора, надежд, явного и скрытого противостояния сил.

Первые выборы, принесшие Б. Ельцину пост Президента РСФСР в составе Союза, носили преимущественно демонстративный, символический характер. Они означали не перераспределение власти, но лишь выбор между согласием и отказом поддержать еще существовавшие институциональные механизмы партийно-советского государства. В этом смысле президентские выборы 1991 года продолжали традицию протопарламентских кампаний 1989–1990-х годов (выборы союзного и российского съезда депутатов). Об эмоциональной атмосфере тех дней свидетельствуют данные опроса, проходившего в июле 1991 года: 82% выражали доверие Б. Ельцину (в том числе 56% — полное доверие), 58% — М. Горбачеву (полное — 15%). Выбор происходил между повсеместно и шумно осуждаемой, но еще реально действующей традицией советского прошлого и крайне расплывчатым образом некоего условно

«демократического» будущего; вторая перспектива привлекала широкий спектр общественных симпатий — от либеральной («перестроечной») номенклатуры до радикальных демократов, патриотов, национал-демократов и др. Тогда эти выборы воспринимались как самые маловажные, а возможно, потому и как самые свободные; угрозы военно-политического реванша уже были обозначены, но казались далекими, как и перспективы получения российским президентом реальных властных полномочий.

Историческая уникальность этих выборов (точнее, всей электроальной «серии» 1989–1991 годов) в том, что они выражали крушение партийно-советской государственной системы (69% опрошенных признавали, что компартия дискредитировала себя), притом что все официальные ее институты как будто сохранялись. К середине 1991 года, правда, были уже отменены цензура и пресловутая статья 6 Конституции СССР, что оформляло гласность и политический плюрализм; но нараставший вакуум власти фактически оставался незаполненным.

Совершенно иную картину представляли тяжелейшие, вымученные *вторые* президентские выборы 1996 года. Формально выбор предстоял между непрочной, во многом скомпрометировавшей себя президентской властью, придерживавшейся курса радикальных реформ и антикоммунизма, и «красным реваншем». Массовую поддержку власть утратила из-за неспособности защитить большинство населения в ходе реформ, поддержку демократически настроенной интеллигенции — из-за все более явного «державного» уклона, чеченской войны и кровавых разборок с Верховным Советом в 1993 году. Общее доверие к Б. Ельцину к моменту выборов в июне 1996 года сохраняли 41% опрошенных (полное — только 9%). Опросы февраля–марта показывали минимальную — хотя все же существовавшую — возможность действующего президента законно сохранить власть. Как позже стало известно, Б. Ельцин готовился тогда сорвать выборы, прибегнув к опасной политической провокации. Поэтому *реальным* был выбор между различными вариантами сохранения существующего режима.

Важнейшим фактором массового выбора оказался принцип «наименьшего» (или «более привычного») зла, давший президенту некоторый перевес уже в первом туре, в обстановке искусственно раздутой конфронтации с кандидатом коммунистов Г. Зюгановым. Во втором туре пошли в ход административный ресурс и «политтехнологические» средства (внезапное изменение симпатий татарских избирателей, интригующий «перехват» электората А. Лебеда президентскими силами). Решающим доводом для двух третей из голосовавших за Б. Ельцина послужило представление о том, что «иного выбора не существует» (июнь 1996 года, N=1600 человек). Предпринятая между двумя турами выборов отчаянная попытка радикально изменить окружение Б. Ельцина в пользу реформаторов (А. Чубайса) довольно скоро оказалась неудачной. До конца своего правления первый российский президент не слишком успешно балансировал между «силовиками» и «демократами», державниками и реформаторами. В этой обстановке власть лишалась политической определенности, приобретая все более выраженный административный, «распределительный» смысл; одним из признаков такой трансформации явилось превращение президентской канцелярии (Администрации) в главный институт власти. Б. Ельцин сохранил

власть на второй срок, отказавшись от роли радикального демократа, которую он — скорее по карьерным, чем по идейным мотивам — должен был исполнять в конце 80-х и начале 90-х годов.

Третьи президентские выборы (первые «путинские»), выборы 2000 года, проходили при фактически полной смене политических декораций и самого смысла электорального действия. Выбирали не политический курс, не лозунги и не эмоциональные симпатии, а *стиль* правления. Выбирали не «наследника», а скорее «могильщика» стиля предыдущего президента. Причем выбирали практически без сопротивления, поскольку главный оппонент (стиль предыдущего правления) фактически утратил влияние до начала формальной электоральной кампании. По-военному исполнительный функционер, лишенный политического лица (или профессионально его прячущий), оказался наиболее удобным и для всех групп правящей бюрократии, и для массовых надежд. Принципиальное отсутствие собственной программы долго позволяло команде В. Путина интриговать попеременно с «левыми» и «правыми» или против тех и других, поддерживая видимость симпатии противоположным программам, точнее, массовым ожиданиям. Основной интригой тех месяцев (реализованной еще перед думскими выборами декабря 1999 года) стал разгром, а потом и поглощение наспех созданной партией власти конкурировавшей группы Ю. Лужкова — Е. Примакова, а тем самым — устранение серьезных персональных альтернатив на президентских выборах. Тем самым впервые за постсоветские годы была реализована модель «выборов без альтернативы». Попытки сопротивления этой модели (в том числе через СМИ) оказались неудачными.

Сейчас очевидно, что одним из основных результатов первого президентского срока В. Путина явилась фактическая *деполитизация политического пространства* в стране. Административный стиль правления и соответствующий ему аппарат распределяет материальные и властные ресурсы, а не отстаивает какие-либо идеи; он способен подорвать основы политического плюрализма, просто отбирая идеи у «правых» и «левых», у «патриотов» и «западников», — и присваивая себе реальные или мнимые достижения в их реализации, будь то повышение пенсий, развитие отношений с Западом и т.д.

Примечательные показатели: оценивая качества, которые требуются от президента, в 2000 году наши респонденты на первое место поставили «ум, интеллект» (66%), и только 8% отметили необходимость «идейной убежденности»; в 2004 году аналогичные показатели изменились незначительно — соответственно 69% и 11%. Рассматриваемые вне «идейности» интеллектуальные качества сводятся к тому качеству ума, которое греческие философы называли «технэ», «ловкостью». (Управление «течением мыслей», о котором некогда писали поэты, явно не востребовано...)

Четвертые президентские выборы (вторые «путинские», 2004 год) вывели на поверхность многие скрытые пружины и механизмы этого стиля правления. К выборам власть пришла не столько с крупными «материальными» достижениями в разных областях жизни общества (об этом — несколько позже), сколько с демонстративными успехами самого стиля и механизма административного управления страной. При достигнутом уровне консолидации правящих элит переизбранию В. Путина на следующий срок реально могла помешать лишь низкая явка избирателей

(для противодействия этой угрозе в предвыборные дни были мобилизованы, как известно, все возможные ресурсы влияния на электорат). Несколько неожиданный для наблюдателей и исследователей разгром «левых» (КПРФ) на думских выборах декабря 2003 года одновременно с неудачами «правых» (демократов) явился, по сути дела, побочным результатом перемен, произошедших на российском политическом пространстве (деполитизация, «технологизация») за последние годы. Собственно политические проблемы оказались сдвинутыми на периферию электоральных коллизий, в значительной мере сводились к серии интриг и потаенных спецопераций, смысл которых остался неизвестным ни политикам, ни избирателям (это относится к разнорядковым по масштабу ситуациям, фигурантами которых по очереди оказывались И. Рыбкин, М. Касьянов, М. Фрадков, С. Глазьев и т.п.).

Как и ожидалось, главной, «большой» интригой выборов стала *сверхзадача обеспечения преемственности власти* на перспективу следующего электорального цикла (к 2008 году) или даже далее. Известно, что ни один режим из существовавших в стране за последнее столетие не был способен справиться с такой задачей, каждая смена «караула» на вершине выглядела как отрицание действий и деятелей непосредственно предшествующего периода. События предвыборных недель (особенно с отставкой правительства) показали доминирующую озабоченность правящих структур созданием механизма плавной, неконфронтационной преемственности. Можно полагать, что компонентами такого процесса, с которыми обществу, видимо, предстоит познакомиться в недалеком будущем, станут не только подбор и утверждение кандидатуры подходящего «наследника», но и формирование механизма его поддержки (партии и прочих структур власти), устранение возможных конкурентов, определение неких «кондиций» верховной власти со своими спонсорами и т.д. Но уже то, что на первый план задолго до следующего избирательного цикла выходит проблема преемственности власти, означает существование неуверенности в надежности созданного административного механизма со всеми его поддерживающими и контролирующими структурами. А так как озабоченность перспективой явно сосуществовала с текущими интригами, тревоги по поводу возможного массового неучастия в голосовании — с показной перетряской правительства, то стало очевидным отсутствие не только слаженности этого механизма, но и какой-то разработанной программы его действия.

2003–2004 годы продемонстрировали дальнейшее развитие модели «безальтернативных выборов». Если в этом сезоне и были какие-то альтернативы, то на каком-то «подковерном», скрытом от общественного мнения уровне (возможно, с этим связаны сроки и манера перетряски правительства в разгар избирательной кампании). Как «левые», так и «правые» оппоненты боролись лишь за то, чтобы обозначить свое присутствие на официальной политической сцене. Не произошло изменений в расстановке сил, управляющих страной, не появилось и новых, ранее неизвестных средств и способов их деятельности. Просто подтвердили свою значимость те механизмы власти, которые отрабатывались последние четыре года (на деле даже несколько ранее, с начала «технологической» трансформации политических процессов в середине 90-х годов). Причем с предельной откровенностью и цинизмом, без всякой «плюралистической» маскировки, без апеллаций к демократическим традициям и т.п. Собственно, и на думских, и на президентских

выборах видимость конкуренции требовалась только для соблюдения буквы закона и, возможно, для некоторого повышения активности избирателей. Это тоже одно из проявлений того же процесса деполитизации власти, перехода от политических методов управления к административно-технологическим.

Выборы показали, что этот переход сегодня не встречает фактически никакого внешнего сопротивления ни со стороны политических сил, ни со стороны общественного мнения и влиятельных СМИ. Сложился и действует механизм, обеспечивающий безальтернативность нынешних структур и носителей власти. И наконец, несравненно более отчетливо и в гораздо большем масштабе по сравнению с выборами 1999–2000 годов этот электоральный цикл показал возможности «технологического» манипулирования всеми участниками избирательного процесса (избирателями, избранниками, организаторами, информаторами и пр.).

Социальные параметры выборов

Количественные результаты прошедших выборов нуждаются в тщательном и разностороннем рассмотрении. В данном случае ограничимся некоторыми показателями.

Таблица 1. Голосование на президентских выборах, возрастное распределение голосов, отданных победителю, 1991–2004

(1991–2004, N=1600, % от числа опрошенных, участвовавших в голосовании, в каждой возрастной группе)

Возраст, лет*	1991	1996	2000	2004
18–19	41	47	32	61
20–24	58	47	29	50
25–29	59	51	28	58
30–39	67	43	37	52
40–49	68	37	39	54
50–54	68	42	40	53
55–59	64	42	38	62
60 и старше	59	34	37	55
Средний возраст	...	42	46	46

* Использована шкала возрастов по опросу 1991 года.

При избрании В. Путина на второй срок молодые люди (моложе 30 лет) оказали ему заметно большую поддержку. Но так как одновременно возросла и поддержка фаворита среди старших возрастов, средний возраст избравших президента остался прежним.

С каждым электоральным циклом растет число уклоняющихся от участия в президентских выборах.

Обнаруживается небезынтересная тенденция: заметно растет доля неголосующих среди людей старше 40–50 лет, среди более молодых она тоже несколько увеличивается. Если учесть также, что выборы победителя становятся все более «женскими» (в 2004 году среди избирателей В. Путина было 40% мужчин и 60% женщин), то можно предположить, что эмоциональные факторы выбора — в том числе фактор привычки — играют все более важную роль.

После выборов 2000 года 35% из голосовавших за фаворита отметили, что на их решение поддержать своего кандидата повлияли его

действия в последнее время, а 50% сослались на то, что у страны «нет другого выбора». А в 2004 году, когда о действиях В. Путина избиратели знали несравненно больше, чем четыре года назад, их указывали реже (21%), а отсутствие другого выбора — чаще (53%). На первый план выходит *безальтернативность* как самое простое и самое универсальное оправдание лояльного варианта поведения.

Таблица 2. Не участвовавшие в выборах президента, возрастное распределение, 1991–2004, %

(N=1600, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Возраст, лет	1991	1996	2000	2004
18–19	42	52	49	52
20–24	27	41	57	55
25–29	22	42	33	43
30–39	13	35	37	40
40–49	8	27	26	34
50–54	7	21	21	28
55–59	5	19	30	31
60 и старше	14	19	19	22
Всего	16	29	31	35

Между тем среди объяснений отказа от голосования на первое место выходят *политические* мотивы. В 1996 году их упомянули 43% «отказников», в 2000-м — 59%, а в 2004-м — 62%. Создается впечатление, что именно неучастие в выборах (а не голосование «против всех») становится наиболее распространенным средством выражения политического недовольства в рамках электоральной кампании.

Показатели надежд

Оценить качественную сторону общественных процессов можно, только учитывая разные стороны динамики массовых надежд, — а также, конечно, сопряженных с ними сомнений и разочарований. Согласно известному суждению А. де Токвиля, возмущаются прежде всего те, кто обманут в своих надеждах. Очевидное подтверждение можно найти, в частности, в перипетиях возвышения и падения М. Горбачева, Б. Ельцина. От нескончаемых конвульсий страну спасало — и спасает вновь — то обстоятельство, что сами массовые надежды могут сохраняться на невысоком и даже снижающемся уровне. (А могут и оживляться, например, в атмосфере общеполитических предвыборных и тому подобных ожиданий.)

«Баланс» успехов и неудач оказывается, при самой осторожной оценке, весьма напряженным. Следует обратить внимание на то, что приведенные данные получены незадолго до дня голосования на президентских выборах, т.е. до наступления пика массовой электоральной эйфории, который, как показывает недавний опыт, наступает *после* выборов, точнее, после сообщений об их успешности.

В целом накануне выборов 49% опрошенных сочли, что их надежды, связанные с приходом к власти В. Путина, оправдались (по мнению 9% — «определенно», 40% — «скорее оправдались»), 32% — что эти надежды не оправдались (категоричны здесь тоже 9%); у 14% таких надежд «не было и нет». Соотношение вариантов составляет, таким образом, 49:46. На следующий президентский срок 39% опрошенных возлагают больше надежд, чем на первые четыре года, 28% — столько же,

12% — меньше, 18% не питают надежд. Как и следовало ожидать, больше всего надеются на В. Путина те, кто считает, что их надежды оправдались.

Таблица 3. Достижения и неудачи В. Путина за первые 4 года

(5–9 марта 2004 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Достижения	Неудачи	Баланс*
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение			
положения дел в стране	13	6	+7
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий	24	21	+3
Улучшение отношений России со странами Запада	5	3	+2
Укрепление международных позиций России	4	2	+2
Сотрудничество с другими странами СНГ	3	2	+1
Защита демократии и политических свобод граждан	1	3	-2
Создание приемлемой экономической			
и политической обстановки для развития частного бизнеса	2	4	-2
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил	2	5	-3
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной			
политической обстановки	5	11	-6
Улучшение отношений между людьми разных национальностей			
в России	1	8	-7
Экономическое развитие страны	10	18	-8
Укрепление морали и нравственности в стране	0	13	-13
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния	5	19	-14
Устранение опасности терроризма в стране	1	25	-24
Борьба с коррупцией, взяточничеством	2	29	-27
Решение чеченской проблемы	1	34	-33
Борьба с преступностью	1	36	-35
Другое	1	2	-1
Не вижу никаких достижений / неудач	15	2	-13
Затрудняюсь ответить	6	9	-

* Разность между показателями «достижений» и «неудач».

Рассматривая побудительные причины голосования на выборах 14 марта, приходится отметить, что В. Путин по-прежнему остается «президентом надежд». 30% голосовавших за него (14% от общего числа опрошенных) объяснили свое решение тем, что президент «успешно руководил страной последние четыре года», 39% (18% от всех) — надеждами на то, что за следующий срок «он может справиться с проблемами, стоящими перед страной», а 29% (13% от всех) — тем, что больше не на кого надеяться.

Тем важнее обратить внимание на *рамки надежд*, выраженных уже после выборов. Опрошенные представляют себе перечень задач, на которых сосредоточит свою деятельность вновь избранный президентом В. Путин, и выражают надежды на успешное их решение следующим образом.

Таблица 4. Задачи / ожидаемые успехи деятельности избранного президента*

(Март 2000 и 2004 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	2000	2004
Рост доходов населения	**	40/19
Спокойная жизнь, без потрясений	**	31/13
Рост производства	33/15	27/12
Укрепление порядка и законности	25/12	28/12
Решение чеченской проблемы	36/25	21/9
Борьба с коррупцией	33/14	21/8
Уменьшение влияния «олигархов»	6/2	20/10

* Перечислены только те позиции, которые были отмечены в 2004 году не менее чем 20% респондентов. ** Вопрос не задавался.

Таким образом, даже в обстановке определенного эмоционально-политического оживления, связанной с электоральной кампанией, надежды населения на решение президентом ключевых проблем страны за новый президентский срок оставались сдержанными: как в 2000 году, так и в 2004-м не более половины из числа отметивших ту или иную проблему надеялись на ее успешное решение.

Ни оценки успехов президента за предыдущие годы, ни уровень обращенных к нему новых ожиданий не могут объяснить главный феномен прошедших выборов — их безальтернативность.

«Механизм» безальтернативности

Ключевым моментом здесь является уже упоминавшийся переход к не-политическим, административным средствам управления. Политика всегда означает конкуренцию, борьбу, выражение, отстаивание и согласование интересов определенных общественных сил на различных уровнях. В административном же управлении происходит лишь исполнение полученных указаний, а если имеют место борьба между исполнителями — чаще всего скрытая, подковерная, — то лишь за более выгодное распределение ресурсов. (Конечно, в реальной общественной жизни взаимодействуют различные типы организации и управления; в данном случае речь идет о гипертрофии одного из них, который может быть эффективен в одних институциональных рамках и неэффективен в других.) В соответствии с давними отечественными традициями, «зачистка» политического пространства от конкурентов — и даже от возможностей конкуренции — неизбежно приводит к тому, что политическая или хотя бы околополитическая конкуренция низводится до административной суеты и подковерной борьбы на различных этапах власти, начиная с верхнего.

Формирование административной системы в общегосударственном масштабе, которое наблюдается после 1999 года, предполагало довольно последовательную ликвидацию разделения интересов и сфер ответственности во всех направлениях — горизонтальном (федерализм), вертикальном (уровни власти), функциональном (ветви власти). Аналогия с привычно-советским режимом очевидна, но это все же только аналогия, не означающая реального воссоздания советских порядков. Труднопреодолимым препятствием на пути всеобщей централизации остается достигнутая независимость хозяйствующих субъектов; отсутствует универсальный механизм партийно-государственного господства, привычки и страхи всеобщей зависимости. Тем яснее характер действия собственно административных рычагов управления.

В такой структуре для политических и персональных альтернатив просто *нет места*. Исключительное положение «первого лица» определяется не его собственными талантами или достижениями — реальными или приписываемыми, — а прежде всего его *статусом* в системе властвования. Именно этот статус, в конечном счете, обеспечивает ту персонализацию массовых ожиданий и надежд, которая отражена в социологических рейтингах. (Сколь ни велика в этом роль направленной политрекламы и СМИ, она все же вторична.)

С трансформацией общественно-политического поля связана и очевидная переоценка политического *плюрализма*, едва обозначив-

шегося после распада советской системы. В годы политической неустойчивости при М. Горбачеве и Б. Ельцине эмбриональный плюрализм, оппозиционность, определенная «отвязанность» СМИ и общественного мнения были нужны для поддержания демократического фасада (обращенного вовне), а также для внутреннего маневрирования. Для конструкции «управляемой демократии» они излишни, так как обе эти функции практически изжили себя. Наглядная иллюстрация складывающейся ситуации — судьба как «левой», так и «правой» (демократической) оппозиции после 1999 года, особенно после завершения избирательного сезона 2003–2004 годов.

Утрата голосов значительной части избирателей на обоих флангах так и не сложившегося российского политического спектра, как можно полагать, связана с «функциональной» дискредитацией этих образований, т.е. с тем, что власть сначала демонстративно присвоила себе заметную часть идейного багажа своих оппонентов (лозунги заботы об уровне жизни, продолжения реформ, сближения с Западом и пр.), а затем и их электоратов. Слабо организованный, часто поверхностный протест утратил свое значение, а потому и свои позиции. Дело здесь не только в отсутствии у потенциальной оппозиции материальных или организационных ресурсов, сопоставимых с ресурсами государственной административной машины, но прежде всего в том, что оппозиция — все равно в данном случае, «правая» или «левая» — не сумела даже обозначить соответствующие современным обстоятельствам способы противостояния этой машине. Получалось как будто так, что силы оппозиции пытались бороться с современными административно-технологическими структурами — и соответствующими ресурсами — политическими средствами недавнего, но ушедшего прошлого, — тем самым заведомо, заранее обрекая себя на неудачу. Или, скажем, низводя функцию политического оппонента до функции — если не должно-сти — советника власти.

В феврале 2004 года респонденты следующим образом оценивали перспективы отечественной демократии после думских выборов.

Таблица 5. «С каким из следующих суждений о судьбе демократии в России Вы более согласны?»

(Февраль 2004 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

С демократией и демократами теперь в стране покончено	6
Через несколько лет обе партии, называющие себя демократическими, окрепнут и займут свое место в политической жизни страны	19
Эти партии обречены; возможно, появится и завоеует достаточную поддержку какая-то новая партия, движение демократов	24
Демократия чужда российскому образу политической жизни	10
Настоящий защитник демократии в России — президент В. Путин, поэтому никто не может считаться демократом, если стоит в оппозиции	13
Затрудняюсь ответить	28

Стоит обратить внимание на то, что заметная часть, четверть опрошенных, связывает демократические перспективы с новой партией или движением.

Роль политических интриг и провокационных технологий в период электоральных кампаний известна достаточно хорошо и в данном случае особого внимания не требует. После думских выборов 2003 года большинство избирателей достаточно ясно осознавало, какую роль в успехе «Единой России» сыграл административный ресурс, в том чи-

сле прямая поддержка со стороны президента. В январе 2004 года только 13% опрошенных сочли, что «Единая Россия» преуспела на думских выборах потому, что предложила привлекательную программу, 17% видели причину ее успеха в использовании «административного ресурса», а 60% — в прямой поддержке со стороны президента.

Главный показатель тяжелого поражения всего политического плюрализма в 2003–2004 годах заключается отнюдь не в том, что такие-то партии получили слишком мало голосов для того, чтобы пройти в Думу. Даже если бы голосов оказалось на этот раз достаточно, это практически не изменило бы ни характер нынешнего российского парламента, ни политический пейзаж в стране, — в этом, по всей видимости, самое существенное на сегодня и на довольно дальнюю перспективу.

Представляет несомненный интерес роль весьма специфической квазиопозиции, которую на протяжении многих лет играет на российской политической сцене партия В. Жириновского. Только это, как будто совершенно искусственное, образование еще позднесоветского времени способно, во-первых, «упаковывать» потенциал социального протеста, превращая его в фактор лояльной поддержки власти, а во-вторых, создавать образец необузданного политического экстремизма, тем самым позволяя власти сохранять маску центристской респектабельности. Примечательно, что попытки хотя бы полусерьезно дублировать аналогичные функции в новообразовании «Родина» оказались малоудачными, даже опасными для административных управленческих структур. Впрочем, в новой думской ситуации может утратить свою востребованность и ЛДПР.

Для административного управления в его зрелом, оформленном виде «детские» игры политических махинаторов больше не нужны, здесь действуют прямые назначения, перемещения, перепоручения и тому подобные аппаратные занятия, столь хорошо заметные в последнее время. Технология властвования тоже как бы деполитизируется, превращается в оперативную манипуляцию людьми или должностями и полномочиями.

Внешних (по отношению к самому механизму) ограничений для такой тенденции не видно, в том числе и со стороны сегодняшнего «безальтернативного» общественного мнения. Так, в феврале 2004 года 77% опрошенных (!) соглашались с тем, что Администрация президента «должна контролировать деятельность Государственной Думы». В марте, уже после выборов, 68% опрошенных выразило согласие с тем, что сосредоточение практически всей власти в стране в руках В. Путина «пойдет на благо России», а 54% сочло более эффективным правительство, «которое будет полностью подчинено президенту и его Администрации» (32% предпочло бы правительство, «которое самостоятельно принимает решения и отвечает за свои действия»).

Другой вопрос — насколько (и на какое время) может быть эффективен сам социальный механизм административного, «приказного» управления в масштабах страны, при всех сложностях ее социального, экономического, внешнеполитического развития. Сосредоточение ответственности на одном уровне власти — условном или персонализированном — означает практически низведение государственных решений до уровня аппаратных исполнителей, а политики

страны — до уровня межкабинетных интриг. Очевидно также, что такие трансформации всегда стимулируют универсальную безответственность всей иерархии исполнителей. И не менее универсальную ее коррумпированность.

«Люди у власти»

Исключительность позиции президента в общественном мнении, отмеченная выше, выражена в резком различии оценок — с высокими оценками высшего носителя власти соседствуют весьма критические суждения о ее институтах и исполнителях. Так, в марте 2004 года полное доверие президенту выражали 61% опрошенных (при 6% совсем не доверяющих ему), правительству — 12% (против 29%), Думе — 9% (против 33%). (Заметим, что эти показатели относятся уже к новым, до нельзя «президентским» составам парламента и правительства.)

За период между двумя выборами несколько выросли показатели доверия населения к президенту В. Путину.

Таблица 6. «В какой мере Вы доверяете В. Путину?»

(Март 2000 и 2004 годов, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	2000	2004
Полностью доверяю	15	19
Скорее доверяю	48	57
Скорее не доверяю	17	12
Совершенно не доверяю	7	4
Затрудняюсь ответить	13	8

Таблица 7. «Какими словами Вы могли бы выразить свое отношение к В. Путину?»

(Март 2000 и 2004 годов, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	2000	2004
Восхищение	2	4
Симпатия	29	34
Не могу сказать о нем ничего плохого	38	37
Нейтральное, безразличное	10	13
Настороженное, выжидательное	12	5
Не могу сказать о нем ничего хорошего	4	5
Антипатия	1	1

Если принять во внимание, что оценки президента в общественном мнении — не эмоциональный, а прежде всего «статусный» показатель, т.е. это оценки исключительного положения высшего носителя власти в иерархии управления, становятся объяснимыми резкие различия в массовом восприятии В. Путина и всех тех, кто стоит у кормила власти.

Таблица 8. «Как бы Вы расценили людей, находящихся сейчас у власти?»

(Февраль 2004 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

Это люди, озабоченные только своим материальным и карьерным благополучием	53
Это честные, но слабые люди, не умеющие распорядиться властью и обеспечить порядок и последовательный политический курс	14
Это честные, но малокомпетентные люди, не знающие, как вывести страну из экономического кризиса	9
Это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом	13
Затрудняюсь ответить	11

Наиболее частыми упреками в адрес правящей бюрократии постоянно являются ее эгоизм и коррумпированность. В январе 2004 года 30% опрошенных указали, что за последнее время коррупции в высших органах власти стало больше, 45% — что масштабы коррупции не изменились, и только 13% сочли, что они уменьшились. При этом население чаще замечает коррумпированность «в верхах» (35%), чем в низовых органах власти (11%), почти половина (48%) не видит различий в этом отношении между уровнями власти.

На таком фоне может показаться странным повсеместное — во всех государственных институтах — укрепление позиций «партии власти», т.е. «Единой России», которая, по мнению опрошенных (июнь 2003 года, N=1600 человек) выражает прежде всего интересы чиновников, олигархов, директорского корпуса и «силовиков». На регулярный вопрос о симпатиях к партиям и политическим силам относительно преобладающим ответом стала ссылка на «партию власти» (в начале марта 2004 года так отвечали 21% опрошенных). Но в этом можно видеть скорее признак функциональной деградации политических сил, теряющих массовую поддержку. В условиях господства административных структур на бывшую политическую поверхность выходит организация функционеров и их клиентуры. Думские выборы 2003 года показали, что такая организация, получив реально не больше голосов избирателей, чем все ее участники по отдельности («Единство» и блок «Отечество — Вся Россия») в 1999 году, — около 20%, способна с помощью маневра ресурсами захватить даже конституционное большинство депутатских мест.

Заключительные замечания: опора, поддержка и реальный выбор

Предложенная попытка анализа социальных результатов выборов 2003–2004 годов ограничена рамками изучения общественного мнения. Эти рамки неизбежно узки и — по мере дальнейшего укрепления административных управленческих структур — скорее всего, будут еще более сужаться и деформироваться. Представляется важным в этой связи уточнить некоторые категории исследуемых явлений.

Как показывают все данные наблюдений, существующая властная система пользуется значительной массовой *поддержкой* (доверием, одобрением). Однако *опирается* власть, как всегда, не на опросные «рейтинги», а на государственные институты, на административные структуры. Недавняя история — и не только отечественная — показала целый ряд ситуаций, когда сохранялась система власти, утратившей массовую поддержку, или когда видимая массовая поддержка исчезала сразу после институциональной катастрофы. Как известно, Б. Ельцин, лишившись массового доверия, мог еще 5–6 лет сохранять власть, поскольку действовали соответствующие опорные институты. Ранее в аналогичной ситуации, хотя и не так долго, находился М. Горбачев. Наиболее наглядным примером иной метаморфозы может служить судьба иракской диктатуры: демонстративная популярность и «всенародная любовь» к С. Хусейну — выраженная не в опросах, но в многочисленных единодушных голосованиях — рухнула после разрушения опор власти (в данном случае я не касаюсь средств и других последствий этого разрушения).

Видимая сегодня поддержка президентской власти не обеспечивает ей ни эффективности, ни устойчивости на перспективу. Никакие электоральные успехи, нынешние или предстоящие (в том числе успехи в зачистке электорального пространства от политических «пережитков»), не могут определить направление и механизм движения страны на десятки лет. Правомерно предположить, что чем лучше административно организованы, чем более безальтернативны электоральные процедуры разных уровней, тем меньше зависит от них постоянно необходимый реальный выбор пути, вариантов, способов решения старых и новых проблем страны.

События 11 сентября 2001 года взбудоражили мир на уровне социальных ценностей и ожиданий, может быть, даже сильнее, чем на уровне политических действий. Прямое и опосредованное влияние этих событий на состояние умов, на общественное мнение в разных углах мира имеет свою внутреннюю логику и сохранится надолго, независимо от развития «фактической» стороны дела, т.е. собственно политических, экономических, военных и прочих последствий 11 сентября. На протяжении года можно было заметить значительную — и поучительную — динамику обострений и спадов напряженности, смены моделей восприятия, доверия и недоверия к предлагавшимся трактовкам событий. Как это часто бывает в ситуациях чрезвычайных потрясений, на поверхность общественного внимания — притом в глобальных масштабах — вышли незаметные или неартикулируемые обычно структурные элементы общественных процессов. Как в политическом, так и в массовом сознании недоумения и эмоциональные эффекты первых дней сменились поисками рамок какого-то упорядоченного восприятия смысла происшедшего. Рамки эти в основном оказались «старыми», сформированными из наличного материала и прошлого опыта. Правда, и меры противодействия новому, почти неизвестному противнику до сих пор предлагаются те, что были отработаны в иных условиях, по отношению к иным силам.

Эти явления и составляют предмет исследовательского интереса в настоящей статье. В качестве аналитического и иллюстративного материала помимо данных ряда опросов ВЦИОМа в ней также использованы опубликованные материалы некоторых зарубежных институтов общественного мнения¹.

1

Все приводимые данные по России получены в регулярных опросах ВЦИОМа (N=1600 человек). Ссылки на зарубежные исследования даются в тексте.

Симптоматика шока

Для характеристики первоначальной общественной реакции на события 11 сентября кажется подходящим термин «социальный шок». С его помощью можно описать такое состояние регулятивных механизмов общества, когда обычные способы восприятия, понимания и реагирования на какое-то чрезвычайно сильное и угрожающее внешнее воздействие оказываются неэффективными. В ситуации шока внимание теряет свой предмет, понимание — рамки, воображение — границы. Тем самым происходит отключение обычных защитных систем (распределяющих внимание, восприятие и пр., т.е. обеспечивающих «нормальный» когнитивный и эмоциональный баланс общества) и начинается поиск иных, экстраординарных механизмов. Отсюда — реакции растерянности и как будто всеохватывающей тревоги.

В общественном восприятии масштаб происшедшего определялся не количеством жертв, а скорее предполагаемыми последствиями, да-

леко выходящими за локальные и национальные границы. По данным опроса Gallup, спустя полгода после события, в марте 2002 года, 80% американцев сочли террористическую акцию 11 сентября «самым трагическим событием» своей жизни (CNN/USA Today/Gallup Poll, март 2002 года). 74% американцев, опрошенных по горячим следам события, заявили, что их жизнь «изменится навсегда», только 21% надеялся на то, что она «вернется в норму» (Ipsos-Reid Poll, 11 сентября 2001 года). 37% англичан сочли, что после теракта в США мир стал менее безопасным, чем во время войны в Персидском заливе, 41% — менее безопасным, чем во время вьетнамской войны, 45% — менее безопасным, чем во время холодной войны (MORI, сентябрь 2001 года). Солидные российские газеты сообщали о случившемся под шапками «Армагеддон?», «Третья мировая?» и т.п.

Возможными последствиями событий объявляли то новый всемирный порядок, то новую — или даже «последнюю», грозящую уничтожением человечества — мировую войну. Согласно одному из опросов ВЦИОМа, проведенных в ноябре 2001 года в Санкт-Петербурге, 53% согласились с тем, что сентябрьская атака террористов на США означает «поворотный пункт в истории мировой цивилизации», тогда как 41% усмотрели в случившемся просто «очередную трагедию XX века».

В числе факторов, которые потрясли (правда, по-разному) мировое общественное мнение в различных странах, были:

→ Неожиданность нападения. В сентябре 2001 года США ни с одной исламской страной (кроме Ирака, причастность которого к событию 11 сентября ничем не подтверждена) не находились в состоянии конфронтации.

→ Бесчеловечная жестокость убийства тысяч людей. На этом фоне неизбежная гибель самих террористов выражает не героическое самопожертвование, а только презрение к человеческой жизни, включая собственную. В России только 11% сочли, что нападавшим нельзя отказать в «героизме». Даже в Пакистане 64% городского населения против 26% расценили происшедшее как акт террора, а не «джихад» (Gallup-Pakistan, октябрь 2001 года).

→ Тщательная продуманность, расчет, рациональность в подготовке и организации (сравнимой по типу — но не по масштабам — с рациональной организованностью известных XX веку форм социально-организованного насилия) варварского преступления.

→ Неспособность защититься от подобного удара в обществе, обладающем развитыми современными институтами и технологическими системами безопасности; в результате — невиданное и неожиданное национальное унижение США и предупреждение для всех стран, которые полагаются на демократические институты.

→ Анонимность не только участников, но и целей акции (как демонстративных, так и неясных, — что отличает акцию 11 сентября от «обычных» террористических действий на Ближнем Востоке, на Северном Кавказе, в Кашмире и т.д.). Отсюда, естественно, возможность самых разнообразных, фантастических, масштабных и ужасающих предположений, в том числе о глобальной войне или грядущей глобальной катастрофе. Ответы на вопросы, кто (дело не в именах, а в силах, организациях, идеях), почему и с какими целями совершил нападение, как представляется, и сейчас отсутствуют и в государственно-полицейском, и в массовом сознании.

Выделим три основных (эмпирически не строго взаимоисключающих) типа эмоционально окрашенных непосредственных реакций на террористический удар 11 сентября.

Во-первых, то, что в сентябрьском опросе ВЦИОМа 2001 года зафиксировано как «сочувствие, возмущение, тревога, страх». Помимо «просто» человеческих компонентов в такой реакции, характерной преимущественно для общественного мнения европейски ориентированных стран, в ней можно усмотреть и некоторые другие составляющие. В том числе стремление к самосохранению, как социальному (в смысле европейской цивилизации), так и индивидуальному. Угроза распространения новой волны террора на другие страны казалась особенно реальной в первые «постсентябрьские» недели. В конце сентября 2001 года 80% опрошенных в России (против 15%) сочли, что террористическая акция является не внутренним делом США, а касается всего мира. Через год, в августе 2002 года, это мнение сохранили 70%, соответственно, доля несогласных выросла с 15% до 26%. Просматривается непосредственная связь между представлениями о глобальной и личной опасности такой акции: и в 2001 году и годом позже чаще всего отмечают всемирную угрозу террора те, кто видят ее опасность для себя лично. Правда, если сравнить показатели опросов сентября 2001 года и августа 2002 года, получается, что число опасующихся стать жертвами террора в России практически не изменилось (78% и 76% соответственно). Можно предположить, что в данном случае вербальная реакция, спровоцированная анкетным вопросом, не вполне отражает все стороны отношения населения к опасной ситуации: например, вполне возможно признание опасности на словах при не вполне серьезном к ней отношении в действительности. Примеры подобных диссонансов в отечественном общественном мнении общеизвестны.

Во-вторых, реакции прямо противоположные: злорадный восторг по поводу унижения и поражения сильнейшей великой державы, носителя «мирового зла». Как известно, в том числе из наглядных, телевизионных источников, так реагировали многие и на Ближнем и на Дальнем Востоке. Это прежде всего эмоции значительной части населения в арабских и мусульманских странах (на официально-правительственном уровне почти повсеместно были выражены политическая лояльность и симпатии в отношении США). Кроме того, к этим позициям близки те левые в Европе и Латинской Америке, которые рады всякому поражению центра мирового капитализма, надеясь, что это приблизит его конечную гибель. В России такой была реакция 5% опрошенных в сентябре 2001 года. Можно предположить, что за восторженными или просто одобрительными реакциями на акцию террористов кроется целый пучок мотиваций — от социальной ущемленности до религиозно-политического и национального фанатизма.

Третья позиция более сложна, а потому и более важна для рассмотрения. При некотором упрощении ее можно представить как определенное сочетание первых двух. В сентябре 2001 года 50% (а в августе 2002 года — 52%) опрошенных в России согласились с тем, что «американцы получили по заслугам», испытав на себе то, что переживали в свое время люди в Хиросиме, Вьетнаме, Югославии, Ираке и т.д. Насколько известно, подобный довод работает в умах многих, даже европейцев, не говоря о странах азиатских и мусульманских. Так выходит на свет довод потаенного удовлетворения-оправдания, прикрытый

всплесками сочувствия и пр., — притом не как акт нарочитого лицемерия, а как выражение сложности, многослойности самого общественного мнения.

Объяснить такую позицию, скажем, скрытым, самодовлеющим «антиамериканизмом» нельзя — хотя бы потому, что ее разделяет значительная часть людей, хорошо относящихся к США, возмущенных актами террора 11 сентября, сочувствующих его жертвам. Из числа опрошенных, обозначивших свое отношение к США как «очень хорошее» и «хорошее», в сентябре 2001 года согласились с формулой «досталось поделом» 44% (против 48%), в августе 2002 года — 46% (против 48%). Из тех, кто считал, что теракты в США «касаются всего человечества», в 2001 году одобряли такую формулу 47%, в 2002-м — 46%. Сразу после сентябрьских событий согласие с ней высказали 44% сочувствовавших, 42% возмущенных, 45% встревоженных. Не так трудно понять, почему среди настроенных враждебно заметно преобладает согласие с формулой «досталось поделом»: у испытавших «удовлетворение» террористической атакой доля согласных с этим достигает 96%, у «недоумевающих» — 61%, у плохо относящихся к США — 75% в 2001-м и 67% годом позже. Вопрос в другом: как объяснить, что почти половина симпатизирующих американцам и жертвам террора занимает аналогичную позицию?

В этом парадоксе можно усмотреть очередное подтверждение того, что само общественное мнение является сложным, многослойным образованием, разнородные компоненты которого в одних ситуациях как бы уравнивают друг друга, в других — обуславливают резкие колебания массовых настроений (например, такие, которые мы наблюдаем за последние годы и в отношении к Соединенным Штатам, и в отношении к чеченской войне). При отсутствии устоявшихся, традиционных рамок движения таких настроений, а также факторов их чрезвычайной мобилизации каждая реакция одобрения или осуждения относительна (по модели «да, но...», «нет, но...»). Поэтому в общественном мнении не существует ни простого и примитивного образа США, ни безоговорочных симпатий, ни абсолютного «антиамериканизма»; на этом придется остановиться позже.

«Рутинизация» шока

Рано или поздно всякий шок проходит — человеческий или социальный, каким бы глубоким и масштабным он ни был. В принципе это означает восстановление деятельности когнитивных, эмоциональных, активных механизмов (рамок, средств), которые были «выключены» в шоковом состоянии. Способы такого восстановления могут быть разными: размещение новых, уже несколько ослабленных раздражителей в существующие рамки понимания и, соответственно, привычные термины («старые мехи», «прокрустово ложе» и т.п. — именно такие процедуры, скорее всего, правомерно определять как рутинизацию). Привычная «боль», привычное «удивление» и пр. уже, как известно, не столь разрушительны и опасны. Рутинизация может приобретать и сугубо символические или терминологические формы, когда необычное явление именуют привычными словами или «отделяются» от него с помощью чисто символических процедур. Нужно подчеркнуть, что

в качестве таковых иногда выступают не только чисто ритуальные, церемониальные акции, но и вполне «тяжеловесные» политические, финансовые, военные меры, которым придается символическое значение — например, борьбы с «мировым злом», «сатанинскими силами», удар по привычному или воображаемому противнику при неспособности поразить реального врага и пр. Собственно говоря, символическую нагрузку несли как сам террористический удар 11 сентября, так и большинство контрмер. В результате энергия необычного раздражения как бы расходится по привычным каналам, тем самым обеспечивается — по крайней мере, на время — сохранение существующего баланса и дисбаланса отношений в мире.

Если продолжать осторожные аналогии, можно сказать, что рутинизация не устраняет фактор чрезвычайного воздействия, а как бы прячет, загоняет его вглубь. Взрыв превращается в процесс, чрезвычайная ситуация — в обыденную, война — в серию обычных полицейских операций, социальная катастрофа — в злонамеренную интригу или даже в результат дезинформации. Рутинизация означает не устранение необычного фактора и не его забывание (устранение из значимой социальной памяти), а лишь вытеснение его в сферу знакомого и привычного. Другой, значительно менее распространенный (или труднее реализуемый) способ преодоления социального шока — формирование новых когнитивных и поведенческих инструментов, соответствующее расширение и усложнение рамок восприятия, адекватных новым феноменам.

За год, прошедший после 11 сентября, главным, если не единственным, средством преодоления шока (и в американском национальном, и в российском, и в мировом масштабах) служила его рутинизация. Не имея ни желания, ни времени доискиваться глубоких причин происшедшего, не сумев в кратчайший срок обнаружить и обезоружить конкретную террористическую организацию, ее руководителей и исполнителей, американское политическое руководство — кстати, понукаемое собственным и мировым общественным мнением к немедленным и показательным акциям возмездия — вынуждено было искать предмет для ответного удара буквально «под ближайшим фонарем». Произошло фактическое снижение уровня «цели» от «сатанинской» «Аль-Каеды» до реальных и неспособных оказать сопротивление талибов в Афганистане, соучастие которых в террористических акциях вряд ли шло дальше укрывательства. (Пока неясно, станет ли следующим этапом рутинизирующего снижения уровня цели удар по иракскому режиму.)

Вполне аналогичные механизмы рутинизации можно обнаружить и в многообразных попытках уложить феномен 11 сентября в какую-то из привычных, отработанных (а потому кажущихся понятными) рамок восприятия и понимания. Одним из вариантов здесь оказывается измеление или локализация события в серии деталей, привычных — в рамках определенных когнитивных или масскоммуникативных комплексов — стереотипов. Как известно, в качестве предполагаемых виновников, помимо «Аль-Каеды» и бен Ладена, на протяжении года назывались власти, военные, спецслужбы США и России/СССР, сионисты, левацкие группировки в США и Латинской Америке, конкурирующие исламские фракции в арабских странах и т.д. Каждая из таких версий апеллирует к каким-то аргументам и находит своих сторонников. Притом что российская официальная элита демонстративно принимает (и использует в собственных интересах) трактовку событий,

предлагаемую администрацией Дж. Буша, в отечественной прессе широкое хождение имеет нарочито антиамериканская версия (организаторами акции объявляются то ли ФБР, то ли американский ВПК и т.п.).

Прямое следствие привычных трактовок событий — попытки свести противодействие им к стандартным военно-полицейским акциям, к тому же испытанным в иных условиях, например, использовать дистанционные средства военных действий («югославского» образца) в Афганистане, возможно, в Ираке.

Другой вариант того же, по существу, явления — идеологически или религиозно обосновываемая «глобализация» явления, когда события 11 сентября пытаются вывести из «природы ислама», из «противостояния цивилизаций» или из установок «мирового терроризма» (явно фантомного понятия, которое находит весьма подходящую почву там, где живы призраки бесов из «Бесов», «мировых» революций и контрреволюций — и где постоянно требуются оправдания собственного бессилия на чеченском и иных фронтах). Подобная «локализация наоборот» растворяет феномен «сентябрьского» террора в призрачных, лишенных определенности конструкциях².

В данном случае нас, разумеется, интересует не правдоподобность определенных криминологических версий, а «социологическая» структура феномена. К ней можно отнести, кроме мотивации и способов оправдания участников и соучастников, пособников совершенного теракта, характер и истоки их социальной поддержки, использование сложившейся ситуации различными правительствами и политическими силами, непосредственные и дальние реакции общественного мнения на перечисленные компоненты явления. А также и воздействие общественного мнения в разных странах на развитие ситуации, на выработку контрмер, на переоценку стереотипов восприятия целого ряда явлений, на ожидания в отношении лидеров и т.д. Собственно говоря, для понимания социальных последствий какой бы то ни было кризисной ситуации важен не столько ее «первотолчок», сколько возможность ее динамики, которые обусловлены ее собственной структурой, «прочностью», способностью «реагировать на внешний удар» и т.д.

Сферой рутинизации можно считать и эволюцию антитеррористической коалиции, которая была создана (сразу после 11 сентября) как небывалое, казавшееся невероятным единение стремлений и сил почти всех стран мира, вплоть до Китая, России, даже Ливии и т.д. Реальное участие в единственном коллективном действии коалиции — афганской операции — у большинства примкнувших к ней было, как известно, различным. Факторы участия, по всей видимости, тоже — опасение стать жертвой аналогичного нападения, стремление использовать антитеррористическую ситуацию в собственных интересах, уступка американскому давлению, наконец, боязнь выглядеть сторонниками террористов. Показателен разброд в коалиции при повороте следующего предполагаемого удара в сторону Ирака. Похоже, что скоро она разделит участь всех ситуативных военно-политических блоков (XIX–XX веков), члены которых всегда руководствуются собственными интересами, даже когда существует общий противник, и привычно расходятся в разные стороны по завершении кампании.

2

Недавно З. Бжезинский упрекнул американские власти в том, что они говорят о терроризме в «полурелигиозных» терминах «злодеи», «зло», за которыми — «историческая пустота». «Выходит, что бессердечные террористы действуют под влиянием какого-то сатанинского наития, без всякой мотивации... Между тем у каждого теракта есть политическая почва» (Московские новости. 2002. 10–16 сентября. № 35).

Модель взаимодействия «актерского» и «зрительского» участия в разыгрываемых на мировой арене событиях представляется пригодной для анализа некоторых существенных сторон рассматриваемой проблемы. (Вослед Т. Парсонсу участники социального действия в социологических текстах обычно именуются *акторами*; в данном же случае доля демонстративности в действиях разных сторон — и террористов, и их противников, а также соучастников, сторонников и т.д. — столь велика и важна, что более уместно говорить об *актёрах*.)

Кроме того, ситуация такова, что на политической сцене, как уже отмечалось, отсутствуют «первичные» актеры, т.е. те, кто задумал и совершил операцию 11 сентября. По сути дела, все, что мы до сих пор знаем об этом, — продукт догадок со стороны простых зрителей (или экспертов, т.е. более квалифицированных зрителей).

Но «зрелищность», эффект наглядности, по всей видимости, входили в расчет организаторов акции³. Как и выбор целей — зданий, имевших не столько практическое, сколько важнейшее символическое значение для американцев.

В ходе развития политических последствий акции на первый план вышла не столько проблема поисков конкретных виновников, сколько проблема использования создавшейся ситуации для «своих» (с точки зрения различных деятелей и сил — «вторичных» актеров). Соответственно в настроениях «зрителей» главным оказывается не столько осуждение конкретных виновников, сколько оценка действий «вторичных» действующих лиц и организаций. Иначе говоря, важна не сама борьба с предполагаемыми виновниками террора, а одобрение различных инстанций, демонстративно занятых этой борьбой, в общественном мнении своей страны. Это значит, что сами «зрительские» оценки (позиции общественного мнения) — формируемые, как водится, под воздействием массмедиа и политрекламы — выступают в активной роли укрепления или низвержения авторитетов. Разумеется, это весьма упрощенное представление реальных механизмов взаимодействия и трансформации ролевых функций в системе «актеры — зрители».

Представляет очевидный интерес сопоставление американских и российских «зрительских» представлений о причинах террористической акции.

В сентябре 2001 года российские граждане сочли, что террористами прежде всего двигали «ненависть к США» (45% опрошенных) и религиозный фанатизм (45%), чувство мести за бомбардировки и преследования (29%), безумие (27%), зависть к богатым странам (13%), неприятие всей современной цивилизации (9%). По данным другого опроса (сентябрь–октябрь 2001 года) — религиозный фанатизм (42%), ненависть к США как к символу западной цивилизации (35%), стремление запугать людей, живущим по иным законам и традициям (31%), желание посеять в мире хаос и беспорядки (30%).

В основном, как видим, повторяются в разных вариантах два фактора — ненависть к США и религиозный фанатизм.

3

Как выразился один из соучастников или сторонников террористического нападения, «Мы использовали самолеты и телевидение...» (Газета. 2002. 11 сентября).

А вот как восприняли причины нападения американцы:

Таблица 1. Общественное мнение США о причинах акции террористов

(Newsweek Poll, 20–21 сентября 2001 года, % от числа опрошенных)

	Основная причина	Неосновная причина	Вовсе не причина	Нет ответа
Связи США с Израилем	68	21	5	6
Возмущение военным и экономическим могуществом США	64	22	9	5
Возмущение американским присутствием в Персидском заливе	53	32	11	4
Экономические трудности мусульманских стран, вызванные мировым капитализмом	37	36	20	7
Возмущение американской культурой, кино и пр. в мусульманских странах	28	39	26	7

Согласно другому опросу, проведенному в США в те же дни, в качестве причин ненависти террористов к Америке назывались «демократия и свобода» (26%), поддержка Израиля (22%), ценности и образ жизни американцев (20%), экономическое влияние США на Ближнем Востоке (11%) (Harris Poll, октябрь 2001 года). В те же дни 32% американцев высказались за то, чтобы ослабить связи с Израилем, чтобы уменьшить опасность террористических нападений на США, 50% с этим не согласились (Newsweek Poll, 13–14 сентября 2001 года).

Между тем в Пакистане при распределении мнений о том, кто несет ответственность за нападение на США, прежде всего называется Израиль (48%), далее сами американцы (25%), заметно реже — Усама бен Ладен (12%) и палестинцы (10%) (Gallup Pakistan, 11–12 октября 2001 года, опрос городского населения в четырех провинциях). Примечательно при этом, что хотя чуть больше половины (51% опрошенных) пакистанцев одобряют поддержку США со стороны президента П. Мушараффа, для 82% Бен Ладен — муджахеддин, т.е. героический воин, и только для 6% — террорист. Вероятно, подобное распределение мнений присуще населению многих мусульманских стран, особенно тех, в которых существуют явные различия между позициями политической элиты, вынужденной считаться с существующей расстановкой сил в мире, и воинственно настроенной контр-элиты, имеющей массовую поддержку. (К сожалению, результаты большого опроса в 12 таких странах, проведенного осенью 2001 года американским Gallup, недоступны для исследования и публикаций.)

Строгое сравнение данных, полученных в разных концах света, конечно, невозможно, тем более что и вопросы ставятся неодинаково. Но общую направленность результатов сопоставить все же можно. Ситуация напоминает известную притчу о слепых, которые с разных сторон ощупывают слона, — у каждого свои представления о предмете. На деле, разумеется, каждая сторона (или группа «зрителей») рассматривает события в свете собственных стереотипов восприятия; если же иметь в виду не просто «рядовых» зрителей, а власть и силу имущих, то в их публично выраженных оценках неминуемо присутствуют и собственные интересы. Как видно из приведенных выше данных, «израильский» фактор незаметен в представлениях россиян (благо на него давно «не нажимают» власть и массовая пресса), но весьма важен во мнениях американцев и преобладает в мусульманской стране, даже таковой образцово «умеренной», как сегодняшний Пакистан.

Как правило, общественное мнение в разных странах, поддерживаемое традицией, формируемое под влиянием массмедиа и политической рекламы, обладает большим запасом инерции, поэтому оно служит удобным проводником для возвращения ситуации «на круги своя», к привычным пристрастиям и стереотипам.

После анонимного удара 11 сентября в некотором смысле в роли «зрителей» оказались практически все, в том числе и американская администрация, озабоченная тем, как будут восприняты (прежде всего в собственном населении) ее ответные действия. Даже неуловимый Бен Ладен (или те, кто делает заявления от его имени) выдержал паузу, прежде чем заявить о своем отношении к событию. Несколько позже начался уже торг со многими участниками по поводу условий и цены «вторичных» действий (ответных, побочных, искусственно привязанных к акции террористов и т.п.). Так, П. Мушарафф очевидно пытался — возможно, для ослабления радикально-исламистской оппозиции — в обмен на поддержку США получить что-то вроде признания своих претензий на Кашмир. Примеры из области российско-американских отношений вполне очевидны.

Заслуживает внимания еще один аспект «зрительской» модели рассмотрения «постсентябрьского» развития мировых событий. Как отмечалось, «актеры» и «зрители» влияют друг на друга, могут и меняться местами. Но барьер между этими ролевыми позициями всегда в каком-то виде сохраняется. Та рутинизация «антитеррористической» коалиции, о которой говорилось выше, означает неумолимое превращение соучастников в зрителей, более или менее симпатизирующих реально действующим силам (США и Англии). Но можно ли предположить, что подобный процесс происходит и «на другой стороне», т.е. среди поддержавших или одобрявших теракт 11 сентября? Очевидно, что никакого явного, даже декларативного «единого фронта» исламских, арабских, радикально-воинственных сил не существовало никогда. Близость настроений не означает единства сил, в том числе и внутри соответствующих стран. Массовые «аплодисменты» террористам, которые были слышны в прошлом сентябре, еще нельзя считать знаком реального антизападного, антиамериканского единения. Поскольку политическая и экономическая элита в мусульманских странах вынуждена — по крайней мере, частично — принимать во внимание связи с развитыми странами Запада, хотя бы для продажи нефти, она сейчас отказывается от открытой поддержки наиболее воинственных настроений.

Выбор Путина

Отвечая в сентябре 2001 года (N=400 человек) на вопрос, что в первую очередь повлияло на решение В. Путина о поддержке американской позиции, 35% опрошенных москвичей назвали представлением о том, что теракты в США «направлены против всей современной цивилизации», 10% — расчет на решение экономических проблем (долги, тарифы), но чаще всего (44%) упоминалась надежда на прекращение западной критики действий российских войск в Чечне.

Можно предположить, что для В. Путина выражение безоговорочной поддержки американских властей явилось не столько непосредственной эмоциональной реакцией на события, сколько средством

укрепить позиции России в мире и свои собственные позиции в сообществе мировых лидеров (в G8). И в то же время — способом добиться от США и других западных стран если не одобрения своей чеченской политики, то ее признания в рамках общей борьбы против исламского терроризма.

Позиция В. Путина получает очень широкую поддержку в общественном мнении российских граждан: в августе 2002 года 77% опрошенных сочли, что В. Путин поступил правильно («определенно» или «скорее»), полностью поддержав действия США под флагом борьбы с терроризмом. Однако, как видно из ряда опросных данных, такая поддержка сопровождается рядом оговорок.

Уже осенью 2001 года опрошенные стали отмечать различия в позициях президента, других официальных лиц и — что кажется особенно странным на первый взгляд — средств массовой информации. К этому стоит добавить, что общественное мнение явно ощутило различия в оценках ситуации, исходящих из разных источников. Так, 46% опрошенных в октябре 2001 года, считали, что американскую военную операцию поддерживает В. Путин, 35% — что ее поддерживают и другие официальные лица в России, 29% — что такую поддержку выражают и российские СМИ. Пока можно лишь гадать, является ли эта разница результатом продуманного разделения функций между различными центрами власти и влияния, или перед нами конфликт разных позиций внутри российской элиты, возможно, между разными группами давления на президента или между президентом и какой-то (военной, например) частью его собственного окружения.

С конца 2001 года широкое распространение получили суждения о том, что В. Путин пошел на неоправданно большие уступки США, что в антитеррористической коалиции Россия оказалась в арьергарде, в подчиненном положении. Судя по некоторым публикациям, примерно в конце 2001 года В. Путину пришлось столкнуться с сопротивлением своей декларативно проамериканской политике со стороны каких-то групп правящей элиты, возможно, и военных деятелей. С попытками «охладить» отношения с США и оказать какой-то нажим на политику, с которой связал себя В. Путин, связаны активизация «шпионских» процессов в различных городах, серия официальных нападок на действия американских дипломатов в России, наконец, истерическая антиамериканская кампания вокруг зимней Олимпиады и куриных «окорочков». Не только по тону, но и по стилю, по своей организованности эта кампания, оказавшая сильное — и все еще частично сохраняющееся — воздействие на общественное мнение, как будто воспроизводила худшие образцы времен холодной войны.

Яростная кампания нападок российских политиков и массмедиа на американскую политику в отношении России как будто прекратилась в марте 2002 года, после призыва В. Путина к сдержанности (что, кстати, подкрепляет предположение об организованном характере всей истерии). Остался, однако, довольно густой осадок — готовность к новым пароксизмам воинствующего противостояния, готовые стереотипы языка и стиля, даже готовые сюжеты (те же «окорочка», импорт которых не дает покоя ни московскому мэру, ни общественному мнению в России). Назревающая конфронтация позиций вокруг Ирака, по всей видимости, даст новую почву для возвращения к тому же стилю политических настроений.

Российские демократы немедленно поддержали «американский поворот» В. Путина, видя в нем желанный шаг к демократизации общества по европейско-американским образцам. Скоро стало ясно, что этот шаг имеет несколько иное направление. Заявленное единство российского президента с американским в антитеррористической операции создало впечатление значительного укрепления международного авторитета России, а именно это поле деятельности В. Путина в последние годы представляется общественному мнению наиболее успешным. Обозначившийся рост показателей одобрения деятельности В. Путина был использован президентом и его окружением для укрепления собственных политических и парламентских позиций. В данном случае от неудач коммунистов в парламентских «играх» выиграли отнюдь не демократы, а пропрезидентский чиновнический «центр».

В некоторых комментариях политика В. Путина после 11 сентября 2001 года сравнивается с вынужденным поворотом Сталина к союзу с западными демократиями после 22 июня 1941 года. Определенная аналогия здесь просматривается, хотя и с большими оговорками. У Сталина в тот момент просто не было иного выбора, иного способа спасти собственную власть, кроме как обратиться к военному союзу с западными противниками Гитлера. И во время войны, и сразу же после нее сталинское руководство использовало самые жестокие меры, чтобы не допустить западного демократического влияния на советское общество, особенно на интеллигенцию и молодежь; для этого использовались идеологические кампании, репрессии, технические и политические конструкции «железного занавеса». Вынужденный обстоятельствами кратковременный союз закономерно уступил место длительной холодной войне.

У Путина и его команды был иной выбор и иные риски. Можно было либо участвовать в коалиции во главе с США или остаться в стороне от нее, третьего варианта не существовало. Первый вариант обещал выигрыш в политическом и личном престиже, давал какие-то надежды на облегчение внешних финансовых обязательств, наконец, на уже упоминавшееся изменение оценок чеченской кампании. Второй вариант мог принести только проигрыши — международную изоляцию и, возможно, усиление традиционных антизападных сил (коммунистической оппозиции) в самой России.

Положение В. Путина побудило, даже вынудило его избрать и использовать в своих интересах первый вариант. Но вынужденное внешнеполитическое сближение с Соединенными Штатами используется нынешней правящей элитой России как некое прикрытие для того, чтобы сдержать или ограничить формирование «западных» политических моделей в стране⁴.

4

«Через год после начала войны Америки с терроризмом наша борьба может быть просто украдена правительствами других стран и использована ими — для репрессивной внутренней политики», — сетует З. Бжезинский (Московские новости. 2002. 10–16 сентября. № 35).

Чеченская тема

В более или менее откровенном виде предложение «обменять» поддержку США в борьбе с терроризмом «Аль-Каеды» на поддержку России в чеченской операции повторялось российской стороной несколько раз, начиная с первого послания В. Путина Дж. Бушу 11 сентября 2001 года и до недавних заявлений российского президента и других официальных лиц — в дни, когда отмечалась годовщина сентябрьских событий.

Общественное мнение нередко выговаривает то, о чем политические лидеры решаются только шептать. Ведь в массовом сознании накапливаются, аккумулируются, усиливаются и упрощаются многократно повторенные массмедиа и политическими авторитетами скрытые намеки и осторожные недоговорки. Так, в декабре 2001 года 39% российских граждан надеялись, что, сближаясь с Западом, Россия получит послабления в выплате своего долга, 49% — что она получит экономическую помощь от западных стран, 55% — что «страны Запада будут более терпимо относиться к действиям федеральных сил в Чечне», а целых 62%, т.е. почти две трети, — что «страны Запада признают чеченских террористов частью мирового терроризма».

На первых порах попытки отнестись к военным операциям в Чечне к борьбе с «международным терроризмом» оказали определенное влияние на российское общественное мнение: в октябре 2001 года возросло число сторонников продолжения таких операций и снизилась доля их противников. Но спустя два-три месяца распределение мнений вернулось к прежним показателям (т.е. к преобладанию сторонников мирных переговоров примерно в пропорции 2:1). Примечательная деталь: готовность отнестись к чеченским боевикам и сепаратистам к «мировому терроризму» в июле 2002 года выразили 80% опрошенных, но продолжать военные действия хотели бы не более 30%. Видимо, это значит, что жупел «мирового терроризма» за год просто утратил свое мобилизующее действие (рутинизация?).

Уместно отметить, что распространившийся после сентября 2001 года термин «международный терроризм» — пример малосодержательного и даже опасного словообразования. В контексте конкретных событий им обозначается размещение организаторов и исполнителей сентябрьского нападения на США в различных странах. Никто в мире пока как будто не относил к международному терроризму, скажем, террористические акции исламских фанатиков в Алжире, на Филиппинах, в Судане, в Египте или иных (уже христианских) фанатиков в Ирландии, Испании, наконец, «красных» боевиков в Колумбии, Непале и др. Сходные по способу исполнения, по бесчеловечности подобные действия в каждой стране имеют свои внутренние причины — как и факторы поддержки и противодействия. (Правда, в большинстве случаев там делаются попытки — иногда и удачные — отыскать мирный выход из кровавого конфликта.) Единственным исключением служит стремление российских деятелей, погрязших в чеченской войне, искать самооправдания в апелляциях к жупелу международного терроризма.

По всей видимости, идея «глобализации» чеченского конфликта не нашла серьезной поддержки на Западе. Более сдержанное, чем ранее, отношение к чеченской политике России со стороны США, особенно в первые месяцы после сентября, очевидно служило лишь средством привлечения России к коалиции.

«Образ Америки» с разных сторон

События 11 сентября выявили довольно сложный спектр установок по отношению к США — явных и скрытых, часто — смешанных и противоречивых (на разных уровнях). В том числе — недружелюбных, завистливых, мстительных и т.п., артикулированных или неявных. Ориенти-

рованных иногда против «всего» «американского», иногда против определенных направлений или стиля политики, образа жизни, поведения по отношению к другим странам.

Почему именно США оказались объектом террористической атаки? Почему страна оказалась уязвимой для удара? Почему столь противоречива (и даже становится все более таковой) мировая реакция и на сами события и, тем более, на меры «возмездия», — в том числе и среди ближайших партнеров Америки? Это лишь самые простые из проблем,

которые служат предметом многочисленных дискуссий и публикаций в различных странах⁵.

Не повторяя уже сделанное, я хотел бы рассмотреть лишь некоторые данные, опубликованные в последнее время в России и за рубежом, и высказать некоторые соображения относительно возможной интерпретации этого материала.

Одно терминологическое замечание. Представляется необходимым отметить, что широко распространенное в политической и социально-научной литературе — и потому вполне работоспособное — понятие «антиамериканизм» имеет свои ограничения. Оно пригодно прежде всего для характеристики состояния чрезвычайной, военной или псевдвоенной (включая холодную войну и ее пароксизмы, наподобие упомянутых выше) конфронтации, когда все установки примитивизируются до модели «за или против». Как видно, в частности, из указанных работ Л. Гудкова и Б. Дубина, реальный «спектр» или набор

«уровней» отношений к Америке (стране, народу, власти, общественной системе) в такую модель никак не укладывается.

Обратимся к недавно полученным (май 2002 года) данным о том, как видятся в общественном мнении россиян факторы, сближающие и отдаляющие друг от друга Россию и США. Более всего, по мнению опрошенных, наши страны сближают «совместная борьба с терроризмом» (51%) и «взаимовыгодный товарооборот» (28%), реже упоминаются «интерес к жизни в другой стране, расширение личных контактов и взаимных визитов граждан для учебы, работы, отдыха» (18%), миротворческая деятельность в различных точках планеты (18%), обмен опытом в науке и высоких технологиях (16%), борьба с болезнями и загрязнением среды (15%). В числе менее значимых (по частоте упоминаний) точек сближения — заинтересованность в экономическом росте и повышении благосостояния (8%), ценности свободного демократического общества (7%) и «стремление сохранять и обогащать ценности современной цивилизации» (5%). Есть и люди (10%), которые убеждены, что «ничто не сближает сейчас наши страны». Отдаляют же Россию и США друг от друга прежде всего «высокомерное отношение американцев к другим странам и народам» (38%), стремление американских властей к расширению своего влияния и контроля во всем мире (36%), попытки США защищать свои интересы в разных частях света с помощью «большой дубинки» (26%), слишком большое различие в уровнях экономики и военной мощи двух стран (25%). Заметно меньше ссылок на «низкопробную массовую культуру» (11%), нежелание США помогать бедным странам (11%), «наследие холодной войны, нашей собственной изолированности от всего мира» (10%), взаимную

5

См.: Гудков Л. Отношение к США в России и проблема антиамериканизма // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 2 [= Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. М., 2004. С. 496–551]; Дубин Б. Антиамериканизм в европейской культуре после Второй мировой войны // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 3 [= Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М., 2004. С. 286–299]; а также специальный номер влиятельного французского журнала Esprit, посвященный миру после 11 сентября (Esprit. 2002. Août-septembre).

ненависть, подозрительность, неумение сотрудничать с другими странами и народами» (7%), «антироссийскую политику нынешнего руководства США (6%), «непримиримость национальных интересов двух стран, взаимное недоверие и непонимание» (6%). Только 3% не находят ничего, что отдаляет наши страны друг от друга.

Как видим, и в позитивных, и в негативных оценках США преобладают практически-политические и практически-экономические проблемы и методы. Причем на первом месте — сугубо актуальные обстоятельства (положительный — совместная борьба с терроризмом, отрицательный — стиль американской внешней политики). Весьма редко упоминаются национальные ценности, интересы, культурные факторы, а также ситуации, в которых ответственность отнесена к обеим странам (наследие холодной войны, недоверие, подозрительность). Общественное мнение, как обычно, фиксирует внимание на сиюминутном, не придавая значения причинам, историческим корням определенных отношений.

Присмотримся теперь к данным, показывающим, с какими представлениями связан образ США в общественном мнении России и Франции.

Таблица 2. «Какие слова, на Ваш взгляд, более всего подходят для описания Соединенных Штатов Америки?»

(% от числа опрошенных)

	Россия*		Франция**	
	место	%	место	%
Богатство	1	57	5	39
Прогресс	2	41	6	34
Могущество	3	39	2	66
Свобода	4	36	8	16
Насилие	5	20	1	67
Падение нравов	6	17	9	14
Империализм	7	16	6	23
Неравенство	8	16	3	49
Расизм	9	12	4	42
Молодость	10	8	10–11	7
Наивность	11	4	10–11	7
Великодушие	12	3	12	4

Источник: * опрос ВЦИОМа, август 2002 года; ** опрос Sofres, июнь 2000 года.

Получается, что в России заметно выше, чем во Франции оценивают *богатство, прогресс, свободу* в США.

А французы гораздо больше внимания обращают на такие черты американской жизни как *насилие, могущество, неравенство, расизм, империализм*, а также *наивность*. Примерно одинаково часто в обеих странах отмечают «падение нравов» американцев. Таким образом, во Франции, общественные порядки которой не столь далеки от американских, значительно чаще выделяют те особенности США, которые представляются нежелательными⁶. Следует принять во внимание, что, по всем данным, во французском обществе остаются весьма влиятельными идеи социального равенства и справедливости. Для россиян же, как будто стремящихся позабыть собственное социалистическое прошлое, наиболее приметными оказываются те характе-

6

Как отметил известный французский публицист Филипп Руже, «Франция, единственная из европейских стран, которая никогда не воевала с США, с давних пор имеет самый высокий в Европе уровень антиамериканизма»; автор полагает, что дело в особенностях интеллектуальной культуры французов (Esprit. 2002. Août–septembre. P. 176). Ср. также аналогичную трактовку проблемы в упомянутой статье Б. Дубина. Небольшой добавочный штришок: в августе 2002 года во Франции обнаружили только 3% опрошенных, желавших, чтобы США остались единственной сверх-

державой, а 91% сочли, что такой статус должна приобрести и Европа (в среднем по европейским странам соотношение мнений — 14:65) (Worldviews 2002 Survey of European Public Opinion & Foreign Policy, <http://www.worldviews.org>).

ристики Америки, которые вызывают у них зависть. (Ведь по результатам опросов общественного мнения в России больше всего завидуют богатым...) А традиционные объекты советской критики США — неравенство, расизм, империализм — явно отошли на второй план в массовых представлениях об этой стране.

Согласно исследованию, проведенному во Франции в ноябре 2001 года, в целом 65% французов отметили, что они испытывают скорее симпатии к США, только 5% выразили антипатию, 29% не выразили ни тех, ни других чувств. Примечательно, что в этой стране симпатизируют Штатам скорее левые, чем правые, более всего рабочие и коммерсанты. По мнению французов, США играют скорее позитивную роль в развитии демократии и прав человека в мире, а также в снижении международной напряженности, но скорее отрицательную роль — в поисках решения израильско-палестинского конфликта и в экономическом развитии бедных стран (Sofres).

Вернемся, однако, ближе к обсуждаемой теме.

Вот как представляли американцы оценку населением других стран ответственности США за происшедшие события.

Таблица 3. «Согласны ли Вы с тем, что, по мнению многих людей, США сами несут ответственность за ненависть к ним, которая привела к террористическому нападению?»

(Pew Research Center Survey, 21–25 сентября 2001 года, % от числа опрошенных)

	В Западной Европе	На Ближнем Востоке
Да, так считают	38	59
Нет, так не считают	47	25
Затрудняюсь ответить	15	14

По данным опроса в шести европейских странах, проведенного в августе 2002 года, 55% европейцев сочли одним из powodов для теракта 11 сентября американскую внешнюю политику (Financial Times. 2002. 4 September).

Чем объясняется столь широкое — даже по мнению американцев — распространение негативных установок в отношении США?

Западноевропейцев, исторически солидарных с США, раздражают расчет американских властей на использование собственного военного и экономического могущества, неумение вести осторожные политические игры, нежелание считаться с мнением и интересами других стран, вынужденность следовать в фарватере американской политики.

В бывшем *третьем мире* многим представляется, что Америка силой и давлением навязывает им непривычный образ жизни. Единственно существенный в этом мире религиозный фактор — исламский — дает идеологическую опору этим настроениям.

Наконец, в *России* к этим факторам добавляется горечь собственных поражений в стремлении к мировому величию, в попытке влиять на развивающиеся страны. К этому комплексу подавленности также добавляется вынужденное следование американской политике.

В мире достаточно велик ресурс взаимного недружелюбия, подозрительности, зависти и пр. (все эти характеристики межличностных отношений для отношений межгосударственных, межнациональных и т.п. — не более чем метафоры). Но ни одна страна в современном мире, по крайней мере после окончания советско-американского проти-

востояния, не может собрать такую массу и такое «качество» негативных отношений к себе, как США.

Проще всего, следуя неизжитым в массовом и социально-научном сознании рудиментам «классового подхода», представить себе, что движущей силой здесь является черная зависть бедных к богатым (самым богатым), слабых — к сильным (самым сильным), отсталых, «недомодернизованных» — к самым передовым и т.д. Но, насколько можно судить, в сентябрьских событиях, действовали (и аплодировали им) не самые бедные и отсталые. Возможно, здесь больше пригодилась бы не одномерная, линейная модель общественного развития (прогресса, модернизации), а что-то вроде модели столкновения разных способов или путей такого развития.

Но ссылка на «негативные оценки» слишком слаба, чтобы хоть как-то объяснить то чудовищно расчетливое и чудовищно бесчеловечное — по обычным меркам человеческой жизни — безумие, которое двигало «актерами» 11 сентября. Никакая «нелюбовь», никакая обида или ссора между людьми или народами не объясняет перехода поведения за «рамки», определяемые культурой, цивилизацией, обычным и писаным правом. Значит, действует некая совершенно иная система стандартов и норм. Вопрос в том, кто носитель этой, условно говоря, «контрцивилизации» — некая организованная замкнутая группа типа секты, партии, движения заговорщиков или «иная» половина человечества.

Другая сторона проблемы, о которой, по всей видимости, стали больше задумываться где-то к концу минувшего годичного периода, — содержание действий самой «американской силы» до и после сентябрьских событий. Исключительность положения США, объяснимая историей и современной мощью, заключается в том, что эта страна до недавнего времени (до Второй мировой войны) не участвовала в мировых делах, не имела своей внешней политики, а сейчас способна действовать по известному принципу — наличие сверхсилы извлекать от необходимости осторожности, ловкости, маневра, соотносения с другими, т.е. того, что обычно входит в понятие политического искусства. И уже потому способна плодить недоброжелателей, в том числе из числа партнеров и союзников.

И поэтому именно США оказались мишенью террористической атаки, направленной — если верить наиболее распространенным интерпретациям — против всей современной цивилизации или каких-то наиболее одиозных ее проявлений. Как и любая иная акция массового террора, удар 11 сентября был направлен, скорее всего, на то, чтобы посеять смутнение и страх среди населения и элиты. А также на то, чтобы демонстративно унизить сильнейшую державу, показав миру ее уязвимость.

Спустя год

Развитие событий на протяжении года после 11 сентября позволяет проверить предположения о социальном значении сентябрьского таракта. Ожидания какого-то коренного поворота в мировых и общественных отношениях оказались ошибочными — и для положения США в мире, и для мировых «линий разлома» по осям «Восток — Запад» (теряющей значение) и «Север — Юг» (значение которой явно растет). Это относится и к отношениям России с Соединенными Штатами

и всем «Западным миром». Но эти страны и «мир в целом», поскольку можно пользоваться таким термином, отнюдь не вернулись «на круги своя», т.е. к положению, существовавшему до «того» сентября. (Как известно, ничто в мире движется «по кругу», никто и ничто не возвращается в исходную точку.) Если последствия пережитой встряски не всюду заметны сегодня, они могут стать видны позже, на каких-то следующих этапах, в иных формах.

В *Соединенных Штатах*, судя по опросам общественного мнения, на уровне повседневной жизни сохранились повышенные опасения в отношении авиаперелетов, небоскребов, а также мигрантов, но в целом жизненные привычки и настроения вернулись к привычным стандартам. Исследования не показали возрастания роли религии или роста общей тревожности, хотя представления о большой вероятности новых террористических акций сохраняются — в октябре 2001 года этим были встревожены 43% населения, в сентябре 2002-го — 38% (Gallup Poll Analysis, 11 сентября 2002 года). Последнее, видимо, означает, что «актуальный» страх стать жертвой террора трансформировался в «потенциальный», в представление об отдаленной возможности события.

Особый узел проблем американской жизни — отношение к ограничению личных свобод при усилении мер общественной безопасности. Практика всякой «борьбы» понуждает к использованию чрезвычайных мер, вопрос в том, как они воспринимаются (и чем сдерживаются). Так, по мнению 53% опрошенных российских граждан, усиление мер безопасности и возможность большего вмешательства в частную жизнь со стороны властей не создают угрозы гражданским правам; 52% считают такое вмешательство допустимым. Отвечая на подобный вопрос, поставленный в США («Насколько беспокоит Вас то, что новые меры, направленные на борьбу с терроризмом, могут привести к ограничению наших личных свобод?»), 63% опрошенных американцев сообщили, что такое вмешательство их беспокоит, 35% — что не испытывают беспокойства (Associated Press Poll, 2–6 августа 2002 года). Согласно опросам в ряде европейских стран и США, проведенным в августе 2002 года, ограничения гражданских и личных свобод после 11 сентября ощущалось повсеместно, сильнее всего, естественно, в США, где это отметили 30% (Gallup Poll Analysis, 9 сентября 2002 года). В сентябре 2001 года ограничение некоторых гражданских свобод признавали необходимым 63% американцев (при 32% несогласных с этим), в июне 2002-го — 49% против 45% (Gallup Poll Analysis, 11 сентября, 2002 года).

В отношении американцев к институтам государства, к президенту Дж. Бушу, ФБР и др. можно усмотреть такие феномены, как «символическое доверие» и «реальные оценки» (определенных действий) — известные по российским исследованиям последнего времени. Рейтинги президента (уровень одобрения деятельности), стремительно взлетевшие в сентябре 2001 года почти до 80%, за год опустились примерно до 65%, что означает все же чрезвычайно высокую поддержку населения. Понятно, что «взлет» показателей обусловлен не столько действиями, сколько позицией, декларацией решительного противостояния терроризму, импонировавшей общественным ожиданиям в чрезвычайной ситуации.

Между тем «реальные» оценки действий властей в противостоянии терроризму показывают скорее отрицательную динамику на про-

тяжении года (после подъема, обусловленного, видимо, ходом событий в Афганистане). Ниже приводятся данные, полученные двумя американскими исследовательскими институтами.

Таблица 4. «Кто выигрывает в войне с терроризмом?»

(Gallup Poll, % от числа опрошенных)

	США	Никто	Террористы	Затрудняюсь ответить
Ноябрь 2001 года	53	33	11	3
Январь 2002 года	66	25	7	2
Май 2002 года	41	35	15	9
Август 2002 года	37	46	14	3

Таблица 5. «Побеждают ли США и союзники в борьбе против терроризма?»

(Fox News/Opinion Dynamics Poll, % от числа опрошенных)

	Да	Нет	Не знаю
Октябрь 2001 года	47	32	21
Ноябрь 2001 года	67	15	18
Сентябрь 2002 года	36	43	21

Эти результаты сопоставимы с полученными в российских опросах ВЦИОМа. В августе 2002 года антитеррористическую операцию США и союзников считали успешной 24% россиян, неуспешной — 62%. Как можно предполагать, нарастание пессимистических оценок антитеррористической операции вызвано тем, что организаторы акции 11 сентября не обнаружены, сохраняются возможности для повторения подобных нападений; кроме того, в освобожденном от власти талибов Афганистане сохраняется неустойчивое положение. Лишь 15% американцев в августе 2002 года сочли войну против террористических организаций в Афганистане успешной, 12% — неудачной, а 70% сочли, что об этом «слишком рано говорить» (Pew Research Center Survey, 14–25 августа 2002 года).

В последнее время стали падать и общие показатели положения в США, которые отслеживаются по опросным данным. С июля 2002 года соотношение оценок общего курса страны стало преимущественно отрицательным. На такие показатели очевидно оказывают влияние также экономическое положение в стране, коррупционные скандалы и пр. В этих условиях для поддержания высокого уровня общественного доверия президенту приходится искать варианты демонстративно активных действий, по сути дела — символических. В определенной мере с этим связаны планы акций против иракского режима.

На уровне *национальной общности* США сохраняется, между тем, состояние символической патриотической мобилизованности (то, что называют там «равнением на флаг», rally around the flag). Этот традиционный для США общественный механизм сыграл важную роль в предотвращении массовой паники после 11 сентября, в организации сбора пожертвований, торжественно-траурных церемоний памяти погибших и др. 50% опрошенных в августе 2002 года сочли, что после 11 сентября «Америка изменилась к лучшему», 15% — что произошли изменения в худшую сторону, 28% — что на деле изменений не произошло (Associated Press Poll, 2–6 августа 2002 года). В том же ключе находится, по всей видимости, и распределение оценок действий различных структур в борьбе с терроризмом. В сентябре 2002 года действия президента

Дж. Буша в этой области одобряли 75% опрошенных, конгресса — 67%, а «американского народа» — 85%. Символическое сплочение граждан служит основой символического авторитета президента.

Правда, и здесь в последнее время наблюдаются определенное ослабление эмоциональной мобилизации. В сентябре 2002 года 34% опрошенных американцев отмечали, что «чувства патриотизма и добрососедства» немного поблекли, 30% — что эти чувства поблекли в некоторой мере, 10% — что это произошло в значительной степени, 3% — что такие чувства исчезли совсем; и только 19% сочли, что никакого увядания этих чувств не произошло (Fox News Poll, 8–9 сентября 2002 года).

Предметом дискуссий остается вопрос о том, как повлияло развитие событий после 11 сентября на *российско-американские отношения*. Отмечая первую годовщину террористического нападения на США, политический обозреватель А. Тимофеевский утверждал: «За год, про-

шедший после 11 сентября, Россия продвинулась на Запад больше, чем за последние сто лет...»⁷ Вряд ли можно подтвердить такой вывод какими-либо фактами. Колебания общественных настроений и тона массмедиа в течение года

показали, что ни массовое население, ни элита, включая политическую и журналистскую, не готовы к серьезному повороту в отношениях с Америкой. Инерция противопоставления интересов вопреки всем декларациям на высших уровнях (а также и на уровне массовых опросов) слишком сильна, чтобы покончить со стереотипами холодной войны.

В декабре 2001 года 57% опрошенных россиян полагали, что отношения между Россией и США за последние месяцы улучшились (по мнению 28% — ухудшились); в июне 2002 года улучшение отношений после терактов в США усматривали 53% опрошенных, ухудшение — 36%. Между этими точками — провал февраля–марта 2002 года («олимпийский» скандал), когда отношения как будто опустились до точки замерзания и только 7% опрошенных отмечали сближение двух стран, а 34% — ухудшение отношений; 37% считали наши страны союзниками на мировой арене, а 38% — противниками (данные марта 2002 года). Если такие «загогулины» в оценках возможны, то до реальной близости — весьма и весьма далеко.

На первых порах, в начале американских действий в Афганистане, в России, при всех оговорках официальных источников и массмедиа, преобладало желание успеха операции. Сейчас явно доминируют другие чувства: опасения в отношении возможного усиления влияния США и своего рода злорадство по поводу того, что США увязнут в Афганистане или в Ираке примерно так, как это случилось с российскими/советскими силами в том же Афганистане, а потом в Чечне. Если всерьез принимать поспешно, без обоснования выдвинутый в сентябре 2001 года политический тезис об «общих интересах» противостояния новому терроризму, нужно бы желать партнеру не провала, а продуманных и успешных действий.

Кстати, в американском общественном мнении оценка роли России в противодействии международному терроризму в последнее время заметно ухудшилась. В ноябре 2001 года 51% опрошенных американцев (против 32%) полагали, что Россия сделала «достаточно много» для содействия США в борьбе с терроризмом, а в сентябре 2002 года содействие России считали «достаточным» только 29%, недостаточным — 63% (Newsweek Poll).

Конечно, разного рода взаимные интересы и обмены, в том числе на индивидуальном уровне, шаг за шагом, вопреки всем конъюнктурным колебаниям, сближают страны. Если искать момент «решающего поворота», то его, скорее всего, стоит отнести к далекому 1989 году, все последующие сдвиги в этом направлении были попытками осуществить начатое тогда.

Не стали более тесными и простыми за год и отношения между США и европейскими странами. Сразу после событий сентября 2001 года было продемонстрировано единство западных стран против общей угрозы, но после этого «медового месяца» (выражение из аналитического доклада Sofres), все более явными становятся расхождения в оценках дальнейших действий, реакция на вынужденное следование предложенному США курсу. Так, даже в Англии проводимую премьером линию на полную поддержку американских действий поддерживают несколько более трети населения (MORI).

Что же касается стран арабских и мусульманских, то, насколько можно судить, их реакция на происходящее после 11 сентября значительно осложнилась. Политические (и военно-политические) элиты, связанные с западной экономикой, смогли как будто пригасить явные выражения массового антиамериканского протеста, большинство из этих стран осудило теракты и даже объявило о солидарности с США. В то же время произошла резкая активизация действий боевых сил, выступающих под флагами исламского джихада в таких странах, как Израиль и Индия (Кашмир). Причем по отношению к Израилю стали использоваться организованные атаки террористов-камикадзе (аналогичные акты в Чечне носили, по-видимому, спонтанный характер).

Проблема современной и потенциальной роли ислама как неоднозначного фактора общественного развития на значительной части сегодняшнего мира, естественно, привлекает большое внимание аналитиков и самого общественного мнения. Судя по опросным данным и ряду публикаций, мнения о неизбежной связи мусульманства как такового с террористическими действиями и организациями не разделяются большинством опрошенных в западных странах (распределение мнений в Израиле может быть иным, но это особая проблема). Соответственно, политика в этих странах исходит из допущения, что радикально-военные группы и течения в мусульманском мире могут и должны быть отсечены от его более умеренных вариантов. Как утверждает известный французский исламовед О. Руа, «исламская радикализация и терроризм находятся на обочине мусульманского мира, как в географическом, так и в социологическом плане»⁸.

Согласно опросам, в декабре 2001 года 17% американцев полагали, что действия террористов исходят из учения ислама, но 72% видели в них «извращение ислама» (Newsweek Poll). Следующие данные показывают, как американцы представляли себе настроения мусульманского населения разных стран (см. табл. 6).

Сразу после событий в США стала обсуждаться проблема отношения к арабам, в том числе живущим в Америке. 32% опрошенных в сентябре предлагали взять их под особый надзор, но подавляющее большинство, 62%, согласилось, что нельзя ставить под подозрение целые национальные группы (Newsweek Poll, 13–14 сентября 2001 года). По данным более позднего опроса, 37% американцев сочли, что уровень доверия к арабам в стране снизился, 61% — что он не изменился (CNN/US Today/Gallup Poll, 8–9 марта 2002 года).

⁸
Esprit. 2002. Août-septembre.
P. 73.

Таблица 6. «Кому, по Вашему мнению, симпатизируют...»

(Harris Poll, 19–25 сентября 2001 года, % от числа опрошенных)

	США	Террористам	Никому	Не уверен
Американские мусульмане	76	11	3	10
Американские арабы	73	13	2	10
Правительства мусульманских стран	46	35	4	15
Мусульмане в других странах	42	38	3	17
Арабы на Ближнем Востоке	29	50	4	16

В то же время 48% американцев (против 30%) выразили беспокойство в связи с тем, что стремление правительства США опереться на «дружественные, но диктаторские» режимы на Ближнем Востоке может привести к росту поддержки исламских экстремистов среди «простых людей» в этих странах (Newsweek Poll, декабрь 2001 года).

Самая черная фантазия, взбудораженная событиями 11 сентября, — картина смертельной войны между неким условным «Югом» (бывший третий мир, развивающиеся страны во главе с агрессивными исламистами) против условного «Севера» (США плюс Европа, возможно, и Россия). В «западной» терминологии, это война прогрессивного или «цивилизованного» человечества против современного «варварства», в терминологии воинствующего мусульманства — война праведной «исламской цивилизации» против несправедливой, безбожной и т.д. «иудеохристианской цивилизации». Согласно результатам опроса, угроза развязывания новой мировой войны (сразу после событий, в сентябре 2001 года) казалась реальной 41% москвичей. В массовом воображении наиболее вероятной представляется такая расстановка сил, в которой союзу США, России и других стран противостоит «мусульманский мир» (29%); на перспективу противостояния США и их союзников с мусульманскими странами без участия России указали 26% (данные ноября 2001 года). Примечательно, что вариант войны России с западным блоком как будто исчез из поля массового зрения.

Опасность новой «войны миров» отражается, хотя и заметно слабее, и в последних опросных данных (см. ниже). Материал для работы воображения в таком направлении, конечно, имеется, но это не повышает вероятности самого события. Можно вообразить очередную мировую схватку не как войну «окопную» или «танковую», по уже известным образцам, а как нескончаемую серию террористических актов нарастающей силы, направленных против наиболее развитых стран. Для того чтобы такая угроза стала реальной, требуется, среди прочего, существование некой хорошо организованной, сплоченной и могущественной боевой силы. До такого образца современному исламскому миру все же далеко.

Российское общественное мнение следующим образом оценило изменения ситуации за минувший год (см. табл. 7).

Спустя год после террористического нападения на США эмоциональные оценки происшедшего притупились, представления — рутинизировались, образ новых опасностей подобного масштаба в массовом сознании остался, но потускнел, отодвинулся на дальний план. Можно допустить, что, случись сегодня что-либо подобное, его восприятие в разных странах и на разных уровнях оказалось бы значительно менее тревожным. «Привычка свыше нам дана» — даже по отношению к самым чудовищным событиям. Но причины «тех» событий сохранились, как и люди, организации, массовые страсти, к ним причастные, а также

им противостоящие. На уровне глубинных факторов, корней, противостояние может быть лишь долгим и трудным. Фигурально выражаясь, «последний бой», Армагеддон образца XXI века, оказывается растянутым во времени, причем это время не политических акций, а скорее цивилизационных периодов.

Таблица 7. «Как Вам кажется, за время, прошедшее с 11 сентября 2001 года...»

(Август 2002 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

Россия и Соединенные Штаты стали	
ближе друг к другу	35
ни ближе, ни дальше	53
дальше друг от друга	6
Страны мира	
сплотились перед угрозой мирового терроризма	34
единства не удалось достичь	47
отдалились друг от друга	8
Угроза подобных террористических актов	
уменьшилась	12
не изменилась	50
увеличилась	31
Опасность новой мировой войны	
уменьшилась	16
не изменилась	46
увеличилась	27

Подытоживая приведенные выше данные и предположения, можно сказать, что события 11 сентября 2001 года обозначили новую опасность, грозящую человечеству. Минувший после этих событий год привлекал внимание политиков и аналитиков к ряду проблем, которые ранее часто недооценивались или считались локальными, проходящими. Но все конкретные действия, предпринятые или начатые кем бы то ни было за это время, равно как и многочисленные политические декларации, касались лишь видимой «верхушки айсберга», почти не затрагивая его основания, т.е. причин и истоков наблюдаемых событий.

К тому же такое направление действий, как заявленное на уровне политического руководства России сплочение «цивилизованных сил» против «современного варварства» — принципиально важное для развития положения в мире, в частности, для преодоления внутренней и внешней изолированности России от мировых процессов, — было лишь обозначено, но далеко не реализовано. Иного, скорее всего, произойти не могло — при наличных политических и общественных предпосылках, при данном раскладе действующих на отечественной и мировой арене сил. Проблемы цивилизационного уровня не могут преодолеваться никакими политическими или военно-политическими и тому подобными акциями, да и требуемые для этого сроки превосходят время политических расчетов и даже политического воображения. Тем более важно попытаться перенести подобную проблематику в поле социально-научного анализа.

«Конфликт цивилизаций»?

Одним из следствий шока 11 сентября явилось оживление интереса массмедиа и околонаучной литературы к понятиям «цивилизаций», «миров» — никогда и никем не разработанных до научной убедитель-

ности и ясности, принадлежащих скорее словарю социально-исторической публицистики. Не разбирая соответствующие дефиниции, ограничусь тем «рабочим» уровнем определенности, который кажется достаточным для интересующего нас анализа «лавиновых» процессов в мировом сообществе, наглядно обнаруженных в «постсентябрьский» год. Цивилизационные феномены, как они видны в современном социологическом анализе, — это некоторая устойчивая обособленность установок, стереотипов, ценностных и поведенческих норм, характерных для сообществ, сформировавшаяся в различных социально-исторических условиях, в рамках различных религиозных, этических, государственных образований. Разделяющие рамки, очевидно, можно трактовать по разным основаниям, используя различные масштабы, оптику и пр. В соответствующих (практически-релятивистских) контекстах правомочным может быть сопоставление «восточной» и «западной» цивилизации, «христианской (или иудеохристианской)» и «мусульманской», «индуистской» и др., античной и средневековой и т.д. Жесткие и абсолютизированные деления, предлагавшиеся, например, А. Тойнби, относятся к теоретически реконструированному историческому прошлому. Только в такой ретроспективной исторической модели и можно обнаружить обособленно существующие цивилизационные структуры.

Сегодня же мы наблюдаем и переживаем совершенно иной феномен — взаимодействие людей и групп из давно расколотых, утративших замкнутость цивилизационных образований, захваченных модернизационными процессами на различных фазах (и, как представляется, на различных «линиях», путях развития). Это взаимодействие, как показал минувший век, весьма сложно, противоречиво, взрывоопасно, возможно даже, смертельно опасно не только для «либерального» проекта человечества, но и для самого существования последнего. Сталкиваются интересы, привычные нормы и ценности «старожилов» современного мира и «новоприбывших», стремящихся (а точнее, вынужденных) приобщаться к результатам (благам, инструментам, нормам, ограничениям) этого мира, не пройдя многовековой исторической «приготовительной школы». Самые тяжелые конфликты ценностей и претензий складываются — на протяжении примерно столетия — у «порога» современного мира. Оговорюсь еще раз: различия «старых» и «новоприбывших» его обитателей — условны, подвижны; под определенным углом зрения к числу «новоприбывших» относятся не только бывшая сфера европейской колонизации, но и Россия, и ряд других европеизированных стран. Как условен и образ «порога», каких-то врат современности. Даже ООН, воплощающая стандарт образцово-универсального политического сознания, выдает «аттестат зрелости» (гражданской, цивилизационной) странам, находящимся на разных путях и фазах модернизации.

Последний термин далеко не столь ясен, как казалось сторонникам моделей универсального прогресса. Модернизация иногда представляется некоторой универсальной осью, с которой соотносятся изменения в экономической, социальной, технической, коммуникативной, межличностной и прочих сферах во всем мире примерно за два-три последних столетия. Но модель такой оси не обязательно предполагает «однолинейность» реальных процессов изменений, возможность сопоставления различных стран, обществ, институтов с помощью какой-то единой меры, универсального индикатора. Можно ведь представить

себе, что различные страны и общества *разными путями*, в разных исторических, политических, религиозных и прочих обстоятельствах, даже в разном порядке осваивают институциональные характеристики модернизации. Ни «технического», ни «экономического» детерминизма в глобальном масштабе не существует, поскольку инструментальные и консуматорные (конечные, потребляемые) блага оказываются доступными на разных уровнях развития — скажем, как ракетно-ядерное вооружение в Китае или экономические блага и банковская система в Саудовской Аравии и т.д. Разумеется, это возможно только потому, что никакие пути трансформаций, как бы своеобразны они ни были, не могут быть обособленными друг от друга. Как раз на их *пересечении* возникают самые острые проблемы современности, вплоть до воображаемой «войны миров»; по-видимому, в этом котле и оформились те заряды напряженности, претензий, ненависти, которые вырвались наружу 11 сентября. Кто бы ни были исполнители или организаторы террористической акции, за их спинами — не просто зависть и ненависть «бедных», обращенная против «богатых», а скорее претензии «новопришедших» к «уже устроившимся», облаченные в полевую форму религиозного фанатизма.

В известной книге С. Хантингтона неоднократно повторяется тезис о двух типах модернизации — «западной» и «незападной»⁹. Нынешнее «исламское восстание» (resurgence), по мнению автора, означает «принятие модерности, отрицание западной культуры и новое обращение к исламу как руководству к жизни»¹⁰. Тезис представляется плодотворным, это, видимо, наиболее интересная позиция в книге, хотя дихотомия «Запад — не-Запад» слишком упрощает проблему. В нее не укладываются ни «тоталитарная» модернизация в советском, китайском, германском, итальянском и других вариантах, ни разнообразие «исламской» модернизации, например, в Иране, Эмиратах, Магрибе и т.д. Представление о различных типах модернизации нуждается в обстоятельной разработке.

Различные страны и сообщества могут приобщаться к современной цивилизационной модели, в принципе, потому, что эта модель универсальна, точнее, может служить универсальной «шапкой» для разных типов общества. Это не особая цивилизация, типологически сопоставимая с рядом других, а «*суперцивилизация*», накладывающая свои институты на разные основы и варианты. На первых порах и до сего времени она выглядит не как единство, а лишь как взаимосвязь различных социальных структур (как бы «*интерцивилизация*»).

В конце XIX — начале XX века весьма острой была проблема инкорпорации в европейско-американское общество рабочих; существовали опасения (или надежды) относительно того, что этот слой, на лидерство в котором претендовали революционные террористы — анархисты и другие крайне левые, — может взорвать общество. На протяжении столетия эта проблема была решена. Сто лет спустя еще большую остроту приобрела проблема эффективной инкорпорации в общество (в мировом масштабе, т.е. в сообществе развитых цивилизованных стран) бывшего третьего мира. Возможно, для ее успешного решения — если считать его возможным — потребуется более одного столетия. С проявлениями этой проблемы, как представляется, столкнулся мир 11 сентября 2001 года.

9

«Модернизация не обязательно означает вестернизацию... Модернизация укрепляет (не-западные) культуры и уменьшает относительную мощь Запада. В принципе мир становится более современным и менее западным» (Huntington S.P. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. N.Y., 1997. P. 78).

10

Ibid. P. 109–110.

«Открытый перелом» социальных структур
как аналитическая ситуация

Давно известно, что в условиях глубоких общественных кризисов скрытые механизмы и пружины социальных процессов как бы приобретают прозрачность, становятся более доступными для исследования. Это вновь подтверждает развитие ситуации вокруг Ирака весной 2003 года, по-разному затронувшее структуры политических отношений и общественного мнения в мировом масштабе, в ряде регионов и стран. Понятно, что в данном случае нас интересуют прежде всего происходящие и вероятные сдвиги в неустойчивом распределении установок российского политического сознания и общественного мнения. Как показывают, в частности, данные опросов последних месяцев, кризис стимулировал в России сложную цепную реакцию переосмысления и переоценки многих массовых симпатий и антипатий. При этом на поверхности общественного мнения в наглядном, развернутом виде часто выражаются скрытые «под ковром» коллизии, свойственные официальным институтам или структурам. Правда, выражение это часто получается довольно сложным, запутанным, что весьма поучительно как для оценки «момента», так и для понимания самого механизма действия общественного мнения, причем не только в наших условиях.

Масштабы кризиса во времени и в пространстве

Нетрудно заметить, что третье столетие подряд начинается с попытки нового передела общемировых — в разных рамках — политических отношений. В начале XIX века — это были наполеоновские войны, определившие облик европейской политической модернизации примерно на столетие. В начале XX — мировая война и последовавшие за ней катаклизмы, одним из главных результатов которых явился выход на пути модернизации неевропейских стран. Кризис, обозначенный террористической акцией 11 сентября 2001 года в США и продолженный развитием ситуации вокруг Ирака в 2003 году, возможно, определит расстановку сил и линий мировой напряженности на XXI век.

Как это бывает обычно, параметры социальных событий как во времени, так и в пространстве не могут ограничиваться непосредственными последствиями, намерениями участников, региональными масштабами конкретного конфликта и т.п. Определяющим служит значение событий, их место в процессах более широкого плана. В данном случае такими параметрами служат *историческое время и общемировое, глобальное пространство*.

«Широкие» хронологические рамки нынешнего политического кризиса — это время вынужденного пересмотра той системы мировых связей, которая сложилась после Второй мировой войны и распада

колониальной системы, более «узкие» (и отчасти более случайные, субъективные) — предпосылки и последствия террористической атаки 11 сентября 2001 года в США. (Последствия другого перелома второй половины XX века — распада социалистической системы — в этой ситуации остаются на втором плане и особой роли не играют.) Как бы ни оценивать американские действия по отношению к Ираку в плане их оправданности, продуманности, успешности и пр., несомненно, что они разрывают привычную для второй половины прошлого столетия — а потому казавшуюся прочной, хотя бы символически, для общественного мнения — международно-нормативную систему, которую воплощали известные правила большинства и единогласия в институтах ООН, воплощавших привилегии держав-победительниц в мировой войне и равноправие «массы» деколонизированных стран.

Процессы политической деколонизации XX века вывели на мировую арену страны так называемой «неевропейской» (вторичной) модернизации, т.е. получившие доступ к «чужим» техническим, экономическим, информационным, мобилизационным и прочим средствам современного мира, обладающие громадным демографическим потенциалом и природными ресурсами, — но не прошедшие собственного пути политической, гражданской, личностной модернизации, не имеющие современных гражданских структур. Средством самоутверждения амбициозных режимов (псевдотрадиционных или демонстративно-революционных, националистических, квазитоталитарных по организации, часто также социалистических по лозунгам) оказываются мобилизация завистливой мести по отношению к спокойно-благополучному «Западу». В результате возникает новый раскол мира, — возможно, значительно более глубокий и опасный, чем пресловутое противостояние «двух систем» в 50–80-х годах XX века.

Если пользоваться терминологией А. Тойнби, удар 11 сентября можно назвать знаком «вызова» устаревшему мировому порядку, последующие действия США и «коалиции» (переменного состава) — поисками «ответа» на этот вызов. Но это, конечно, всего лишь условная, обобщенная схема процессов, которые, по-видимому, лежат в основе наблюдаемых акций и их восприятия в политическом и массовом сознании. Этого круга проблем приходилось касаться на предыдущем витке событий¹. Тогда речь шла о восприятии общественным мнением, в том числе российским, всемирной «антитеррористической коалиции», — которой суждено было остаться преимущественно символическим феноменом. Сейчас в повестке дня иная расстановка сил, хотя общее направление действий остается прежним.

«Географические» масштабы кризиса далеко выходят за пределы группы стран, непосредственно в него вовлеченных, или отдельного «горячего» региона. Под влиянием кризиса неизбежно оказывается вся система межгосударственных и межрегиональных отношений в современном мире, система стереотипов политического и массового сознания в различных его углах, а также система действующих в этих отношениях и в общественном мнении нормативно-ценностных представлений, «правил игры». В «огне» иракского конфликта сгорает и мелькнувшее было осенью 2001 года противопоставление «антитеррористического альянса» цивилизованных стран обезумевшим «противникам цивилизации», но также и единство самого образа «Запада»

1

См. статью «Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября в общественном мнении России и мира» в настоящей книге.

(даже Европы, даже НАТО внутри этого «Запада»), не говоря уже о не-долговечной близости России и США. И никакие из этих разрывов, расколов, коллизий нельзя свести к случайным — и потому довольно легко исправимым с помощью дипломатических маневров, косметических компромиссов и т.п. — недоразумениям или ошибкам недалеко-видных политиков; даже удачные попытки «замазать трещины» не способны их ликвидировать. Реанимировать «привычную» («ооновскую» или «натовскую») систему мировых альянсов — или заменить их новыми — вряд ли удастся, поскольку таких мощных стимуляторов, как противостояние времен мировой и холодной войн, нет. А сугубо утилитарные коалиции «слабых» вокруг «сильного», возникающие в противовес неэффективным старым альянсам, в порядке вознаграждения за поддержку и т.п., — лишь стимулируют переоценку последних.

Поэтому завязавшийся вокруг Ирака кризисный узел складывается на внутривнутриполитической ситуации в США, на отношениях США с их старыми и новыми союзниками в Европе и Азии, на европейско-американском соперничестве, на перспективах мирового влияния Китая, на внутриарабских альянсах и коллизиях и пр. А в России под сильнейшим влиянием иракского кризиса оказываются не только внешнеполитические и внешнеэкономические ориентации государства, но и политическое самоопределение власти, механизмы массовой мобилизации, — и, конечно, чеченский узел. На восприятии этой группы проблем в российском общественном мнении мы остановимся несколько позже.

Мораль и прагматика, политика и наука: разница позиций

В политическом сознании — в том числе и российском — после падения иракского режима наблюдаются признаки явного поворота от нормативных (моральных, международно-правовых) оценок американских действий в Ираке к инструментальным (прагматически-политическим): признание свершившихся фактов, осторожное полуодобрение — в рамках демонстративного сохранения «стратегического партнерства» и уже сугубо прагматического стремления использовать результаты чужих побед. Стоит заметить, что до сих пор слабее всего сказываются подобные сдвиги в общественном мнении, которое вновь демонстрирует качества инертности, стабильности устоявшихся установок, а также — что не менее важно — стабильности однажды принятого (или навязанного массмедиа) угла зрения. Так, если в апреле 2003 года резко изменились содержание и тон официальных реакций на события со стороны президента и правительства России, а в определенной мере и со стороны российских СМИ, то массовые установки в отношении США и их действий стали еще более жестко-негативными, перелом в настроениях обозначился только к концу мая. Между тем представляется важным, что наблюдаемый на уровне официальной политики сдвиг — это не столько переоценка, изменение мнений или критериев суждения о происходящих процессах, сколько «прагматическое» *изменение самой «точки» зрения, позиции наблюдателя*. А именно переход от суждений о нормативной (или ситуативной) оправданности/неоправданности американской акции к признанию ее как свершившегося факта и попыткам сориентироваться в новой ситуации. Из поля мирового политического внимания как бы разом выпали вопросы

о том, насколько опасным был иракский режим, имелось ли у него на самом деле искомое оружие массового поражения и т.п.

Было бы совершенной нелепостью упрекать каких бы то ни было политиков в «прагматичности»: политическая деятельность *всегда* по природе своей прагматична, т.е. ориентирована на решение узкопрактических задач в хронологических рамках текущих интересов или данного электорального цикла. «Правильность» всякой политики, тем более международной, измеряется ее (предполагаемыми или реальными) успехами, а не соблюдением «правил».

Необходимая, хотя и недостаточная, предпосылка научного, социологического анализа — отказ как от морализации, так и от прагматизма в подходе к социальным феноменам. Обличения, оправдания, оценки успехов и поражений — неизбежны, правомерны в рамках морали, политики, просто эмоционально нагруженного человеческого восприятия событий и действий. Но жребий науки, по определению Спинозы, состоит в том, чтобы *понимать*. В данной ситуации и ей подобных это значит понимать *социальный механизм* событий и их *социальное значение*. Возможно, когда-нибудь историки, биографы, психологи смогут представить всю цепочку намерений, переживаний и поступков, связанных с ними крупных и мелких расчетов, амбиций, страстей, которая вела Дж. Буша-младшего и его команду от 11 сентября 2001 года к афганской операции, а от нее к иракской. Социологическая задача — принципиально иная: выяснить, как сработал запущенный «социальный маховик», к каким социально значимым сдвигам в общественной жизни и общественном сознании это привело. Здесь мы, упрощенно говоря, переходим от представлений об окказиональных и ситуативных факторах, сыгравших роль неких «первотолчков» в цепи событий, — к пониманию реально возможных и реально значимых перемен различного социального масштаба и уровня.

Проблема масштаба событий вновь приводит к различению политического и социологического подходов. Политическое «зрение» ограничено рамками определенной, в какой-то мере желаемой или планируемой операции (например, низвержение или утверждение режима), социологическое обязано принимать во внимание дальние и сложные последствия. Политика измеряет успех и «цену» операции, соотнося замыслы с ближайшим результатом, в лучшем случае учитывая непосредственные потери «в живой силе и технике», как писали в военных сводках. С позиций социологических важно принимать во внимание и отдаленные последствия, и косвенные, накопленные потери. Успех или неуспех определенной операции не обеспечивает победы в «войне» социально-исторического масштаба, относительная легкость успеха операции (нередко говорящая лишь о слабости одной из сторон) ни в какой мере не гарантирует закрепления достигнутого. В политике, как и в общественном мнении («своем»), победителей не судят; в истории — судят, а в социологическом анализе все это требуется понимать. Мировая, российская и недавняя история представляли неограниченный материал для размышлений в этом направлении.

Чем бы ни объяснялась поразительная легкость падения режима Саддама Хусейна (устрашение, сговор, комбинация того и другого), она очевидно показывает принципиальную слабость революционно-диктаторских режимов «восточного» типа по сравнению с традиционными или консервативно-диктаторскими режимами (Иран, Афганистан...),

т.е. с режимами, уходящими корнями в исторически устоявшиеся социальные структуры. Слабыми, даже чисто демонстративными оказываются механизмы персонификации власти и массовой воинственно-политической мобилизации населения, которыми настойчиво пугали телезрителей в разных странах. Весьма показателен чуть ли не моментальный переход («переключение») массовых настроений от показной восторженной лояльности режиму и вождю к столь же показательному отрицанию всех этих символов — и (уже реальному) массовому растаскиванию казенного имущества. Это еще раз подтверждает, что под современные политические («культовые») пирамиды заложен основательный заряд лицемерия, лукавства, оруэлловского «двоемыслия».

Стремительность падения режима сама по себе не облегчает установления европейских образцов государственности и демократии. «Освободить», в принципе, можно лишь того, кто уже *был* свободным, кто *желает и умеет* им быть. Применительно к обществу, стране это означает наличие институциональных, в том числе и личностных, предпосылок гражданских, политических, экономических свобод. При отсутствии таковых крушение определенной системы господства приводит поначалу к утверждению иного ее варианта, часто еще более деспотичного, клерикального, патерналистского, националистического, децентрализованного, архаичного и т.п. История дает множество примеров таких сдвигов, когда падение относительно новой или навязанной верхушки приводит к активизации и выдвижению на первый план более древнего «субстрата» общества. Стоит вспомнить опыт постсоветского развития в странах Центральной Азии или пример избавленного от власти талибов Афганистана, а также уроки бесчисленных переворотов в новых африканских странах. Неадекватны встречающиеся иногда ссылки на эффект послевоенных трансформаций в Германии или Японии: первая до нацизма прошла довольно длительный и серьезный путь либерального развития, во второй имелись исторические предпосылки индивидуализма и либерализма. Не менее важно и то, что «демократической оккупации» в этих странах предшествовало тягчайшее поражение в многолетней тотальной войне, разрушившее социально-политические институты и, по меньшей мере, подорвавшее господствовавшую систему политических ценностей и авторитетов.

Уроки нынешних структурных переделов в Ираке несомненно имеют и «обратную силу» для понимания процессов в послевоенной (после Второй мировой войны), постколониальной и постсоветской ситуациях.

«Российский фронт» далекой войны

Все развитие событий вокруг иракского узла оказывается весьма болезненным и чреватым трудными последствиями для России. Если оставить в стороне сугубо экономические аспекты (нефть, цены, долги и пр.), то можно выделить такие основные области: невиданно резкий рост антиамериканских настроений, фактический распад «контртеррористической коалиции» образца сентября 2001 года, а в связи с этим — вынужденная переоценка положения в Чечне. В более широком плане, за пределами региональных «восточных» рамок, последствия, возможно, еще более серьезны, поскольку поставленная под сомнение — если

не опрокинутая — система международных договорных отношений, сформированных после 1945 года (ООН, НАТО, Хельсинки и др.), в частности, хотя бы номинально определяла место России в мировых структурах. Все эти сдвиги неизбежно оказывают влияние на многие стороны внутрироссийских процессов, в том числе — на факторы национальной идентификации, мобилизации, оценки власти и ее носителей.

Излишне пояснять, что в данном случае нас интересует только та сторона «российского фронта» событий, которая выражена в общественном мнении и доступна для изучения с помощью анализа опросных данных.

Отношения с США и «новый» антиамериканизм

Никогда еще за время наблюдений (с 1992 года) индекс отношений к США в российском общественном мнении не опускался столь низко: если в апреле 1999 года (югославский кризис) разность позитивных и негативных оценок составляла -17, в апреле 2003-го она достигла -38. Правда, в обоих случаях резкое падение показателей оказалось не-

Рисунок 1. Индекс отношения к США по возрастным группам, 2002–2003

(разность между числом опрошенных, выбравших позитивные и негативные суждения, N=1600 человек, %)

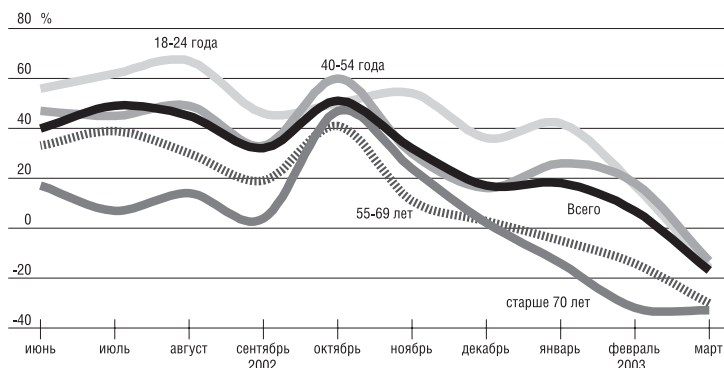
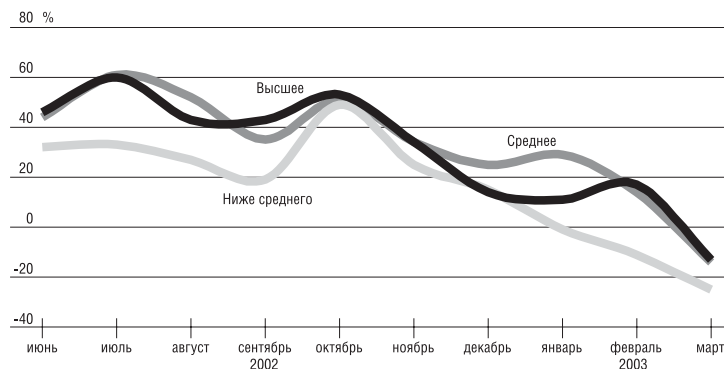


Рисунок 2. Индекс отношения к США по образовательным группам, 2002–2003

(разность между числом опрошенных, выбравших позитивные и негативные суждения, N=1600 человек, %)



долгим. На рисунках 1 и 2 отражена динамика компонентов названного индекса — по возрастным группам (рис. 1) и по уровню образования респондентов (рис. 2).

Как видим, за последний год наблюдались два момента предельной консолидации оценок США в выделенных социальных группах: наиболее *позитивная* — после событий на Дубровке (апелляция к контртеррористической коалиции на пике античеченских настроений) и наиболее *негативная* — как реакция на американские акции в Ираке. В обеих точках разница позиций молодых и пожилых, в разной мере образованных становится минимальной.

Негативные оценки США возобладали во всех без исключения возрастных, образовательных, политических группах. В качестве примера достаточно привести распределение мнений в партийных электоратах в момент наибольшего обострения антиамериканских настроений в обществе.

Таблица 1. «Как Вы в целом относитесь к США?»

(Апрель 2003 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	Хорошо*	Плохо**	Индекс***
КПРФ	19	55	-36
«Единая Россия»	30	68	-38
СПС	35	62	-27
«Яблоко»	34	64	-30
ЛДПР	39	57	-18
Всего	27	66	-39

* Сумма ответов «очень хорошо» и «скорее хорошо».

** Сумма ответов «скорее плохо» и «очень плохо».

*** Разность между позитивными и негативными оценками.

Прежде всего бросается в глаза весьма низкий уровень дифференциации позиций сторонников различных партий (особенно если оставить в стороне избирателей КПРФ). Как ни странно, наименьший уровень антиамериканских настроений (см. столбец индексов) показывают отнюдь не демократы, а сторонники В. Жириновского, — вероятно, менее отягощенные морально-политическими установками и привычно поддающиеся циничной демагогии лидера.

Показательно, что военная операция США в Ираке вызвала «возмущение, негодование» у 89% избирателей КПРФ, 91% — «Единой России», 89% — СПС, 86% — «Яблока» и опять-таки менее всего — у 70% сторонников ЛДПР. Среди «западников» (высказывающихся за укрепление связей со странами Запада) такие настроения разделили 84%, а среди «антизападников» (за дистанцирование от Запада) — 85% (март 2003 года, N=1600 человек). Последние данные допускают двоякое толкование: то ли это признак слабости, декларативности нашего отечественного «западничества», которое в критической ситуации склоняет голову перед патриотическими настроениями, то ли — что было бы весьма важно — признак того, что общественное мнение учится отделять оценки конкретной *политики* (в данном случае политики американского руководства) от оценок «западной» системы, образа жизни, цивилизации. Возможно, обе трактовки имеют смысл.

Поразительная близость позиций всех электоратов, должно быть, означает не результат некой «новой консолидации», а скорее изначальное отсутствие реальной идейно-политической структурированности

и дифференциации в российском обществе. «Негативная» идентификация разнородных массовых сил («все против...») — не *результат* какого-то достигнутого согласия, а исходная *предпосылка* слабости политических структур. Иначе, вероятно, обстоит дело в партийных верхах, которые формулируют различные доводы в пользу своих позиций, объясняя антиамериканский уклон международно-правовыми и нравственными нормами и угрозой российским национальным интересам (более прагматический вариант — угрозой экспорту нефти и т.п.). Основу видимого сегодня «антиамериканского» единодушия подавляющего большинства российского общества следует видеть, разумеется, в истоках всего современного идеологического комплекса — глубочайшем переживании «державной» обиды (комплексе «державной» неполноценности), равно доминирующем над всеми вариантами отечественного массового сознания. Этим оно принципиально отлично, например, от массового самоопределения таких новых демократий, как Польша, Венгрия, Болгария, которые ищут опору и защиту своего положения в покровительстве сильнеешего, т.е. США. И тем более — от установок «неамериканского» Запада (Франции и др.), с переменным успехом стремящегося конкурировать с могущественным партнером.

Распределение мнений о действиях российских властей (в апреле, т.е. в пиковый момент напряженности общественных настроений) видно из следующей таблицы.

Таблица 2. Оценки действий руководства России в иракском конфликте

(Апрель 2003 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	Разумные, правильные	Решительнее против США	Поддержать США	Затруднились ответить
Всего	45	38	3	14
КПРФ	46	45	3	7
«Единая Россия»	47	35	2	16
СПС	60	28	4	8
«Яблоко»	50	30	13	7
ЛДПР	44	38	6	12

Очень малая доля опрошенных была склонна, идя «против течения», выступать за поддержку американской операции. Массовое (скорее символическое) давление на власть шло практически с одной стороны и выражалось в требовании более решительного противостояния американским действиям. Нарушителем единодушия выступил президент, которому пришлось в первую очередь считаться с реалиями внешнеполитического и внешнеэкономического положения страны (и собственного имиджа в мире). Возникла непривычная для российского общества, но весьма важная для его перспектив коллизия между возмущенными настроениями (не только массовыми, но и элитарно-политическими) и «государственным» прагматизмом.

Обратимся к *динамике* показателей оценок действий США (см. табл. 3). Изменения на протяжении насыщенного событиями месяца — минимальны. Ни падение Багдада и иракского режима, ни примирительные заявления В. Путина относительно необходимости сохранения партнерства с США (и последовавшее после этого некоторое изменение тона российских СМИ) в апреле — мае не оказали заметного влияния на общественные настроения в России. В этом можно

видеть некую «инерцию» общественного мнения, сохраняющего свои позиции без учета сдвигов в политике правящей элиты. При этом «инерция падения» (оценок США) оказывается значительно сильнее «инерции стабильности» (сохранения характерного для последнего времени распределения оценок). Вряд ли такие особенности можно объяснить соотношением эмоциональных и рациональных факторов в соответствующих суждениях, т.е. «ударным» влиянием непосредственных переживаний. Любые, даже самые резкие массовые эмоциональные реакции формируются в рамках существующих в общественном мнении стереотипов, поэтому в наблюдаемой готовности всех слоев общества поддаться настроениям озлобленности и враждебности по отношению к США можно видеть признак того, что соответствующие стереотипы доминируют над стереотипами дружелюбия и взаимопонимания.

Таблица 3. «С какими чувствами Вы относитесь к военной кампании США в Ираке?»

(2003, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Март	Апрель
С одобрением	2	3
С возмущением, негодованием	83	80
Ни одобрения, ни возмущения	9	11
Недостаточно знаю об этом	5	4
Затрудняюсь ответить	2	2

Таблица 4. «Определения, которые в наибольшей степени подходят для США»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	2001, ноябрь	2003, апрель
Богатая страна	61	48
Стремится прибрать к рукам все богатства мира	40	61
Сильная военная держава	51	43
Бесцеремонно вмешивается в дела других стран, навязывает им свои порядки и ценности	51	61
Демократическая страна	19	10
Страна социального неравенства, эксплуатации	8	5
Лидер мирового научного и технического прогресса	17	11
Насаждает погоню за наживой, низменные вкусы, безнравственность	15	18
Союзник России в борьбе с угрозой мирового терроризма	17	10
Поддерживает реакционные режимы и терроризм в разных странах	4	5
Гарант мира на всей Земле	3	1
Злейший враг народов развивающихся стран	11	15
Главный военный и политический противник России	18	17
Затрудняюсь ответить	2	1

Образ США в российском массовом сознании в ноябре 2001 года явно определялся атмосферой начала операции в Афганистане, в апреле 2003-го — впечатлениями после окончания прямых военных действий в Ираке.

Как видим, «негативные» признаки упоминаются заметно — хотя и в разной мере — чаще, а «позитивные» — реже. Но в наибольшей мере выросли только два показателя: опасения относительно стремления США «прибрать к рукам все богатства мира» и упреки во вмешательстве в чужие дела, т.е. преимущественно *ситуативные* оценки, связанные с политической конъюнктурой момента. Негативная волна накрывает также как будто безоценочные позиции (богатая

страна, сильная держава, демократическая страна, лидер научно-технического прогресса...), но мало задевает «классовые» характеристики (неравенство, эксплуатация, погоня за наживой; в электорате КПРФ лишь 7% в 2003 году обращают внимание на социальное неравенство, эксплуатацию в США, в электоратах «Единой России» и СПС также по 7%). Резко упала поддержка официального тезиса о союзнике в борьбе с «мировым терроризмом», но — что весьма примечательно — не возросла доля считающих США «главным противником» России.

Стоит отметить, что общественное мнение даже в пароксизме антиамериканских настроений как бы само себя сдерживает: во-первых, представлениями о необходимости сближения со странами Запада (такую позицию поддержали 78% опрошенных в марте, в том числе 72% сторонников КПРФ и 78% из возмущенных американскими действиями), а во-вторых, надеждами на то, что «все будет спущено на тормозах» и российско-американские отношения со временем вернутся к докризисному состоянию. Не лишено интереса сопоставление таких надежд в момент югославского кризиса и сейчас.

Таблица 5. «Что нас ждет в отношениях с США после кризиса?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных в соответствующей группе)

	1999, апрель	2003, март
Из числа тех, кто хорошо относится к США*		
Рост напряженности	25	23
Все будет «спущено на тормозах»	58	60
Из числа тех, кто плохо относится к США**		
Рост напряженности	38	33
Все будет «спущено на тормозах»	39	49
Всего		
Рост напряженности	32	28
Все будет «спущено на тормозах»	45	53

* Сумма ответов «очень хорошо» и «в основном хорошо».

** Сумма ответов «скорее плохо» и «очень плохо».

Создается впечатление, что всплеск антиамериканских настроений в марте–апреле 2003 года оказался не столь сильным, как четыре года назад. Видимо, это в значительной мере связано с различиями в позиции российского руководства в кризисные периоды: в 1999-м — резкая риторика Б. Ельцина и Е. Примакова, в 2003-м — значительно более осторожная позиция В. Путина. Между прочим, общественное мнение отмечает отличия позиции Путина от позиции других российских политических деятелей и СМИ (хотя и в *меньшей* мере, чем в период искусственного «околоспортивного» обострения начала 2002 года).

Таблица 6. «Как в целом относятся к военной операции США в Ираке...»

(Апрель 2003 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Поддерживает	Сдержанно	Отрицательно
Президент В. Путин	2	39	53
Большинство других официальных лиц в России	2	30	56
Российские СМИ	2	25	63

Различия позиций усматриваются преимущественно в степени *сдержанности*: положение президента (чей имидж, как видно по ряду исследований, в значительной мере опирается на представления об успешности его акций на международной арене) вынуждает его быть прагматически осторожным в оценке американских действий.

В мае 2003 года общественные настроения стали меняться, пик антиамериканизма явно миновал. Хотя оценки американских действий в Ираке и их мотивов оставались резко негативными, почти такими же, как в марте–апреле, показатели общего отношения к США заметно улучшились (см. рис. 1, 2).

Подводя итоги сказанному, можно полагать, что нынешний взрыв антиамериканских настроений означает не столько воинственную *мобилизацию* российского общества, сколько его *фрустрацию* (замешательство, растерянность), неспособность справиться с возникшей ситуацией. Общественному мнению в общем и целом свойственно предельное упрощение любой задачи, оценки, действия. Когда возникает привычное намерение «негодовать и протестовать», зная, что нет никаких сил и средств для его осуществления, или когда требуется — официально предписывается — «решительно осудить» чьи-то действия, но при этом проявлять сдержанность и сохранять «стратегическое партнерство», массовое сознание неизбежно приходит в состояние ступора, его регулятивные механизмы просто отказывают. Последствия этого многообразны. Одно из них — *отсутствие воинственной мобилизации общественных настроений*, подобной той, что имела место в России весной 1999 года — и которая, по всей видимости, сыграла важную роль в известных политических переменах осени того же года.

Судьба «антитеррористической» коалиции 2001 года

Фактически коалиция, провозглашенная сразу после 11 сентября 2001 года, утратила смысл и прекратила существование еще до начала собственно иракской кампании, когда выяснилось, что страны, поддерживавшие лозунги борьбы с «международным терроризмом», не имеют единого представления о целях и средствах такой борьбы. Когда США, не сумев заручиться поддержкой ни структур ООН, ни членов НАТО, решили действовать собственными силами, привлекая к участию лишь немногих согласных, это заметно изменило весь расклад существующих в мире после Второй мировой войны организаций и институтов. Это значит, что новой напряженности не выдержала давно утратившая свое первоначальное значение ООН — результат согласия держав-победительниц в мировой войне, а также НАТО, противостоявшее советской экспансии в годы холодной войны. Создание же каких-то новых международных значимых структур или решительное изменение способов деятельности ООН при сегодняшнем раскладе мировых сил и интересов — просто нереально. Налицо также своего рода *фрустрация*, замешательство на уровне международной системы отношений.

Для России последствия этих перемен значительны и многообразны. Ведь если обесценивается ООН, Россия утрачивает титульный статус великой мировой (т.е. имеющей право вето в главных

мировых вопросах) державы. А обнаружившаяся в ходе иракского кризиса разобщенность стран НАТО подтверждает, что фактор советской/российской угрозы перестал играть консолидирующую роль в западном сообществе. Участие же России в «антитеррористической» коалиции 2001 года — носившее в основном символический и демонстративный характер, не переходившее в реальное сближение государств, — нужно было политической верхушке страны для того, чтобы демонстрировать партнерство с ведущей мировой державой (хотя общественному мнению всегда было ясно, что в этом альянсе у нашей страны лишь второстепенное место). И, естественно, для того, чтобы представить собственные малоуспешные и малопопулярные на Западе действия в Чечне звеном общей борьбы с «мировым терроризмом» (о сомнительности этого жупела приходилось писать ранее), а тем самым хотя бы частично конвертировать западную критику своей чеченской политики в ее одобрение или признание. Как показывает ход событий, этот расчет оправдывался лишь отчасти и ненадолго.

Чеченские кривые: новые тенденции

Как обычно в последние годы, в чеченском узле концентрируются все основные линии российской реальности. Новые моменты в развитии ситуации появились с конца минувшего года, после событий на Дубровке в Москве. Резкий всплеск общественных настроений в пользу продолжения военных акций оказался кратковременным, в последующие месяцы практически непрерывно нарастал численный перевес сторонников мирного урегулирования, к концу апреля 2003 года достигший невиданного ранее уровня 71:17, а в мае даже 71:14. Можно полагать, что на такую динамику общественного мнения оказали влияние две группы факторов. С одной стороны, это относительно сдержанная реакция российских властей на ситуацию с заложниками в Москве. Ответив на призыв захватчиков к выводу войск из Чечни, российское руководство, видимо, сознавая исчерпанность силовых средств влияния на положение в этой республике, впервые не поддавшись привычному соблазну требовать ужесточения зачисток, бомбежек и пр. На сцену вышел некий «промежуточный» вариант урегулирования, центральными пунктами которого стала легитимизация существующей в Чечне про-российской региональной администрации (А. Кадыров и др.) через референдум. В российском обществе этот вариант был встречен сначала довольно сдержанно, но позже осторожные надежды на его эффективность стали заметнее.

В данном контексте важно обратить внимание на изменения другой, международной составляющей чеченской ситуации. На-раставшая конфронтация позиций вокруг Ирака фактически обесценила попытки чеченскую войну к борьбе с мировым терроризмом. С конца 2002 года, особенно после событий на Дубровке, западная критика российских силовых акций снова активизировалась, особенно в Европе, в ОБСЕ и др. Поскольку соучастие России не предлагалось и не требовалось США для операций в Ираке, то теряло смысл и лукавое международное оправдание российских акций на Кавказе.

Наиболее важный предварительный «российский» итог конфликта вокруг Ирака (если, еще раз напомним, иметь в виду социальные его аспекты) — в том, что не получилось ожидавшейся агрессивно-националистической мобилизации общества. Из-за неопределенности ориентиров такой мобилизации, из-за вынужденного прагматизма власти, из-за тона СМИ, сменивших агрессивность на растерянность. Опасения в отношении повторения ситуации 1999 года, когда резкое обострение антиамериканских настроений послужило как бы прологом политических перемен в России, не подтвердились.

По своей социальной и психологической природе общественно-политическая мобилизация непременно должна предполагать *противостояние* с некими враждебными силами. («Позитивная» мобилизация невозможна по определению, все мобилизационные ситуации, которые приходилось переживать нашему обществу в его истории, связаны с борьбой *против* злейших врагов — внешних или внутренних, реальных или вымышленных.) Как показывают исследования, для российского общественного мнения традиционно имеет большое значение внешний противник (бывший классовый, сейчас скорее национально-державный), на роль которого, скорее всего, подошли бы США и их союзники. Но этот привычный вариант при нынешних международных зависимостях России — и столь важных для имиджа ее президента связях с G8 и пр. — становится почти невозможным. Нереален у нас и тот вариант национальной мобилизации против исламского терроризма, который характерен для американского общественного мнения после 11 сентября 2001 года. Здесь скажется и традиционное (сейчас скорее рудиментарное) положение России среди стран бывшего третьего мира, и определенная двусмысленность в российских оценках терактов в США (об этом приходилось писать ранее: половина опрошенных сочла, что американцам «доставилось поделом»), и, наконец, настойчивое стремление вывести Ирак из-под подготовленного США удара. Кроме того, как уже отмечено выше, практически полностью исчерпал себя мобилизационный ресурс чеченской войны.

Как можно полагать, с этим связано выраженное в недавнем президентском послании российскому парламенту стремление определить позитивные факторы национальной мобилизации (которая тем самым превращалась бы в *консолидацию*). Трудно судить пока, может ли таким фактором послужить, например, удвоение ВВП за десятилетие.

Таким образом, недавно еще работавшие факторы национальной мобилизации шаг за шагом превращаются в факторы национальной *фрустрации*. Это уже сейчас осложняет политическую картину страны, в частности, приводит к определенному ослаблению массовой поддержки власти, президента и партии, претендующей на роль ведущей. При этом именно расхождение между сравнительно сдержанной позицией президента и резко антиамериканскими настроениями большинства населения в иракском конфликте служит важнейшим фактором «давления» на президентские рейтинги. Видимо, те же факторы влияют и на заметные колебания уровня возможной электоральной поддержки «Единой России».

В заключение стоит заметить, что всякая национальная мобилизация — феномен чрезвычайной, военной, катастрофической ситуации, когда страна и население вынуждены жертвовать многими благами и долгосрочными интересами ради преодоления острого кризиса. Мобилизация не может быть ни постоянной, ни долгосрочной. Вряд ли стоит огорчаться тому, что в сегодняшней России плохо работают социально-мобилизационные факторы. Вполне может обойтись без них и власть, по крайней мере на период ближайшего избирательного цикла (2003–2004) инерции массовой поддержки, скорее всего, будет достаточно для сохранения основных позиций существующей политической структуры, даже при нарастающей фрустрации отдельных компонентов ее поддержки.

Волна массовых протестов против так называемой «монетизации» социальных льгот, прокатившаяся по стране в начале года, побуждает по-новому ставить ряд проблем социологического анализа современного российского общества, искать адекватные средства понимания необычных, «нештатных» ситуаций и действий различных участвующих в них сторон. Это касается способов и мотивов осуществления социальной политики власти, поведения общественных слоев и групп, непосредственно или косвенно затронутых пересмотром льгот, наконец, попыток организованных политических сил использовать сложившуюся кризисную ситуацию в собственных интересах. Имеются основания полагать, что в данном случае перед нами кризис, глубоко затронувший механизмы отношений между властными инстанциями и обществом.

Действия властных структур до и в период кризиса обнаружили удивительную — правда, лишь на первый взгляд — недалекость и непредусмотрительность, а также неспособность власти оценить серьезность сложившейся ситуации и адекватно реагировать на нее. Многочисленные исследования и аналитические разработки неизменно показывали, что российский человек (наследующий прочные традиции «человека советского»), обладая огромным потенциалом социального терпения и приспособляемости, чаще всего предпочитает адаптацию к обстоятельствам, даже «понижающую», но не возмущение и протест. Потребовались чрезвычайные и мощные усилия, чтобы парализовать такие установки и побудить людей к массовым выступлениям — причем именно тех, от которых менее всего можно было ждать активных действий, — наиболее обездоленных, пожилых, малообеспеченных. Как это ни странно на первый взгляд, таким фактором стали действия самой государственной власти. В то же время в напряженной обстановке массовых выступлений стали очевидными и принципиальные ограничения и противоречия сегодняшнего социального протеста.

«Кому это понадобилось?» Механизм государственных решений

В рамках обычной логики трудно объяснить, почему высшие правительственные инстанции решили без всякой видимой надобности в жарком порядке вводить в действие заведомо плохо подготовленный и заведомо непопулярный закон о замене льгот, даже не пытаясь объяснить населению его смысл, рассеять сомнения отдельных групп «льготников» и т.д. Предупреждений о грядущем массовом недовольстве имелось предостаточно, в том числе и полученных в опросах общественного мнения (уже в сентябре 2004 года до 70% опрошенных одобряло протесты против готовившихся мер). В массовом сознании — вопреки всем официальным декларациям — возобладало простейшее объяснение: власть решила «сэкономить бюджетные средства за счет

самых обездоленных слоев населения» (так считали 51% в январе 2005 года, N=1600 человек). Значительная часть опрошенных выражала недоумение таким стремлением экономить при редкостном «нефтяном» обилии денежных средств у государства. Скорее всего, объяснение следует искать не во внешних, в том числе экономических, обстоятельствах, а в самой логике действий нынешней российской власти за последнее время. Прежде всего, именно в последнее время (примерно на протяжении года) стало ясно, что государственная власть, чиновники всех рангов действуют по своей собственной «вертикальной» логике: на каждой ступеньке властной иерархии требуется устремлять взоры лишь вверх, ища одобрения со стороны вышестоящего начальства; принятие во внимание интересов и мнений населения при этом не имеется в виду, не предполагается также внимание к проблемам легитимности, эффективности, дальним последствиям акций и т.д. Это правило действует во многих сферах и коллизиях, например в так называемой административной реформе или в обуздании губернаторов, но именно в ситуации вокруг замены льгот оно становится предельно очевидным. Другой важный принцип современной властной логики — при всех неудачах и неуверенности в проведении провозглашенного курса любой ценой поддерживать видимость решительности и последовательности действий. Налицо претензии на «современность» или даже «либерализм» акций, которые на деле способны лишь дискредитировать принципы модернизации и либерализма. Стоит отметить еще одно правило сегодняшней административной логики: явные провалы в какой-либо сфере немедленно компенсировать (точнее, прикрывать) показательными акциями в других областях. Например, не умея признать неудачи кавказской политики, обнаруженные событиями в Беслане, власти пытаются отвлечь от них внимание борьбой с конституционным принципом федерализма. А за неудачи в «борьбе с бедностью», в «удвоении ВВП», создании конкурентоспособной экономики и т.п. приходится расплачиваться пенсионерам, льготникам и их родственникам (по опросным данным, в зону действия закона о замене льгот попадает около половины населения России). Таким образом, решение о монетизации льгот никак нельзя считать необоснованным или несвоевременным, оно вполне укладывается в современную административную «логику», а его последствия — в «логику» отношений власти и общества («народа»).

Шок монетизации

Как и следовало ожидать, первые общественные реакции на пресловутый закон оказались резко негативными.

Таблица 1. «Какие чувства вызвало у Вас начало замены льгот денежными компенсациями?»

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

Одобрение	7
Понимание	12
Недоумение	21
Обиду	8
Возмущение, негодование	25
Никаких особенных чувств	25

Понятно, что негативные чувства чаще выражали люди старших возрастов — 13% из тех, кто старше 55 лет, испытали обиду, а 30% — возмущение, негодование; среди самых молодых, до 25 лет, 40% ничего не испытывали, но недоумения (22%) и возмущения (20%) среди них в сумме оказалось немногим меньше средних показателей.

Наибольшее недовольство населения (мнение 42% в среднем в январе, среди самых старших — 47%) вызвали малые суммы компенсаций, т.е. непосредственно потребительские последствия «реформы» (сама проблема отнятия привычного оказалась где-то на втором плане). Реже отмечали поспешность в принятии закона (32%), его несовершенство (25%), то, что людям не разъяснили его последствия и преимущества (24%). Когда спустя месяц, в разгар выступлений протеста, правительство решило срочно увеличить компенсации и скидки на оплату проезда в общественном транспорте некоторым категориям льготников, только 15% признали эти меры достаточными для возмещения потерь имевшим ранее льготы, а 74% — недостаточными (февраль 2005 года, N=1600 человек). В марте только 16% против 64% (от числа утративших льготы) сочли, что полученные компенсации покрывают потери, понесенные с отменой льгот.

Представляется, однако, что эти потери не могут выражаться только в определенных денежных суммах. Утраченным оказался тот тип отношений между властью и населением страны, который сложился еще в советский период. Привычные льготы компенсировали отсутствие реальной оплаты труда и адекватных средств поддержки социально слабых групп, поддерживая в массовом сознании образ «отечески заботливого» (патерналистского) государства. А этот (по сути, глубоко фальшивый) образ служил важной опорой массовой покорности власти.

Оценки населением мер по «монетизации» из месяца в месяц несколько изменялись: сказываются разъяснительно-пропагандистская работа властей и СМИ, а также срочные выплаты, частичное возвращение некоторых льгот. При всем этом негативное отношение к акции неизменно преобладает.

Таблица 2. «Поддерживаете ли Вы решение о замене льгот?»

(2005, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Январь-1*	Январь-2**	Февраль	Март	Май
Целиком поддерживаю	12	12	15	12	13
По большей части поддерживаю	21	25	27	26	28
По большей части против	23	25	21	24	22
Целиком против	34	29	26	26	22
Затрудняюсь ответить	10		11	12	15
Соотношение «за» и «против»	33:57	37:54	42:47	38:50	41:44

* 20–25 января.

** 22 января — 2 февраля.

В основе резко негативной реакции всех групп населения на «монетизацию» — прежде всего представления о том, что эта акция значительно ухудшит положение наиболее обездоленных, пойдет во вред стране и негативно скажется на благосостоянии самих опрошенных, вне зависимости от возраста. (В мае 26% опрошенных полагали, что «монетизация» улучшит положение самых обездоленных, 43% — что приведет к ухудшению их положения, 13% сочли, что «реформа» привела к улучшению положения их семей, 20% отметили ухудшение, 39% не заметили изменений.)

Решительное неприятие закона о замене льгот во всех возрастах показывает, что ситуация вокруг монетизации касается *всего населения, всего общества*.

Отсюда и масштаб акций публичного протеста, волна которых прокатилась по всей стране, и весьма широкая поддержка таких акций в различных слоях населения.

Масштабы массовых протестов

В сентябре 2004 года, при первых известиях о готовящихся мерах по замене льгот, 14% опрошенных отмечали, что в их городе или районе проходили какие-либо акции массовых протестов, в январе 2005 года о них сообщали 30%, в феврале — 37% (видимо, это наиболее высокий показатель), в марте — 28%, в мае — 18%. Сколько-нибудь надежно оценить число их участников с помощью общенационального выборочного опроса трудно, в разные месяцы о собственном участии в протестах сообщали менее 0,5% опрошенных, что соответствует примерно 200–400 тысячам взрослых граждан страны. Сообщалось, что 12 февраля, во время организованной оппозиционными партиями «всероссийской акции протеста», в различных выступлениях принимали участие около 200 тысяч человек. Для того чтобы представить воздействие выступлений протеста на общественные настроения в стране, важно принять во внимание масштабы *одобрения и поддержки таких выступлений* в общественном мнении, а также заявленных в опросах *намерений принять участие* в них.

Таблица 3. Отношение к акциям протеста

(2005, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Январь	Февраль	Март	Май
Поддерживаю	41	37	33	32
С пониманием, но не поддерживаю	41	41	44	44
Решительно против	10	13	16	12
Затрудняюсь ответить	8	9	8	12

Таблица 4. «Если такого рода выступления протеста состоятся в Вашем городе, районе, Вы лично примете в них участие?»

(2005, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Январь	Февраль	Март
Определенно да	12	10	8
Скорее да	14	13	13
Скорее нет	31	32	30
Определенно нет	36	38	44
Уже участвовал в них	0,4	0,4	0,2
Затрудняюсь ответить	7	6	5

В следующих таблицах представлено отношение различных возрастных групп к акциям протеста.

Сочувственное отношение к акциям протеста (если считать как «поддерживающих», так и «понимающих») высказывают 70–80% опрошенных во всех возрастных группах. О намерении участвовать заявляют значительно реже и преимущественно люди старшего возраста. Как известно, в феврале–марте 2005 года появилась информация об участии в выступлениях наряду с пенсионерами и «льготниками» студентов (поскольку военное ведомство поспешило внести свой вклад

в общественную ситуацию, предложив отменить отсрочки от призыва), молодежных организаций разных направлений и т.д.

Таблица 5. Отношение к акциям протеста (возрастное распределение)

(2005, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	18–24 года		25–39 лет		40–54 года		55 лет и старше	
	январь	март	январь	март	январь	март	январь	март
Поддерживаю	26	19	37	23	42	31	31	40
С пониманием, но не поддерживаю	47	50	46	50	39	48	34	36
Решительно против	12	18	9	19	10	14	9	15
Затрудняюсь ответить	15	13	8	8	9	7	6	9

Таблица 6. Намерения принять участие в акциях протеста (возрастное распределение)

(2005, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	18–24 года		25–39 лет		40–54 года		55 лет и старше	
	январь	март	январь	март	январь	март	январь	март
Определенно да	4	3	7	3	12	9	20	11
Скорее да	9	9	11	8	16	15	16	15
Скорее нет	32	32	36	32	27	32	29	30
Определенно нет	49	51	39	53	35	40	28	37
Затрудняюсь ответить	6	5	7	4	10	4	7	7

Как обычно, заявления опрошенных о возможности собственного участия в акциях протеста отражают не реальные или потенциальные масштабы таких акций, а преимущественно состояние общественных настроений. Дополнить приведенные выше показатели можно данными исследований типа «Мониторинг».

Таблица 7. Протестные выступления в общественном мнении

(N=2100, % от числа опрошенных*)

	2004, май	2004, ноябрь	2005, январь	2005, март	2005, май
Насколько возможны сейчас в Вашем городе, сельском районе массовые выступления против падения уровня жизни, в защиту своих прав?					
Вполне возможны	19	23	25	36	32
Маловероятны	68	60	57	45	54
Если такого рода массовые выступления состоятся, Вы лично примете в них участие?					
Скорее всего, да	21	23	27	27	24
Скорее всего, нет	66	63	57	57	58
Возможны ли в Вашем городе/сельском районе выступления протеста с политическими требованиями?					
Вполне возможны	18	21	21	27	24
Маловероятны	67	59	58	52	55

* Данные о затруднившихся ответить не приводятся.

В марте 2005 года возможность массовых выступлений отмечали почти в два раза чаще, а собственное участие в них допускали в полтора раза чаще, чем год назад. Политические выступления считали возможными также в полтора раза чаще. Майские данные обнаруживают некоторый спад протестных настроений, которые, впрочем, в это время все же заметно более распространены, чем год назад.

Заметны сдвиги в общественных настроениях, выраженные в приведенных показателях и при относительно небольшой численности участвующих в акциях протеста (к тому же сами эти акции практически всегда сводились к выражению тех же настроений протеста, возмущения, требований). Каких-либо иных функций современный социаль-

ный протест — поскольку он остается стихийным, т.е. является преимущественно эмоциональной массовой реакцией — и не может исполнять.

Наиболее активной его формой в ряде регионов, как известно, служила блокада протестующими улиц и дорог. (Видимо, подобные действия сейчас играют примерно такую же роль, как баррикады в массовых выступлениях XIX — начала XX века.) В конце января почти половина опрошенных (47% против 41%) считали такие способы протеста оправданными. Среди самых пожилых одобряли блокаду даже 53% (не одобряли только 38%). Это еще раз показывает, что за нынешними социальными протестами — не амбиции молодых, а отчаяние самых обездоленных, пожилых людей.

Кто виноват?

Таблица 8. «Кто прежде всего несет ответственность за обострение социальной ситуации в стране в связи с заменой льгот?»
(2005, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Январь	Февраль	Март
Президент В. Путин	23	22	18
Правительство	38	37	41
Отдельные министры, готовившие закон о замене льгот (М. Зурабов и др.)	14	16	15
Государственная Дума	12	11	10
Местные власти, губернаторы	5	6	6
Провокаторы, подстрекатели, которые подбивают граждан протестовать	1	3	2
Сами льготники, пенсионеры, не сумевшие разобраться в новых законах	1	2	3

Распределение тех же суждений по возрастным группам добавляет некоторые штрихи к образу «виновников» в общественном мнении.

Таблица 9. «Кто прежде всего несет ответственность за обострение социальной ситуации в стране в связи с заменой льгот?» (возрастное распределение ответов)
(Март 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	18–24 года	25–39 лет	40–54 года	55 лет и старше
Президент В. Путин	20	20	23	28
Правительство в целом	44	40	37	36
Отдельные министры	11	16	12	15
Государственная Дума	11	23	15	10
Местные власти, губернаторы	7	5	7	4
Провокаторы, подстрекатели	4	1	1	1
Сами льготники, пенсионеры	1	1	3	1

С возрастом крепнет представление о вине президента и становятся более редкими упреки «правительству в целом». Вброшенная в общественное сознание в первые же дни массовых протестов версия относительно «подстрекателей» так и не получила заметного признания.

«Партийные» взгляды на массовые протесты

Во всех без исключения партийных электоратах (т.е. среди склонных поддержать данную партию на возможных будущих выборах) принятие закона о замене льгот вызвало преимущественно негативные реакции.

Таблица 10. «Как Вы лично относитесь к акциям протеста?»

(Март 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	все	КПРФ	ЕР	СПС	«Яблоко»	ЛДПР	«Родина»
Поддерживаю	30	53	24	18	35	42	34
С пониманием	45	36	49	50	57	32	47
Решительно против	16	11	21	26	8	17	9
Затрудняюсь ответить	9	1	6	6	10	11	8
Эмоциональные реакции на принятие закона о замене льгот*	19:54	8:78	27:44	13:30	21:44	23:38	23:65

* Соотношение долей опрошенных, выразивших позитивные (одобрение, понимание) и негативные (недоумение, обида, возмущение) чувства.

Таблица 11. «Если такого рода выступления протеста состоятся в Вашем городе, районе, Вы лично примете в них участие?»

(Март 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	все	КПРФ	ЕР	СПС	«Яблоко»	ЛДПР	«Родина»
Определенно да	7	16	5	9	8	13	5
Скорее да	12	25	9	9	12	17	15
Скорее нет	32	28	35	14	37	27	32
Определенно нет	44	27	47	66	43	36	48
Затрудняюсь ответить	4	3	4	3	—	8	—

Неудивительно, что наибольшие показатели недовольства «монетизацией», поддержки выступлений протеста и заявленной готовности в них участвовать отмечены среди избирателей компартии, а затем среди электората «примкнувших» к ней в стремлении использовать в своих интересах настроения протеста ЛДПР и «Родины». Но негативные реакции на «реформу» и сочувственное отношение к протестам преобладают также в электорате «Единой России», депутаты которой обеспечили принятие пресловутого закона. Это, кстати, показывает, что массовые сторонники «Единой России» (в отличие от своих штабов и активистов) отнюдь не отличаются идеологическим единством.

Шумные демонстрации в поддержку протестов позволили левопопулистским партиям привлечь к себе общественное внимание. Отвечая на вопрос, какие партии наиболее активно отстаивают права «льготников», респонденты чаще всего упоминали КПРФ (27%), «Родину» (12%), «Единую Россию» (8%), ЛДПР (7%), по 2% указали «Яблоко» и национал-большевиков; 25% опрошенных таких партий вообще не знают, а 29% затруднились ответить (январь 2005 года, N=1600 человек).

Не может не броситься в глаза сдержанность реакций и позиций избирателей демократических партий — «Яблока» и СПС (особенно последних). Эта ситуация требует особого рассмотрения.

Демонстративное молчание демократов

В некоторых регионах в массовых выступлениях протеста представители СПС и «Яблока», а также их молодежных организаций оказывались вместе со сторонниками КПРФ, «Родины», ЛДПР, НБП и др., но не как инициаторы, а скорее в роли примкнувших. Но сами эти партии и их лидеры предпочитали осторожно отмалчиваться, видимо, считая, что это действия «чужого» электората, который используют в своих интересах политические оппоненты демократов. В таких суждениях можно

обнаружить оттенок инфантильного интеллигентского снобизма и даже некоторую долю опасений в отношении «низовых» реакций. Тем самым как будто воспроизводится «исконная» и порочная российская триада «власть — народ — интеллигенция», в рамках которой просвещенная публика, опасаясь разгула массовой стихии, обрекала себя на изоляцию и беспомощность. И оставляла социально слабых (пожилых, пенсионеров, льготников) под влиянием консервативного популизма. Такая ситуация имеет свои исторические корни, но никак не может считаться нормальной. Консервативные и патриотические популисты с определенным успехом могут использовать массовое недовольство в интересах собственной популярности лишь потому, что им это позволяет и сегодняшнее состояние российского общества, и существующее в нем разделение партийно-групповых интересов (которое закрепляет бюрократическая авантюра «реформы льгот»). Как известно, «проблема пенсионеров» имеется практически во всех развитых странах, где эта группа составляет, как и в России, около трети населения и служит не социальной базой «левых» авантюристов или консерваторов, а скорее опорой социальной стабильности и политического центризма. Конечно, никакая власть и никакая политическая партия не может в одночасье решить проблему нормальной обеспеченности пожилых и социально слабых. Но подготовить, просчитать, обосновать, разъяснить людям реальную *программу ее решения*, рассчитанную на определенную перспективу, способны — а значит, и *обязаны* — только грамотные «либералы». Ведь только такую программу можно противопоставить нынешнему бюрократическому авантюризму, дискредитирующему либеральные принципы.

Ожидания и лозунги

По данным массовых опросов, наибольшую поддержку населения получили следующие требования, выдвинутые в ходе протеста против «монетизации»:

Таблица 12. Требования противников «монетизации»

(Январь–февраль 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

«Обеспечить исполнение закона о замене льгот на денежные компенсации таким образом, чтобы соблюсти интересы „льготников“»	54
Приостановить осуществление закона и доработать его так, чтобы люди не пострадали	31
Оставить закон в действии, но «в срочном порядке решить все возникшие проблемы, если необходимо, внести в закон какие-то поправки»	24
Отменить этот закон и оставить льготы в том виде, как они были до его введения	20
Оставить закон в действии, но увеличить объем компенсаций	20

Неудивительно, что самыми массовыми оказались довольно сдержанные требования (точнее даже, пожелания) сугубо экономического порядка. Ничего другого неорганизованное («стихийное», как иногда говорят) движение поддержать не могло.

Правда, с самого начала в поле общественного внимания оказалась и проблема отставок «виновников». 29% предлагали освободить от своих должностей «министров, плохо подготовивших закон и меры по его введению», а 18% — отправить в отставку все правительство (в феврале, когда в Думу вносилось предложение об отставке кабинета,

«Поскольку КПРФ оказалась организатором подавляющего числа митингов, то именно коммунисты формулировали основные политические требования, звучавшие на митингах.

<...>

Кроме того, „под прицелом“ оказался и Владимир Путин. <...> Калининградские коммунисты даже предложили выбрать новым президентом главу Беларуси Александра Лукашенко...

Впрочем, на митингах озвучивались и куда более радикальные лозунги. Акции протеста использовались для реинициации сталинистских настроений. В Петербурге использовался лозунг „При Сталине цены снижали, при Путине цены растут. При Сталине нас уважали, при Путине быдлом зовут“.

В Калининграде на митинге был лозунг „Правление Путина — правление национальной измены“. Несмотря на участие в митингах представителей демократических и либеральных партий, практически открыто распространялась „патриотическая“ литература. Во Владимире распространялась листовка с крупным заголовком „Россия для русских“, подписанная лидером местных националистов И. Артемьевым. В ней объяснялось, что бедность вызвана „перевесом нерусских в правительстве“: это „еврей Фрадков, немец Греф, грузин Зурабов“, а также воздействием „еврейско-олигархического капитализма“, который якобы объявил своей целью геноцид русского народа и открыл „чеченским ордам“ путь в Россию. В Нижнем Новгороде использовался лозунг „Иудинной власти — Иудин конец“, а в Саратове — „Монетизация льгот — это холокост, который президент устроил своему народу“. Таким образом, возрождались лозунг о якобы имеющем место геноциде русского народа» (Социальный взрыв и общественно-политические процессы в современной России: Обзорный доклад Московского бюро по правам человека. М., 2005).

мнения опрошенных разделились строго поровну: 35% считало, что Дума поступила правильно, отказавшись от вотума недоверия, и столько же — что это было ошибочно), 11% — отправить в отставку губернаторов и других чиновников на местах, «не сумевших предотвратить массовые протесты». Парадоксально, что 10% требовали привлечь к ответственности «provokаторов, зачинщиков беспорядков», в существование которых, как мы видели ранее, почти никто не поверил...

Имеют значение и те требования протестующих, которые — не получая статистически значимых размеров поддержки — многократно повторялись в ходе выступлений в различных регионах, были, так сказать, «перед глазами» участников, зрителей и противников акций протеста, а потому оказывали определенное влияние на общественные настроения, возбуждая, мобилизуя их. Вскоре после начала массовых выступлений появились призывы к отставке не только «наиболее виноватых» министров, но всего правительства и президента, роспуска Государственной Думы. Мотивировались такие призывы чаще всего популистскими, а то и националистическими суждениями (вплоть до обвинений в «геноциде» со стороны «нерусских министров»). Неорганизованная масса быстро приобретает качества толпы, легко поддающейся воздействию самой примитивной и самой привычной демагогии. В действиях такой толпы действительно можно усмотреть и темную тень «русского бунта», переходящего в погром против «чужих» и более просвещенных¹.

Чтобы понять реакцию власти на выступления с протестами, следует принять во внимание такие чрезвычайно важные факторы, как нарастающие (примерно с осени 2004 года) признаки неуверенности, даже растерянности в политических верхах, а также чрезвычайно тревожную реакцию российской власти на перемены в Украине («оранжевую революцию»). Видимо, в этих условиях властные структуры не решились на такие радикальные шаги как, скажем, признание собственной ответственности за неудачу с «монетизацией», отмену или замораживание негодного закона и т.д. Президент предпочел остаться в стороне от публичного обсуждения возникшего кризиса. Даже привычный для бюрократической иерархии, не только отечественной, вариант демонстративной расправы с непосредственными виновниками до последнего времени не использовался, — возможно, во избежание опасного вопроса об ответственности высшего уровня власти. (Не исключено, что нарочитое отмежевание от политики собственного правительства в президентском послании этого года может быть истолковано в контексте подготовки такого сценария выхода из ситуации.)

В ход был пущен как будто более осторожный вариант реакции на социальный взрыв. Неудачность «реформы» признана как бы

вполголоса, притом как всего лишь «недоработка». От поиска «подстрекателей» вскоре отказались, опасаясь излишнего и явно неэффективного нагнетания страстей; к масштабным силовым действиям (наподобие использованных в Новочеркаске в 1962-м или недавно в Андижане) нынешние российские власти явно не готовы. Некоторые льготы (например, транспортные) частично вернули, хотя бы временно, а суммы компенсаций отдельным категориям «льготников» увеличили, но расплачиваться за это заставили местные бюджеты. Фактически приостановили намеченные ранее — и серьезно беспокоящие население — меры по реформированию ЖКХ, здравоохранения, образования.

Итоги и уроки пройденного этапа

Волна социальных протестов, поднявшаяся в начале 2005 года, явно спадает. Напряженность в обществе уменьшилась, но не исчезла. Последствия происходившего за последние месяцы в большинстве регионов России сказываются — и в обозримом будущем будут сказываться — на социально-политических процессах и общественных настроениях. Основным итогом, видимо, является изменение общественной атмосферы в России. При всех возможных колебаниях политического курса и массовых настроений, парадно-благостная картина всеобщего «одобрям-с» не вернется. Десятки тысяч непосредственно вкусили немыслимый, даже невообразимый ранее «запретный плод» прямого предъявления своего счета всем уровням власти; значительно больше людей узнали о возможности этого. Власть публично показала свою слабость, не решаясь ни прибегать к запугиванию «бунтарей», ни признавать собственные ошибки (как-никак для того и другого требуется уверенность в собственных силах). Свою слабость обнаружили и протестующие, отступив перед обещаниями и подачками, что явилось неизбежной расплатой за неорганизованность, «стихийную» ограниченность массовых протестов. Остался опыт проведения массовых выступлений. И опыт наметившегося перехода от узкоэкономических (точнее даже, потребительских, «иживенческих») требований к общеполитическим. В ходе массовых выступлений появились признаки совместного участия в них совершенно разнородных политических сил² (что находит продолжение в совместных же акциях в защиту парламентаризма, свободы слова и т.д.). Наконец, немаловажно и то, что «пенсионерские» поначалу выступления привлекли едва ли не самую аполитичную общественную группу — молодежь. А за акциями «льготников» последовали многочисленные социальные протесты студентов. По-видимому, реакцией на распространение общественных протестов стали организованные публичные акции ультралоялистов («идущих», «наших» и т.п.).

2

Помимо КПРФ в митингах принимали участие «Родина», РКРП, Союз офицеров, Авангард красной молодежи, Партия пенсионеров, Движение в поддержку армии, движение С. Глазьева «За достойную жизнь», руководимое сенатором-«антисоциалистом» Н. Кондратенко движение «Отечество». Практически повсеместно в качестве партнера коммунистов по организации митингов выступали партия «Яблоко» и НБП. В Бугуруслане, Орске и Оренбурге объединились представители КПРФ, «Родины» и ЛДПР. В Петрозаводске на митинг, организованный «Яблоком» и КПРФ, пришли представители СПС, члены НБП и ЛДПР. Встречались и более необычные примеры партнерства. Так, прошедший 20 февраля в Казани пикет пенсионеров был организован КПРФ, англоязычной «Трудовой Россией» и местной националистической организацией Татарский общественный центр (Социальный взрыв и общественно-политические процессы в современной России: Обзорный доклад Московского бюро по правам человека. М., 2005).

Перемены в ряде стран на постсоветском пространстве за последние примерно полтора года представляют набор вариантов и уровней организованности, направленности, успешности социально-политических перемен при значительной и неоднозначной роли массового участия в них. Среди этих вариантов нет ни сугубо «стихийных», ни полностью «организованных». Вопрос в *уровне* организованности и идеологизированности, роли различных факторов из традиционных или модернизационных арсеналов. На одном полюсе оказывается «оранжевое» движение в Украине, почти предельно цивилизованное, тщательно подготовленное, довольно удачно подчинявшее факторы национально-го или исторического самоутверждения модернизационным ориентирам; на другом — события в Киргизии, где смена власти сопровождалась взрывами как будто неконтролируемого (точнее, контролируемого на уровне низовых, привычных страстей и норм) поведения толпы, клана, сообщества «своих» и т.п. Российские протесты образца 2005 года в такой ряд не укладываются. Как уже отмечалось, они изначально были весьма далекими от общеполитических задач. Общественное мнение не приняло официозной версии об ответственности политических противников или даже агентов враждебных сил из дальнего зарубежья или из стана «оранжевых» и т.п. По данным опроса января 2005 года, 59% сочло, что развернувшиеся выступления против замены льгот «стихийны», а 18% — что они организованы противниками В. Путина. Под именем «стихийного» в данном случае кроется непосредственная реакция на ущемление «законных» (привычных) прав плюс, конечно, влияние консервативно-популистских лозунгов.

С таким уровнем организованности массовых протестов связана и ограниченность их непосредственных социально-политических функций. Они не были способны и не стремились уподобляться «разноцветным» революциям, ориентированным на изменения во властных структурах. Но в сверхполитизированной системе общественных отношений, унаследованной с советских времен, всякое выступление с экономическими требованиями, тем более массовое, затрагивает всю властную иерархию. В данном случае несомненный политический эффект массовых выступлений — замешательство и паника (страх повторения соседних потрясений).

Одно из последствий социальных протестов 2005 года заключается в том, что обществу задан определенный и, скорее всего, значимый на перспективу образец массовых действий. Простого повторения социально-исторических событий не бывает; если этот образец (как новая «волна» или как более или менее стабильный тип взаимоотношений общества и власти) окажется востребован, то, возможно, например, на иных уровнях организованности и направленности.

Двадцать лет спустя: перестройка в общественном мнении и в общественной жизни

Неюбилейные заметки

Сегодняшний интерес к судьбе социально-политического перелома, начатого около 20 лет назад, связан не столько с условно «круглой» датой (строго говоря, начало перемен датируется скорее 1987 годом), сколько с обострением общественного внимания к современному значению и возможным перспективам реальных последствий этих событий. Поэтому целесообразно выделить две различные, хотя и взаимосвязанные, плоскости изучения названной проблемы. Во-первых, плоскость, связанную с «субъективной» памятью — представленной в общественном сознании и отраженной в исследованиях общественного мнения памятью о перестройке. Во-вторых, плоскость памяти «объективной», т.е. плоскость наследия перемен в современной общественной реальности, в социальных отношениях, процессах, институтах.

Обратимся сначала к памяти общественного мнения.

Стоило ли начинать?

Таблица 1. «Было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?»

(1994, N=3000 человек; 1999, 2003, N=2000 человек, % от числа опрошенных)

	1994	1999	2003
Согласен	44	58	44
Не согласен	34	27	35
Затрудняюсь ответить	22	15	21

В январе 2005 года около половины опрошенных (48% против 40%) соглашалось, что «было бы лучше, если бы все в стране оставалось как было до начала перестройки (до 1985 года)». Распределение мнений по возрастным группам таково.

Таблица 2. «Было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?»

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет			
		18–24	25–39	40–54	55 и старше
Совершенно согласен	26	8	17	28	42
Скорее согласен	22	16	20	26	24
Скорее не согласен	24	28	32	23	16
Совершенно не согласен	16	24	17	16	10
Уровень согласия*	48:40	24:52	37:49	54:39	66:26

* Соотношение числа «согласных» и «несогласных».

В поддержку своей позиции респондентами приводились следующие аргументы.

Таблица 3. «Почему Вы согласны с тем, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?»

(N=2000 человек, % от числа опрошенных)

	1999	2003
Мы были сильной, единой страной	37	26
В стране был порядок	32	26
Отношения между людьми были лучше	22	17
У людей была уверенность в завтрашнем дне	43	24
Цены были невысокими и стабильными	30	20
Больше заботились о культуре, образовании, науке	7	4
Жить было интересней, веселей	10	6

Примечание: некоторые респонденты отмечали более одного варианта ответа.

Рассмотрим эту аргументацию в разрезе возрастных групп.

Таблица 4. «Почему Вы согласны с тем, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?» (возрастное распределение ответов)

(N=2000 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

		Возраст, лет			
		16–24	25–39	40–55	55 и старше
Мы были сильной, единой страной	1999	18	28	43	52
	2003	9	16	31	44
В стране был порядок	1999	14	26	34	46
	2003	11	17	26	45
Отношения между людьми были лучше	1999	20	21	24	23
	2003	7	14	25	45
У людей была уверенность в завтрашнем дне	1999	30	37	45	52
	2003	9	14	28	38
Цены были невысокими и стабильными	1999	20	25	29	42
	2003	8	13	20	34
Больше заботились о культуре, образовании, науке	1999	5	5	6	11
	2003	2	1	4	7
Жить было интересней, веселей	1999	8	7	14	10
	2003	1	4	6	10

Примечание: некоторые респонденты отмечали более одного варианта ответа.

На распространенность различных доводов прежде всего влияет многократно отмеченный барьер 40-летия. Апелляции к «сильной, единой стране», «порядку», уверенности в будущем и низким ценам значительно чаще встречаются в старших группах, а ослабевают преимущественно у молодых.

Таблица 5. «Вы согласны, что было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года?»

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % к числу опрошенных, по столбцу)

	Приспособились к переменам последних 10 лет	Вскоре приспособимся	Никогда не сможем
Совершенно согласен	29	17	38
Скорее согласен	18	11	24
Скорее не согласен	29	26	14
Совершенно не согласен	20	16	8
Затрудняюсь ответить	15	11	16

Таким образом, критерием оценки перелома 1985 года в глазах людей служит их собственная приспособленность к переменам (которые рассматриваются как результат перестройки).

Подкрепляет это соображение следующая таблица.

Таблица 6. «Вы согласны, что было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года?»

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % к числу опрошенных, по столбцу)

	Дела в стране идут в правильном направлении	По неверному пути
Совершенно согласен	14	33
Скорее согласен	21	25
Скорее не согласен	27	21
Совершенно не согласен	23	12
Затрудняюсь ответить	15	9

Более странной на первый взгляд кажется корреляция, обнаруживаемая в следующей таблице.

Таблица 7. «Вы согласны, что было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года?»

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % к числу опрошенных, по столбцу)

	Одобрят деятельность Путина как президента	Не одобряют
Совершенно согласен	21	36
Скорее согласен	22	24
Скорее не согласен	26	19
Совершенно не согласен	18	12
Затрудняюсь ответить	13	9

Получается, что одобряющие деятельность нынешнего президента в основном не согласны с тем, что «было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года», а не одобряющие (как известно, это в основном сторонники компартии), напротив, скорее согласны с этим. Получается, что Путин и его режим выглядят как будто «наследниками» перестройки? Такой вывод был бы неоправданно примитивным, своего рода «коротким замыканием» концов и начал перемен последнего 20-летия. Перестройка открыла определенный набор, пучок неоднородных возможностей развития, которые в дальнейшем использовались разными силами в различных направлениях. В таком смысле и нынешняя ситуация использует один из появившихся вариантов.

Обратимся теперь к аргументации противников ностальгии по ситуации «до 1985 года».

Таблица 8. «Почему Вы не считаете, что было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года?» (возрастное распределение ответов)

(2003, N=2000 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет			
		15–24	25–39	40–54	55 и старше
Страна находилась в культурной и информационной изоляции	19	22	29	17	8
Страна была нищей, на все продукты и товары существовал дефицит	20	24	27	21	10
Люди не имели возможности политического выбора, правила партноменклатура	9	9	12	11	4
Не было возможности заработать хорошие деньги и занять достойное место в обществе	16	20	23	14	8
В стране не было свобод слова, выезда за границу, собраний и демонстраций	11	16	15	10	5
Жить было скучно, не было перспектив в жизни	5	9	8	3	3

Таблица 9. «Какую роль сыграли в жизни нашей страны реформы, начатые в 1985 году М. Горбачевым под флагом перестройки?» (возрастное распределение ответов)

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет			
		18–24	25–39	40–54	55 и старше
Значительную положительную	3	5	5	3	1
В целом положительную	18	27	23	17	11
Незначительную	12	16	15	10	8
В целом отрицательную	37	23	33	45	39
Значительную отрицательную	19	9	14	17	31
Затрудняюсь ответить	11	21	10	7	10
Уровень одобрения*	21:56	32:32	28:47	20:24	19:70

* Соотношение числа считающих, что перестройка сыграла положительную роль, и считающих, что эта роль была отрицательной.

Только у самых молодых положительные и отрицательные оценки реформ уравновешены; во всех других возрастных группах преобладает отрицание.

Таблица 10. «Какую роль сыграли в жизни нашей страны реформы, начатые в 1985 году М. Горбачевым под флагом перестройки?» (распределение ответов по партийным симпатиям)

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	Коммунисты	Демократы	Патриоты	Партия власти
Значительную положительную	0	5	0	4
В целом положительную	4	36	25	23
Незначительную	5	13	15	18
В целом отрицательную	49	25	34	26
Значительную отрицательную	35	14	19	20

Примечательно, что даже среди симпатизирующих демократам мнения о роли реформ делятся практически поровну (41:39). Также заметим, что эти «общие» оценки перестройки существенно отличаются от оценок конкретных перемен. В большинстве случаев они давно и устойчиво признаются положительными!

Таблица 11. «Что принесли России...?»

(% от числа опрошенных*)

	1994		1999		2003	
	Больше пользы	Больше вреда	Больше пользы	Больше вреда	Больше пользы	Больше вреда
Свобода слова, печати	53	23	47	32	49	33
Многopартийные выборы	29	33	21	50	29	40
Свобода выезда за рубеж	45	23	43	23	61	18
Свобода предпринимательства	44	28	50	25	63	19
Право на забастовки	23	36	32	26	41	24
Сближение с Западом	47	19	38	23	55	22

* 1994 – «Советский человек»-2, N=3000 человек;

1999 – «Советский человек»-3, N=2000 человек;

2003 – «Советский человек»-4.

Возможно, мы сталкиваемся здесь с такой же методологической абберацией, которая видна в «общих» и «конкретных» оценках, например, деятельности В. Путина (только с обратным знаком): общие оценки высоки, конкретные, по отдельным направлениям — негативны.

Видимо, в оценках разного уровня люди пользуются различными критериями. «Общие» оценки в большей мере зависят от установок СМИ, «конкретные» — от собственного (или знакомого) опыта. Кроме того, в общественном мнении, вероятно, отсутствует или не развито представление о связи событий разного плана. Странно хвалить отдельные свободы и порицать реформы, которые сделали их возможными. Как будто действует тот же механизм, который отображен в старых баснях: не все понимают, на каком древе произрастают приятные плоды...

Таблица 12. «Какие события, изменения, произошедшие в годы перестройки, Вы считаете наиболее значительными?» (возрастное распределение ответов)

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет			
		15–24	25–39	40–54	55 и старше
Возможность свободно высказываться («гласность»)	40	41	40	45	36
Прекращение политических репрессий, освобождение диссидентов, возвращение доброго имени А.Д. Сахарову	22	14	21	26	23
Возможность свободно выезжать за рубеж	19	14	23	19	17
Острые дискуссии на ТВ, в печати	11	12	13	8	12
Появление демократических движений, клубов, партий	7	12	16	18	13
Конкурентные выборы в органы власти	7	2	5	10	7
Трансляция по ТВ заседаний Съезда народных депутатов	21	23	22	24	15
Обновление руководства страны	13	12	12	12	14
Отмена 6-й статьи Конституции (о руководящей роли партии)	23	29	28	21	17
Развитие кооперативов и малых частных предприятий (ИТД)	24	18	19	25	29
Нарастание экономического кризиса и дефицита	12	14	14	12	10
Сближение со странами Запада	14	17	12	15	13
Перемены в странах Восточной Европы, распад социалистического лагеря, воссоединение Германии	12	10	11	14	13
Движение за независимость в ряде республик СССР	12	10	11	13	12
Нарастание конфликтов в руководстве страной	34	25	30	37	40
Появление угрозы распада СССР	8	5	5	12	8
Применение вооруженных сил против национальных движений в Тбилиси, Баку, Риге, Вильнюсе	16	10	14	22	15
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха					

Остановимся еще на отношении к главному деятелю перестройки.

Таблица 13. «Как Вы сейчас в целом относитесь к М. Горбачеву?» (возрастное распределение ответов)

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет			
		15–24	25–39	40–54	55 и старше
С восхищением	0	0	1	0	1
С уважением	9	8	8	11	8
С признательностью	2	2	3	2	1
С симпатией	6	5	8	7	4
С раздражением	11	6	8	12	13
С неприязнью	12	7	8	13	15
С презрением	4	3	2	4	8
С отвращением, ненавистью	7	12	4	6	14
Затрудняюсь ответить	5	10	4	5	3

Две функции перестройки

Если рассматривать перестройку в целом как перелом в жизни страны, а не как совокупность отдельных, более или менее удачных шагов и деклараций, то можно выделить две принципиальные функции этого перелома — разрушительную (она же высвобождающая) и конструктивную. Результаты их реализации существенно различны. Основные успехи перестройки, в том числе отмечаемые общественным мнением, — это разрушение советской модели, освобождение жизни, политики и мышления от стереотипов (единомыслия, непогрешимости, противостояния всему миру и др.). Одно из условий относительной легкости разрушительной работы перестройки — претензия советских идеологических структур на целостность, для которой любая, даже самая благонамеренная и осторожная попытка изменения каких-то деталей конструкции оказывалась разрушительной. Для исполнения «разрушительных» функций на первых порах еще годился старый партийно-государственный механизм. Гораздо более сложными оказались конструктивные задачи: для их эффективного выполнения не нашлось ни соответствующих интеллектуальных ресурсов, ни необходимых средств. Отсутствие способов закрепить достигнутые перемены — необходимых социальных институтов и механизмов массовой поддержки — постоянно питало неуверенность в успехе перестройки.

Слабость «механизма»

Как показывают многочисленные свидетельства, изначально перестройка задумывалась как серия действий с помощью существующих партийно-государственных структур, официально подчиненных М. Горбачеву. Но использование такого механизма для совершенно несвойственных ему функций неизбежно вело к его дискредитации и саморазрушению. Хотя почти до самого конца своего правления М. Горбачев и его команда критиковали не социализм, не коммунистическую партию, а как будто только «застой» и сталинизм, подспудно происходил и подрыв «основ». Получалось, что М. Горбачев «сжигал мосты» перед собой!

«Ползучий» реванш?

Более серьезное испытание выпало наследию перестройки уже в последние годы. В частности, потому, что носителями новейших реверсивных тенденций выступают теперь не просто представители «старой» элиты, а структуры и силы, воплощающие более глубокий распад «советского» материала, использующие определенные достижения перемен времени перестройки и последующих реформ (в сочетании с советскими и досоветскими традициями державности, произвола, личной власти и пр.). В конечном счете любая эпоха оставляет за собой не только следы собственных успехов и неудач, но также продукты распада (или «полураспада») эпох предшествующих. В такой ситуации разрушительное наследие перестройки просто недостаточно.

«Два прыжка» или «мосты» через пропасть?

Когда-то У. Черчилль упрекал Н. Хрущева, говоря что тот-де пытался «перепрыгнуть пропасть в два прыжка». Подобный упрек можно было бы адресовать и М. Горбачеву — конечно, лишь в порядке шутки. Говоря всерьез, никаким смелым «прыжком» пропасть между страной, которая досталась в управление М. Горбачеву, и тем, что считается «нормальным» обществом, преодолеть нельзя. Но нет такой пропасти, через которую — при соответствующих затратах времени и усилий — нельзя было бы проложить «мост». Исторические примеры таких сооружений хорошо известны: в некоторых бывших колониях (например, в Индии) на сложном пути к современной жизни заранее сооружались необходимые правовые, государственно-политические и прочие институциональные «переходы». Начинания перестройки такую роль играть не могли, потому что как раз создания обязательных институтов не подразумевали.

Слово и дело

Главным и общепризнанным завоеванием, делом перестройки, как мы видели (табл. 12), явилась «гласность» — высвобождение Слова, ранее скованного или запретного. Этим пьянящим Словом и заполнилась политика, публицистика, литература и массовая информация тех лет. С этим связано небывалое внимание к телевидению и печати, публичной (и зрелищной) политике. Слово, неожиданно ставшее публичным, не только казалось, но и было Делом, более того, оно оттесняло на второй план, а то и вовсе подменяло собой практические дела. Решение насущных проблем нередко ограничивалось разговорами о них. Понятно, что социальный ресурс такого Слова довольно быстро, примерно за два года, оказался исчерпанным.

Цена дарованных свобод

«Освободительные» перемены времен перестройки не были результатом напряженной борьбы каких-то общественных сил или организаций. Вне зависимости от того, какая добрая воля или какая внутренняя коллизия в правящей верхушке служила тому побудительным толчком, «свободы» воспринимались людьми как дар свыше, а тем самым обесценивались в общественном мнении. «Платить» за подаренное пришлось значительно позже, когда достижения перестройки оказались под угрозой. Гласность как будто стала привычной, довольно высоко она ценится и сейчас. Но практически никто не готов сейчас не только «выйти на площадь», но хотя бы заявить о своем несогласии с травлей независимых СМИ — как и с наступлением на всеобщие выборы и т.д.

Зрелище перестройки

Один из самых ярких и показательных моментов перестройки — I съезд народных депутатов СССР, сопровождавшийся прямой трансляцией заседаний по телевидению. (Тогда опрошенные называли это самой ин-

тересной телепрограммой года, сейчас, как видно из табл. 12, мало кто это захватывающее зрелище вспоминает.) Образ открытого, публично-политического действия представлялся полной противоположностью всему стилю «кабинетной» политики предшествующих лет, но на деле Съезд был не столько властной, сколько декоративной структурой, где состязались ораторы (впервые страна видела блестящие образцы публичной риторики и целую плеяду ораторов, умеющую работать «на публику»), а не политические лидеры. Как известно, призыв А. Сахарова объявить Съезд высшей властью в стране не нашел отклика. Съезд остался зрелищем, где «публика» (и та, что была в зале, и та, что сидела у экранов телевизоров) следила за актерами на «сцене» (на трибуне), а «серьезные» решения принимались, как и прежде, за кулисами. Позже Б. Ельцин наследовал эти приемы и эффектно использовал зрелищность политических жестов (публично подписанный указ и т.п.), — что скорее дискредитировало, чем утверждало действительно публичную политику...

«Переход на личности»

Как всякий общественный перелом, перестройка вывела на общественную сцену ряд своеобразных личностей со своими амбициями, вкусами, амбициями и пр. (что резко отличало стиль бурных лет перемен от тягучего времени безликих функционеров), занявших те ролевые ниши, которые сформировались на политической сцене, — например, «консерваторов», «радикалов», «смутьянов» и т.д. По сути дела, нашумевшие узлы личных противостояний (М. Горбачев — Е. Лигачев, Б. Ельцин — М. Горбачев) были скорее функциональными оппозициями таких ролевых ниш, чем собственно личными конфликтами.

Нерешаемые задачи

Как уже приходилось отмечать, отвергая «устаревшие» средства решения социальных проблем, перестройка ничего не предлагала взамен. В результате постоянно появлялись «тупиковые» проблемы, не имевшие решения. Это относится к межнациональным конфликтам и национально-государственным претензиям: не решаясь прибегать к испытанным в прошлом средствам массированного насилия (если их, следуя традиции, и применяли в нескольких ситуациях 1989–1991 годов, то как будто стыдливо и скрытно). Новых и адекватных средств (например, продуманных планов, рассчитанных на опережение ситуации, переговорных механизмов и пр.) у М. Горбачева не было, как не было желания их отыскать.

Триумф и крушение

Главный успех перестройки — провал консервативного заговора («путча») в августе 1991 года. Страна, вооруженные силы и даже партийные структуры оказались неспособными последовать за заговорщиками. Но этот успех означал в то же время крушение самого «партийного» меха-

низма перестройки, а вместе с тем и конец политической деятельности «главного механика», М. Горбачева. Перестройка завершилась не поражением в противостоянии с консервативными оппонентами или необузданными авантюристами, а исчерпанием собственных ресурсов. Впрочем, так же решались и судьбы предыдущих периодов нашей истории (и не только «застоя»).

Снова об общественной памяти

Возвращаясь к оценкам перестройки в общественном мнении, приходится признать, что состояние последнего сейчас исключает не только исторически справедливую, но хотя бы более или менее взвешенную оценку перелома. Два фактора могут со временем изменить положение: во-первых, реальные позитивные перемены в жизни большинства, во-вторых, изменения в системе исторического и социального воспитания населения. В ближайшем будущем этого ждать не приходится.

Суэта вокруг рейтингов как показатель социально-политической ситуации

Демонстративное внимание прессы, политического чиновничества, его «технологической» obsługi и т.п. к «рейтинговым» результатам массовых опросов — характерная черта публичного стиля последнего времени, когда поиски решений общественно значимых проблем подменяются возней вокруг «имиджа» институтов и причастных к ним фигур. Никакого отношения к изучению общественной ситуации и общественного мнения это, разумеется, не имеет. Искусственно раздуваемые страхи (или, с другой стороны, столь же необоснованные надежды), связываемые с ожиданиями катастрофических перемен «рейтингов» в ту или иную сторону, отнюдь не способствуют пониманию ситуации и возможных вариантов ее развития. Кроме того, неграмотное обращение с разнопорядковыми индикаторами время от времени приводит к нелепым курьезам и мнимым сенсациям. В том же ряду находится такое распространенное занятие, как поиски «виновников» нежелательных показателей.

Другая и, пожалуй, более значимая парадоксальная ситуация — удивительная для многих наблюдателей устойчивость основных параметров опросных данных. Чтобы разобраться в этом, приходится принимать в расчет универсальные особенности массового сознания — инерционность, адаптивность и пр., а также характер и функции таких его компонентов, как образы фаворитов и антигероев в катаклизмах современной российской реальности. Было бы непростительным упрощением полагать, что «высокие показатели вместо высоких достижений» нужны только для самоутешения политических неудачников, поскольку для ориентации в реальной политике они не требуются. Но в нынешней неустойчивой ситуации границы между реальными политическими акциями и их демонстративными суррогатами столь же стерты, как и различия между политическими чиновниками и политрекламщиками, имиджмейкерами и прочими функционерами внутриаппаратных игр. За высокие рейтинги своих фаворитов упорно, вопреки очевидности, словно за якорь спасения, держится и «массовый» человек, общественное мнение. Это явление хорошо отслеживается по многим исследованиям.

Особенности российских рейтингов

Существуют серьезные различия между социальными значениями рейтингов общественного мнения (получаемых по схожей или одинаковой исследовательской технологии) в плюралистических, конкурентных обществах и в нашей современной ситуации, ориентированной на преодоление даже зачаточных форм политической конкуренции, не успевших привиться в 90-х годах. Рейтинги западных лиде-

ров — работающий инструмент любой электоральной или внутривластной и т.п. конкуренции различных сил и персонажей. (Некоторое приближение к этому мы отслеживали в середине 90-х, сопоставляя рейтинги Б. Ельцина и Г. Зюганова как политических соперников или, в ином контексте, президента Б. Ельцина и премьера В. Черномырдина.) На сегодняшней принципиально «безальтернативной» политической сцене ничего подобного нет, а единственно значимый рейтинг лидера (президента) исполняет совершенно иную функцию — подтверждение его имиджа в собственных и «массовых» представлениях. (Фигурально выражаясь, результатам изучения общественного мнения здесь уготована роль того волшебного зеркальца, которое обязано было показывать, «кто на свете всех милее...», — со всеми вытекающими отсюда последствиями.)

С этой особенностью «главного» нашего рейтинга, как представляется, связана и его видимая, «тефлоновая» (ничего «не прилипает») стабильность. В западных обществах общественное мнение постоянно — при помощи массмедиа — следит за успехами и провалами политиков, в том числе и фаворитов, что немедленно выражается в зигзагах массовых симпатий и соответствующих рейтингов, существенно влияющих на популярность и судьбы лидеров. У нас же рейтинги выражают в первую очередь не оценки определенных действий данного лидера, а состояние комплекса массовых ожиданий, надежд, иллюзий, связанных с ним. Поэтому прямого участия общественного мнения в общественно-политической жизни не существует, а любая массовая реакция на конкретные политические ситуации и действия преломляется через «призму» упомянутого выше комплекса — и остается весьма слабой, практически малозаметной.

Таким образом, в общественном мнении действует известный в социологии принцип примата субъективной установки перед «объектной» информацией: рейтинг показывает не то, что люди непосредственно «видят», а что они готовы или хотели бы «видеть». Люди в массе скорее держатся за собственные иллюзии, чем опираются на «реалии» опыта (особенно если собственный опыт отсутствует). Отсутствие успехов не «обваливает» рейтинг фаворита, а стимулирует поиски «виновников». Такой прием — перекладывание ответственности за неудачи с фаворита на других (ими могут оказаться и зарубежные недоброжелатели, и нерадивые чиновники, и собственное правительство) — также создает впечатление неколебимости рейтингов «первого лица».

Чтобы разобраться в деталях «механизма» наблюдаемых рейтинговых показателей, попытаемся, во-первых, выяснить, чей комплекс надежд и иллюзий стоит за определенными показателями, во-вторых, рассмотреть «качество», содержание соответствующих ожиданий и пр., в-третьих, подойти к проблеме перспектив этого механизма и его функций.

Обширный материал для анализа представляют ежемесячные показатели общего одобрения/неодобрения деятельности основных фигур политического поля (президента, премьер-министра, правительства; оценки других федеральных и региональных деятелей в данном случае не рассматриваются). Такие показатели (в англоязычных текстах — *job approval*) обсуждаются публично чаще всего, выражаются наиболее крупными цифрами (т.е. имеют наиболее обширную — и, как мы увидим

позже, наименее однородную — массовую базу). С показателями одобрения полезно сопоставлять (в плане их качества и массовой опоры) различные рейтинги *доверия*. В наших опросах регулярно применяется такой прием, как предложение назвать 5–6 деятелей, пользующихся у респондентов *«наибольшим доверием»*. Несколько реже (раз в 3–4 месяца) выясняется, *в какой мере доверяют* президенту, насколько *успешными/неуспешными* являются его действия в разных сферах, а также каков уровень *надежд* и *опасений*, связываемых с ним. Использованы и некоторые другие данные исследований. В ряде случаев оказывается полезным рассмотрение специально построенных по рейтинговым данным *индексов* (разности между процентами одобряющих и не одобряющих, надеющихся и не надеющихся и т.п.). Примечательно, что каждый из представленных рейтингов как будто занимает свою специфическую ступеньку в иерархии оценок. Это значит, что каждый из них имеет свою специфическую массовую опору и свои качественные характеристики. Что, как мы увидим дальше, и делает плодотворным их сопоставление.

Социальная «опора» рейтингов В. Путина

Обратимся к социальному составу групп опрошенных, отличающихся оценками одобрения/неодобрения и доверия В. Путину.

Таблица 1. Состав групп по характеру оценок В. Путина

(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой социально-демографической группе)

	Все	Одобряю*	Не одобряю	«Наибольшее доверие»**	Полное доверие***
Все	100	69	29	39	12
Мужчины	46	67	32	37	11
Женщины	54	71	27	41	13
Возраст, лет					
18–24	14	83	16	39	14
25–39	28	81	18	44	11
40–54	29	60	38	33	9
55 и старше	29	60	39	39	15
Средний возраст респондентов, лет	45	42	50	44	47
Образование					
Высшее	16	69	29	39	10
Среднее	56	70	28	37	11
Ниже среднего	28	66	33	42	17

* Одобряют деятельность Путина как президента. щихся наибольшим доверием. вопрос, «в какой мере Вы доверяете В. Путину».

** Доля относящих Путина к числу деятелей, пользующихся наибольшим доверием. *** Доля указавших «полное доверие» при ответе на

Одобряют деятельность президента женщины чаще, чем мужчины, молодые чаще, чем пожилые, более образованные чаще, чем малообразованные. Не одобряющие — скорее мужчины, пожилые, менее образованные. Состав групп по степени (столбцы 4 и 5) доверия примерно такой же, за одним примечательным исключением: малообразованные чаще выражают доверие.

Одобрение деятельности президента преобладает во всех группах по уровню дохода и возможностям его увеличить. Более преуспевшие одобряют чаще.

Таблица 2. Уровень доходов и показатели одобрения В. Путина

(Январь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все 100	Одобрю 66	Не одобряю 29
Получили ли такие люди, как Вы, возможность увеличить свои доходы, заработки?			
Да	11	86	10
Скорее да	27	79	19
Скорее нет	38	61	33
Нет	30	51	43
Семейный доход			
Низкий (до 3000 руб.)	14	55	36
Средненизкий (3000–5000 руб.)	20	69	29
Средневысокий (5000–9000 руб.)	18	68	29
Высокий (свыше 9000 руб.)	16	63	32

*Примечание: данные о затруднившихся отве-
тить здесь и далее не при-
водятся.*

Рисунок 1. Рейтинги одобрения и доверия В. Путина, 2004–2005

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

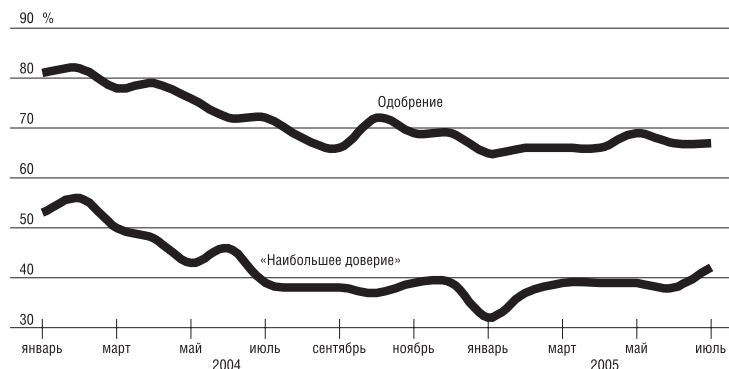
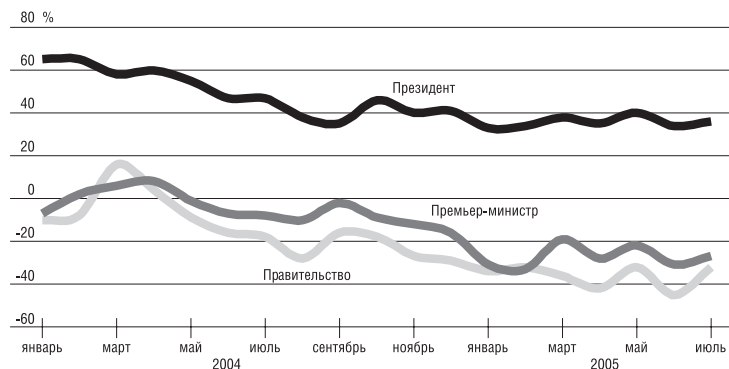


Рисунок 2. Индексы одобрения/неодобрения президента, правительства и премьер-министра, 2004–2005

(разность между числом опрошенных, выбравших позитивные и негативные суждения, N=1600 человек, % от числа опрошенных)



Проблема «качества» рейтингов

Качеством (качественным содержанием) показателей можно считать набор установок, оценок, позиций и т.д., характерных для различных групп одобрения и доверия в сопоставлении с аналогичными данными для всех опрошенных и тех, кто заявляет о неодобрении деятельности президента.

Таблица 3. Общие оценки положения и показатели одобрения В. Путина

(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных по группам, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
Дела в стране идут...					
...в правильном направлении	37	46	11	55	62
...по неверному пути	51	38	81	33	25
Уверены в завтрашнем дне*	34	43	17	44	47
Не уверены в завтрашнем дне**	64	55	81	52	51

* Сумма ответов «да» и «скорее да».

** Сумма ответов «нет» и «скорее нет».

Среди *всех* опрошенных явно преобладают представления о том, что страна движется по «неверному пути». В группе «одобряющих» Путина соотношение мнений почти строго обратное, но и здесь «правильность» пути усматривают менее половины. В обеих группах, «доверяющих» Путину, о «правильном» пути говорят более половины, но даже в наиболее оптимистичной и наиболее пропрезидентской (столбец 5) группе четверть считает путь страны неверным. Что же касается уверенности в завтрашнем дне, то ее выражает меньшинство во всех выделенных группах, более половины в каждой из них такой уверенности не имеют.

Таблица 4. Отношение к замене льгот и акциям протеста и показатели одобрения В. Путина

(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
Поддерживаю замену льгот*	41	56	10	51	55
Не поддерживаю замену льгот*	44	39	56	36	33
Поддерживаю акции протеста против замены льгот	32	25	48	26	25
Отношусь к ним с пониманием	44	47	35	49	43
Решительно против акций протеста	13	15	8	15	21

* «Полностью» или «в основном».

Большинство «одобряющих» Путина поддерживает «монетизацию» льгот, но не слишком уверенно — около 40% против этой меры, среди «наиболее доверяющих» и полностью доверяющих отрицательные оценки реформы разделяют около трети. Притом более 70% во всех группах позитивно относятся к массовым протестам (поддерживают или «понимают»). Настроено решительно против них почти одинаково мало во всех группах, кроме полностью доверяющих.

Обратимся теперь к степени доверия лично Путину в выделенных группах.

Таблица 5. Личное доверие В. Путину и показатели его одобрения

(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобрю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»
	100	69	29	39
Полностью доверяю	12	17	1	22
Скорее доверяю	57	71	24	71
Скорее не доверяю	19	7	48	4
Совершенно не доверяю	6	1	18	0
Затрудняюсь ответить	6	4	9	3

Таким образом, если из всех опрошенных полностью доверяют Путину 12%, то из одобряющих его деятельность — 17%, т.е. всего в полтора раза больше, среди «наиболее доверяющих» — 22%. Почти три четверти одобряющих президента «скорее доверяют» ему. Полное доверие чаще всего выражают самые молодые (18–24 года) — 14% и пожилые (55 лет и старше) — 15%, наибольшая доля не доверяющих (30%) наблюдается в группе 40–54 лет.

Таблица 6. Причины доверия В. Путину и показатели его одобрения

(Июль 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобрю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»
	100	69	29	39
Люди убедились, что В. Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны	16	22	3	26
Люди надеются, что В. Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны	36	44	20	42
Люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться	42	32	64	30
Затрудняюсь ответить	6	2	13	2

Ссылки на успехи президента довольно редки даже среди положительно к нему относящихся. Как одобряющие, так и «наиболее доверяющие» в первую очередь указывают надежды на будущие действия президента, в среднем же самое распространенное объяснение массового доверия — «больше не на кого положиться»... Таблица 7 позволяет сделать вывод, что этот довод чаще упоминается тогда, когда реже указывают успехи и надежды на них.

Таблица 7. «Почему, скорее всего, многие люди доверяют В. Путину?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	2001, июль	2002, октябрь	2003, август	2004, июль	2005, июль
Люди убедились, что В. Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны	14	21	15	16	16
Люди надеются, что В. Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны	43	44	46	40	36
Люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться	34	31	34	41	42
Затрудняюсь ответить	9	4	5	3	6

В текущем 2005 году доля прибегающих к доводу «безальтернативности» достигла максимального значения.

Определенный интерес представляет и сопоставление сугубо эмоциональных оценок собственного отношения к президенту в различных группах.

Таблица 8. Эмоциональное отношение к В. Путину и показатели его одобрения
(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
Восхищение	5	6	1	7	18
Симпатия	27	37	6	48	56
Не могу сказать о нем ничего плохого	36	41	22	38	25
Нейтральное, безразличное	13	9	22	4	–
Настороженное, выжидательное	7	3	14	1	–
Не могу сказать о нем ничего хорошего	9	2	28	–	–
Антипатия, отвращение	2	0	6	–	–

И в целом, и среди одобряющих Путина преобладает сдержанное отношение к личности президента («ничего плохого», «нейтральное», «настороженное»). «Восхищение», «симпатия» на первом месте в группах доверия, только в последней из них (столбец 5) эти эмоции охватывают большинство.

Посмотрим теперь, в какой мере поддерживают действия Путина в различных группах одобрения и доверия.

Таблица 9. Отношение к деятельности В. Путина и показатели его одобрения
(Июнь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»
	100	69	29	39
Полностью разделяю взгляды и позиции В. Путина	18	26	2	31
Готов поддерживать В. Путина, пока он готов проводить демократические и рыночные реформы в России	21	28	4	33
Раньше В. Путин нравился, но в последнее время в нем разочаровался	14	7	28	4
До сих пор В. Путин не очень нравился, но надеюсь, что в дальнейшем он будет полезен России	7	6	6	5
Поддерживаю В. Путина за неимением других достойных деятелей	22	26	14	24
Не являюсь сторонником В. Путина	13	3	35	2
Нужно поддерживать кого угодно, только не В. Путина	2	0	5	0

Даже в группе «наибольшего доверия» к Путину полностью согласны с его взглядами чуть менее трети. Во всех категориях преобладают либо условная поддержка президента («пока он...»), либо ссылки на отсутствие «других достойных».

Значение «размытых» критериев

Представленные выше материалы исследований позволяют сделать вывод о том, что за демонстративными показателями одобрения/доверия, на основе которых составляются соответствующие рейтинги, не просматриваются какие-либо достаточно четко определенные позиции, согласованные мнения, ценностные установки. Значительная

часть «одобряющих в целом» деятельность Путина готова лишь условно его поддерживать, притом нередко потому, что не видит, на кого другого можно положиться. Даже заявляющие о «полном доверии» к президенту разделяют многие сомнения в правильности избранного пути движения страны. Изрядная «ложка дегтя», присутствующая во всех категориях позитивного отношения к нему, существенно обесценивает все выражения поддержки. Поэтому показатели позитивного отношения к Путину (одобрения, доверия) практически близки к хорошо известному по прошлому опыту ритуально-попкорному (или лукаво-попкорному) «одобрям-с». Неопределенность самих критериев «одобрения» придает видимость массовой поддержки рейтинга, одновременно лишая его смысла. Но в этой неопределенности — еще один механизм пресловутой стабильности «главного» рейтинга.

Показатели «эрозии» рейтингов

Рассмотрим подробнее некоторые — далеко не редкие — случаи, когда в ответах респондентов, демонстрирующих положительное отношение к своему фавориту, обнаруживаются отрицательные оценки и мнения на его счет. В этом и состоит наблюдаемая *эрозия, вырождение* «рейтингов».

**Таблица 10. Успехи и неудачи В. Путина и показатели его одобрения.
«Насколько успешно, на Ваш взгляд, на протяжении последних лет В. Путин справлялся с проблемами...»**

(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобрю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
Наведения порядка в стране					
Успешно*	45	59	13	64	82
Безуспешно**	53	38	85	33	16
Подъема экономики, роста благосостояния граждан					
Успешно*	33	43	10	48	73
Безуспешно**	64	54	87	48	22
Защиты демократии и политических свобод граждан					
Успешно*	40	51	5	57	69
Безуспешно**	50	39	77	36	23
Укрепления международных позиций России					
Успешно*	64	74	42	80	85
Безуспешно**	30	22	51	17	8
Разгрома боевиков в Чечне					
Успешно*	35	41	22	47	66
Безуспешно**	60	54	75	48	28
Политического урегулирования положения в Чечне					
Успешно*	29	35	15	40	56
Безуспешно**	63	56	81	51	30

Примечание: данные о затруднившихся ответить здесь и далее не приводятся.

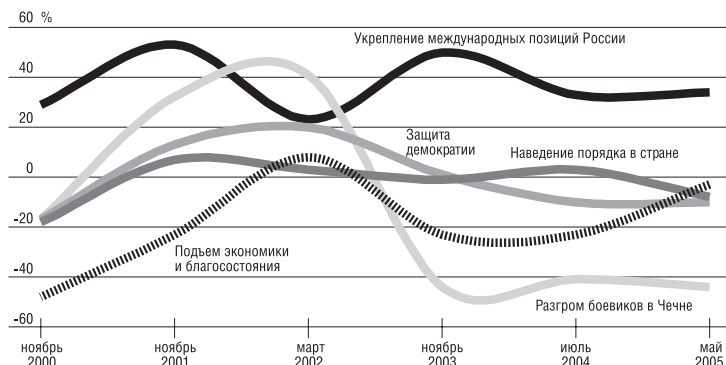
** Сумма ответов «очень успешно» и «довольно успешно».*

*** Сумма ответов «без особого успеха» и «совершенно безуспешно».*

Для всех категорий опрошенных представляются почти бесспорными (небольшая доля отрицающих все же есть) только успехи международной активности президента. Во всех других областях мнения о безуспешности его действий если и не преобладают, то разделяются значительной частью опрошенных, в том числе и показательно одобряющих.

Рисунок 3. «Насколько успешно В. Путин справляется с проблемами...», 2000–2005

(разность между числом опрошенных, выбравших суждения «успешно» и «неуспешно», N=1600 человек, % от числа опрошенных)



Особенно наглядно выступает внутренняя эрозия одобряющих показателей при оценках чеченской ситуации.

В мае 2005 года (N=1600 человек) 35% опрошенных ответили, что для улучшения работы судов в России нужно прежде всего, чтобы суды «не зависели от президента и других властей», только 9% — чтобы суды «выполняли указания президента». Среди «одобряющих» соотношение таких мнений мало отличается от средних показателей — 31:11, среди выразивших «наибольшее доверие» — 66:22, только среди полностью доверяющих Путину мнения делятся почти поровну — 46:39. На фоне нынешней масштабной — и достаточно успешной — кампании по подчинению судебной власти исполнительной такое распределение суждений особенно важно. Еще один пример из той же «судейской» сферы. Сочувствие М. Ходорковскому в мае (по данным того же опроса) выразили 17% всех опрошенных, столько же из числа одобряющих и из числа не одобряющих Путина, 20% из наиболее ему доверяющих и 21% из полностью доверяющих.

Таблица 11. Беспокойство деятельностью В. Путина и показатели его одобрения. «Что Вас беспокоит в деятельности В. Путина?»

(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобрю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
Что он до сих пор не предложил никакой конкретной экономической и политической программы					
Не беспокоит*	32	39	21	48	65
Беспокоит**	53	57	73	29	29
Что он не смог решить чеченскую проблему / завершить военные действия в Чечне					
Не беспокоит*	20	24	11	27	36
Беспокоит**	77	73	87	70	60
Как говорят, может установить жесткую диктатуру, опирающуюся на силовые структуры					
Не беспокоит*	46	50	34	53	62
Беспокоит**	47	43	58	39	30

* Сумма ответов «совершенно не беспокоит» и «не могу сказать, что беспокоит».

** Сумма ответов «в какой-то мере беспокоит» и «очень беспокоит».

Из приведенного ряда тревог остановимся на одной позиции — опасениях в отношении военно-полицейской диктатуры. Такой

вариант событий беспокоит примерно половину опрошенных, около 40% одобряющих и «наиболее доверяющих» Путину и почти треть в самой «надежной» группе полностью ему доверяющих.

В завершение раздела возьмем отношение различных групп опрошенных к самой общей оценке ожиданий от президента.

**Таблица 12. «Усталость» от В. Путина и показатели его одобрения.
«Согласны ли Вы с тем, что население России уже устало ждать от В. Путина
каких-то положительных сдвигов в нашей жизни?»**

(Апрель 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»
	100	66	31	39
Согласен	58	50	83	45
Не согласен	37	45	15	51
Затрудняюсь ответить	5	5	3	4

Как опрошенные в целом, так и «одобряющие» в большинстве своем согласны с тем, что «устали ждать», только в категории «наибольшего доверия» с небольшим перевесом преобладают несогласные с этим утверждением. На протяжении ряда лет соотношение согласных и несогласных с таким мнением выглядело следующим образом: декабрь 2000 года — 47:49, июнь 2001-го — 47:43, июль 2003-го — 51:40, апрель 2004-го — 57:37; нынешнее соотношение (58:37) означает наибольший уровень признания «усталости ждать».

Признаки общего кризиса

Ряд полученных в последнее время данных массовых опросов дает основание полагать, что общественное мнение не только отмечает неудачи и провалы власти в различных областях, но нередко усматривает и приметы *общего кризиса* всей системы доверия и поддержки в отношении власти и лидера, которая сформировалась после 1999 года. Это относится прежде всего к характеристикам положения в стране, внешних властных структур, правящей элиты.

**Таблица 13. Оценка ситуации в стране и показатели одобрения В. Путина.
«Что сейчас, по Вашему мнению, происходит в стране?»**

(Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
Становление авторитарного режима	8	8	8	7	1
Наведение порядка	20	26	8	30	30
Нарастание беспорядка, анархии	43	33	64	26	32
Становление демократии	12	16	5	22	14

Примечание: данные
о затруднившихся отве-

тить здесь и далее не приводятся.

Как видим, ни сторонники, ни оппоненты президента в равной мере не принимают всерьез вариант «авторитарного режима», несколько чаще респонденты (в основном восторженные выразители «наиболь-

шего доверия») считают, что в России происходит «становление демократии». Главной темой оказывается «порядок» — его наведение или разрушение. Преобладают (за исключением той же категории «наибольшего доверия», где официальные лозунги котируются выше практического опыта) мнения о нарастании беспорядка.

«Наведение порядка» чаще всего отмечают те, кому от 25 до 39 лет (28%), реже всего — пожилые, 55 лет и старше (14%). А «нарастание беспорядка» во всех возрастах упоминается чаще других содержательных ответов: 54% в самом старшем возрасте, 22% в самом младшем (в последнем случае 31% затрудняется ответить).

Примерно такие же, как сейчас, показатели «нарастания беспорядка» наблюдались в конце 90-х годов, т.е. на закате предыдущего политического режима. (Так, в марте 1998 года эту характеристику положения в стране указали 48% опрошенных, N=1500 человек; в сентябре 1998-го — 58%, в феврале 1999-го — 62%, в марте 2000-го — 37%, N=1600 человек.) Причем нынешнее возвращение к «разбитому корыту» растущего беспорядка общественное мнение отмечает после череды неустанных и болезненных усилий по формированию, укреплению и перетряхиванию властной «вертикали».

Таблица 14. Мнения о «вертикали власти» и показатели одобрения В. Путина
(Июнь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобрю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
Как Вы считаете, власть в России сейчас находится...					
Под контролем народа	6	8	3	8	14
Под контролем узкого круга лиц, неподконтрольных народу	83	80	88	80	66
Как Вы считаете, укрепление «вертикали власти» производится...					
Ради укрепления порядка в стране и возрождения России	18	20	13	49	49
Чтобы президентское окружение могло в своих личных интересах контролировать все, происходящее в стране	21	18	29	35	32

Таблица 15. Оценка «людей, находящихся у власти» и показатели одобрения В. Путина. «Как бы Вы расценили людей, находящихся сейчас у власти?»
(Июнь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобрю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»
	100	69	29	39
Это люди, озабоченные только своим материальным и карьерным благополучием	64	57	79	53
Это честные, но слабые люди, не умеющие распорядиться властью, обеспечить порядок и последовательный политический курс	11	13	7	12
Это честные, но малокомпетентные люди, не знающие, как вывести страну из экономического кризиса	10	12	7	13
Это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным путем	6	9	2	11
Затрудняюсь ответить	9	10	6	10

Когда массовое внимание переключается с единственного и неповторимого фаворита на чиновников, «...толпой стоящих у трона», негативные эмоции захлестывают уже все без исключения группы, включая одобряющих Путина и наиболее доверяющих ему. К данным таблицы 15

можно добавить показатели, полученные в начале того же года. 31% сочло, что окружение Путина волнует проблемы страны, а 55% — что только «личные материальные интересы» (январь, N=1600 человек).

От этой темы — прямой переход к универсальной проблематике *коррупции*. В декабре 2004 года (N=1600 человек) 64% опрошенных назвали наиболее серьезной проблемой для России «*коррупцию в органах государственной власти*». (Для сравнения: только 7% в качестве наиболее серьезной проблемы указали «*нарушение крупным бизнесом налогового законодательства*»...) Тогда же 51% (против 7%) выразили мнение, что за последние пять лет «*воровства и коррупции среди государственных чиновников стало больше*».

В заключение темы — сравнение *электоральных предположений* опрошенных из различных групп одобрения и доверия.

Таблица 16. Выборы 2008 года и показатели одобрения В. Путина.
«За какого кандидата в президенты скорее всего проголосуют в 2008 году?»
 (Май 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»	Полное доверие
	100	69	29	39	12
За кандидата, предложенного В. Путиным	27	37	6	43	56
Принципиально за другого кандидата	24	13	48	12	10
Зависит от обстоятельств	35	35	33	31	22

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Только в численно небольшой группе «полностью доверяющих» Путину преобладает готовность поддержать предложенного им преемника, среди всех прочих категорий предпочтение принципиально другого или сомнение в выборе указывается чаще или, по крайней мере (у «наиболее доверяющих») не реже.

Таблица 17. Отношение к «третьему сроку» В. Путина и показатели его одобрения. «Если В. Путин останется на посту президента и после 2008 года, это будет...»
 (Июль 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	Все	Одобряю	Не одобряю	«Наибольшее доверие»
	100	69	29	39
Чрезвычайно полезно, спасительно для России	9	12	2	15
Скорее полезно для России	37	49	11	53
Вряд ли что-нибудь изменит	29	25	37	22
Скорее будет вредно для России	13	6	27	4
Будет очень вредно, губительно для России	5	1	13	1
Затрудняюсь ответить	8	7	11	5

«Чрезвычайно» полезным продолжение правления Путина даже самые доверяющие ему люди считают довольно редко, около половины из них отмечают более сдержанный вариант («скорее полезно»). Правда, и противники Путина предпочитают умеренно негативные суждения («вряд ли изменит», «скорее вредно»).

При рассмотрении проблемы «рейтингов» нельзя ограничиваться видимой (демонстративной) поверхностью явления. Если принимать во внимание тот комплекс общественных отношений и механизмов общественного мнения, который отчасти сказывается в рейтинговых показателях, многие «секреты» таких показателей приоткрываются. Загадочная (относительная) стабильность рейтингов президента объяснима приматом иллюзий и надежд на фаворита, механизмом «перераспределения» ответственности между ним и прочими носителями властных полномочий (чиновниками, правительством), а также рассмотренной выше неопределенностью самих критериев массового одобрения и доверия. Отсюда возможность нарастающей эрозии (вырождения) качества «рейтингов» под поверхностью стабильно высоких показателей. В этой ситуации вряд ли стоит ждать «обвала», «опрокидывания» таких показателей, более правдоподобна перспектива хронического их внутреннего «загнивания». Воздействие на «рейтинговую» поверхность очевидных для общественного мнения крупных политических провалов власти (как операция в Беслане или пресловутая «монетизация» льгот) сравнительно невелико и кратковременно, через два-три месяца оно почти незаметно. Менее заметны пока, но более значимы факторы, деформирующие саму структуру отношений внутри иерархии власти, структуру общественного доверия. Принципиально важен и фактор исчерпания ресурсов доверия, ожиданий, терпения — а также ресурса уверенности в себе у самих носителей власти вплоть до верховной (или даже начиная с них).

В сегодняшних условиях к сказанному следует добавить хотя бы краткие ссылки на два весьма значимых момента, влияющих на перспективу отношений между властью и обществом. Первый из них — предстоящие президентские выборы. При отсутствии реально работающих демократических институтов каждая смена персонала на верхнем уровне иерархии государственной власти неизбежно означает политический кризис, неопределенность, повышенную нервозность, ожидания или опасения смены типа правящей элиты, возникновения ситуаций, выходящих за пределы даже прагматически весьма «растянутого» правового поля. Сейчас к этой «традиции» кризисного перехода добавляется весьма серьезный фактор, с недавних пор выступивший на поверхность в разных точках всего постсоветского политического пространства, — исчерпание тех временных, переходных институциональных и персональных вариантов организации, которые повсеместно использовались после развала советской системы власти. На всем этом пространстве, от России до Центральной Азии (Балтия не в счет), система новой власти конструировалась из наличного материала — фигурально выражаясь, из «гнилых досок», скрепляемых «ржавыми гвоздями», из остатков обветшавших социальных институтов и кадровых ресурсов прошлого строя. Нынешние «оранжевые» и тому подобные, «окружающие» Россию потрясения вне зависимости от своих национальных форм, степени организованности, успешности и пр. подтверждают неизбежность замены всех этих «временок» социально-политическими конструкциями, ориентированными на стабильные современные образцы, и, соот-

ветственно, подвижки или перемены в правящей элите. Раздражение и панический страх российской политической верхушки со всей ее политтехнологической услугой перед «оранжевой» опасностью, по сути дела, подтверждает универсальное значение «постсоветского» кризиса. В определенной перспективе его развитие не может не повлиять и на основы всех возможных рейтинговых показателей.

Катаклизмы последнего времени вынуждают рассматривать ближнюю и более отдаленную перспективу (а задним числом и «обратную» перспективу) в плане возможного или утраченного *выбора* ориентиров и средств их достижения. Как обычно, по крайней мере для отечественной истории, взаимосвязанными оказываются проблемы выбора разных масштабов — от персонально-политического и электорального до исторического. Экстраординарная острота нынешней проблемной ситуации в значительной мере обусловлена исчерпанием всего спектра социальных (в том числе социально-психологических, политических, моральных, персональных и пр. — вплоть до «галлюциногенных»...) ресурсов, которые определяли параметры российских перемен за два десятилетия. В такой ситуации само обсуждение проблемы выбора все явственнее выступает уже не как увлеченный поиск «*выхода*» на какой-то спасительный (иллюзорно-спасительный) путь, а как отчаянный поиск возможного *выхода* из очередного (и отнюдь не иллюзорного) тупика.

Непременным компонентом публичной дискуссии с разных сторон служат сейчас апелляции к состоянию общественного мнения, в том числе представленному в опросных и тому подобных данных. Возникает и понятный социальный запрос к исследователям на оценку более или менее приемлемых альтернатив, а также, естественно, уместности и адекватности использования самого инструментария анализа — как эмпирического, так и методологического.

Соблазн «переходности»

Осевая парадигма последнего десятилетия, питательный бульон целого набора разочарований и утешений — представление о том, что страна быстрее или медленнее, с большими или меньшими потерями движется к некоторому наперед заданному состоянию (к «рынку», к «демократии», к «модернизации», к «Европе», к «глобализации» и т.п.; знак оценки таких перемен в данном случае не рассматривается) — это метафора, но столь привычно-укорененная, что трудно поддается содержательному анализу. Принципиальная дефективность такого представления заключается в том, что конечный «результат» движения как бы заранее определен, а достичь его можно разными усилиями, с разных сторон, при различных соотношениях добровольного и принудительного выбора. Традиционные для отечественной социальной мифологии с позапрошлого века (генетически связанные с установкой на «догоняющее» развитие) образы неумолимо идущего «поезда» и «мостика» по дороге к непременно светлому будущему вполне укладываются в эту парадигматику. Все ее варианты прямо или косвенно редуцируются к злополучной формуле цели, оправдывающей средства. Но в предельных (социетальных) масштабах действует прямо противоположная связь событий: средства («затраты») определяют *реальные*

результаты. Перенестись в некое «завтра» удастся только в сладких снах и фантастических романах, в действительности каждое будущее состояние строится из сегодняшних ресурсов, усилий, жертв, устремлений и ожиданий. И — уже как бы в соответствии с канонами классической политэкономии — уплаченная социальная, моральная и прочая «цена» неизбежно переносится на полученный «продукт».

Кстати, те же замечания вполне относятся и к представлениям о «возврате» к некоторой точке прошлого. По оси социального времени нельзя перемещаться ни вперед, ни назад, но порой удается в какой-то форме воспроизвести, реконструировать, имитировать институты и нравы прошлых времен — тем более что существенные их компоненты сохраняют влияние и после разрушения своей основы. Поэтому оценка реальных или утраченных возможностей социально-исторического выбора не может напоминать путевую карту, это лишь попытка представить значение определенных позиций или «полей» в условиях бездорожья.

Эти достаточно банальные соображения практически преломляются в ситуациях российских потрясений последнего (и не только последнего) времени, когда за развалом отживших структур следует не столько формирование более эффективных и современных социальных институтов, сколько возникновение тупиков, химер, опасных новообразований «старого» образца и тому подобных феноменов. Поэтому исследовательским императивом становится необходимость разностороннего анализа рамок и критериев наблюдаемых социальных трансформаций.

«Постклассический» фон

Строительство социально-исторических тупиков нельзя считать сугубо отечественной привилегией или проклятием, просто они более заметны в рамках российского опыта, хотя присутствуют во всем мире, особенно же в «третьем». Все варианты происходящего в России разворачиваются на фоне и в рамках современных мировых процессов, которые утратили свою «классическую» определенность. Прошло время, когда казалось достаточным представлять перемены глобального масштаба с помощью универсальных дихотомий типа «прогресс — реакция», «модернизация — традиция», «капитализм — социализм», «Восток — Запад», «глобализм — изоляция», «диктатура — демократия», «свобода — несвобода» и т.д. Содержательность подобных оппозиций утрачивает свою однозначность.

Ни один уголок в мире, ни одна сфера человеческой жизни не остается сегодня вне влияния промышленного, интеллектуального, научно-технического, постиндустриального прогресса. И нигде его результаты не являются однозначно позитивными. Подобно тому как каждый успех научного знания порождает новые проблемы и загадки, каждый практический успех человечества порождает новые проблемы и напряженности в социальной, экологической, политической, моральной, межкультурной и прочих областях отношений. Экономический, технологический, промышленный детерминизм, питавший прогрессистскую мысль с начала XIX века, утратил свои универсальные претензии.

Аналогичным образом подверглось практической переоценке противопоставление «традиционных» и «модернизированных» цивилизаций, которое имело смысл в периоды колониальной («цивилизационной») экспансии, а потом — во время ее преодоления (т.е. примерно с середины XIX до середины XX века). В нынешних напряженных — до террористического безумия — отношениях «межмирового» порядка (т.е. отношениях преимущественно между бывшими «первым» и «третьим» мирами) «западной» цивилизации противостоят не традиционалистские

социальные структуры, а тот феномен, который С. Хантингтон называет «незападной модернизацией»¹.

Речь идет, по сути дела, о ситуациях, когда плоды процессов модернизации — не только технические, но организационные, социально-технологические, идеологические — становятся деструктивной силой в зонах межгосударственных, межкультурных, внутригражданских разломов, где теряют силу традиционные регулятивы массового поведения. В этом плане можно обнаружить принципиальное родство сегодняшних атак на центры западной цивилизации, совершаемых под флагами воинственного ислама, и «антизападных» переворотов, потрясавших XX век под иными идеологическими флагами в России, Италии, Германии и др. Историческую их базу составили побочные течения и продукты процессов массовизации и модернизации, повернутые против их мейнстрима.

Противостояние «двух мировых систем» в 50–80-х годах прошлого века было преимущественно идеологическим фантомом, прикрывавшим попытку военно-политического

вызова сложившимся («капиталистическим») формам модернизации со стороны ее маргинального варианта. Никакой связи с социальными конфликтами (между «трудом» и «капиталом») в развитых странах, а значит, и никакой «классовой» подоплеки эта конфронтация не имела. Попытки привлечь на сторону советского блока деколонизируемые страны оказались безуспешными. Создать «социалистическую цивилизацию», которая явилась бы действенной альтернативой существующих тенденций мирового развития, не удалось. Вынужденный отказ от военно-политических вызовов остальному миру лишил политическую верхушку России всяких оснований представлять себя значимым «полюсом» мирового сообщества. Никакой реальной «глобальной», «геополитической», «всемирно-исторической» и тому подобной катастрофы не произошло в результате крушения советского режима и его амбиций. Катастрофа задела лишь иллюзорный мир социальной мифологии, до некоторой степени, впрочем, создававшийся с двух сторон².

Проблемы и противоречия, придающие глобально-прогрессивным тенденциям характер болезненных катаклизмов, не исчезли, а скорее обострились и выступили на передний план после «самоустранения» со сцены одного из державных колоссов. Сейчас уже трудно принять всерьез эмоциональную формулу «конец истории», брошенную Ф. Фукуямой в горячке «околоперестроечных» переживаний³. Устранение фантома мирового противостояния и — тоже иллюзорной — опасности глобализации советско-тоталитарной модели вынуждает более трезво и детально разбираться в неоднозначности плодов перемен региональных и мировых масштабов, реально происходящих в различных компо-

1 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.

2 По недавнему утверждению И. Валлерстайна, известного экономиста, испытывавшего определенное влияние западных трактовок марксизма, «коллапс Советского Союза стал геополитическим бедствием для США», поскольку «с уходом коммунизма господствующие мировые элиты потеряли возможность контроля над трудящимися массами» («Гибель СССР — трагедия для Соединенных Штатов»: Интервью с Иммануилом Валлерстайном // Апология. 2005. № 4).

3 См.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004.

нентах современного мира. В частности, приходится признавать, что либерализм утверждается в мире не как достигнутое состояние, а только как признанный, но не единственный ориентир, как некая более или менее общезначимая тенденция. (Переосмысление упомянутой выше фантомной дихотомии лишает смысла оценочные его определения — «западный», «буржуазный» и т.п.) Притом как тенденция, которая может утверждаться, лишь постоянно трансформируясь. Индустриальное общество в XIX веке как бы «научилось» быть *либеральным* (т.е. вынуждено было принять гражданские права и свободы как условие современного экономического роста), в XX веке ему пришлось стать еще и *социальным* (т.е. признанным компонентом развития стало обеспечение достойного качества жизни и социальной защищенности для большинства населения), а в XXI веке, по всей видимости, приходится стать *глобальным*: чтобы выжить, придется найти способы включить в свою орбиту все регионы и типы мирового развития. В поиске эффективных решений этой проблемы жизненно заинтересованы как «классические» центры современной модернизации («развитые» регионы), так и вся обширная ее периферия (догоняющие, маргинальные, локальные, вторичные и прочие «неклассические» варианты развития; понятно, что в этом ряду Россия занимает заметное место).

Дифференциация траекторий регионов, относившихся условно к третьему миру, — нефтяное процветание Эмиратов, экономические прыжки азиатских «драконов», политическая модернизация «латиносов», Индии и пр. при глухих тупиках тропической Африки и радикальных режимов (очевидно также, что общества, причислявшиеся недавно к «соцлагерю», испытывают разнонаправленные импульсы) — покончила со стереотипами противопоставления «Запада» и «Востока», в ином повороте — «Севера» и «Юга». Прорывы к современности — при всех их издержках — оказываются принципиально возможными в странах и регионах с различными историческими, культурными, религиозными корнями. И, с другой стороны, принципиально неоднозначными (социально, морально, экологически, психологически) даже в регионах, как будто наиболее созревших для эффективного развития.

Изоляционистские, «антиглобалистские» лозунги и движения, заметные в последние годы (кстати, видимо, вдохновляющие отечественных сторонников «самобытности» как из властных структур, так и из популистской оппозиции, из ярых противников «засилья мигрантов» и т.п.) — маргинальная реакция на противоречивую по последствиям, но все более значимую взаимосвязанность регионов и экономик, а также на неизбежные процессы трансрегиональных перемещений населения.

Преодоление идеологического фантома «дуалистической» модели мира приводит не к «унитарной» (или «однополюсной», т.е. устремленной к той же унитарности) его модели, а к представлению о все более взаимосвязанном и все более *разнообразном мире*. Это значит, что для определения «своего» места (своей страны, региона, позиции) непригодна простейшая («одномерная») система координат, недостаточно указать точку на линии или одно из полей на условной игровой доске, приходится принимать во внимание координаты рассматриваемого явления в «многомерном» пространстве, т.е. через ряд параметров (например, таких, как уровень и тип развития, источники роста, характеристики экономической системы и ее ресурсов, в том числе интеллектуальных, характер социальной организованности, нормативно-ценно-

стных механизмов, государственных институтов, морального и национального самосознания и т.д.). Вне контекста даже такие привычно используемые показатели, как соотношение форм собственности, развитие рыночных механизмов, функции политического плюрализма и пр., утрачивают значение. Вопрос о том, какие из подобных индикаторов могут быть достаточно эффективными при решении определенных аналитических задач, конечно, требует особого рассмотрения.

Российские координаты

В исследованиях общественного мнения довольно регулярно отслеживаются суждения о желаемом (или возможном) пути дальнейшего развития страны, ее общественного и государственного устройства. Варианты реакции, заданные соответствующими размежеваниями социально-политических позиций, сводятся к противопоставлению «общего» и «своего особого» путей; идеал возвращения к собственному прошлому — разновидность второй из этих позиций. (Так, в июне 2005 года 66% против 21% опрошенных считали, что демократия нашей стране нужна, 24% предпочли бы видеть демократию по «западному» образцу, 16% по советскому, 45% — «свою, особую» [N=1600 человек]). Очевидно, что доминирующее представление вполне соответствует сегодняшним официально принятым установкам.)

Таблица 1. «Какая демократия нужна России?»

(Июнь 2005 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной и электоральной группе)

	Как в развитых странах Европы, Америки	Как была в Советском Союзе	Совершенно особая, соответствующая традициям и специфике России
Возраст, лет			
18–24	36	9	48
25–39	29	9	50
40–54	22	14	36
55 и старше	16	29	39
Партийные электораты			
КПРФ	8	36	33
«Единая Россия»	34	10	46
СПС	61	0	28
«Яблоко»	37	0	50
ЛДПР	21	15	46
«Родина»	20	23	49

«Спецификой» отечественной демократии чаще всего — примерно для трети опрошенных — представляется сосредоточение власти в руках президента, возможность продления его полномочий, государственный контроль над экономикой и СМИ.

Можно отметить несколько факторов, способствующих тому, что «изолирующий» патриотизм не только явился универсально-распространенным, но и стал исполнять функции «эрзац-идеологии» в прагматичной, постидеологической обстановке.

Установка на противопоставление «своего» «чужому» исторически закреплена в наиболее древних и примитивных структурах массового сознания и способна сохраняться в различных условиях и в различных идеологических, политических, даже сакрализованных

облачениях. Если в советский период настойчивое противопоставление чужим образцам и влияниям собственных порядков провозглашалось предпосылкой грядущей всемирной экспансии последних, то сейчас как на политическом, так и на массовом уровнях заметно лишь стремление самоизолироваться от универсальных образцов. Произошедший где-то в 30-х годах XX века с утверждением прагматического сталинизма переход от показного революционного интернационализма к державному патриотизму и национал-шовинизму оказался поэтому достаточно простым и эффективным. Как и переход от государственно-идеологических приемов их легитимации к прагматически-чиновничьим. Характерные для зари перестройки апелляции к общечеловеческим ценностям, строительству «общеевропейского дома» и т.п. легко уступили место стереотипам нового противостояния — привычного для значительной части населения, удобного для правящей элиты (поскольку не требуется перемен в устоявшихся механизмах, приемах, кадровых структурах), вполне соответствующего уровню нынешних политических и экономических связей страны с остальным миром. Во всех случаях преобладающим оказывался не самый эффективный или перспективный, а наиболее примитивный, требующий минимальных усилий (как «сверху», так и «снизу») вариант выбора — для властной иерархии он иногда представляется наиболее эффективным. Ссылки на «особое» положение или предназначение России в сочетании с грузом неподъемных амбиций (и попытки избавиться от болезненного комплекса «имперской» неполноценности, оправдывая реально занимаемую ею сегодня маргинальную позицию в «обозе» мирового развития в роли «топливозаправщика», на каком-то сто с лишним месте по шкалам экономических и гражданских свобод, состоянию человеческого потенциала и пр.) на деле прикрывают неспособность и нежелание найти выход из глухого тупика, в котором оказалась страна.

Поскольку экономическая или коммуникативная изоляция страны по традиционным образцам просто нереальна (хотя бы из-за экспортных источников доходов), усилия власти и согласных с ней фракций общественного мнения направлены на то, чтобы обеспечить себе положение некой политической резервации в современном мире, т.е. чего-то среднего между мировыми координатами Кувейта и Китая, которых в цивилизованном мире принимают, не ожидая от них установления либеральных порядков и соблюдения прав человека, то есть как заведомо чужих, как пришельцев из прошлого. Сомнительно, чтобы выбор подобной позиции оказался для России прочным и перспективным. Постоянно декларируемое у нас на официальном и на массовом уровнях стремление укреплять связи с миром, входить в структуры мирового сообщества нуждается в проверке по шкале исторического времени: существенно, в каком качестве (используя известный образ, при «каком тысячелетье на дворе») может оказаться страна в глобальной сети взаимосвязей.

«Левые» лозунги и критерии

Вспышка массовых протестов, вызванных скандальной «монетизацией» льгот в начале 2005 года, привлекла общественное внимание к постановке извечных и болезненных социальных проблем экономического роста. В соответствии со сложившимися на отечественной поли-

тической сцене разделением функций, демонстративное обращение к этой проблематике используется прежде всего силами социально-или патриотически-популистской направленности, представляющими себя «левыми»; в политической риторике и публицистике внимание к социальным нуждам людей связывается с этими силами или с мало заметными в России организациями социал-демократической ориентации.

Такое мнение присутствует и в яркой газетной статье М. Ходорковского⁴. В некоторых комментариях прессы недавние социальные инициативы президента трактовались как «левая» тенденция в государственной политике.

Между тем постановка социальных проблем далеко не всегда как-то связана с действиями «левых», особенно в отечественных условиях. Политический спектр с противопоставлением «правых» и «левых» был характерен для европейских парламентских учреждений XIX — начала XX века, сейчас он во многом трансформировался; применимость же соответствующих категорий для российской политической системы весьма сомнительна. При этом практически нигде не прослеживается прямой связи между действиями политически «левых» и социальными программами. В Германии, Англии, Франции социальная политика формировалась скорее центристскими и консервативными политическими течениями⁵. Тем более это очевидно в отношении США, где политически организованных «левых» практически не слышно, а масштабные программы социальной помощи (например, адресованной бедным и больным) разрабатывались республиканскими администрациями.

Принципиально такая ситуация объясняется тем, что «левые» политики, особенно радикальные «левые», стремились, по крайней мере на словах, не к совершенствованию существующей общественной системы, а к ее низвержению, в то время как центристы и консерваторы были заинтересованы в жизнестойкости этой системы, ослаблении социальной напряженности. Истоки социал-реформистских политических моделей часто усматривают в либеральной социальной философии⁶.

Наиболее значимой представляется сугубо практическая взаимозависимость этих некогда противостоявших друг другу течений. Современное развитое индустриальное (и постиндустриальное) общество нуждается в социально защищенных и адаптированных работниках, что и выражается в социальной политике, обширных социальных акциях и программах. Современная индустриальная система нуждается в реформистских, «неразрушающих» способах постановки и решения своих социальных проблем. С другой стороны, реформистская социал-демократия может быть успешной только в рамках политического и экономического либерализма. Как известно, при всех вариантах взаимной политической конкуренции либерализм и социал-демократия в Европе эффективно дополняют друг друга, а в американских моделях политического устройства как бы делегируют свои конфликтные и согласительные функции триаде власти-бизнеса-профсоюзов. Видимые на российской политической сцене, в том числе и в демократической ее части, шумные столкновения «либеральных» и «социал-демократических» установок (скорее как лозунгов и ярлыков) показывают, сколь далека пока эта сцена от современных образцов, насколько увязла она в незавершенном — для нас — XIX веке.

4

Ведомости. 2005. 1 августа.

5

Мартин Э. Социальное обеспечение в Великобритании и Франции // Свободная мысль — XXI. 2005. № 8.

6

См.: Канто-Спербер М. Философия либерального социализма // Неприкосновенный запас. 2004. № 6.

На российском политическом поле, разделенном между крайними противниками, практически никогда не было места для социально-реформаторских сил. Известно, с каким презрением относились отечественные радикальные социалисты (не только большевики) к борьбе «за копейку», т.е. за повышение оплаты труда. Почвы для социально-реформаторских течений не было ни до 1917 года, ни после 1991-го: все группы, называвшие себя социал-демократическими в последние годы, вместе взятые, не набирали и 1% общественной поддержки. Нынешняя КПРФ фактически наследует не «левые» политические течения, а организацию старой правящей номенклатуры. Профсоюзы не были в советское время и не смогли стать сейчас реальной социальной силой. Ответственность за социальную политику — и за ее провалы — по-прежнему целиком лежит на власти. Стремясь уменьшить базу поддержки компартии, «партия власти» заимствует ее лозунги, но никак не становится «левой».

Пока такая ситуация сохраняется, трудно представить появление на политической сцене какой-то особой реформаторской силы, которая выступала бы инициатором социальной политики.

В последнее время общественное внимание привлекли выступающие под эпатажно-«левыми» лозунгами молодежные группы (НБП, АКМ, РВС и др.), не имеющие отношения к социальному реформаторству. В известной мере имитируя европейских гошистов 60-х годов прошлого века, они формируют некоторую обочину социальных процессов.

В ходе одного из недавних опросов (август 2005 года, N=1600) 26% высказались за приход к власти «левых» (социалистов, социал-демократов, коммунистов — оговорки относительно условности отнесения этих течений к «левым» высказаны выше), возразили против этого 47%. Из сторонников КПРФ такой вариант одобрили бы 67%, «Родины» — 49%, ЛДПР — 25%, «Яблока» — 22%.

Уроки несостоявшегося референдума

В июне 2005 года в ходе одного из всероссийских исследований выяснялось отношение населения к вопросам, предлагавшимся КПРФ для референдума (не состоявшегося, поскольку ЦИК счел их не соответствующим законодательству) (см. табл. 2).

Очевидно, что руководство КПРФ, стремясь получить массовую поддержку представленных позиций (что, как видно по опросу, было вполне возможным), преследовало свои политические цели. Другая проблема — реальное значение тех лозунгов, которые готово поддерживать заметное большинство российских граждан. Предложения об увеличении оплаты труда, базовых пенсий и т.д., с которыми большинство населения просто не может не согласиться, никак не связаны с «левым» политическим курсом.

Российское общественное мнение вряд ли допускает использование критериев «лево-правого» политического спектра. Постоянно заметные в нем симпатии к «социально ориентированным реформам», усилению государственного контроля над распределением (ценами) и даже над СМИ, как и требования вернуть в государственную собственность (т.е. под контроль правящей бюрократии) недр, тру-

Таблица 2. «В какой мере Вы согласны со следующим высказыванием?»

(Июнь 2005 года, N=1000 человек, % от числа опрошенных)

	Согласен*	Не согласен**	Не знаю, затрудняюсь ответить
1 Минимальный уровень оплаты труда должен быть установлен на уровне не ниже прожиточного минимума	90	9	1
2 Размер базовой части пенсии по старости должен быть установлен на уровне не ниже прожиточного минимума	93	5	2
3 Закон о замене льгот денежными компенсациями должен быть заменен; законом должно быть установлено право гражданина на выбор между льготами и денежными компенсациями	79	10	11
4 Размер оплаты жилья и коммунальных услуг в сумме не должен превышать 10% совокупного дохода совместно проживающих членов семьи	92	4	4
5 Необходимо отменить положения нового Жилищного кодекса, ухудшающие условия реализации конституционного права на жилище	78	6	16
6 Государство должно восстановить дореформенные сбережения граждан	91	4	5
7 Необходимо обеспечить право на общедоступное и бесплатное дошкольное, среднее, профессиональное и высшее образование	97	2	1
8 Необходимо сохранить отсрочки от призыва на военную службу, действовавшие на 1 января 2005 года	74	12	14
9 Недра, леса, водные и другие природные ресурсы, электростанции, предприятия ВПК, железные дороги, высоковольтные ЛЭП и магистральные трубопроводы должны находиться исключительно в государственной собственности	91	5	4
10 Необходимо восстановить государственную собственность на землю, кроме подсобных хозяйств, приусадебных, дачных, садово-огородных и гаражных участков	83	10	7
11 Необходимо установить повышенный налог на личные доходы, превышающие 10-кратный прожиточный минимум	58	29	13
12 Необходимо принять законы, устанавливающие нормы ответственности, вплоть до отставки президента, правительства и губернаторов за снижение уровня жизни населения	87	5	8
13 Необходимо принять законы, предусматривающие право избирателей на отзыв депутатов, избираемых руководителей органов исполнительной власти всех уровней и президента	85	5	10
14 Руководители областей, краев и республик Российской Федерации должны избираться непосредственно гражданами этих субъектов Федерации	81	9	10
15 Не менее половины депутатов Государственной Думы должны избираться по одномандатным округам	61	38	1
16 Каждая политическая партия, представленная самостоятельной фракцией в Государственной Думе, должна иметь право на один час эфира в неделю для изложения своей позиции на одном из государственных телеканалов	69	14	17
17 Вопрос не может быть вынесен на референдум исключительно в случае, если он противоречит Конституции РФ	61	38	1
<p>* Сумма ответов «совершенно согласен» и «скорее согласен».</p> <p>** Сумма ответов «совершенно не согласен» и «скорее не согласен».</p>			

бопроводы, ЛЭП и пр., — признаки ностальгии по советскому псевдо-популистскому патернализму, а не «левого» уклона. Притом действующей преимущественно на декларативном уровне. Действительно же недостает людям с начала бурных 90-х и доныне серьезной, обоснованной, рассчитанной на перспективу социальной политики. Если эти симпатии и влияют на социально-экономические решения власти,

то скорее довольно мало и опосредствованно, через расчеты и амбиции окол властных групп влияния. Официальные инстанции (ЦИК в том числе) не допустили проведения предлагавшегося референдума не из-за своих «правых» склонностей, а просто не желая давать «левой» оппозиции козыри массовой поддержки, в какой-то мере еще и учитывая ограниченность подлежащих переделу бюджетных ресурсов. Никакие подарки и подачки населению, которые во все времена делают или обещают любые власти ради укрепления собственных позиций (образец сегодняшних предложений в этом духе — приемы В. Жириновского, швыряющего пачки денег в толпу), не связаны с каким-либо курсом или идеологией. А радикально-«левого» передела власти и собственности никто всерьез не предлагает, «левая» оппозиция опасается его не меньше власти. Это наводит на мысль о том, что перед нами не выбор «курса» и, тем более, не выбор «идеологии» или принципов, а — единственно существенный в наличных обстоятельствах — выбор *стиля* жизни и деятельности власти, населения, да и оппозиции, т.е. *стиля* общественно-политической жизни в стране. Для характеристики современной ситуации и вариантов ее преодоления этот термин представляется весьма важным, а потому заслуживающим особого внимания.

«Инерция стиля»: компоненты и последствия

Длящийся вариант российского исторического выбора (в принципе все еще завершающего «наш» затянувшийся XX век) недостаточно рассматривать на фрагментарном уровне как набор событий, акций, переживаний и т.д. Но и какой-то внутренней (да и декларативной) сверхзадачи, по постановке и реализации которой этот отрезок можно было бы оценивать, не просматривается. Главным «принципом» характерной для него политики и морали можно считать воинственную беспринципность, ориентированную на краткосрочный практический успех, даже на эффект (впечатление в глазах высшего начальства) в любой области и любой «ценой» достигаемый. Поэтому определяющим признаком этого времени и его фигурантов служит преимущественно, если не исключительно, *стиль* их деятельности. Под стилем в данном случае (применительно к политическому периоду, политической деятельности) можно понимать прежде всего характерные способы связи целевых установок и используемых для их реализации средств, критериев оценки тех и других. Наиболее очевидны в данной ситуации такие его компоненты, как сведение политики к технологии, управления — к манипуляциям. Отсюда и снижение уровня социальных, политических, региональных международных проблем до административно-технологического (включая обращения к «силовым» структурам и соответствующим приемам). Условием деятельности подобной «технологизированной» схемы оказывается предельное упрощение ее компонентов — фактическая отмена конституционного разделения властей (вертикального, горизонтального, функционального, независимости суда, массмедиа и т.д.), устранение нормативно-ценностного (морального, правового) социального контроля, подмена общезначимых норм текущими указаниями, приправленными известной долей личного произвола и пристрастий. Следствия известны — глубоко-

кий цинизм и всеохватывающая коррумпированность властных структур, разлагающие все общество⁷.

Все шаги в этом направлении ни в государственных структурах, ни в населении не встретили сколько-нибудь заметного сопротивления. Однако сейчас стали видны опасные — для власти и общества — ловушки сложившейся ситуации. Понижение уровня управления общественными процессами неизбежно приводит саму систему управления к деградации и внутренней нестабильности. В конце 90-х

«технологический» стиль, подкрепляемый имиджем нового лидера, выигрывал в общественном мнении в сопоставлении со сложившимся образом власти советского времени и переломных лет. Сейчас явно преобладают другие сопоставления: во-первых, ретроспектива достигнутаго за последние годы (уровень, глубина, устойчивость, соответствие ожиданиям), во-вторых, перспектива предстоящей смены президентского «караула». Как известно, сохранение высокого уровня одобрения деятельности президента опрошенные чаще всего объясняют не его успехами, а *безальтернативностью* его положения («больше не на кого надеяться»). Такое распределение суждений (в сопоставлении с преобладанием негативных оценок всех иных институтов и функционеров власти) обнаруживает аномальную конструкцию властной иерархии, в которой первое лицо государства обречено на отсутствие разделения ответственности, конкуренции, опоры и — что в последнее время все явственнее выступает на передний план — «нормальной» приемственности.

Получается, что носитель верховной власти, ближе всего за последние полвека подходящей к ее авторитарной модели, больше, чем любой из его предшественников за это время, скован собственным «технологическим» окружением. И навязанным собственным положением грузом заведомо неподъемных амбиций. Отсутствие средств идеологического или традиционного прикрытия вынуждает дополнять ориентацию на «технологическую» эффективность реанимацией — точнее, всего лишь *имитацией* — отработанных в совершенно иных условиях (в персоналиях — от Сталина до Брежнева) моделей державного величия, непогрешимости, показной самоуверенности и столь же показного могущества власти. С удаленной наблюдательной позиции политическая сцена представляется театром масок, где исполнители главных ролей выступают в облачениях действующих лиц прошлого времени (притом, конечно, мифологизированного). Правящая административная бюрократия (от центральной администрации донизу) старается играть роль бюрократии «идеологической» (цековской, партийной), министры — роли запуганных наркомов, прокурорские чиновники разных уровней — исполнительных энкавэдэшников, губернаторы — обкомовских секретарей, вотчинных «хозяев», президент федерации — всеильного генсека; никто из них не раскрывает свои исторические имена (за исключением одной спецслужбы, чиновники которой — должно быть, страха публичного ради — любят прикрываться масками чрезвычайок давних лет). *Инерция стиля*⁸ никому успехов не сулит и показывает, что собственного лица и стиля, которых можно было бы не стыдиться, очередное бесцветное время не приобрело. Как и давно искомой «динамической» стабильности, которая измеряется не экономическими показателями и не усидчивостью чиновни-

ков, а способностью к «плавной» смене исполнителей и поколенческих когорт в структурах власти без разрушающих потрясений и неожиданностей. За последние сто лет только два периода отечественной истории, «хрущевский» и «брежневский», отметились попытками — в обоих случаях неудачными — такую стабильность обеспечить. В существующей ситуации, при слабости институциональных механизмов, обещания соблюдать конституционные нормы укрепляют сомнения в их реальности (если и не в искренности). По всей вероятности, страну где-то около 2008 года (возможно, конечно, на пару лет раньше или позже) ждет очередной трудный политический перелом с неоднозначными последствиями — с первоначально политкорректными обещаниями «продолжать дело...» и последующими яростными отмежеваниями от предшественника. Можно предположить, что важнейшим предметом социально-политического выбора при смене верховного караула в ближней перспективе (нескольких лет) станет именно *стиль* правления. На публичную поверхность вынесены два крайних варианта такого выбора — «бонапартистский» и «рутинизирующий». Первый предполагает выдвижение внесистемного лидера, способного опираться на собственную харизму, возможно, дополнять массовую поддержку опорой на некоторую особую структуру (условно говоря, «лейб-гвардию»). Необходимыми условиями реализации такого варианта является острый, публично признанный кризис власти («наполеоны» и «наполеончики» приходят только на развалины) и воинственно-политическая мобилизация общества. Во втором варианте допускается «законопослушная» стабилизация социально-политических механизмов при минимизации возможностей для личного произвола и, соответственно, коррупции (в том числе политической) на различных уровнях. Как известно, поклонники «мобилизационного» выбора акцентируют реальные или надуманные угрозы и опасности, адепты «рутинизации» — экономические и внешнеполитические достижения последних лет. Те и другие имеют возможность использовать различные стороны существующей ситуации и современного общественного мнения.

Тем не менее трудно допустить, что какой-либо из крайних вариантов назревающего политического перехода может быть осуществлен полностью и сразу. Тем более что любой из них начинается не с проблемы смены действующих лиц, а с проблемы коррекции стиля при неизменной расстановке персоналий.

Несколько лет назад проблему общественного доверия мне пришлось рассматривать в основном в связи с ростом и падением показателей до-

верия к политическим деятелям (Б. Ельцину, А. Лебедю, Г. Явлинскому) в электоральной ситуации 1996 года¹.

Вновь интерес к проблеме возник, конечно, прежде всего в связи со стремлением объяснить динамику и перспективы отношения населения к президенту В. Путину. Другая сторона проблемы — доверие и недоверие населения к социальным институтам. Логика анализа приводит к вопросам о природе общественного доверия, о его функциях в современной социально-политической ситуации, а также

о факторах, которые воздействуют на соответствующие показатели. Одна из задач настоящей статьи — стимулировать интерес к более глубокому анализу проблем общественного доверия и, в частности, определить функции и пределы воздействия этого фактора в современном российском обществе.

Многозначность термина

Находящийся в обиходе термин «доверие» (trust/confidence) обозначает пучок неоднородных отношений и установок. Так, доверие к властным *институтам* предполагает делегирование полномочий, одобрение курса, лояльность, надежду на достижение каких-то позитивных изменений, готовность дожидаться этих изменений и т.д. Далеко не всегда о характере общественного доверия можно судить по соответствующим заявлениям опрошенных. Скажем, характер денежного обращения (в потребительском секторе) позволяет утверждать, что сейчас масса населения, как и предусмотрено законодательством, использует рубли в качестве средства для повседневных платежей. Однако в то же время, по данным многократных опросов, сберегать доходы люди чаще всего предпочитают в наличных долларах: «перспективное» доверие к валюте выше, чем к рублям или банковским счетам.

За показателем доверия к отдельным *деятелям* можно разглядеть такие различные феномены, как персонализация института (отождествление исполнителя с должностью; в нашей реальности это относится к должности и персоне президента), отношение к имиджу, признание заслуг, харизматические надежды, сопоставление с другими по принципу «меньшего зла» и пр. В минимальной мере присутствуют в подобных показателях реальные оценки реальных действий определенных политических фигур и должностных лиц. Тем более что подобные оценки зависят от типа и масштаба ожиданий в отношении этих лиц. Массовые ожидания, в свою очередь, определяются характером общественной системы, историческими обстоятельствами («норма» или «перелом»...).

1

Левада Ю. Факторы и фантомы общественного доверия // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996. № 5 [= Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1993–2000. М., 2000. С. 112–124].

Очевидно, что человек не может определять свое положение в какой-либо общественной системе только на основе индивидуального опыта и рационального расчета. Он неизбежно принимает «на веру», основываясь на традиции, чужом опыте, общем мнении и пр., «подлинность», надежность социальных норм и институтов, личных связей, установок «других», дальновидность лидеров и т.д.

Категория «доверие» обозначает самое общее, а потому и самое неопределенное, позитивное отношение человека к социальным феноменам разного рода. Различные виды и степени доверия как бы определяют собственные координаты человека в этом мире (в таком определении участвуют и отрицательные значения переменной, т.е. недоверие, сомнение, отрицание).

Сопоставление трудносопоставимого: Россия и США

Сравним данные опросов общественного мнения о доверии населения двух стран к социальным институтам (табл. 1). Сопоставление данных по разным странам неизбежно может быть лишь условным. Различия в уровнях доверия к президенту связаны с назревшим электоральным соперничеством в США перед ноябрем 2000 года. Нужно отметить, что в американском исследовании речь идет скорее об отношении к институту, должности президента — к Белому дому, — а не к определенному лицу. В нашей ситуации такое отделение функции от ее носителя малореально. Значительно более высокое доверие к парламенту (конгрессу) США, по сравнению с отношением к Государственной Думе, обусловлено длительными традициями «президентского» парламентаризма, большими полномочиями палат и др. Требуется особый анализ доверия к институту вооруженных сил. В России этот показатель уступает лишь доверию к церкви, а в США, где власть и население постоянно демонстрируют приверженность религии, армии доверяют заметно больше, чем церкви («организованной религии»). В обоих случаях, видимо, действует представление об армии как символе государственной мощи и влияния страны в мире. Особый интерес представляют различия в отношении к СМИ: в России преобладает доверие к массмедиа, в США — критические установки, недоверие.

Таблица 1. Уровень общественного доверия к институтам в России и в США

(Россия: март 2001 года, N=2409 человек; США: июнь 2000 года, N=752 человека;

% от числа опрошенных)

Социальный институт	Россия			США		
	Полное доверие	Неполное доверие	Отсутствие доверия	Полное доверие	Неполное доверие	Отсутствие доверия
Президент	52	31	8	31	33	33
Парламент	9	41	35	32	47	24
Армия	33	30	18	63	25	9
Церковь	41	21	12	47	27	21
СМИ	28	43	17	21	40	38

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Источники: Россия — опрос ВЦИОМа; США — Newsweek Poll.

Показатели доверия к основным социальным институтам регулярно отслеживаются в опросах ВЦИОМа (Левада-центра) и публикуются в журнале «Мониторинг общественного мнения» (с 2004 года — «Вестник общественного мнения»). В интересах наглядности представляется целесообразным использовать конструируемые на основе опросных данных *индексы доверия*. Строятся эти индексы таким же образом, как и индексы потребительских или социальных настроений: из числа определенно положительных оценок («полностью доверяю...») вычитается число негативных оценок (в процентах); чтобы избежать отрицательных величин, к полученному результату добавляется 100; половинчатые оценки («отчасти доверяю...») не учитываются.

Отметим некоторые черты динамики таких индексов (рис. 1). Наиболее заметные колебания испытывал индекс доверия к президенту в 1997–2000 годах: все более резкое падение доверия к президенту Б. Ельцину и взлет доверия к президенту В. Путину. Показатели доверия к правительству В. Черномырдина до 1998 года колебались в унисон с индексом доверия к президенту Б. Ельцину, пребывание во главе кабинета популярного в то время Е. Примакова подняло индекс доверия к правительству, следующий пик доверия к исполнительной власти связан с приходом В. Путина. Индекс доверия к парламенту изменялся, видимо, в связи с надеждами и разочарованиями в отношении каждого нового состава Думы. Подъем доверия к армии на переломе 1999–2000 годов, а затем снижение этого индекса отражает динамику общественных мнений о ходе нынешней чеченской кампании. Некоторый подъем доверия к органам госбезопасности в начале 2000 года обусловлен ростом интереса к этому институту после прихода к власти нового президента. Индексы доверия к церкви, к правоохранительным ведомствам (суд, милиция, прокуратура), а также и к СМИ значительных изменений за годы наблюдений не претерпели.

С помощью такого инструмента, как индексы доверия, можно наглядно представить особенности отношения различных групп населения к различным социальным институтам. Для примера ограничимся индексами доверия за три последних года к некоторым институтам в двух возрастных группах — до и после 40 лет (рис. 2).

Рисунок 1. Динамика индексов общественного доверия, 1994–2001

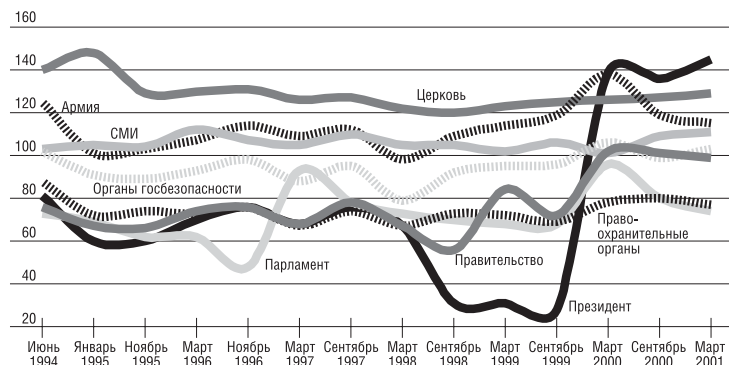
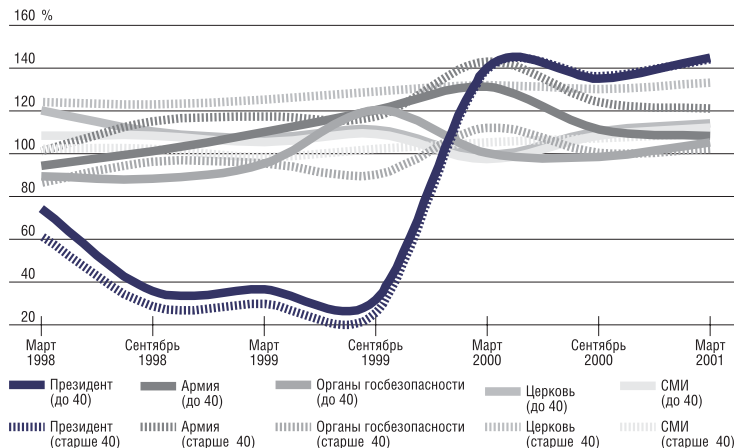


Рисунок 2. Динамика индексов общественного доверия по возрастным группам, 1998–2001



Таким образом, индекс доверия к президенту практически не зависит от возраста опрошенных. Только в период пика недоверия к Б. Ельцину в старших группах этот индекс был несколько ниже. Индекс доверия к церкви, разумеется, выше в старших возрастных группах. Но другие приведенные индексы (доверие к армии, органам госбезопасности, СМИ) имеют свои нетривиальные «возрастные» особенности.

Доверие к *армии* почти всегда выше у тех, кому за 40 лет. Единственное исключение — осень 1999 года, когда возрастные различия в этом индексе исчезли. Это, несомненно, эффект «героического» (штурмового) периода новой чеченской войны. Индекс доверия к службам госбезопасности, напротив, почти неизменно выше у более молодых (примечательные значения — у более молодых, и минимальные — у старших). Что же касается динамики индекса доверия к *СМИ*, то в младших группах он заметно колеблется, в старших — медленно возрастает.

Рассмотрим теперь более обстоятельно распределение показателей доверия и недоверия к некоторым социальным институтам в группах по возрасту, образованию и социальным ориентациям весной 2001 года (табл. 2).

Максимум доверия к *президенту* (при общем высоком его уровне) демонстрируют самые молодые и самые пожилые, менее образованные женщины, удовлетворенные своим положением, сторонники продолжения экономических реформ. Чаще всего высказывают недоверие президенту лица, имеющие высшее образование, а также недовольные своим положением и ходом реформ. Получается, что контингент доверяющих президенту — это прежде всего менее образованные, «простоватые» сторонники существующих институтов. У них значительно выше среднего все показатели доверия к армии, органам госбезопасности, церкви (!), СМИ и, соответственно, заметно ниже уровень недоверия к этим институтам. К соотношению различных показателей доверия к президенту придется вернуться позже.

Армии, как мы уже видели, больше доверяют пожилые, которым не угрожает военная служба и на которых сильнее действуют воспоминания о славном военном прошлом, а чаще не доверяют молодые, т.е. как раз лю-

ди призывного возраста. Другое существенное измерение доверия/недоверия к армейскому ведомству — уровень образования: более всего доверяют малообразованные, а не доверяют — лица с высшим образованием.

Таблица 2. Доверие и недоверие к институтам в марте 2001 года

(N=2400 человек, % от числа опрошенных в каждой социально-демографической группе)

Группа	Полное доверие					Недоверие				
	президенту	армии	органам госбезопасности	церкви	СМИ	президенту	армии	органам госбезопасности	церкви	СМИ
Всего	52	33	22	41	29	8	18	19	12	17
Возраст										
До 29 лет	54	29	26	37	35	6	25	17	13	16
30–49 лет	48	32	21	38	22	8	19	21	13	19
50 лет и старше	55	37	21	46	29	8	13	19	10	16
Образование										
Высшее	43	28	22	32	16	10	28	29	18	28
Среднее	52	30	22	38	27	7	20	19	13	18
Ниже среднего	56	39	23	48	34	7	12	15	8	12
Пол										
Мужчины	50	35	26	38	25	9	19	22	15	18
Женщины	54	32	20	43	31	7	17	17	9	17
Какое из приведенных выражений более всего соответствует сложившейся ситуации										
«...можно жить»	71	34	28	42	43	2	21	18	6	12
«...можно терпеть»	57	36	26	43	29	5	16	15	12	15
«терпеть... уже невозможно»	36	30	14	38	21	16	20	29	15	25
Рыночные реформы сейчас нужно продолжать, или их следует прекратить										
Нужно продолжать	62	37	28	44	34	7	20	19	11	16
Нужно прекратить	39	34	19	38	25	14	18	25	17	24
«Наибольшее доверие» к В. Путину*	88	43	33	47	38	0	12	11	7	12

* Указавшие В. Путина в числе 5–6 деятелей, вызывающих наибольшее доверие.

Иной характер, как можно заметить, имеет доверие к *органам госбезопасности*. Чаще всего его отмечают самые молодые, и это, скорее всего, связано с навязанной киномоевиками романтикой подвигам разведчиков и т.п., притом что в реальных условиях участвовать в подобных действиях мало кому приходилось. Уровень образования практически не отражается на доверии к спецслужбам, недоверие чаще всего высказывают высокообразованные.

Полное доверие к *СМИ* демонстрируют в первую очередь более молодые и менее образованные. Критическое отношение к этому институту сильнее проявляется у наиболее образованных и у людей старшего возраста (30–50 лет). Опыт и культура — как и во всем мире — способствуют более осмысленному, более критическому отношению людей к массмедиа. Согласно данным таблицы 1, в США они получают значительно более сдержанные оценки, чем в России. Мас-

совое уважение к *СМИ* (преимущественно, конечно, к телевидению) в российском обществе — признак его неразвитости. Отсюда и такие функции наших медиа, как претензия на идейное лидерство (ныне почти ушедшая) и сменившие ее ожидания массово-развлекательного характера².

История последних лет дает чрезвычайно интересную для разностороннего анализа серию взлетов и падений общественного доверия к политическим деятелям, стоявшим у власти или стремившимся к ней. (Поскольку, как отмечено в начале статьи, доверие правомерно трактовать как наиболее общее выражение одобрения с некоторой долей условности, постольку динамику данных относительно одобрения и доверия к отдельным лицам можно выстраивать в один ряд.)

Регулярные опросы ВЦИОМа 1989–1993 года типа «Факт» (объем выборки от 1200 до 2300 человек) позволяют представить динамику отношения к Б. Ельцину в первые годы его общероссийской политической карьеры. Индекс одобрения построен по той же методике, которая использована в индексе доверия («позитив» минус «негатив» плюс 100).

На этот период деятельности Б. Ельцина приходится два очевидных пика одобрения, связанных с его избранием председателем Верховного Совета РСФСР в 1990 году и действиями в период путча 1991 года (рис. 3). После этого преобладающими стали негативные оценки деятельности президента (рис. 4).

Оценки действий президента были преимущественно негативными, единственным исключением стали выборы 1996 года (голосование

Рисунок 3. Индекс одобрения деятельности Б. Ельцина, 1989–1993

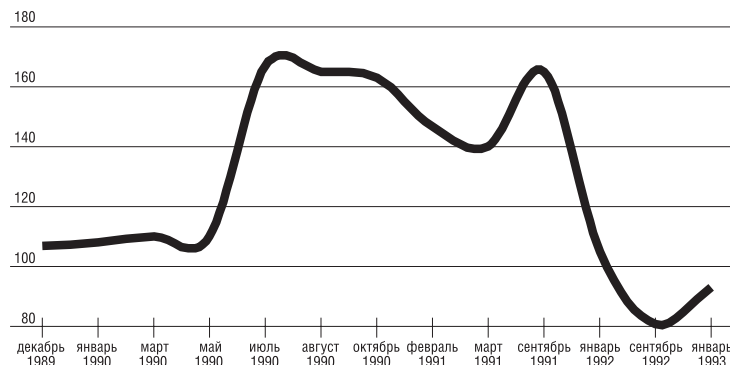
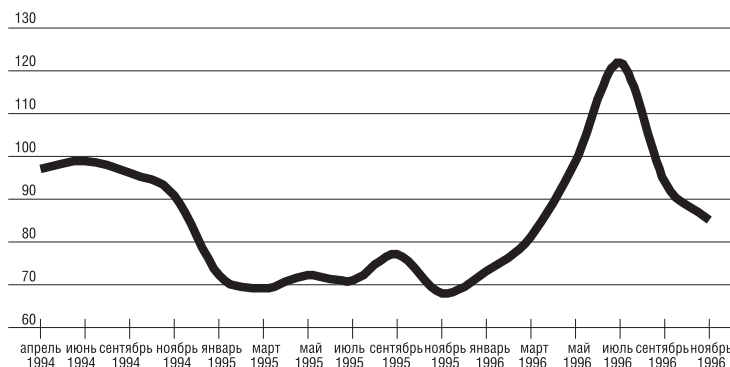


Рисунок 4. Индекс одобрения деятельности Б. Ельцина, 1994–1996



по принципу «лучший из худших»). Самый существенный предварительный вывод из наблюдений за динамикой одобрения/неодобрения: *в России пребывание политического деятеля у власти не связано с уровнем массового доверия или одобрения его деятельности*. К попытке объяснить этот феномен мы обратимся несколько позже.

Группа «наибольшего доверия» как показатель динамики оценок

На протяжении ряда лет в опросах ВЦИОМа разного типа («Мониторинг» и «Экспресс») респондентам предлагается назвать, без заранее подготовленного списка, 5–6 деятелей, вызывающих наибольшее доверие. Получаемые данные оказываются чувствительными индикаторами общественного доверия.

По исследованиям типа «Мониторинг», пиковые значения этого показателя у деятелей, выдвигавшихся в последние годы на политическую арену, хорошо прослеживаются на рисунке 5.

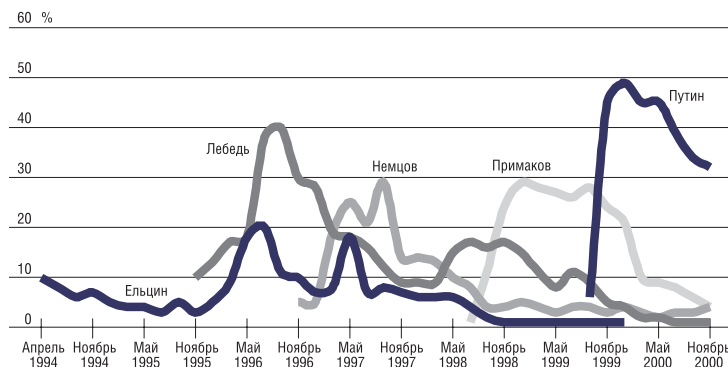
В принципе рисунок кривой подъема-спуска общественного доверия примерно одинаков во всех приведенных случаях.

Отмеченная ранее многозначность категории доверия делает необходимым сравнение эффективности различных методических средств ее анализа. Оказывается, например, что отнесение определенного деятеля к группе «наибольшего доверия» отнюдь не тождественно «полному доверию» к нему. Как видно из данных таблицы 2, из названных В. Путина деятелем, вызывающим «наибольшее доверие», полное доверие к нему испытывают 88%. А из указавших «полное доверие» к В. Путину в том же исследовании к числу вызывающих «наибольшее доверие» его отнесли 63%. По данным другого опроса, проведенного также в марте 2001 года (N=1600 человек), из тех, кто относит В. Путина к деятелям, вызывающим «наибольшее доверие», в целом одобряли его деятельность на посту президента 94%, полностью доверяли ему 20%, скорее доверяли 71%, не доверяли 6%.

Поэтому, как это бывает и с другими индикаторами состояния общественного мнения, различные показатели «доверия» целесообразнее использовать в динамических рядах или в разрезе социальных групп.

Рисунок 5. Политические деятели, вызывающие наибольшее доверие, 1994–2000

(N = 1600 человек, % от числа опрошенных)



Социальная структура «наибольшего доверия» к В. Путину

В качестве примера рассмотрим динамику «наибольшего доверия» к В. Путину в социально-демографических группах.

Таблица 3. «Наибольшее доверие» к В. Путину в группах по возрасту и образованию, 1999–2001

(N=2400 человек, % от числа опрошенных в каждой социально-демографической группе)

	1999				2000			2001			
	Сентябрь	Ноябрь	Январь	Март	Май	Июль	Сентябрь	Ноябрь	Январь	Март	Май
Средние значения	6	45	49	45	45	39	34	32	39	37	33
Возраст, лет											
До 20	*	31	49	43	38	46	32	38	40	50	35
20–29	*	44	46	54	43	39	35	29	33	31	32
30–39	*	45	48	58	43	29	31	28	31	34	28
40–49	*	47	48	59	39	38	29	31	35	38	25
50–59	*	49	49	56	50	42	31	32	37	36	41
60–69	*	50	55	59	43	41	38	38	55	35	41
70 и старше	*	38	53	48	59	42	39	31	48	45	45
Образование											
Высшее	*	38	44	63	45	34	35	30	36	33	37
Среднее	*	45	53	52	44	39	33	33	41	38	31
Ниже среднего	*	48	47	56	45	40	33	31	38	37	40

* Численно небольшие группы.

Общая тенденция, как можно предполагать, состоит в том, что доля опрошенных, которые назвали нынешнего президента в числе нескольких лиц, вызывающих наибольшее доверие, достигавшая почти половины от их общего числа, снижается примерно до одной трети. Из приведенных выше данных (см. рис. 5) видно, что такого уровня индикатор «наибольшего доверия» достигал и у других деятелей, правда, ненадолго. Особенность «линии Путина» в данном случае — исключительно быстрый «набор высоты» и устойчивое поддержание ее.

Разброс значений по выделенным группам в среднем за полтора года невелик. Чаще всего отмечают наибольшее доверие к президенту в самых младших и самых старших возрастах.

Функции и пределы общественного доверия

Главная проблема изучения каких бы то ни было индикаторов в конечном счете состоит в понимании функций изучаемого явления в определенной системе. Все показатели доверия к институтам и лицам, получаемые в массовых (да и любых иных) исследованиях, как уже отмечалось, обладают значительной мерой неопределенности. Жесткой связи между величиной и значением показателей не существует: при одном и том же уровне индикаторов доверия их значение («качество») может изменяться, скажем, преобладание компонентов надежды может смениться преобладанием привычной лояльности и т.п.

Привлекшее большое внимание в последнее время сопоставление двух процессов — катастрофического падения общественного доверия к Б. Ельцину и стремительного роста доверия к В. Путину — создало

у многих наблюдателей иллюзию чуть ли не решающего значения «рейтингов» доверия для судьбы политических лидеров. Отсюда и преувеличенный интерес к динамике отношения общественного мнения к личности и деятельности нынешнего президента, наблюдаемый, кстати, как среди его сторонников, так и среди критиков. Между тем, как показывает опыт, не существует жесткой связи между уровнем общественного доверия к определенному деятелю и его шансами приобрести или сохранить властные позиции.

Выделим два как бы крайних варианта «качества» общественного доверия в отношении политического лидера: доверие как лояльность (к существующему порядку) и доверие как надежда на изменение (для упрощения вектор перемен не рассматривается). Очевидно, что «застойное» терпеливо-безразличное доверие к таким деятелям, как Л. Брежнев, относится к первому типу, а доверие к М. Горбачеву, позже к «раннему» Б. Ельцину — ко второму. Причем, растратив ресурс доверия-надежды, Б. Ельцин не обрел доверия-лояльности. С этим связан и длительный кризис доверия к этому лидеру, который отражен в исследованиях общественного мнения (см. рис. 3 и 4).

Действующий президент, как известно, в том числе из многих исследований, получил массовое доверие как воплощение надежд на перемены (разного направления, но это другая проблема). Ресурс доверия такого типа заведомо ограничен даже при относительно благоприятной экономической конъюнктуре. В наличных сложных общественных условиях никакой лидер не может обеспечить себе путь «от победы к победе». Новому президенту и его команде это, по-видимому, стало ясно уже в начале 2000 года, буквально на следующий день после прихода к власти. С этим, видимо, связано стремление постоянно расширять сферу поисков успеха (реорганизация управления, «война» с олигархами и подобные начинания первого года президентства). Ограниченность возможностей использования такого ресурса доверия также не вызывает сомнений. Создается значительный разрыв между стабильно высоким уровнем общего доверия («одобрения в целом» или надежд на способность президента решать проблемы страны) и довольно скромными оценками реальных достижений в различных сферах. Попыткой преодолеть этот разрыв можно считать заметное в последние месяцы использование символических средств мобилизации общественного доверия (манифестации, изображения и т.д.). Идеал застойно-стабилизирующего — и тем максимально выгодного для политической элиты — доверия пока представляется труднодостижимым.

И наконец, о проблеме общественного доверия как ресурса власти. Доверие может служить таким ресурсом при ряде условий и оговорок. Любая власть использует — насколько может в своих интересах — доверие людей к институтам, деятелям, а также движениям, лозунгам и пр., но никогда не опирается исключительно на массовое доверие. В условиях конкурентной плюралистической системы барометр общественного доверия постоянно используется для соизмерения влияния соперничающих сил, шансов на переизбрание и пр. Ничего подобного в нашей истории после 1917 года не было. В постсоветской истории политический плюрализм играл преимущественно подсобную или просто декоративную роль, временами возникало острое политическое противостояние, но регулярной политической оппозиции как института не существовало. (Недавно опубликованные мемуарные сочинения пока-

зали еще раз, сколь мало значили для Б. Ельцина и его окружения оппозиционные силы и настроения, даже если бы они отражали мнения большинства³.) Поэтому долгие годы (по крайней мере в 1993–1999 годах) могла действовать президентская власть, утратившая общественное доверие, и в то же время на политической сцене могли выступать политики, пользующиеся значительным массовым доверием, но не имевшие шансов на вхождение во власть. При всех различиях в стиле поведения и личном имидже В. Путин пришел к власти прежде всего не как соперник, а как легитимный преемник Б. Ельцина. (С известным правом можно проецировать такое соображение на прошлое: Б. Ельцин был преемником М. Горбачева, который, в свою очередь, наследовал власть от предшествующих партийно-государственных лидеров.) В новых условиях конкурентная политическая среда обесценилась еще больше и превратилась в предмет «технологических» манипуляций. Отсюда и возможность поддерживать атмосферу «общего» доверия к первому лицу власти и сохранять на символически высоком уровне соответствующие рейтинги, на которых почти не сказываются реальные неудачи и просчеты правящей команды. В этой ситуации болезненно трепетное отношение к рейтингам со стороны носителей высшей власти можно, видимо, считать признаком их неуверенности в перспективе, преобладающего внимания к внутриаппаратной (не публичной) конкуренции. В контексте настоящей статьи это дает содержательный материал для анализа способов действия и использования общественного доверия.

Названная тема довольно сложна и многообразна, в данном случае представляется возможным лишь наметить определенные контуры для ее обсуждения и дальнейшей разработки.

Как известно, в изучении общественного мнения наибольшие трудности — но и наибольший интерес — вызывает интерпретация получаемых в ходе опросов данных. В массивах показателей с трудом различимы непосредственные эмоции, отголоски стереотипов массмедиа, привычные словесные формулы, демонстративные структуры и т.д. От возможностей анализа этого разнообразного «материала» зависит понимание устойчивости, трансформаций, направленности феноменов общественного мнения и той социальной реальности, с которой они связаны.

Общественное мнение непосредственно оперирует не «вещами» и явлениями социальной жизни, а представляющими их знаками или символами. (В семиотических исследованиях символ обычно трактуется как «знак знака», вторичная, более обобщенная и специализированная знаковая структура.) Для того чтобы подойти к рассмотрению символических структур, специфичных для общественного мнения, придется затронуть некоторые проблемы функционирования таких структур в общественных системах, в социальном действии.

Символом может служить объект (предмет, действие, явление, текст, изображение и пр.), если и поскольку он обозначает (замещает, представляет) для какой-то системы социальной коммуникации — в интересующем нас случае для общественного мнения — какой-то другой объект, явление и т.д. Современные антропологи, отчасти корректируя известную формулу Б. Франклина (toolmaking animal), утверждают, что человек по самой природе своей — это symbolmaking animal, т.е. животное, не только «производящее орудия труда», но и «производящее символы», умеющее их использовать. Люди не могут жить ни в одной системе социального общения (коммуникативной системе), не используя принятых в данном обществе, группе, социальной среде символических «указателей» допустимого и запретного, своего и чужого и пр. Для собственных, личных, семейных надобностей человек может создавать и свои символы (или придавать значения символов каким-то действиям, предметам), действующие в соответствующих пределах.

Трудно назвать человеческое действие, которое (помимо утилитарного значения) не имело бы символического значения, не обозначало бы уровень социальных притязаний, не служило бы демонстрацией статуса и пр. Это относится даже к действиям в таких «естественных» ситуациях, как принятие пищи, ношение одежды, жилище, обращение с детьми, работа, общение и т.д. Существует обширный набор действий, которые имеют преимущественно или исключительно символическое значение (например, бытовой этикет или официальный протокол; в таких действиях важно соблюдение опреде-

ленной процедуры). Проблема перехода от «содержательного» символа к «пустому» интересна для понимания процессов символических трансформаций, о которых речь пойдет позже.

В человеческом обществе ни один предмет, ни одно действие, в том числе эмоциональное, словесное, не существует вне целого набора своих значений. Символ можно, видимо, представить как значение, утратившее связь со своим предметом, «оторвавшееся» от него. Символы могут быть «материальными» (вещь, предмет), понятийными, словесными, изобразительными, звуковыми.

Ранее приходилось писать о том, что общественное мнение конструируется из стереотипов и комплексов¹. Говоря о символах, мы как бы рассматриваем эти явления с другой стороны — со стороны их значений. В символических структурах можно усматривать краткое («архивированное» или упрощенное) представление какой-то сложной знаковой структуры, текста. Но символ может представлять и отдельные элементы сложной структуры — ключевые слова, лозунги, иногда выраженные в изображениях, жестах, мелодиях. Символы упрощают реальность, избавляют человека от необходимости самостоятельно в ней разбираться, поэтому служат инструментами «автоматизации» социальных действий. Только с их помощью можно «включить» сложные цепи межчеловеческих взаимодействий, которые не способны переработать никакое индивидуальное сознание. Огромное большинство повседневных и массовых акций «запускается» с помощью триггерных символических структур.

Работая с материалами общественного мнения, приходилось отмечать, что глубина или объем памяти этой коммуникативной структуры весьма ограничены. В ней не может уместиться ни одна теория, идеологическая или религиозная система, поэтому общественное мнение оперирует приметными символами таких систем. Подобная роль символов иногда вырабатывается долгим историческим опытом, иногда приписывается им искусственно. Так, во время прошлых (1995 года) думских выборов в избирательных бюллетенях название каждой партии сопровождалось специальным значком (явное заимствование из политической практики малограмотных стран), — если это для кого-то и имело смысл в ходе голосования, то забылось на следующий день.

Символы можно в некотором приближении сравнить с видимой вершиной айсберга (или с буйком, обозначающим какой-то подводный предмет). С помощью такого сравнения проще уяснить, что непосредственной связи (в том числе и причинно-следственной) между отдельными символами не существует. Этим, кстати, объясняются многие видимые парадоксы общественного мнения. Необъяснимые переходы от доверия к недоверию или наоборот, поддержка политики, которая недавно отвергалась, и тому подобные пертурбации в наблюдаемых данных могут быть показателями изменений, которые коренятся на других уровнях.

Символическое действие. Символ и ритуал

Символическую природу имеют социальные действия самого разного вида, если и поскольку их смысл состоит в том, чтобы обозначать, указывать, представлять какое-то иное действие, отношение и т.п. Это зна-

1
Левада Ю. Комплексы общественного мнения // Мониторинг общественного мнения. 1996. № 6; 1997. № 1 [= Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1993–2000. М., 2000. С. 216–249].

чит, что в качестве символов может выступать не только любой «предмет», но, в принципе, и любая акция. Тем самым последняя не лишается своего утилитарного (или экспрессивного) значения. В производстве, в семейной, политической, культурной и прочей жизни человек не только добивается определенных «материальных» результатов, но утверждает себя в отношениях с другими, обозначает свой статус, свою приверженность одним символическим структурам и отмежевывает от других. Опять-таки практика работы с данными опросов показывает, как трудно бывает отличить, насколько, допустим, намерение голосовать в пользу определенного кандидата означает поддержку линии данного конкретного деятеля или символизирует приверженность электората к привычным лозунгам, именам, отвержение других и пр.

«Чисто» символическое действие, лишенное иных (утилитарных, экспрессивных) значений, именуется обычно ритуальным или церемониальным. Эти термины не вполне идентичны. За ритуалами исторически стоят обряды, т.е. действия, принадлежащие определенному культу, обращенные к сакральным ценностям. В современных условиях ритуалы часто носят сугубо светский, «гражданский», «официальный» и прочий характер и лишь элементами своих процедур напоминают о своем сакральном происхождении (ритуалы, знаменующие рождение, смерть, память, статусные перемены). Церемониал же, скорее всего, сакрального происхождения не имеет, а искусственно создается для обозначения каких-то явлений, которым придается важное значение в государственных структурах (приемы, приветствия, парады и т.д.) или в специализированных группах (военных, молодежных). Та же электоральная процедура может рассматриваться как церемониальная; по-видимому, для значительной части наших граждан со времен советских безальтернативных выборов она и является таковой, т.е. набором привычных действий, создающих ощущение причастности к общественной жизни.

Особый тип символов, в том числе и символических действий, традиционно представлен в различных сферах искусства — изобразительного, драматического, музыкального. Символы выступают там элементами специфического, игрового действия, отгороженного (по крайней мере, символически) от «реальной» жизни. В современной, условно говоря, постмодернистской реальности символические границы нередко оказываются размытыми; в результате на политической сцене широко используются театральные приемы, вплоть до фарса и клоунады, — их примеры хорошо известны по практике нашей Госдумы. Параллельно пассивное соучастие в политических акциях приобретает черты, характерные для зрительского соучастия («зрительской игры») в современных эстрадных или спортивных акциях. (И, конечно, интригующее многих зрелище «реальной жизни» за стеклянными барьерами в нашумевшем телешоу — своего рода спектакль для зрителей, а также для участников.)

Стоит заметить, что характеристика символического действия как «игрового» отнюдь не лишает его серьезности, значения, которое может быть и трагическим; речь идет только об определенной конструкции, структуре действия, способах его восприятия. И точно так же отнесение какого-либо действия к «чисто символическому» не лишает его социального значения. Но означает такое действие не то, что записано на его «вывеске», а что-то иное. Так, «чисто» церемониальное приветствие означает соблюдение некой нормы отношений, приличия, протокола; обычно демонстративное значение имеет несоблюдение такой нормы.

Между различными школами социальной антропологии давно идет дискуссия относительно исторической первичности «идеологического» (миф) или «ритуального» (обрядовое действие) в древнейших культах. Согласно одним исследователям, ритуал — это как бы театрализованный миф, согласно другим, миф — своего рода развернутое описание ритуальных процедур и отношений. В трактовке Э. Дюркгейма и его школы именно ритуальное действие, сакрализующее отношение человека к обществу как высшей реальности, служит основой социальных связей. Причем священные ритуалы культов в современном обществе заменяются светскими, политическими.

Наиболее существенным для изучения символических действий является социальное значение священных и светских ритуалов.

Для русского православия издавна было характерно «обрядовение», т.е. установка на обрядовую сторону культа как основу его массового воздействия, при относительном невнимании к идейной (богословской, теоретической) стороне веры. Защитники официального православия ссылались на византийскую традицию, в которой обрядам, убранству и самой архитектуре храмов придавалось решающее значение для сохранения устоев религиозности. Эти давние споры позволяют проиллюстрировать вполне современную и вполне социологическую (равно как и социально-психологическую) проблему коллективного ритуального воздействия на человека. Многочисленные исследования показывают, сколь большое влияние на отдельного человека может оказывать непосредственно контактная, «малая» (коллективно-психологическая) группа особенно в ситуации массового направленного возбуждения, как это обычно бывает в традиционных ритуалах. Именно этот прием, с большим или меньшим эффектом, воспроизводят и светские, политические, групповые ритуалы.

Имеются основания полагать, что традицию «обрядовения» восприняли — и довольно эффективно использовали — большевики после утверждения своего господства и особенно после преодоления собственного утопизма. Чем меньшую роль в политике играли идейные установки правящей верхушки (по сравнению с прагматическими ориентациями на державное величие), тем большее значение придавалось символической и обрядовой стороне властвования. Коллективные акции всевозможных «массовок», демонстраций, собраний и съездов разных уровней превращались в символические церемонии. Примечательно, что партийно-политические ритуалы действовали не в мифологической (или идеологической) системе, а в реальной системе власти, господства, подкрепляемой карательными мерами. Важнейшую роль в системе политического ритуализма играл, разумеется, культ непогрешимого вождя (в периоды угасания системы подмененный культом памяти бывшего лидера или апелляцией к «мудрой партии»).

Возможно, нуждается в пояснении такое понятие, как социальный или социально-политический миф. В обиходном (светском, конечно) и публицистическом словоупотреблении — кстати, с «подачи» примитивного богоборчества — мифом именуется всякое ложное утверждение, неверная информация, несостоятельная гипотеза или теория и т.п. Никакого отношения к пониманию или преодолению социальной мифологии такие определения не имеют. Социальные мифы — это тео-

ретические (идеологические, «утопические» в терминологии К. Ман-хейма) конструкции, воспроизводящие на светском и современном материале структуру и некоторые функции первоначальных, культовых образцов. Дело не в том, имеются или нет в социальном мифе какие-то «правильные» или «неправильные» компоненты, а в том, какую конструкцию они образуют и как используются. Образцы таких мифологических конструкций (или типов) немногочисленны, все они давно описаны антропологами — это мифы о сотворении, грехопадении, спасении, испускательной жертве, равенстве и неравенстве, об избранных народах, о героях и подвижниках и пр. В любых вариантах светской мифологии эти древние образцы воспроизводятся на современном материале, следы такой модернизации обнаруживаются в различных идеологиях — от либеральных до социалистических и националистических. И в любых вариантах социальная мифология — возможно, и независимо от воли своих сторонников — превращается в предмет веры, в символическую структуру, которую можно принимать или отвергать, но которая не подлежит рациональному суду. Исследование мифологии или идеологии возможно только извне, с позиций объективной науки.

Символические конструкции как «материал» общественного мнения

На том уровне коммуникативных систем общества, который выявляется в массовых опросах (иногда он именуется «массовым сознанием», «обыденным сознанием»), исследователи имеют дело скорее с «массовыми» (массово-значимыми) символами оценок, переживаний, установок, чем непосредственно с самими этими явлениями. Причем с символами, так сказать, стандартизованными, соответствующими действующим эталонам-стереотипам. На массовое восприятие действуют раздражающие, тревожащие, восторгающие и прочие *символы* событий, а не сами эти события (причислим к ним и события идейного плана). Сложные идеологические конструкции действуют на общественное мнение только через свои символические выражения — лозунги, лица, обозначения и т.п. Современная технологическая политическая пропаганда («PR»), в отличие от своих предшественников начала и середины XX века, стремившихся «нести в массы» свои программы и концепции, умеет достаточно цинично использовать это обстоятельство. И не только не смущается вульгарностью массового восприятия любого идеологического материала, но именно на такое восприятие и ориентируется.

Иногда, впрочем, в роли символических «раздражителей» оказываются символы иного порядка, как бы «вторые производные» от символических феноменов — например, в недавней ситуации массового осуждения государственной символики России.

Предельная простота символических структур (разумеется, не имеющая никакого отношения к туманной многозначности эстетических феноменов эпохи символизма), воспринимаемых и воспроизводимых в общественном мнении, — одно из условий их феноменальной стабильности. Как известно из исследовательской практики, общественное мнение, по крайней мере в конкретных вопросах, в элементарно-символическом представлении, в основном работает по принципу простейшей контактной схемы «да — нет» (одобрение-осуждение и т.п.), средние варианты ответов чаще всего означают уклонение от

выбора. Только при сопоставлении ряда ответов, особенно в некоторой динамике, становится заметна более основательная неуверенность общественного мнения (принцип «да, но... — нет, но...»).

С этой элементарностью символического представления, как можно полагать, связана и «непротиворечивость» общественного мнения, т.е. наличие в нем взаимоисключающих суждений, не вступающих в противоречие друг с другом.

Функции символических структур

В принципе символические образования действуют во всех сферах человеческой жизни и поэтому могут представлять самые разнообразные ее компоненты — но в упрощенном, «архивированном» виде.

Первейшей из функций символов, вероятно, можно считать обозначение принадлежности в смысле разделения «своих» и «чужих». Далее стоит отметить функцию определения статуса в социальной иерархии (высшие — низшие), профессиональной группе, ориентиров (целей, рамок, норм) деятельности, авторитетов (моральных, должностных, сакральных).

Символами принадлежности прежде всего являются категории (или понятийный аппарат), обозначающие восприятие человеком социальной реальности как разделенной на «свое» и «чужое», «наше» и «не-наше» и т.д. Социальные «наполнители» такого фундаментального разделения могут быть семейными, клановыми, классовыми, государственными, конфессиональными и пр. (одна из модных сегодня тем — «цивилизационные» барьеры). Характером разделительных линий определяются и рамки идентификации с одной «половиной» и отчуждения от другой. А затем (логически, не исторически) выступают на сцену традиционные или специально сконструированные символические «значки» принадлежности — термины, слоганы, эмблемы, официальные или конспиративные. Конечно, первоначальные разграничения — чем бы они ни были вызваны — обозначались лишь такими примитивными и фундаментальнейшими барьерами, как табу, развернутые обоснования появились значительно позднее.

Категории и «значки» принадлежности, как известно, проходят проверку в катастрофических обстоятельствах. Критическая ситуация, возникшая после чудовищных актов террора 11 сентября 2001 года в США, ставит (точнее, обостряет) заново чуть ли не все основные проблемы сближений и разграничений, или конвергенций и дивергенций, в мировом масштабе. На экранной поверхности последних месяцев — противостояние символов: звездно-полосатого американского флага на улицах США, на лацканах пиджаков, и портретов Усамы бен Ладена на бурных мусульманских митингах. Основные проблемы возникают, конечно, на иных уровнях, главная из них — какого типа разграничения обозначены в таком противостоянии. Пока не предложено убедительных объяснений происходящему, их роль исполняют отсылки к понятийным символам («заговоров» против современной цивилизации, «столкновения» непримиримых цивилизаций, «просто» преступных «заговоров» и пр., впрочем, предложенный набор не слишком велик).

По-видимому, значение символических средств принадлежности особенно велико, когда сама принадлежность к определенной общнос-

тия является проблемой. В какой-то мере этим объясняется большая — и довольно успешная — роль символов в утверждении национального единства разнородного американского общества. Попытки же символического закрепления советской общности (например, с помощью таких понятийных форм, как «мы советские люди», а также значков, флажков, портретов) в конечном счете оказались безуспешными. Должно быть, в одном случае происходили процессы сближения социальных и этнических групп (вынужденные, трудные и противоречивые), в другом — процессы разъединения и взаимного отчуждения (под общим «колпаком» принудительной однородности). К этому добавляется другой, сугубо исторический фактор — характерная для американцев, молодой нации, привычка «играть» в собственную историю с помощью символизированных фигур, событий, флагов и пр.

Исключительное значение символов принадлежности присуще обычно специализированным, искусственно сконструированным социальным общностям — военным и т.п., которым подражают молодежные группировки. Современная всеобщая мода на камуфляж как символ «окопной» суровости пришла — через несколько этапов — на смену блеску эполет и звону шпор и играет в принципе такую же роль.

Другая ось символизации социальных явлений — *временная*. Подобно тому как индивидуальная человеческая память размечает собственную жизнь знаменательными событиями, социальная память — как официальная, так и неофициальная, массовая — выделяет в истории моменты чрезвычайной важности или приписывает им такое значение. Чаще всего это «первоначальные» события («начало» истории страны, народа, государства, политического строя) и связанные с ними судьбоносные победы или поражения, героические подвиги и т.д. Реальность или фантастичность событий и персонажей исторической мифологии не имеет значения.

В российской исторической мифологии роль первоначальных символов играли легенды о призвании варягов, об Иване Сусанине, в советской — о «штурме» Зимнего дворца и пр. Зарубежные аналоги таких первоначальных событий — от легенды о Ромуле и Реме до символизированных событий 4 июля в США, 14-го — во Франции и т.д. В современной же России начало исторических координат отсутствует. Не признавая старых, царских, советских, «первоначальных» символов, страна не получила никаких новых (маловероятно, что таковым станут считать инаугурацию очередного президента). Примечательно, что в августе 2001 года из всех государств бывшего Союза только в России никак официально не отмечалось десятилетие событий 1991 года. Бесславный провал переворота ГКЧП, означавший конец партийно-советской системы, не стал ни государственным, ни народным праздником. По данным опроса (июль 2001 года), 45% россиян видят в этом событии просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны, еще 25% — трагическое событие, и только 10% — победу демократической революции... Между тем отсутствие признанного «начала» — тоже важный символ, означающий неопределенность, неустойчивость, неясность перспектив нынешнего режима.

Еще одна ось символического самоопределения общества — *пространственная*, имеющая особенное значение для российского существования и самосознания во все времена. Отечественная мифология «бескрайних» просторов и «неисчерпаемых» природных богатств по-

стоянно выступала естественным символом величия страны и закреплена в бесчисленных текстах — от официозных до иронических («страна у нас большая, порядку только нет», «от моря до моря, от края до края...», «широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек» и т.п., до последнего произведения С. Михалкова включительно). Символика богатств, не требующих усилий для своего создания, очевидно внесла свою лепту в оправдание экстенсивной экономики, живущей за счет естественных ресурсов и неспособной освоить обширные территории на Востоке и Севере. Но пространственный фактор в отечественной истории и мифологии имеет, как известно, и другое измерение — геополитическое или межцивилизационное. Превращение этого исторического обстоятельства в символ «предназначения» России — превращение, которым занимаются многие отечественные и зарубежные теоретики (и которое в общественном мнении и политических дебатах выражается в представлении об «особом пути» страны), означает всего лишь стремление оправдать собственную отсталость и пассивность.

Символизация и ее уровни

Сравним три формулы обиходного словоупотребления: (1) некоторое явление (событие, произведение, действие) «стало символом», (2) какое-то явление осталось «только символом», (3) что-то «перестало быть символом». В первом случае имеется в виду повышение значения частного, локального явления до уровня общезначимого, важного. Такую трансформацию можно считать символизацией. Во втором случае явление, обозначенное символом, утрачивает свое «реальное» (внесимволическое) содержание, происходит как бы опустошение символа. Но если символ утрачивает «предметное» значение, он не обязательно лишается всякого смысла и может стать архивным объектом, предметом исторической памяти, эстетического восприятия, культуры и пр. (как, например, изображения богов и героев давних времен). В третьем случае явление, предмет лишаются символического значения, сохранив утилитарное. Так, символами индустриального развития когда-то считались трактор, автомобиль, самолет, символом престижа — собственный автомобиль и т.п. Сейчас это скорее символы того времени, когда подобные предметы считались символами.

Подобные «дефинитивные» проблемы нередко, особенно в эпохи незавершенных переходов, приобретают весьма актуальное, даже эмоционально насыщенное значение. Пример — напряженная полемика последних лет о символах и памятниках советского периода (причем преимущественно о восстановлении таковых на прежних местах).

К символическим трансформациям можно отнести также *сакрализацию* и *десакрализацию* символов. Значение священных или сакральных в социальной, политической, культурной сферах (т.е. в мире светских, нерелигиозных отношений) приобретают символы исключительной важности, неприкасаемые, далеко вынесенные за пределы каких бы то ни было сомнений и критики. Идеологизированный — по крайней мере, в своих собственных определениях — советский строй всегда нуждался в сакрализованных идеологических авторитетах (к которым кроме признанных классическими авторитетов причисляли политически одобряемых писателей, исторических персонажей и др.).

Сомнения в непогрешимости персонажей из такого списка не допускались, — если, впрочем, сомневаться не считала нужным сама высшая власть — главный реальный носитель непогрешимого авторитета в обществе. А потому после падения этого последнего возникла ситуация, когда рациональная критика бывших сакральных символов оказалась допустимой, но как будто утратившей смысл. Памятники оказалось проще сломать, чем переоценить, превратив их из священных символов в исторические. И точно так же священные еще вчера имена, события, произведения было проще осмеять и забыть, чем переоценить, превратить в предмет изучения их содержание и влияние. Результат оказался ненадежным или даже двусмысленным. Изгнанные со священного пьедестала авторитеты сохранили свое влияние (по крайней мере, символическое) на значительную часть населения. Так, по опросным данным, большинство российских граждан после десяти лет шумной борьбы с символами прошлого позитивно оценивает деятельность В. Ленина и Октябрьскую революцию 1917 года.

Правда, положительные оценки бывших авторитетов не означают возвращения их сакрально-символического значения. Не имеют шансов приобрести его и нынешние политические деятели, даже при высоком уровне общественного доверия. Изменились, по всей видимости, необратимо, сами возможности сакрализации социального пространства. Между прочим, это связано с видимым возрождением церковности. В свое время советские власти вели яростную борьбу с церковью как носителем конкурентного сакрального авторитета, стремясь утвердить собственную монополию на высшие ценности. Происходившее с конца 80-х признание церкви государством фактически означало отказ государства от претензий на такую монополию, а тем самым и от притязаний на сакральность своих устоев.

После падения священных символов и авторитетов советской эпохи, а вместе с ними и мифологии «трудовых подвигов», после десакрализации революционного переворота 1917 года и т.д., единственным средоточием сакральных символов и мифов оказалась Великая Отечественная война. Песенная формула «священная война», появившаяся в первые дни боев, приобрела затем вполне серьезный, отнюдь не метафорический смысл. И в сталинские, и в брежневские годы не допускались

малейшие сомнения в правильности предвоенной политики, в официальных данных о потерях, в мифах о героях и подвигах (сочиненных или раздутых пропагандой) и т.д. Сейчас официальных запретов на такие темы нет, но существует сильнейшее «табу» общественного мнения, не желающего расставаться с последним символом исторического величия².

2

См.: Гудков Л.Д. Победа в войне: к социологии одного национального символа // Мониторинг общественного мнения. 1997. № 6 [= Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. М., 2004. С. 20–58].

Война за символы и «символические войны»

Символические моменты всегда играли заметную роль в конфликтах и войнах различного масштаба. Иногда они исполняли роль триггерного (спускового) механизма, как, например, выстрел Гаврилы Принципа перед Первой мировой, иногда давали символическое прикрытие или даже являлись оправданием конфликта (войны «за престиж» — англо-аргентинская за Фолклендские острова или советско-китайская за ост-

ров Даманский), предлагали средства психологической мобилизации (например, с помощью стандартного лозунга Первой мировой «За Бога, царя и отечество!», превращенного в следующей войне в «За Родину, за Сталина!»).

Значительную роль в самых реальных и самых тяжелых военных действиях могла иметь ориентация на символически важные объекты (как в защите, так и в ударе). Например, ожесточенная оборона Сталинграда, несомненно, была связана с названием города, а такие акции последних дней войны, как «штурм Берлина» или «штурм рейхстага», получали, помимо военного и политического, еще и символический смысл удара по «логову врага», как тогда говорили.

Кстати, все пароксизмы «идеологической борьбы», которыми исполнена история советской системы (и близких к ней структур в Китае и др.), были не теоретическими спорами, а жестокой, нередко смертельной схваткой вокруг «одобряемых» и «отвергаемых» символов господства.

Наконец, очевидно, что символическое значение имел удар террористов-камикадзе по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, символу престижа страны и мирового рынка. Возможно, организаторы этой акции полагали, что удары по экономическим или военным объектам были бы не столь болезненными для американского общества и мирового цивилизованного сообщества в целом.

Символические переходы: некоторые примеры

Позволительно сопоставить некоторые символические переходы, совершенно различные по масштабу и значению, но сходные по механизму осуществления.

Сейчас мало кто помнит, что где-то в конце 20-х, в разгар очередной антицерковной кампании, советскими властями была официально запрещена, как «кулацкий праздник», новогодняя елка. Но спустя несколько лет, в 1936 году, в Политбюро решили запрет отменить и традиционный праздник советизировать, нагрузив его соответствующей символикой (звезды, эмблемы и пр.). Праздник немедленно стал всеобщим (и, как известно по опросам, и сейчас остается самым распространенным). Произошло что-то вроде «воскрешения» «похороненного», но не утратившего привлекательности символа — правда, вполне десакрализованного, лишенного связи с Рождеством.

Нечто подобное имело место в конце 50-х, когда, после долгой официальной опалы, ради укрепления семьи власти (с «комсомольской» подачи) принялись поощрять ношение обручальных колец. Давний обычай за короткий срок получил широчайшее, практически всеобщее распространение. Однако, как свидетельствует динамика числа разводов, укрепления института брака не произошло. Символический акт ношения колец отчасти имеет ограниченное личностно-нравственное значение, но не более того.

Самый заметный и самый дискуссионный за последнее время пример символической трансформации связан с видимым возрождением религиозной жизни и церкви. К православию в конце 2000 года причисляли себя около половины опрошенных, к неверующим — 35%; дан-

ные о других конфессиях статистически непредставительны. (В 1991 году, когда восстановление церквей и церковности уже началось, соотношение этих групп было почти зеркально противоположным: 32% православных и 61% неверующих.) Вопрос в том, что реально означает в настоящее время декларация о конфессиональной принадлежности. Согласно одному из опросов 2000 года, из числа считающих себя православными только 42% утверждали, что твердо верят в существование Бога, 31% — что иногда ощущают такую веру, 18% — что верят не в Бога, а в некую высшую силу, 3% заявили, что не верят в Бога, еще 3% не знают, существует ли он. В то же время из числа считающих себя неверующими только 41% утверждают, что не верят в Бога, 16% не знают, существует ли он, 19% верят в высшую силу, 17% иногда, а 3% постоянно веруют в Бога. Грани между верой и неверием, как видим, сильно размыты, доля верующих в населении составляет около одной трети. Если же попытаться проверить по опросным данным состояние «обрядового доверия», оказывается, что из относящих себя к православным регулярно (раз в неделю) посещают церковь 3%, раз в месяц — 6%. Массового «обрядового доверия» как будто не заметно. Наконец, в 1995 году лишь 1% опрошенных, а в 2000-м — около 3% (из православных — 5%) полагают, что православие может быть идеей, которая сплотит общество.

Складывается предположение о том, что наблюдаемое оживление религиозной жизни и заметный рост «воцерковления» граждан России в значительной мере является символическим феноменом. Как отмече-

но выше, само по себе обращение к символам веры и церкви имеет свое немаловажное социальное и социально-психологическое значение. Но вряд ли свидетельствует о реальном религиозном возрождении³.

3

См.: Дубин Б. Религиозная вера в России 90-х годов // Мониторинг общественного мнения. 1999. № 1.

Три этапа советской символики

В символике советского периода представляет интерес смена наборов специально заявленных, демонстративных символов (изображений, ритмов, стилей и пр.) с переходом от революционно-мировых претензий к изоляционистским и державным. Но еще более важна фактическая, не всегда демонстрируемая переоценка или переосмысление «понятийных» символов времени. Так, термин «диктатура пролетариата» несколько десятилетий служил, с одной стороны, политическим символом традиционно-идеологической приверженности власти, а с другой стороны — псевдонимом партноменклатурного господства (второе, конечно, было неизмеримо более важным). Аналогичные роли играли такие термины-символы, как «советская демократия», «поджигатели войны», «преимущества социализма» и т.п. Оценивая значение подобных символических структур, неправомерно ограничиваться обличительными характеристиками («фальшивые», «обманчивые», «лукавые»). «Фальшивых» социальных символов (если, допустим, относить к ним те, которые скрывают или искажают значение своих предметов) — несчетное множество. Но в социологическом плане существен сам механизм «работы» символических структур. Ведь дефинитивная функция символа — обозначать некий предмет — не единственная и даже часто не основная. Обращение к символическим конструкциям упрощает отношение человека к социальной реальности, избавляет его от

самостоятельных усилий понимания, оценки и пр., используется как доказательство лояльности по отношению к какой-то традиции, идеологии, социальной группе или институту. На первом этапе, примерно до конца 20-х, доминировали понятийные, словесные, изобразительные символы революционно-международного содержания. Ни нэп, ни «социализм в отдельно взятой стране» не изменили ситуации; «модными» оставались символические облачения вчерашнего дня, т.е. символизация и словарь революционного перелома. В понятийном арсенале это «борьба классов», надежды на «мировую революцию», на войну между «империалистами» (даже на поднимавший голову фашизм как «канун пролетарской революции») и т.п. На уровне лозунгов — призывы к «пролетариям всех стран», «международной солидарности» с угнетенными и как будто готовыми восстать немецкими, китайскими, индийскими и прочими рабочими, «наш ответ Чемберлену» (шумная кампания в связи с разоблачением в Англии секретных инструкций Коминтерна) и т.п. На этом фоне призывы к овладению грамотой, хранению денег в сберкассе или к «американской деловитости» (кстати, это выражение И. Сталина 1924 года) казались второстепенными. Эстетический стиль — плакат, призыв, брутальность авангардного искусства, довольно примитивный конструктивизм. «В наши дни писатель тот, кто напишет марш и лозунг» (В. Маяковский). Личный (предельно обезличенный) стиль — гимнастерки, френчи (у начальства), красные косынки, короткие стрижки. Еще почти нет орденов, бюрократы «в ручках все и значках нагрудных» (тоже Маяковский). Собственный стиль кино — «Броненосец „Потемкин“», формальная поэтика революционного противостояния. Культ В. Ленина — портреты, поэмы, мавзолей.

30-е годы — другой этап и другой символический ряд. Понятийные символы — индустриализация, строительство социализма, борьба с внутренними врагами. Международная солидарность, мировая революция, Коминтерн и т.п. уходят со сцены. История «классовой борьбы» (по М. Покровскому) превращается в отечественную, российскую, государственную. Лозунги — «Догнать и перегнать», «Пятилетка в четыре года», «Не болтай!». Рекламный журнал (редакторы — М. Горький и М. Кольцов) — «СССР на стройке». Эстетика «победившего социализма» — «всех ярче сверкают улыбки», «и смотрит с улыбкою Сталин, советский простой человек» (заключительный куплет популярной песни). На портретах 1937-го самый страшный человек года, Н. Ежов, тоже ласково улыбается. Суровый брутализм, конструктивизм, прочий «формализм» отвергнуты, поскольку не соответствуют духу времени и «непонятны массам». Формируется пропаганда успеха, стиль успеха (на деле — заемный, «советский» ампир, классика и т.п.). При этом наличие реальных достижений не требуется, важны символы. Приобретает популярность массовая, бодрая, маршевая песня. Со второй половины десятилетия «реабилитируется» семья (вводится запрет аборт), а вместе с ней — лирика личных радостей (впрочем, не лишенных производственной основы — «Свинарка и пастух» и пр.). Место «класса» как субъекта действия занимает человек. Не «средний», не «обычный», а специальным образом представленный, преимущественно в двух ипостасях — «руководителя» и «образцового работника». К первому ряду — легендарные люди-киносимволы, Чапаев, Киров, «Максим». Во втором — отраслевые «передовики» и герои-летчики, герои-полярники. В официальной пропаганде того времени, как и в массовом созна-

нии, тогда и доныне стерлась разница между выдвинутыми «отобранными» (в том числе из людей достойных) и «назначенными» (в каждой отрасли требовался образец, и только один). Вторых, между прочим, запомнили лучше: по одному из опросов 2001 года, А. Стаханова «хорошо знают» 61% россиян, И. Мичурина — 66%, «челюскинцев» — 57%, О. Шмидта — 42%.

К концу 30-х утвердилась в символике эпохи еще одна ипостась человека — «враг», «изменник», «шпион». С этим, кстати, связано и то, что больше всего из героев этого времени помнят легендарного доносчика Павлика Морозова (81%). Конечно, как и всех других, его «помнят» благодаря пропаганде.

Но главным символом эпохи, разумеется, стал «вождь». В 20-х годах принято было говорить о «вождях» во множественном числе (ср. в иронических строках поэта «нам, мол, с вами думать неча, если думают вожди»). Позже, официально с начала 1934-го, политическая верхушка стала описываться словами — «вождь» и «соратники». Первый плакат с изображением «вождя», работы В. Дени, 1929 год: над заводскими трубами лицо человека с трубкой в зубах. К концу десятилетия, после невероятно пышного юбилея 1939 года Сталин уже «отец народов», «корифей науки» и т.д.; в ходу термин «сталинская эпоха». Другой идеологемы время не имело. Символические ссылки на «основоположников» были возможны только через призму цитат из речей вождя.

Военное время существенных изменений в символы 30-х не внесло. Основные символические поля — «война и победа», «народ и вождь». Война трактуется как сугубо отечественная, вне мирового и антифашистского контекста. Наиболее памятна сейчас героика самопожертвования (Н. Гастелло, А. Матросов, З. Космодемьянская, несколько меньше знают разведчиков Р. Зорге, Н. Кузнецова). Патриотическая линия в истории, философии, литературе безусловно преобладает. Формируется представление о победе 1945 года как главном символе национального исторического самознания⁴.

Первая попытка вырваться из заколдованного символического (и не только символического) круга самоизоляции в годы «оттепели» через своего рода «возвращение к истокам» — воспроизведение некоторых образов «революционной» романтики 20-х и начала 30-х. Доведенная до пределов нелепости эта струя привела к возникновению задачи «построить коммунизм» не позже 1980 года. Приоткрыта форточка во внешний мир: подглядеть, как «там», но не допустить чуждого влияния. Лозунг — «Догнать и перегнать», правда, преимущественно в ракетно-космической области (перенесение лозунга в производство молока, мяса, кукурузы имело скорее пародийный смысл). Лозунг международной «антиимпериалистической солидарности» — неудачная попытка прибавить третий мир к «соцлагерю» (уже неустойчивому после 1953 и 1956 годов). Новая волна отобранных и назначенных передовиков («маяков», ныне позабытых — сейчас две трети опрошенных не знают, кто такая В. Гаганова). Ампиный стиль отвергнут в пользу предельного утилитаризма («пятиэтажки», они же «хрущобы» — самый массовый символ эпохи). Попытка «антисталинской» романтизации образов революции и Ленина (М. Шатров, Е. Евтушенко и др.). Державный сталинский культ заменен совершенно искусственным ленинским. Осторожное признание молодежного стиля, моды, джаза. Общий итог — старые символы расшатаны, новых нет.

Стабилизационная, лукаво-прагматическая эпоха брежневского «застоя» никаких собственных значимых символов не создала и не нуждалась в них, достаточно было ритуально-юбилейных заклиний (т.е. символов не каких-нибудь действий, а просто принадлежности к идеологической традиции). Основное орудие идеологического поворота 1964–1965 годов — обращение к отработанной уже символической связке «война — победа», частичное оправдание сталинской военной стратегии, возвращение к торжествам 9 мая, чествования «маршалов победы». Идеологические проработки — в основном в виде «точечных ударов» по отдельным нарушителям спокойствия. Подобная тактика применялась «органами» и в отношении диссидентов. Основная символически значимая акция, определяющая характер всего долгого периода, — подавление «пражской весны» 1968 года и диссидентского движения в стране.

Перестройка и позже: поиски собственной символики

Короткая эпоха горбачевской перестройки непрерывно меняла собственное символическое «лицо»: от «ускорения» и «трезвости» к отработанным лозунгам «революционной» романтики («перестройка — продолжение Октябрьской революции» — главный юбилейный слоган 1987 года, в унисон с ним — новое дыхание антисталинских обличений), затем к «социализму с человеческим лицом» и далее — к «общеевропейскому дому» и «общечеловеческим ценностям». Последовательность этих символов — скорее логическая, чем историческая, реально они почти сосуществовали друг с другом. Успешные, при всех возможных оговорках, символические события эпохи — гласность, I съезд депутатов, падение Берлинской стены. Символы поражений — кровавые акции 1989–1991 годов от Тбилиси до Риги, провал путча ГКЧП и конец Союза ССР. Персонализированный символ эпохи — сам М. Горбачев, вознесенный на пьедестал массовых надежд в 1988–1989 годах и сброшенный оттуда в 1990–1991-м.

После освобождения прессы, литературы и искусства от обязательного контроля уже, видимо, нельзя связывать с политическим периодом какой-то определенный стиль. В перестроечные годы доминирует критика прошлого при несколько наивных ожиданиях от настоящего. Позже предметом критики с разных направлений становится «все» — при все более благостных оценках старой, дореволюционной и допетровской России.

Символические «метки» правления Б. Ельцина — сочетание признаков демократии и державности, популистских обещаний и военно-политических авантур (Чечня). Официальная символика (орлы, дворцы, церемониалы, церковные благословения и пр.) — скорее псевдомонархическая, чем демократическая. Лозунги «обновления социализма» отвергнуты, вместо них — объявленный официально поиск «национальной идеи», который ничего не дал. Массовый же поиск (данные ряда опросов общественного мнения) постоянно выдвигал на первые места «законность и порядок» (реальный акцент, конечно, на первом слове) и «стабильность».

Новый политический период, начатый в конце 1999 года и все еще не определившийся до конца, ищет уже не национальную идею, а госу-

дарственные символы (что само по себе является символом державности). Наиболее шумной и поучительной оказалась, понятно, борьба вокруг музыки государственного гимна, точнее, вокруг предложения принять в таком качестве музыку А. Александрова, известную еще по «гимну партии большевиков» (1939) и гимну Советского Союза (1943; после 1956 года он исполнялся без слов, с 1977-го — с новыми словами), а позднее служившую мелодией гимна народно-патриотических сил, а также гимна российско-белорусского союза. Именно этот «ретроспективный» исторический контекст бравурной музыки сделал ее предметом острой критики со стороны демократов, видных интеллигентов и др.⁵, которые восприняли возвращение старого гимна как символический шаг к реабилитации тоталитарного режима. Драматические коллизии завершились полным — и весьма поучительным — поражением

противников старо-новой мелодии, а точнее — поражением всей интеллигентской демократии в борьбе с властью предрежащей. Авторитет президента, циничный нажим аппаратных «технологов», покорность парламента и массовая апатия (плюс восторженная поддержка реставраторов старого порядка) сделали свое дело. Тем самым был отработан механизм для следующего символически значимого шага — разгрома НТВ и ряда прочих непослушных СМИ. Действие разворачивалось примерно по тому же сценарию, правда, с помощью судебных механизмов, при неудачных попытках сопротивления со стороны тех же сил и при таком же всеобщем безразличии.

В годы президентства Б. Ельцина символической (квазиидеологической) осью режима было искусственно, иногда даже провокационно раздутое противостояние власти (и поддерживавших ее демократов) и компартии. Прежде всего, это был не конфликт идеологий или политических линий, а оппозиция символов прошлого и настоящего. Особую роль внутри этого символического конфликта играл незатухающий скандал вокруг мавзолея Ленина (в какой-то момент чуть не ставший предлогом для развязывания гражданской войны).

Хаотическим годам перемен новое правление (В. Путина) прежде всего попыталось (или было вынуждено) противопоставить лозунги «порядка», а тем самым — новую символическую ось «порядок — хаос». Символ привился, хотя порядка прибавилось немного. В последнее время на первый план как будто выдвинулась другая ось, «Россия — мир», по существу — вопрос о перспективе страны. Если противостояние «власть — компартия» означало соотнесение символов настоящего и прошлого, то ось «Россия — мир» символизирует соотнесение настоящего с вариантами будущего. Волею обстоятельств, особенно после сентября 2001 года, власть (президент) оказалась перед необходимостью декларировать выбор «западного» варианта будущего и перехода от конфронтации с США к новому союзу. Это далеко не поворот, пока — только символ, который может стать знаком длительного и трудного поворота, но и может остаться лишь вынужденной декларацией.

Проблема «устройства» человека в изменившихся социальных условиях неоднократно изучалась и обсуждалась¹. Начиная с мая 2001 года в программу социально-экономического мониторинга ВЦИОМа включается вопрос, как люди представляют себе собственное положение в современной ситуации — в какой мере они считают себя приспособленными или не приспособленными к произошедшим переменам, с какими вариантами адаптации (активными и пассивными) они соотносят собственное поведение в наличных условиях. До конца 2001 года было проведено пять таких замеров (включая дополнительный опрос, проведенный в октябре), которые позволяют сделать некоторые выводы и предположения о значении полученных данных и самого предложенного методологического инструмента.

¹ См.: Левада Ю. Человек приспособленный // Мониторинг общественного мнения. 1999. № 5 [= Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1993–2000. М., 2000. С. 467–488].

Таблица 1. «Какое из следующих высказываний точнее всего описывает Ваше отношение к нынешней жизни?»

(2001, N=2400 человек, % от числа опрошенных)

Группа	Высказывание	Май	Июль	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
I	Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни	15	14	14	15	15
II	Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни; жить, ограничивая себя в большом и в малом	27	29	27	30	30
III	Мне приходится «вертеться», хвататься за любую возможность заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь	28	26	26	25	26
IV	Мне удалось использовать новые возможности, чтобы добиться большего в жизни	7	7	8	5	7
V	Я живу, как и раньше, — для меня в последние годы ничего особенно не изменилось	15	17	16	16	16
	Затрудняюсь ответить	8	7	9	9	6

Первый, наиболее очевидный вывод — устойчивая повторяемость распределения опрошенных по выделенным исследователями группам (типам поведения). Респонденты достаточно четко определяют свою принадлежность к ним, и это позволяет рассматривать результаты отдельных исследований как представительные для всего ряда, а также использовать при анализе объединенный массив данных.

Прежде всего стоит обратить внимание на количественные параметры выделенных групп. Большинство опрошенных (около 55%) относит себя к примерно равным по численности группам II и III, т.е. к тем, кто «свыкся» с понижением уровня жизни или «вынужден вертеться». Около 30% — к двум «крайним» группам (I и V — «не могут приспособиться» или «живут как раньше»), которые также количественно почти равны. Наименьшая группа (IV), 7–8%, — умеет «использовать новые возможности», приблизительно такова же доля отказывающихся отвечать.

Эта типология поведенческих групп несколько отличается от сходной типологии, использовавшейся ВЦИОМом ранее в рамках программы «Советский человек».

Таблица 2. «В сложное, переходное время люди по-разному устраивают свою жизнь. А что Вы сами делаете в этом отношении?»

(1994, N=2900 человек, 1999, N=2000 человек, % от числа опрошенных)

Группа	Высказывание	1994	1999
А	Я не могу приспособиться к нынешним переменам	23	33
Б	Приходится «вертеться», подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь	30	38
В	Удается использовать новые возможности, начать серьезное дело, добиться большего в жизни	6	5
Г	Живу, как жил раньше, для меня ничего особенно не изменилось	26	16
	Затрудняюсь ответить	16	9

Изменение набора вариантов ответа делает невозможным строгое сравнение типологических групп в разные годы. По всей видимости, остаются почти неизменными рамки групп В («удалось добиться большего...»), Г («живу как раньше...»), а также доля затруднившихся ответить. Можно предположить, что ко вновь выделенной группе II (привыкли «ограничивать себя») отнесла себя значительная часть тех, кто в 1994 году идентифицировал бы себя с группами А или Б. Но введение новой позиции позволило различать более пассивные и более активные типы «понижающей» адаптации (соответственно группы II и III).

Чтобы представить реальный «вес» этих групп в современном обществе, обратимся к соответствующим данным.

Таблица 3. Варианты адаптивного поведения в различных социальных группах

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Всего	15	30	26	7	16	100
Возраст, лет						
До 20	5	15	17	8	39	7
20–29	5	20	32	16	20	20
30–39	11	19	43	9	12	18
40–49	10	25	39	5	14	16
50–59	19	41	26	4	10	12
60 лет и старше	28	48	5	1	14	26
Образование						
Высшее	6	20	31	19	17	15
Среднее	11	29	31	7	15	47
Ниже среднего	22	36	18	3	17	38
Тип поселения						
Москва и Петербург	6	26	25	15	20	10
Большие города	15	22	24	12	21	17
Средние города	14	34	28	6	12	21
Малые города	15	29	29	5	15	27
Села	18	35	24	4	15	26
Социально-профессиональный статус						
Руководители	8	14	16	33	24	3
Специалисты	7	21	38	14	14	12
Служащие	10	14	44	10	16	7
Квалифицированные рабочие	10	19	44	8	14	16
Неквалифицированные рабочие	5	30	43	5	12	6
Учащиеся	1	20	9	12	39	7
Пенсионеры	28	51	5	1	13	30
Домохозяйки	12	27	27	5	20	6
Безработные	16	28	31	4	14	8

Распределение позиций, представленное в таблице, вряд ли нуждается в обстоятельных комментариях. Самые молодые часто не видят перемен просто потому, что им не с чем сравнивать свое положение, да и их самостоятельная жизнь едва начинается. В 20–30 лет большинство относит себя к группам II, III и V, после 50 — к группам II и III, после 60 — к группам I и II. Для имеющих высшее и среднее образование самая характерная группа — группа III («вертеться»), для низкообразованных — группа II («свыклись»). Деадаптированных (группа I) больше всего в селах, больших и средних городах, среди пенсионеров и безработных. Смирившихся с ограничениями собственных запросов — среди пожилых, пенсионеров, сельских жителей. К малочисленной «преуспевающей» группе IV чаще всего относят себя руководители, специалисты, высокообразованные, учащиеся. Примечательно, что в нее попадает относительно большая (10%) доля населения крупных и средних, но не столичных городов (видимо, действуют разные критерии самоотождествления с такими типологическими группами).

Рассмотрим социально-демографические характеристики (социальный потенциал) выделенных групп.

Таблица 4. Социальный потенциал различных «адаптационных» групп

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Затрудняюсь ответить	Все ответить
N, человек	358	737	643	172	394	142	2447
Доли опрошенных	15	30	36	7	16	6	100
Мужчины	46	43	48	55	42	46	46
Женщины	54	57	52	45	58	54	54
Возраст, лет							
До 20	2	4	5	8	18	21	7
20–29	7	14	24	47	25	26	20
30–39	13	11	30	25	13	20	18
40–49	11	13	24	12	14	18	16
50–59	16	16	12	6	7	2	12
60 и старше	51	42	6	2	7	2	12
Средний возраст	56	52	38	31	41	35	44
Образование							
Высшее образование	6	10	17	39	15	18	15
Среднее	35	45	56	47	45	52	47
Ниже среднего	59	46	26	14	39	31	38
Тип поселения							
Москва и Петербург	4	6	9	20	12	14	10
Большие города	17	12	15	27	22	20	17
Средние города	20	24	23	18	16	18	21
Малые города	27	26	29	18	25	28	27
Села	32	30	23	16	25	19	26
Социально-профессиональный статус							
Руководители	2	1	2	14	4	3	3
Специалисты	6	9	18	24	11	14	12
Служащие	5	3	12	11	7	6	7
Квалифицированные рабочие	10	10	27	18	14	14	16
Неквалифицированные рабочие	2	6	10	5	5	6	6
Учащиеся	0	4	2	11	16	21	7
Пенсионеры	58	51	5	3	26	14	30
Домохозяйки	5	6	7	4	8	10	6
Безработные	9	7	9	4	7	10	8

Как видим, группа I (наименее адаптированные) — самая старшая по возрасту (более половины — старше 60 лет, средний возраст — 56 лет), в ней менее всего лиц с высшим образованием (6%) и почти две

трети — с образованием ниже среднего. Здесь же наименьшая доля столичных жителей.

Группа II (пассивная адаптация, «свыклись») немногим «моложе» — 42% старше 60 лет при среднем возрасте 52 года, в ней самая высокая доля женщин, заметно больше высокообразованных, чем в предыдущей группе, а распределение по типам поселений почти соответствует среднему по всему населению (но доля столичных жителей меньше средней).

Группа III (более активная адаптация, «приходится вертеться») заметно моложе: средний возраст — 39 лет, более половины — от 30 до 50 лет, только 6% — старше 60. Здесь большинство составляют мужчины. Значительно выше и образовательный потенциал — доля высокообразованных на среднем уровне, доля среднеобразованных — наибольшая, низкообразованных — меньше, чем в любой другой группе.

Группа IV (удается «добиться большего») — самая молодая, большинство — до 30 лет при среднем возрасте 31 год, самая «мужская» (55%) и самая высокообразованная (более трети). В плане расселения здесь есть примечательная особенность — повышенное представительство больших и средних городов и самая малая доля сельского населения. Напомним, что за весь период наблюдений эта группа остается самой малочисленной: скорее всего, она является не авангардной, не «всеобщим образцом», а специфически возрастной; это позиция, которую проходит в молодые годы определенная часть населения.

По сути дела, типологический ряд от группы I к группе IV подобен шкале состояний с повышающимся социальным потенциалом.

Группа V такую шкалу явно нарушает (но если поменять местами группы IV и V, шкала сохраняется). Средний возраст здесь — 35 лет, но преобладают женщины, доля высокообразованных уступает лишь группе IV. По социальному потенциалу эта группа также отстает только от «преуспевшей» группы IV.

Категория затруднившихся ответить по потенциалу близка к средним показателям. В дальнейшем она не рассматривается.

Таблица 5. Социальный статус различных «адаптационных» групп

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
«К какому слою Вы могли бы отнести себя?»						
К низшему слою	39	22	5	0	5	15
К низшей части среднего слоя	31	36	29	16	23	29
К средней части среднего слоя	19	36	51	54	54	42
К высшей части среднего слоя	0	1	5	20	6	5
К высшему слою	0	0	1	4	0	0
Субъективный социальный статус*						
Высокий статус	4	4	6	27	16	9
Средний	43	61	75	69	68	64
Низкий	52	34	18	5	15	27

* Укрупненные показатели 10-ступенчатой «лестницы» социальных статусов.

Картина распределения статусных позиций показывает, что в группе I относительно чаще относят себя к «низшему» социальному слою и к низшей ступени социальной лестницы.

В группе II (пассивная адаптация) почти четверть опрошенных относит себя к «средней» части среднего слоя и более высоким слоям; несколько выше показатель статуса.

В группе III (более активная адаптация, «приходится вертеться») почти треть идентифицируется с «вышесредними» социальными слоями.

В группе IV («преуспевающие») наивысшие показатели статусных самооценок и самоидентификации.

Показатели группы V («без изменений») несколько ниже.

Заметим, что регулярно используемые в программе социально-экономического мониторинга индикаторы субъективного социального статуса довольно четко и наглядно демонстрируют шкалу характеристик выделенных групп. При этом очевидно, что во всех выделенных поведенческих группах большинство размещает себя на средних ступенях статусной иерархии.

Доходы и образ жизни

Обратимся к показателям, характеризующим уровень доходов и потребления в различных поведенческих группах.

Таблица 6. Доходы «реальные» и «воображаемые»

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	В среднем
Состав семьи, число человек	2,5	2,4	3,1	3,1	2,9	2,8
Работают в семье, число человек	1,5	1,6	1,7	2,1	1,8	1,7
«Реальные» доходы, руб.						
Месячный заработок	2021	2181	2432	4038	3538	2694
Общий доход семьи	2518	3307	4326	9659	5452	4389
Доход на душу	808	909	785	1302	1220	962
Доход на душу, % от среднего	84	94	82	135	127	100
«Воображаемые» доходы (представления о...), руб.						
«Нормальный» доход	4619	4590	5722	8627	5373	5451
«Прожиточный минимум»	2406	2545	2557	3282	2754	2626
Уровень «бедности»	1265	1337	1322	1697	1306	1348
Уровень «богатства»	15 766	19 006	27 361	43 286	104 558	37 138
«Хорошая» зарплата*	5203	4982	6961	4047	6178	5918

* Ответы на вопрос: «Ка- для себя хорошей?» (июль 2001 года, N=1600 человек).

Может показаться странным, что разница в семейных и душевых доходах даже между «крайними» по шкале группами не столь велика — самая «богатая» группа IV по доходу на человека менее чем в два раза, богаче самой бедной группы I. Примерно таково же и соотношение «воображаемых» доходов (представлений о «нормальном» доходе и т.д.; исключение составляют несколько фантастические представления об уровне богатства). Объясняется это, видимо, тем, что в обобщенных показателях по каждой из выделенных групп усредняются, сглаживаются данные о дифференциации доходов респондентов. Как обычно, в репрезентативных массовых опросах за пределами видимости остаются крайние позиции — самые бедные и самые богатые. Поэтому во всех представленных группах уровни семейных и душевых доходов невысоки (35–60 долларов на человека в месяц по нынешнему курсу).

Отметим, что «семейная нагрузка» в наиболее бедных группах (I и II) относительно меньше, чем в более активных (III–V). Дифференциация связана не столько с «нагрузкой», сколько с трудовым потенциалом (числом работников, квалификацией).

Источники доходов

В таблице 7 представлены данные об основных источниках денежных доходов семьи в течение месяца (как правило, тех, которые указывают более 1% опрошенных).

Таблица 7. Основные источники дохода по «адаптационным» группам

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек)

	I	II	III	IV	V	Все
Зарплата от основной работы, %	20	25	43	46	37	34
Размер, руб.	2414	2937	3445	7627	4887	3841
Зарплата от дополнительной и неоформленной работы, %	6	3	10	21	8	5
Размер, руб.	659	937	1673	1580	1079	1265
Доходы от бизнеса, ИТД, %	1	1	5	5	4	3
Размер, руб.	1869	1634	1917	4634	6587	3162
Пенсия, %	37	32	12	10	22	37
Размер, руб.	1577	1614	1524	1487	1779	1602
Стипендия, %	1	3	4	7	5	4
Размер, руб.	931	385	630	455	650	612
Помощь родственников, %*	2	3	3	3	4	3
Доходы от продажи с/х продуктов со своего участка, %	1	1	1	1	3	1
Размер, руб.	945	461	1692	0	680	1115

* Размер помощи родственников не выяснялся.

Таким образом, для всех без исключения выделенных адаптивных групп основные источники дохода — работа по найму и пенсия, т.е. такие же, которые были обычными в предшествующие годы и десятилетия. Понятно, что более молодые (III–V) больше работают и больше зарабатывают, более пожилые (I и II) чаще рассчитывают на пенсии, и т.д. Доходы от бизнеса, включая индивидуальный, получают всего 3% опрошенных, причем средний размер предпринимательского дохода в самой продвинутой группе IV составляет немногим более 200 долларов в месяц на бизнесмена.

Материальное положение семьи

Материальное положение семьи опрошенные в различных адаптивных группах представляют следующим образом.

Таблица 8. Оценки материального положения семьи

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Очень хорошее	0	0	0	5	0	0
Хорошее	1	3	4	19	11	6
Среднее	23	46	57	60	69	51
Плохое	54	40	33	8	14	33
Очень плохое	21	8	4	1	2	7

На протяжении года, как показывают данные опросов, положение семьи значительно улучшилось только в группе IV, скорее улучшилось в V, во всех остальных (как и в среднем по всем опрошенным) отмечено ухудшение, особенно резкое, естественно, в группе I.

Таблица 9. «Удачники» и «неудачники»:

изменение материального положения семьи за год

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Скорее улучшилось	5	8	12	45	19	13
Осталось без изменений	41	54	53	42	64	52
Скорее ухудшилось	49	34	29	11	14	29
Затрудняюсь ответить	5	5	6	3	3	5

При объяснении главных причин изменений к лучшему в группе IV чаще всего (43%) ссылаются на то, что кто-то из членов семьи стал больше зарабатывать, нашел дополнительную работу или начал работать, в группе V такой довод приводят 16%. Ухудшение положения в группе I объясняют прежде всего ростом цен (42%), в группе II на этот фактор указывают 28%, в III — 20%. На увеличение семейных расходов в связи с необходимостью лечения и т.п. в группе I ссылаются 18%, там же 13% утверждают, что просто не могут приспособиться к ситуации.

Нетрудно догадаться, что ожидания перемен в положении семьи на следующий год в каждой адаптивной группе служат прямым продолжением оценок прошлых изменений: улучшения скорее ждут те, кому стало лучше, и наоборот.

Таблица 10. Ожидаемые изменения положения семьи в ближайший год

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Скорее улучшится	2	9	16	51	17	14
Останется без изменений	41	47	40	35	53	43
Скорее ухудшится	32	25	13	5	9	18
Затрудняюсь ответить	25	19	31	9	21	25

Уровень потребления и образ жизни

Перейдем теперь к «материальному» наполнению положения адаптивных групп, т.е. к характеру расходов и уровню потребления. Сопоставим данные о вариантах приспособительного и потребительского поведения.

Таблица 11. Типы потребительского поведения

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
1 Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты	58	27	12	4	6	22
2 На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения	37	55	48	13	35	43
3 Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования является проблемой	4	16	36	46	45	27
4 Мы можем без труда приобретать товары длительного пользования, но для нас затруднительно приобретать действительно дорогие вещи	1	2	3	35	13	7
5 Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки — квартиру, дачу и многое другое	0	0	0	2	1	0

70% опрошенных относят себя к «средним» потребительским группам (2 и 3), значительная доля состоятельных отмечена только в адаптивных группах IV и V, доля «богатых» (5) заметна только в группе IV, т.е. просто ничтожна. (Из других данных того же опроса известно, что в беднейшей потребительской группе 1 чаще всего относят себя к «нижнему слою», в потребительских группах 2, 3 и 4 — к «нижней части среднего слоя».)

Рассматриваемые адаптивные группы заметно различаются и по способам распоряжения семейными доходами. В группах I–III от 60% до 84% все деньги расходуют на текущие нужды, не более 4–10% могут регулярно делать сбережения. В группах IV и V менее половины (соответственно 31% и 47%) опрошенных расходуют все на текущие нужды, остальные стараются кое-что сберечь. Только в «преуспевшей» IV группе качеству товаров уделяют больше внимания, чем их стоимости, для всех остальных на первом месте — доступная цена.

Социальные настроения и ориентации

Социальные настроения и ориентации удобно измерять по методике, используемой при построении индексов социальных и потребительских настроений (из позитивных значений ответов на соответствующий вопрос вычитаются негативные; чтобы не оперировать с отрицательными числами, к полученным данным добавляется 100).

Таблица 12. Социальные настроения в адаптивных группах

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, значения индексов, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Настроение	59	100	117	181	164	116
Насколько устраивает жизнь	33	68	87	146	123	84
«Все не так плохо, можно жить»	91	150	163	192	185	153
Продолжать реформы	67	101	132	165	144	117
Наладится ли жизнь в течение года?	34	70	85	114	101	80
Намерение участвовать в протестах	79	54	68	31	39	57

Очевидно резкое отличие всех настроений и намерений в наиболее дезадаптированной группе I по сравнению со всеми остальными. Более благополучные группы IV и V довольно близки друг другу по большинству позиций. В принципе все положительные оценки нарастают от I к IV (если, как отмечалось выше, V поместить между III и IV). Единственное исключение — заявленное намерение протестовать, которое в группе III выше, чем в группе II. Это объясняется просто: к протесту — хотя бы вербальному — скорее склонны активные («вынуждены вертеться»), чем пассивные («смириться...»). Но и в этой группе преобладают позитивные оценки собственной жизни и экономических реформ.

Из числа *проблем общества* рост цен, а также безработица более всего тревожат самых дезадаптированных (группа I, соответственно 81% и 76%), менее всего — «преуспевшую» группу IV (42%). Преступность больше тревожит группу II (напомним, что это преимущественно пожилые женщины, которым пришлось «свыкнуться» с ухудшением собственного положения). Несправедливость распределения чаще беспокоит опрошенных из группы I (30%), реже всего — «преуспевших» (группа IV — 19%). В то же время коррупция и чеченская война меньше

тревожат группу I (по 18%) и сильнее всего — молодежную и «преуспевшую» группу IV.

Жизнь *собственной семьи* респондентов в группе I чаще всего осложняют низкие доходы (85%), плохое здоровье (49%), отсутствие перспектив в жизни (26%). В группе II главные тревоги те же, но несколько слабее выражены (соответственно 81%, 50%, 16%). В группе III на доходы жалуются 76%, на здоровье — только 20%. В «преуспевшей» группе IV доходы беспокоят только 37%, на второе место здесь выходит недостаток свободного времени (26%).

Часто используемое в исследованиях ВЦИОМа распределение предпочтений применительно к адаптивным группам выглядит так.

Таблица 13. Что бы Вы предпочли, если бы могли выбирать?

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Сравнительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне	62	57	42	33	38	47
Много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее	17	20	39	34	34	28
Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск	3	6	11	25	13	10
Затрудняюсь ответить	18	17	8	8	17	14

Неожиданностей нет. Главная установка «нашего» человека — на «уверенность» при скромном заработке — сильнее всего выраженная в самых пожилых и обездоленных группах (I и II), доминирует во всех группах за исключением IV. Стремление «много работать и хорошо зарабатывать» без особых гарантий характерно для всех активных групп (III–V), как и установка на «собственное дело». Но значительно распространена (четверть опрошенных) эта установка только в малочисленной группе IV.

Политические установки

Как правило, степень адаптации людей к сложившейся в стране ситуации соответствует и степени принятия ими соответствующих политических реалий.

Таблица 14. Политическая обстановка и доверие к президенту

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Оценка политической обстановки в России						
Благополучная	1	2	1	4	3	2
Спокойная	5	16	12	29	26	16
Напряженная	61	66	72	52	47	62
Критическая, взрывоопасная	17	7	8	5	8	9
Индекс*	89	111	105	128	121	109
Наибольшее доверие В. Путину**	26	42	38	48	47	39
Оценка деятельности В. Путина***	5,2	6,1	5,9	6,4	6,0	6,0

* Рассчитано по методике расчета индекса социальных настроений.

** Из списка деятелей, вызывающих наибольшее доверие.

*** Среднее значение по 10-балльной шкале

Естественно, более молодые и наиболее благополучные (группы IV–V) лучше оценивают как общую обстановку, так и деятельность президента, а наименее адаптированные (группа I) чаще считают положение критическим и дают относительно низкие оценки президенту. Стоит обратить внимание на то, что в группе II («вынуждены смириться», пассивная адаптация) положение в стране и действия президента характеризуют несколько лучше, чем в «беспокойной» группе III («приходится вертеться», более активная адаптация).

Таблица 15. Отношение к реформам

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Реформы продолжать	14	29	45	71	55	39
Реформы прекратить	47	28	13	5	11	22

В этом вопросе различие позиций адаптивных групп весьма велико: резко негативная в I, половинчатая во II, уверенное преобладание поддержки реформ в III–V. Несколько иначе выглядит разница во мнениях относительно социальных протестов.

Таблица 16. Социальный протест: возможность и участие

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Считаю возможными выступления с экономическими требованиями	22	20	21	19	19	20
Готов принять в них участие	23	17	21	9	15	18
Считаю возможными выступления с политическими требованиями	20	17	22	28	21	20

В оценке возможности экономических протестов в своих регионах дифференциация между адаптивными группами почти незаметна. Но заявленная готовность участвовать в выступлениях заметно выше в самой дезадаптированной группе I и ниже всего — в IV. Последняя группа, как мы видели ранее, наиболее лояльна, поэтому в ней, видимо, с тревогой отмечают возможность политических протестов.

Обратимся к расстановке партийных симпатий.

Таблица 17. «Какая партия выражает интересы таких людей, как Вы?»

(Ноябрь 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
«Женщины России»	3	2	5	3	3	3
«Яблоко»	1	2	4	3	4	3
«Единство» — «Отечество»	2	14	12	17	14	11
ЛДПР	5	4	8	8	8	6
КПРФ	38	23	10	6	9	18
СПС	0	2	5	10	9	4
РНЕ	0	1	3	0	0	1
Никакая	36	34	27	29	29	31
Затрудняюсь ответить	13	16	22	22	22	20

Здесь различие между группами становится очевидным. В группе I безусловно преобладают сторонники КПРФ, во группе II значительно возрастает роль блока «Единство», в группе III сторонников компартии значительно меньше, заметна роль демократических партий (СПС и «Яблока»), но особенно — партии Жириновского. Примечательно,

что ЛДПР имеет влияние в наиболее активных и относительно благополучных группах III–V. Во всех группах партийный выбор готова сделать половина опрошенных, остальные не видят партий, которые выражали бы их интересы, или затрудняются ответить.

Религиозная принадлежность

Религиозная принадлежность не может считаться дифференцирующей характеристикой для различных адаптивных групп.

Таблица 18. «Какую религию Вы исповедуете?»

(Июль 2001 года, N=2400 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

	I	II	III	IV	V	Все
Неверующие	39	33	37	41	42	37
Православные	51	56	49	46	48	50
Другие конфессии	6	3	5	8	7	13
Не посещаю церковные службы	66	60	61	59	65	66
Посещаю не реже раза в месяц	5	8	5	5	4	5

Данные по всем группам мало отличаются от средних. Можно отметить лишь, что более молодые и образованные несколько менее религиозны, а в «женской» группе II чаще посещают церковь.

Предложенная в мониторинговом опросе методика изучения пяти выделенных адаптивных групп оказывается действенным инструментом, позволяющим рассмотреть многие характерные особенности социального поведения человека в современных общественных условиях. Этот инструмент имеет несомненные преимущества перед использовавшимся ранее (в исследованиях по программе «Советский человек»). Но, как и любая иная типология, он неизбежно сглаживает «острые углы», т.е. различия внутри выделенных групп. Поэтому за рамками типологического анализа остаются крайние позиции, а вместе с ними как узлы наибольшей напряженности, так и «точки роста», образцы и механизмы возможного развития существующей ситуации, динамика положения активных социальных групп. Для анализа таких проблем требуются другие инструменты.

Истина есть великое слово и еще более великий предмет. Если у человека еще здоровы дух и душа, при звуках этого слова его грудь должна вздыматься выше.

ГЕГЕЛЬ

*Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман*

ПУШКИН

При анализе данных социологических исследований неоднократно — в различных контекстах — приходится сталкиваться не только с проблемой правдивости или «искренности» получаемых ответов, но и с массовой интерпретацией самих категорий истины и правды.

Согласно многолетним наблюдениям, первая группа проблем представляется как будто инвариантной по отношению к социальному контексту: доля правдиво отвечающих достаточно велика, а заведомо неискренние ответы в значительной мере «гасят» друг друга. На эту особенность массового поведения опираются все массовые опросы, как выборочные, так и сплошные (актуальный пример — переписи населения). Это относится в первую очередь к «незаинтересованным» опросам, т.е. непосредственно не затрагивающим интересы и симпатии респондентов; в «заинтересованных» ситуациях (выборы, референдумы) создается несколько иная, эмоционально напряженная связь между декларативным и реальным поведением (например, между заявлениями и реальными намерениями, первоначальными намерениями и итоговыми действиями). Здесь играют значительную роль такие факторы, как неуверенность и колебания настроений электората, относительная рациональность предпочтений, информационная ситуация, различного рода давления на его выбор и т.д. В данном случае этот круг проблем можно оставить без рассмотрения. Ограничусь лишь одним замечанием, которое подкрепляется опытом различных электоральных исследований и пригодится в дальнейшем анализе: как правило, «заинтересованный» ответ дается в пользу *относительно* лучшего — или *наименее худшего* — варианта.

Проблема истины или «правды» (об особенностях употребления этих терминов речь пойдет несколько позже) применительно к положению человека в социальной системе более сложна. С помощью данных массовых опросов нетрудно подтвердить довольно банальное суждение о том, что практически в любом социальном диалоге на микро- и на макроуровнях ни одна из сторон не является вполне искренней: правящие и подданные, воспитатели и воспитанники, участники социальных и групповых взаимодействий не говорят друг другу «всей» правды — то ли преследуя свои собственные интересы, то ли ради утешения, успокоения и т.п. другой стороны (как известно, эти варианты не исключают друг друга). В массовых социально-политических опросах мы, естественно, сталкиваемся преимущественно с диалогом «влас-

ти» с «людьми» и постоянно убеждаемся в том, что люди не получают полной и правдивой информации от власти, причем достаточно хорошо знают об этом и, более того, довольно охотно мирятся с этим. Или даже, выражаясь известной поэтической формулой, «низким истинам» предпочитают «возвышающий обман». Но констатировать столь очевидные феномены ради простого обличения власть предержащих и власти покорных — непродуктивно, неинтересно, и обращать внимание на это стоит лишь для того, чтобы подойти к таким проблемам, как допустимые рамки и «цена» подобного обмана и самообмана в наличной ситуации, как соотношение неустрашимых «допусков» с претензиями или иллюзиями в определенных условиях.

Для начала — несколько типовых ситуаций, возникших в ходе опросов общественного мнения в последние годы.

Ситуация 1: «Говорят ли (“они”) нам правду?»

Информационный повод — сильное и все еще непреодоленное смятение в умах в связи с гибелью «Курска», точнее — в связи с тем, как это событие было представлено общественному мнению. Ведь это был первый случай, когда действия президента В. Путина большинство оценило как неадекватные (и сразу после события, летом 2000 года, и год спустя, в 2001 году). В этой связи президент потерял 10% поддержки, но, как известно, довольно быстро наверстал упущенное.

Смятение в умах в данном случае явилось прямым результатом растерянности и разногласия в верхах (президент, прокуратура, флотское командование), что нашло отражение в содержании и тоне освещения инцидента в массмедиа. Несмотря на все принятые, в том числе на высшем уровне, экстраординарные меры по успокоению родственников, даже после подъема корпуса лодки и похорон жертв в общественном мнении остался тяжелый осадок. В частности, устойчиво преобладает мнение, что власти не говорят народу правду о случившемся (так считали 76% в июле 2001 года, причем из одобряющих деятельность президента — 74%, из не одобряющих — 85%) и даже что «мы никогда не узнаем правды» о случившемся (67% в ноябре 2001 года).

Пожалуй, наиболее показательно, что позицию «не говорят правды...», «никогда не узнаем правды...» разделяет большинство поддерживающих президента В. Путина. Это значит, что люди, одобряющие деятельность президента, как бы заранее готовы к тому, что «правды» по такому болезненно острому вопросу им не дадут и не дадут. Очевидно, перед нами не просто привычно «слепая» поддержка власти, а готовность «закрыть глаза» на привычную неискренность этой власти.

Еще одна сторона той же проблемной ситуации — *уровни или мера «правды»*, которые становятся доступны массовому сознанию: констатация факта (ср. известный ответ В. Путина на вопрос американского журналиста о случившемся с подлодкой — «она утонула»; впрочем, путь к такой констатации оказался далеко не простым — кто не помнит, что в первые дни население получало официальную информацию в терминах «авария», «жертв нет», «установлена связь»), затем поиски виновных (первым намеком на их существование явилась президентская

«зачистка» адмиральского корпуса через полтора года после события). Далее, видимо, следует анализ причин, факторов и обстоятельств катастрофы; пока общественному мнению явлен лишь один отрицательный их результат — отсутствие такого фактора, как «иностранная подлодка».

Очевидно, что последовательность и временная протяженность представления обществу различных уровней информации обусловлена не столько техническими, сколько социально-политическими обстоятельствами (интересы структур власти, военных, ВПК и др.). В этой связи неизбежно возникает вопрос об информированности самих различных властных структур, прежде всего президентской, пользующейся особым вниманием и доверием общества. Согласно ряду опросов последних лет, в общественном мнении существует довольно устойчивое представление о том, что президент получает от своего окружения преимущественно неполную и неверную информацию (по ряду опросных данных 2000–2001 годов, такое мнение разделяли более половины населения).

Укорененное в мифологемах отечественной истории представление о том, что от «первого лица» всегда скрывают «правду», в данном случае исполняет понятную функцию освобождения верховного правителя (в нынешних условиях, очевидно, президента) от ответственности за неудачи управления, в то же время сохраняя за ним в общественном мнении роль благодетеля. (Как известно по опросным данным, президента чаще считают ответственным за повышение зарплат и пенсий, а правительство — виновным в росте цен...) Тем самым поддерживается традиционно-«фольклорная» картина власти.

Ситуация 2: Чечня

Информационная картина чеченского конфликта в массовом сознании россиян не менее сложна — и как минимум не менее поучительна. В годы первой кампании 1994–1996 годов официальное освещение происходящего вызывало — в значительной мере, под влиянием тогдашних СМИ — очевидное неприятие со стороны большинства населения. Сейчас, при изменившейся ситуации на российском информационном поле, официальным сообщениям по-прежнему в населении мало доверяют (согласно данным одного из опросов 2001 года, лишь 27% в той или иной мере доверяют сообщениям российских СМИ из Чечни, 66% — не доверяют им), но других источников информации фактически не имеют. Результатом оказывается крайне противоречивая картина «правды»: подавляющее большинство соглашается с тем, что федеральным силам в Чечне противостоят бандиты и наемники, что жестокости наподобие «зачисток» и бессудных расправ по отношению к ним вполне оправданны; в то же время сообщениям об успехах не верят, операции войск и действия президента по отношению к чеченской проблеме считают безуспешными, публикуемые данные о потерях «своих» — недостоверными и т.д.

Отсюда и преобладание пессимистических суждений относительно возможных результатов конфликта (чаще всего упоминается возможность его распространения на другие регионы Северного Кавказа). И отсюда же, конечно, устойчивое преобладание установок на мирное урегулирование как единственно возможный выход из безнадежной

ситуации. Если выражаться предельно кратко, то недоверие к получаемой информации рождает растерянность, а она, в свою очередь, стремление уйти от конфликтной ситуации.

Впрочем, обнаруживается — причем не у большинства общественного мнения, а скорее у элитарных, более ответственных его фракций — стремление уйти от самой информации о происходящем. Примером может служить обстановка дискуссий вокруг фильма «Покушение на Россию», созданного при поддержке Б. Березовского. В данном случае нас интересуют не оценки содержания фильма (по мнению 43% респондентов в одном из мартовских опросов 2002 года, причастность ФСБ к взрывам домов в 1999 году нельзя исключать), а суждения относительно дальнейшего расследования дела и массового показа кинокартины. Как выяснилось, 39% опрошенных считают необходимым продолжать расследование «до полного выяснения истины, сколько бы времени и сил оно ни заняло», несколько меньше (33%) полагают, что «мы никогда не узнаем всей правды; это расследование надо прекратить, чтобы не будоражить общество», 16% уверены, что в этом событии очевиден «чеченский след», и остается лишь найти виновных, остальные (12%) затруднились ответить.

Из общего числа опрошенных 53% (против 35%) хотели бы, чтобы «фильм Березовского» был показан по центральному телевидению. Наибольший интерес к фильму проявили самые молодые респонденты. Несколько неожиданным кажется, что из партийных электоратов только на правом фланге большинство против показа киноленты: среди избирателей СПС такую позицию выражают 51% (против 46%), среди избирателей «Яблока» — 49% (против 31%). Возможно, это объясняется недоверием к спонсору фильма.

Ситуация 3: Отечественная война 1941–1945 годов

В июне 2001 года более двух третей (68%) против одной четверти (25%) опрошенных признали, что не знают всей правды об этой войне.

С постановкой такого вопроса мы переходим от «правды на злобу дня» к иным — и далеко не только историческим — планам постановки интересующей нас проблемы. По сути дела, события последней «большой» войны XX века — не ушедшие в историю, а длящиеся факторы, продолжающие влиять на формирование национального самосознания. Оценка этих событий, предпосылок, последствий, потерь, деятелей войны и т.д. за минувшие 50 лет постоянно актуализируется со сменой общественно-политической конъюнктуры, с пересмотром доминирующих идеологем, с доступностью источников и пр. А поскольку «та» война и победа, по данным ряда исследований, остаются в глазах населения главным событием отечественной истории XX века, да и всей истории России (о причинах такого мнения немало сказано¹), то суждения по ее поводу непосредственно касаются социально-исторического самоопределения народа, общества (т.е. как бы ответов на серию мировоззренческих вопросов типа «кто мы?», «где мы?», «с кем и против кого мы?»). Или, иными словами, не «правды фактов», а «правды смыслов» — и даже, в пределе, «правды Смысла» в наиболее обобщенном его виде.

1 См.: Гудков Л.Д. Победа в войне: к социологии одного национального символа // Мониторинг общественного мнения. 1997. № 6 [= Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. М., 2004. С. 20–58].

Как известно, коллизии с этой темой с разной интенсивностью происходят непрерывно на протяжении всех послевоенных лет. Сталивались «большую правду» военных событий («всемирно-историческую», «генеральскую») с «малой» («окопной», «лейтенантской», «солдатской»), «нужную» (выгодную, удобную) с «ненужной» (опасной, дезориентирующей) и пр. и пр. В оные времена по этому поводу раздавались прямые указания и наказания, попозже и донныне действуют скорее — и довольно сильно — механизмы косвенного давления.

Соблазн «возвышающего (или утешительного, спасающего, удобного...) обмана», в данном случае легендарно-героического образа большой войны, действует и «сверху» и «снизу», он удобен для многих людей и общественных групп. Довольно редкие (в основном локализованные конъюнктурными сдвигами) попытки избавиться от военно-героической мифологии доселе встречают сильнейшее, в том числе «внутреннее», «низовое», сопротивление. К тому же, как свидетельствует опыт последних десятилетий, разоблачение определенных мифологических структур отнюдь не выводит общественное сознание из мифологических рамок.

Ситуация 4: о цензуре и свободе мнений

В последнее время, в связи с известными переменами в условиях деятельности СМИ, в опросах общественного мнения неоднократно ставился вопрос об отношении к публичной разногласии в прессе и о возможности установления каких-то форм цензуры.

Согласно одному из всероссийских опросов 2001 года, 53% согласны с тем, что «для того, чтобы разобраться в происходящих событиях, необходимо знать различные точки зрения», 36% полагают, что «разногласия сбивает с толку, СМИ должны освещать события с единой, правильной точки зрения». По поводу публикации критических материалов о деятельности высших чиновников 42% опрошенных сочли, что «нужно говорить всю правду о нашей жизни, какой бы она ни была», но 41% предпочли бы «взвешенную» подачу такой информации, чтобы она не нанесла вреда стране, а по мнению еще 11%, «не следует пугать людей всякими ужасами и разоблачениями», дабы люди больше думали «о хорошем, о наших успехах».

Цензуру (предварительную проверку) публикаций СМИ ради сохранения общественной нравственности склонны поддержать 77%, ради «объективности информации» — 62%, для защиты высокопоставленных деятелей от резкой критики — 25%, для недопущения сообщений, «несовместимых с государственной идеологией и политическим курсом», — 29%. Как видим, значительная часть — но все же меньшинство населения, преимущественно люди «старой закалки», пожилые — предпочитают «дозированную» правду и не задумываются о том, какие социальные коннотации (предпосылки и последствия) означает допущение цензурного контроля. При этом явный политический контроль большинством отвергается (скрытый политический нажим и контроль над СМИ, как показывает опыт последних лет, то же большинство не замечает или не хочет замечать).

В любом случае вопрос о цензуре имеет две стороны: что нам «позволют» видеть и на что мы сами согласны закрывать глаза — ради

собственного спокойствия и ради сохранности привычных символических структур.

Дополнительная иллюстрация: «правда необходимая» и «правда опасная»

Одно из недавних (май 2002 года) региональных исследований дает дополнительный материал к пониманию трактовки термина «правда» в общественном мнении. (Полученные данные не являются строго репрезентативными для населения страны, но показывают некоторые характерные для него распределения установок.)

Таблица 1. «Важно ли знать правду...»

(Май 2002 года, N=1000, % от числа опрошенных)

	Во что бы то ни стало мы должны знать всю правду об этом (1)	Если такая правда может дестабилизировать положение в стране, лучше ее не знать (2)	Затрудняюсь ответить	«Индекс» (1:2)
О «сталинских репрессиях» 1930-х годов	65	32	3	2,0
Об Отечественной войне 1941–1945 годов	78	21	2	3,7
Об экономическом положении России	80	17	3	4,7
О деятельности ФСБ и других спецслужб	55	40	5	1,4
О коррупции в высших эшелонах	74	23	4	3,2
О Путине и его окружении	72	24	4	3,0

Подавляющее большинство во всех выделенных ситуациях настаивает на том, чтобы знать «всю правду». Примечательно, что на первых местах по важности — сугубо актуальные темы (экономика, коррупция, президент) и, естественно, Отечественная война. Менее всего волнуют людей деятельность нынешних спецслужб, а из исторических событий — репрессии 30-х годов. Последние две упомянутые позиции явно соотносятся друг с другом: миновало время разоблачений, адресованных НКВД-КГБ. Относительно больше интерес к историческим событиям, равно как и к экономическому положению и коррупции в возрастной группе 40–54 лет, у высокообразованных, у демократов (голосовавших за Г. Явлинского на президентских выборах). А правду о В. Путине чаще хотели бы знать среди старших групп и среди менее образованных, голосовавших за Г. Зюганова. (Легко предположить, что «правда» в данном случае в значительной мере выступает как «разоблачение», которое скорее интересует оппозиционно настроенных людей.) О войне знать правду больше всего хотели бы люди старше 40, с высшим образованием, голосовавшие за Явлинского, т.е. традиционные носители демократических установок.

О какой «правде» идет речь?

Как уже отмечено, приведенный выше набор примеров позволяет судить лишь о том, как чаще всего воспринимается соответствующая категория в общественном мнении. Разумеется, в массовом опросе категории задаются исследователями, но респонденты реагируют на них в соответствии со своими установками. Поэтому имеется возможность отметить основные особенности восприятия массовым сознанием категории «правды».

Во-первых, речь почти всегда идет об «ограниченной» правде, отнесенной к определенному явлению, событию, поступку. Следы тревожившей поколения философствующих мыслителей Правды-Истины, равно как и придуманной отечественными моралистами Правды-Справедливости, здесь трудно обнаружить. Эта правда чаще всего ситуативна, прагматична («правда-польза»).

Во-вторых, эту правду не «мы» ищем, добываем, формируем, а *нам «спускают»* (как и прочие указания, разрешения, запреты и пр.) — это правда, которую «нам» говорят. Общественному мнению остается лишь принимать, что дают, или просить чуть больше.

В-третьих, за обретение правды сплошь и рядом принимается *разоблачение* разнообразных неправд, разрушение запретов и т.п.

Последняя тема заслуживает более пристального рассмотрения.

Соблазн и опасность «разоблачительной» полуправды

Иллюзия «прорыва» к правде-истине — одна из основ гласности. Падение запретов на слово и мысль означало в те пьянящие времена прежде всего (или — всего лишь...) обретение долгожданной возможности отличать уже распадающуюся систему, ее идеологические фантомы — и собственные иллюзии. На этом держался самиздат, а потом и вся «перестроечная» литература различного уровня и достоинства. Понятно, что это был необходимый — более того, единственно возможный в наличных исторических, политических, человеческих координатах — шаг на пути к реальному изменению общественного сознания. К тому же шаг, имевший за собой большую историческую традицию (достаточно сослаться на российско-интеллигентскую линию обличительства, восходящую к Чаадаеву, Герцену и др. Кстати, господствовавшая партийно-советская догматика в значительной мере строилась на постоянных обличениях идейных противников, отступников и вообще всех «чуждых»). Но давно стало очевидным, что разоблачение навязанной и привычной «неправды» (фальши, лжи, самообмана) далеко не означает обретения «новой», «подлинной» правды, более того — может открывать дверь новым иллюзиям, новому самообману, а то и всеобщему разочарованию и отчаянию.

Если взять, в самых общих чертах, социальную генеалогию самой процедуры «разоблачения», то нетрудно заметить, что в ее основе — представление о некоей «скрытой» под оболочками запретов и фальши правде-истине, которую требуется найти и освободить от оков. Иными словами, перед нами явный суррогат *мифологической* схемы обретения правды или Истины с большой буквы, который действует на основе и в рамках мифологического мировоззрения и его фольклорных реплик.

Существенная особенность мифологических представлений состоит в том, что они не поддаются рациональной критике. Миф нельзя опровергнуть, можно лишь «уйти» от него, перейдя на иную систему мировоззренческих координат. И, естественно, «расколдовав» (в терминологии М. Вебера) сам механизм существования-возрождения мифологических структур общественного сознания. Никакое обличение этого не делает.

Так, демонстративные обличения Сталина и сталинизма на пике хрущевской «оттепели» 1956–1961 годов не могли привести к крушению общественно-политической системы не только потому, что были неглубокими, непоследовательными, своекорыстными (направленными на оправдание существующей системы и ее очередных лидеров) и пр., а прежде всего потому, что совершались в рамках и категориях господствовавшего социального мировоззрения. Серия социально-политических разоблачений, начатых осторожной критикой эвфемизма «культ личности» после XX съезда партии, вылилась в мучительно-растянутый и прерывистый переход от разоблачения «неправильного» вождя к критике «извращений» строя и много позже, в другом поколении — к обличению самого строя и уже всех его лидеров. Результатом на каждом этапе являлась «полуправда», одновременно соблазнительная (как якобы легкий путь к «правде») и опасная, поскольку ориентирована она была на то, чтобы превратить ближайший «полустанок» обличительной критики в ее конечный пункт (за примером достаточно обратиться к пресловутому «застою»). По самой своей природе никакое обличение не может «идти до конца», так как процедура обличения конца не имеет. Но еще важнее то, что никакое разоблачение еще не дает нам реальной «правды» — ни нового знания, ни новых рамок самоопределения. Даже самый радикальный — по намерениям — разрыв с прошлым, со старыми мифами — не означает «прорыва к правде» и тем более — обретения этой «правды». Тем более что разрыв с прошлым никогда в социальном и человеческом мире не бывает радикальным².

Любая полуправда может выступать и как «полужошь», которая стремится выглядеть правдой, но может и служить точкой поворота назад, к «большой лжи». С этим очевидно связана наблюдаемая в последние годы тенденция массового отката от критических завоеваний времен гласности и перестройки (улучшение оценок советского периода и тогдашних деятелей и т.д.). Вот здесь-то и место для все более громогласного «возвышающего (унижающего) обмана».

Опасная слабость всякого обличения — которое, конечно, может на первых порах играть роль стимулятора, фермента общественного возбуждения — в том, что оно быстро утрачивает и свой критический заряд, и свое влияние на общественные настроения. Примеры слишком близки, чтобы их указывать. Остается либо апологетика наличного состояния, либо всхлипы растерянного отчаяния — весьма типичная современная дилемма в ситуации, когда равнодушную массу уже нельзя «накормить» ни обещаниями, ни обличениями (оставим за скобкой специфический интерес к скандалам и сплетням невысокого пошиба).

Не потому ли при описании компонентов патриотизма требование «говорить о нашей стране правду, какой бы горькой она ни была», согласно одному из опросов 2000 года, менее всего поддерживают самые молодые (10% при среднем 12%) и наиболее образованные (всего 7%)? Видимо, правда понимается опять-таки как некое гневное разоблачение (ср. популярную формулу такой процедуры «резать правду-матку»). А общая мода на раздевание «голых королей» прошла — и, видимо, безвозвратно.

Ведь когда известный герой М. Булгакова утверждал, что «говорить правду легко и приятно», речь шла не о гневных обличениях

2

«Даже там, где жизнь меняется стремительно и резко, как, например, в революционные эпохи, при всех видимых превращениях сохраняется гораздо больше старого, чем полагают обыкновенно. И это старое господствует, объединяясь с новым в новое единство» (*Гадамер Х. Истина и смысл*. М., 1991. С. 335).

в духе старых пророков, а о правде некоего нового понимания мира и человека. И Коперник победил не обличением системы Птолемея, а созданием новой концепции небесной механики.

Подлинная альтернатива «старой» реальности, в том числе и старой идеологии, мифологии — не гневные обличения, а переход к иной системе координат, т.е. критериев, ценностей, установок и т.д. Только обретение такой системы может дать надежную точку опоры и для критического преодоления наследия прошлых эпох. Причем эту «точку» нельзя найти или открыть, ее можно лишь создать — сформировать, определить, освоить. Беда «прекрасных порывов» ранней перестройки в том, что никто не сумел сконструировать и предложить обществу какую-либо принципиально иную модель социальной системы и социального миропонимания (через 10–12 лет, когда порывы утратили смысл, уже в эпоху всеобщего разочарования, власти решились говорить о мировой общности и демократии западного типа). В значительной мере отсюда неуверенность и нескончаемые метания на всех уровнях, сверху донизу.

Теперь пора вернуться к методологическому началу предложенных рассуждений — проблеме определения и судеб исходных понятий.

От Истины — к «пользе»?

Пламенный панегирик Истине, сочиненный Гегелем, приведен в эпиграфе к настоящей статье. Ключевое слово здесь очевидно должно и по-русски писаться только с большой буквы, потому что речь идет не о каких-то банальных «правильностях», а о едином смысле, охватывающем все и вся, выражающим все «действительное и разумное» («неразумное», случайное знаменитый философ просто объявлял недействительным). Все движение человеческого разума и истории оказывалось направленным на достижение этой Истины. Позднейшая философская мысль, опиравшаяся на классическую традицию (прежде всего рационализм, материализм, эволюционизм XIX века), попыталась спустить категорию истины с неба на землю, объявляя ее воплощением науки, технического и общественного прогресса, «передовой» класс и др., — причем и приземленная истина сохраняла некоторый налет сакральности, открывалась лишь тем, кто в нее верил. Вопреки радикальным ожиданиям середины того наивно-прогрессистского по своим ориентациям века, материализованная универсальная истина не вытеснила христианские трактовки этой категории, но лишь нашла место рядом с ними.

По словам английского мыслителя И. Берлина, со времен высокого Просвещения считалось, что «мир был единым, умопостигаемым целым», что «истина равно очевидна повсюду и для всех разумных созданий». «...Даже те, кто не верил в бессмертие или в Бога, были готовы страдать и умереть за истину, ибо найти истину и жить согласно ей — было конечной целью каждого. Такова была вера платоников и стои-

ков, христиан и евреев, мусульман, деистов и атеистов-рационалистов»³. Но, как с явной горечью констатирует этот автор, после конца Просвещения, особенно же в XX веке представления о существовании единой и общеобязательной Истины подверглись сомнению. По его мнению, на-

ционализм, фашизм, марксизм, каждый со своей стороны, выступили за утверждение своих, исключительных истин (национальных, расовых, классовых). Кстати, одним из первых сторонников идеи множественности взаимоисключающих истин был первый современный теоретик общественного мнения У. Липпман. Значительная часть работ уже цитировавшегося Х. Гадамера (1900–2002) посвящена основательной критике классических воззрений на Истину. В минувшем веке представление о единой и высокой Истине, спустившись с романтических высот на землю, поглощенную социальными проблемами и конфликтами, как бы разбилось вдребезги. Конец претендовавших на величие псевдосакральных идеологий во второй половине XX века (фашистской, марксистской) фактически поставил точку в этом процессе.

Стоит отметить, что первые шаги на таком пути практически везде воспринимались как возвращение к возвышенным идеалам. Отсюда псевдосакральные авторитеты и критерии политических культов, а также идола Прогресса, Равенства, Революции, Модернизации и т.д. и т.п. А идола требовали поклонения и жертв — как будто во имя достижения собственного успеха любой ценой.

Современное общественное мнение во всем мире имеет дело не с Истиной, а с многочисленными и соперничающими представлениями об удобных, модных, полезных, научных и т.д. «истинах» (во множественном числе и с малой буквы). В русской языковой традиции их чаще всего называют «правдами» (как известно, в английском, немецком, французском языках эти термины не различаются). В современном словоупотреблении сам термин «правда» имеет явно выраженный социальный смысл. Он действует преимущественно в рамках смысловой оппозиции «правда — неправда», как средство утверждения определенного социального значимого соотношения мнений, оценки и т.п. (Формулы типа «правда [такого-то] учения, лица и пр.» — заведомо несовременны, это наследие сакрализованной традиции.) «Правда» — это не просто то, что считается правильным в рациональном расчете или привычном суждении, этот термин всегда явно или неявно подвергается социальной «ратификации» — признанию соответствующего утверждения социально значимым, полезным, необходимым, т.е. занимающим определенное место в поле социальных координат, исполняющим требование некоторой социальной нормы. Это значит, что статус правды (в ее оппозиции с неправдой) имеет не какой-либо факт, событие и т.п., а его общественное значение, его интерпретация.

Многообразие «малых» правд, наблюдаемое в современных (и особенно в переходных) обществах, означает наличие «нормативного плюрализма», не сводимого к какой-либо единой «большой» Правде-истине. Однако это не означает, что господствует «нормативный хаос», всеохватывающая аноμία и т.п. Стоит вспомнить, что в конце XVIII века в просвещенных элитах был широко распространен страх нормативного распада, порожденный французскими событиями. Ситуация повторилась — в ином и значительно усиленном виде — в конце следующего, XIX века (тогдашний модернизм, мироощущение «конца века»). Сегодня о всеобщем нравственном кризисе говорят больше всего там, где с историческим запозданием происходит десакрализация нормативных систем и связанное с этим «приземление» господствующих социальных норм. Понятно, что это относится и к нашей стране, как будто надолго застрявшей на историческом перекрестке, где со-

шлись почти одновременно переоценка и десакрализация религиозных, политических, моральных критериев, казавшихся незыблемыми. (В этом перечне фигурирует и религия, так как наблюдаемое возрождение церковной жизни не возвращает ей функции высшего мировоззренческого и нравственного контроля в обществе.)

В обществах, прошедших подобные катаклизмы ранее (и в разные периоды), десакрализация и переоценка высших нормативных конструкций означала не только приземление «высших» нормативных структур, но одновременно и утверждение важности, серьезности «низших», обыденных, практически-ценностных и утилитарных уровней таких структур. Трудное избавление «человеческих» отношений от сакрального и псевдосакрального контроля происходит по мере того, как утверждается серьезность обыденного, впитавшего наследие длительной и многообразной культурной традиции. Наше общественное сознание пока — и не без оснований — зафиксировано на одной стороне этого процесса — на его трудности, мучительности, противоречивости. Отсюда и встревоженные суждения о релятивизации всех и всяческих нормативных критериев. Отсюда же и перипетии таких категорий, как «истина» и «правда» в общественном мнении.

Уместно завершить статью еще одной поэтической цитатой (из Н. Коржавина):

Но все масштабы эти помня,
Свои забыть нам не дано.
И берег — тверд,
Земля — огромна,
И жизнь серьезна все равно.

Фактор надежды

Надеяться — ...это частица авось, выраженная глаголом.

Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

Надежда — одно из самых употребительных и в то же время размытых обозначений социального самоопределения человека. Данные массовых исследований позволяют подойти к этому избитому словечку как к определенному термину, даже своего рода *категории* общественного мнения и общественного *поведения*, характеризующей некоторый тип «связи времен», отношения человека к изменяющейся ситуации, собственным действиям и ожиданиям. Основанием для такой трактовки служит достаточно высокий уровень распознаваемости самого термина в ряду других типов социального поведения, воспринимаемых в общественном мнении (устойчивость параметров и предсказуемость изменений соответствующей группы мнений, а также ее соотношений с сопряженными и противопоставленными поведенческими типами беспокойства, уверенности, отчаяния и пр.). Понятно, что в данном случае нас интересует надежда как категория *массового поведения*.

В пользу представления надежды как особого типа поведенческих реакций говорит и преимущественная ее связь с определенными моментами «обыденных» или «спокойно-неуверенных» общественных ситуаций. Поэтому масштаб и характер социально значимых надежд может выступать одним из показателей состояния общества (об этом — несколько позже).

В качестве определяющих можно выделить следующие черты интересующей нас поведенческой категории. Во-первых, это установка на позитивные, желаемые события. Во-вторых, это установка, действующая только в ситуации высокой неопределенности. И, в-третьих, это явная или неявная апелляция к какой-то внешней силе — от случая до авторитета. (Все эти моменты, по сути дела, включены в словарное определение В. Даля: надежда — «верящее выжиданье и призыванье желаемого, лучшего; вера в помощь, в пособие».)

Любая социальная ситуация включает элемент неопределенности, индетерминизма, поэтому доля сомнения, предположения, неуверенности содержится в любом социальном действии или решении. Вопрос в масштабах, значимости этого фактора, его «адресате». В нормальной ситуации никто не станет «надеяться» на то, что в булочной будет продаваться хлеб, а поезд уйдет по расписанию; в ненормальной, катастрофической ситуации упование на «авось» приобретает значение. В различных общественных условиях апелляция к «помощи» может быть адресована к сакральным и социальным авторитетам, институционализированным или персонифицированным.

Фактор надежды действует как средство адаптации человека к ситуации социальной неопределенности, причем и здесь адаптация может быть возвышающей, понижающей, примитивизирующей и пр. В любом

случае этот фактор ограничивает неопределенность человеческого действия, поскольку сужает круг возможностей его активного рационального поведения.

В анкетных опросах надежда часто относится к разряду «чувств». Это не вполне точно: надежда — довольно сложная поведенческая реакция, установка на определенный тип деятельности, отношения к своим и внешним силам, к ситуации, к будущим событиям и последствиям социальных акций...

По характеру своего действия фактор надежды аналогичен фактору беспокойства, тревоги, т.е. неуверенного ожидания *нежелательных* событий или последствий. Тот и другой занимают «средние» позиции между оптимистической *уверенностью* и полным *отчаянием* — но как бы в разных направлениях по отношению к условному «центру».

Обращаясь к эмпирическим данным массовых опросов, следует принимать во внимание, что фактор надежды нередко выступает и под «псевдонимом» позитивных предположений или ожиданий, т.е. тождественных по смыслу терминов. (На практике ожидания далеко не всегда относятся к позитивным, поэтому для их оценки целесообразно пользоваться индексами соотношения позитивных и негативных вариантов.)

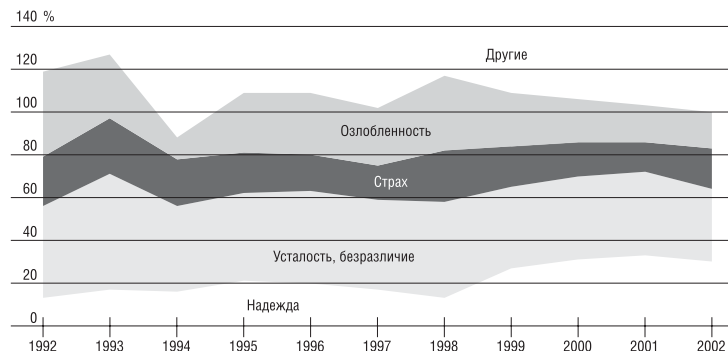
Место надежды

Место надежды в наборе социально значимых поведенческих установок можно представить по ответам о «чувствах, которые появились, окрепли» за прошедший год.

Как видно из рисунка 1, до конца 1999 года показатель надежды занимал менее одной пятой в ряду социальных эмоций (поведенческих установок) населения, в последующие годы замечен некоторый, не вполне уверенный его рост. При этом по своему месту он значительно уступает наиболее распространенной установке на «усталость, безразличие».

Рисунок 1. «Какие чувства появились, окрепли у окружающих Вас людей?» 1992–2002

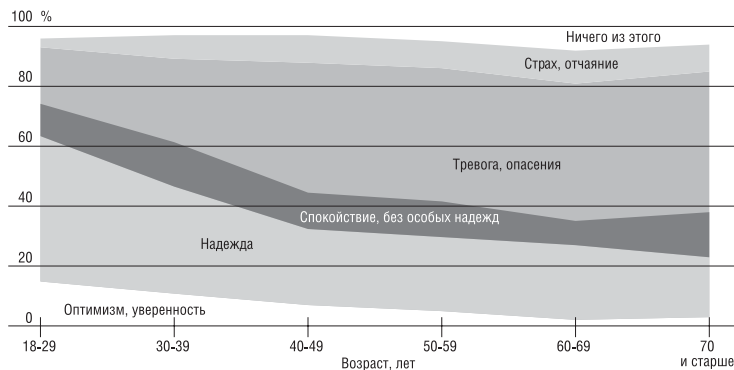
(N=1600 человек, % от числа опрошенных)



Примечание: сумма позиций опрошенные указывали более превышает 100%, так как одного варианта ответа.

Рисунок 2. «Что Вы испытываете, думая о будущем?»

(Декабрь 2002 года; N=1600 человек, % от числа опрошенных, по возрастным группам)



Эта диаграмма позволяет сопоставить восприятие фактора надежды с несколько иным набором вариантов поведенческих установок. Обращают на себя внимание соотношение показателей надежды и «оптимизма, уверенности» (в пользу «неуверенной» надежды), а также примерное равенство надежды и ее «негативного» аналога — «тревоги, опасений».

Горизонты надежд

В данном случае предметом рассмотрения служат данные, относящиеся к упомянутым выше «псевдонимам» фактора надежды, т.е. ожиданиям и предположениям в отношении будущего состояния дел в стране, в жизни людей. Показательно существенное различие в оценках ближайшего, «зримого» будущего и более отдаленного, «воображаемого».

Ожидания в отношении ближнего будущего оказываются весьма сдержанными и неустойчивыми, а ожидания в отношении более отдаленного будущего, например положения через пять лет, имеют совсем иной характер и иную динамику.

Таблица 1. «Каким будет через 5 лет материальное положение Вашей семьи по сравнению с нынешним?» 1996–2001

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	1996, июль–август	1997, январь	1998, март	2000, февраль	2000, февраль	2001, июнь
Намного лучше	7	6	6	8	6	6
Несколько лучше	32	20	21	28	38	29
Примерно такое же	36	42	45	47	44	44
Несколько хуже	16	19	18	10	9	13
Намного хуже	9	13	11	6	4	8
Индекс «позитива»*	1,56	0,81	0,93	2,25	3,38	1,19

* Соотношение позитивных и негативных ожиданий.

Как видим, до 1997 года и после начала 2000-го в перспективных ожиданиях преобладает надежда на улучшение положения семьи. Правда, после взлета надежд к началу 2000 года (перемены в эшелонах власти) уровень соответствующего показателя заметно снизился.

Обратимся теперь к вопросу о том, как фактор надежды действует в различных группах населения. Ограничимся преимущественно группами по доходам (в субъективных оценках).

Таблица 2. «Как изменится в течение ближайшего года материальное положение Вашей семьи?»

(Январь 2003 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой группе)

Нынешнее положение	Улучшится	Без изменений	Ухудшится	Затрудняюсь ответить
Хорошее*	40	53	4	3
Среднее	28	56	8	8
Плохое	13	51	30	6
Очень плохое	23	35	30	12

* Данные о группе оценивающих свое положение как «очень хорошее» не приводятся ввиду крайней малочисленности.

Не лишено интереса сопоставление этих данных с представлениями о положении страны через год.

Таблица 3. «Как изменится в течение ближайшего года экономическое положение России?»

(Январь 2003 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой группе)

Нынешнее положение	Улучшится	Без изменений	Ухудшится	Затрудняюсь ответить
Хорошее	44	40	9	7
Среднее	30	50	15	5
Плохое	16	48	29	7
Очень плохое	10	49	33	8

Решительно никаких заметных различий в таблицах нет, этим их сравнение и интересно. Можно сделать два предположения на этот счет: либо мы имеем дело с «полностью социализированными» людьми, которые собственное ближайшее будущее рисуют по образцу общегосударственного, либо — что куда более вероятно — этот последний образец представляют по своим личным, семейным ожиданиям.

Приведенные данные обнаруживают одну весьма существенную особенность оптимистических надежд в современном российском обществе: их носителями являются преимущественно *благополучные, имущие* группы населения. (Это относится также к ресурсно более богатым — молодым, образованным, квалифицированным.) Обделенные ресурсами обделены и надеждами и чаще всего не рассчитывают на улучшение собственного положения. Социальный оптимизм оказывается столь же резко дифференцированным, как и личное благосостояние человека.

Фактор надежды, таким образом, действует преимущественно на ориентации молодых и явно утрачивает свое значение с возрастом. Как, впрочем, и будто бы иной по своей природе фактор «уверенности», т.е. расчета, рациональности действия. (Видимо, «уверенность» в значительной мере является всего лишь более самонадеянной надеждой.) Заметно также некоторое повышение уровня (или значимости) надежд у лиц самых старших возрастов, лишенных возможности активно и уверенно действовать. Правоммерно предположить, что под шапкой надежды в социальном поведении выступают *различные* установки.

Можно усмотреть, во-первых, различия в *ориентации* надежды — например, на неухудшение нынешнего положения, на его улучшение, на переход в более высокий статус или на сохранение некоторого минимально допустимого уровня его вынужденного понижения, на сохранение наличного уровня или присвоение новых социальных ресурсов. А также на то, чтобы избежать бедствия, эти ресурсы разрушающего. (Наиболее распространенная из отечественных сакрализованных надежд выражена, скорее всего, формулой «пронеси, Господи».) Во-вторых, имеют значение различия в степени активности самого субъекта надежд — для одних это неуверенный расчет на собственные силы, для других — ожидание помощи со стороны, от более сильных, от социальных институтов и пр. Понятно, что отмеченные выше «возрастные» параметры надежды связаны прежде всего с различиями ее типов. Кстати, в поле социологического анализа практически не попадают собственно сакральные составляющие надежды (на спасение души).

«Время надежд»

В индивидуальном (онтогенетическом) плане наибольшее значение, как мы видели, имеют надежды в наименее активных возрастных группах, где рациональная и ответственная деятельность либо еще впереди, либо уже позади — и где люди менее всего могут надеяться на самих себя, точнее, рассчитывать на собственные силы. Но имеются и определенные особенности периодов общественной жизни, которые характеризуются повышенным уровнем надежд. Скорее всего, это периоды невысокой активности, умеренных ожиданий, угасших иллюзий. Время общественных потрясений, переворотов, катастроф, упрощающей мобилизации сил и т.п. — это время ослепляющего фанатизма, социальной самоуверенности (в зависимости от результатов ее могут потом называть ложной, иллюзорной), но отнюдь не время неуверенных надежд и спаренных с ними опасений. Когда мобилизационные ресурсы исчерпываются, естественно возрастает роль упований на другие силы или, по меньшей мере, на отсутствие катастроф.

Определенный перелом в общественных настроениях произошел осенью 1999 года, он выглядел давно ожидаемым — после ряда лет заметного преобладания установок на отрицательные перемены как в политике, так и в экономике. Собственно, именно это долгое ожидание смены караула на высшей государственной должности и послужило источником первоначальных надежд на изменение ситуации с появлением нового руководителя. Поэтому можно полагать, что осенью 1999 года произошел не столько поворот в массовых ожиданиях, сколько инкарнация давно выношенной в общественном мнении иллюзии относительно «твердой руки», «новой метлы» и тому подобных фольклорно отработанных стереотипов. Если взять такой важнейший компонент перелома в общественных настроениях, как переход от «мирных» настроений к «воинственным» в отношении Чечни, то здесь тоже не обнаруживается никакого внезапного поворота. Ни решительных антивоенных настроений, ни тем более серьезных антивоенных движений в России и во время первой чеченской войны (1994–1996) не существо-

вало, а преобладавшие в массовых настроениях усталость, разочарование в возможности достижения быстрого успеха, горечь потерь и неудач активизировались и тем создали — правда, как мы знаем сейчас, ненадолго — доминанту мобилизационных настроений в обществе. Противоречивая эрозия этой атмосферы на протяжении последних двух с лишним лет составляет важное звено наблюдаемых сдвигов, в том числе и в общественных ожиданиях.

Надежды и успехи: соотношение и динамика

Наблюдаемый в последние годы разрыв между видимым по данным исследований общественным мнением уровнем массовых надежд (преимущественно в отношении президента В. Путина) и показателями перемен в различных сферах жизни столь очевиден, что создает впечатление чуть ли не сверхстабильности самих подобных надежд, их независимости от реально действующих факторов. Однако анализ накопленных данных исследования показывает, что даже самые устойчивые социальные надежды и иллюзии массового сознания имеют свои ограничения. Если не прямо, то через ряд опосредствующих механиз-

Рисунок 3. «Надеетесь ли Вы, что В. Путин сможет навести порядок в стране?»
(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

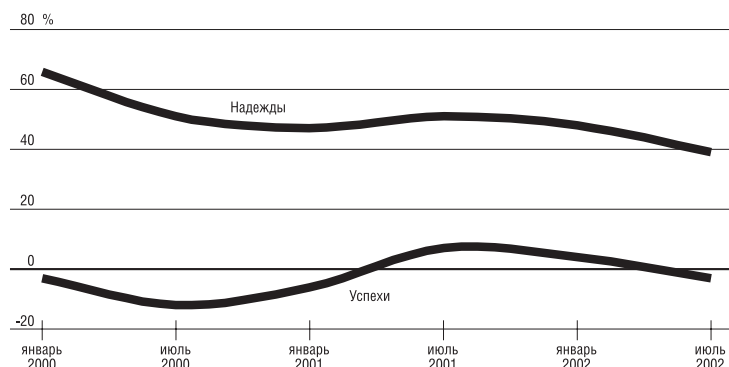


Рисунок 4. «Надеетесь ли Вы, что В. Путин сможет вывести российскую экономику из кризиса?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

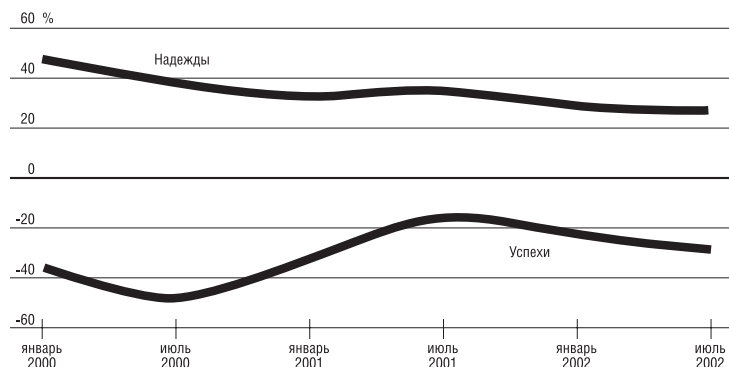
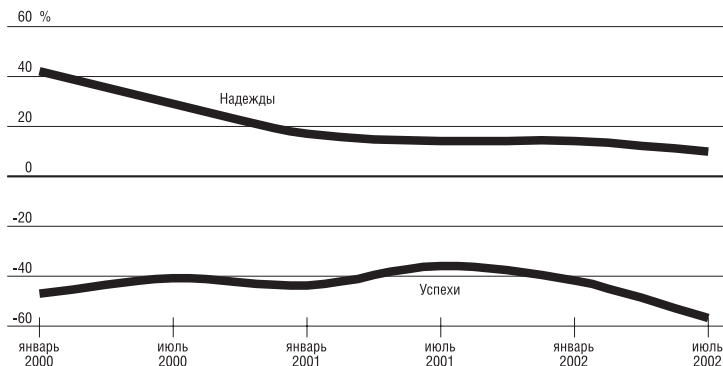


Рисунок 5. «Надеетесь ли Вы, что В. Путин сможет добиться решения чеченской проблемы?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)



Примечание (рис. 3–5):

«Надежды» – разность между имеющими надежды и не имеющими их.

«Успехи» – разность между указывающими успехи и не видящими их.

мов они испытывают воздействие успехов, тревог, опасений и прочих обстоятельств общественной жизни.

В качестве образцов динамики показателей надежды и примыкающих к ней установок представляется удобным рассмотреть регулярно отслеживаемые оценки успехов действий президента В. Путина в различных сферах и уровня социальных надежд, относящихся к этим действиям (рис. 3–5).

В общественном мнении показатели надежд постоянно выше показателей успехов, со временем разрыв несколько уменьшается. Но обе траектории изменения как бы сопряжены друг с другом в своих колебаниях. Вряд ли можно усматривать в этой тенденции что-то наподобие истощения ресурсов надежды, скорее происходит постепенное вытеснение иллюзорных надежд более реалистичными, зависимыми от успешности их осуществления.

В задачу настоящей статьи входил лишь методологический анализ фактора надежды как категории или установки массового поведения. Материалы исследований различных сторон общественного мнения в России за последние годы позволяют сформулировать и подтвердить ряд предположений об особенностях действия этой категории.

Анализ материала исследований позволяет отойти от эмоционально-упрощенной трактовки социальных надежд как иррациональных, недетерминированных и непредсказуемых феноменов. Основные тенденции динамики, подъема и спада массовых надежд в различных обстоятельствах могут быть предметом разностороннего изучения.

Как представляется, фактор надежды (позитивных ожиданий) исполняет существенные и относительно устойчивые функции в кругу узловых конструкций общественного мнения, имеет свои эмпирические референты и сопряженные установки в массовом сознании. Наблюдаются характерные взаимовлияния показателей социальных надежд, успехов, тревог, отсюда варианты сопряженности и антикорреляции их динамики.

В последнее время проблемы российской коррупции интенсивно обсуждаются экономистами, юристами, политологами и социологами как в нашей стране, так и за рубежом. Не подлежит сомнению, что масштабы распространения коррупции и ее влияние на экономику, политику, внешнеэкономические отношения в последние годы существенно увеличились. Об этом свидетельствуют нескончаемые скандальные разоблачения и судебные разбирательства (чаще всего — безрезультатные) в отношении крупных чиновников и бизнесменов, обвиняемых в незаконном присвоении государственного имущества, корыстном использовании зарубежных кредитов и инвестиций, «отмывании» огромных денежных сумм в западных банках и т.д. Подтвердить или опровергнуть такие обвинения бывает весьма трудно, потому что в установлении истины часто не заинтересованы российские политические и судебные власти, опасющиеся компрометации многих чиновников высокого ранга. Кроме того, обвинения в коррупции иногда используются для преследования политических оппонентов и критиков правительства.

В июне–июле 2000 года ВЦИОМ в сотрудничестве с Московской школой политических исследований и Международным республиканским институтом (США) провел широкий опрос, чтобы выяснить отношение населения к различным аспектам коррупции в современном российском обществе. Опрос проводился по всероссийской репрезентативной выборке 1600 человек, охватывающей все основные регионы

и слои городского и сельского населения страны¹. Полученные результаты позволяют лучше представить масштабы коррупции в различных сферах жизни, а также причины терпимости значительной части населения к этому явлению.

¹ Все данные, приводимые в настоящей статье без специальных оговорок, получены в этом исследовании.

Возможности опроса общественного мнения в изучении проблемы коррупции ограничены, во-первых, полем зрения «массового» человека, а во-вторых, распространенностью стереотипов восприятия феномена коррупции. Но значительную ценность имеют массовые представления относительно коррумпированности различных институтов или профессий, распространенности различных форм подкупа и вымогательства, обусловленные непосредственным опытом респондентов. В общественном мнении откладываются прежде всего не политические или юридические, экономические, а «человеческие» аспекты коррупции — готовность массового человека отвергать или принимать условия коррумпированного существования, мера вынужденного приспособления к этим условиям. По сути, дела речь идет о *коррумпированности* самого человека в корруптивных общественных условиях.

Феномен коррупции (в исходном смысле — подкупа, вымогательства, взяточничества) обсуждается и осуждается в России на протяжении по меньшей мере трех последних столетий. Многочисленные при-

звыки к «искоренению» и кампании «борьбы», которые имели место за эти столетия, при совершенно разных общественных и политических системах — со времен Петра Великого до ранних и поздних периодов существования советской системы — оказывались равно неуспешными. По оценкам опрошенных, действия нынешнего российского президента В. Путина по ограничению произвола коррумпированных чиновников и бизнесменов пока приносят мало успехов.

Что такое коррупция?

Исходный, простейший смысл термина «коррупция» — подкуп, продажность чиновников, которые берут деньги в собственных корыстных интересах. Но нынешний феномен коррупции, в частности в России, явно не сводится к такой простой характеристике. В корруптивные акции вовлекаются не только чиновники разных рангов (от начальников различных ведомств до рядовых клерков, инспекторов, сторожей и т.д.), но и преподаватели, журналисты, врачи — все, кто обладает привилегией оказать или не оказать определенную услугу, разрешить или запретить, ускорить или замедлить исполнение какого-то важного для «соискателя» дела (а также сделать его получше или «обычно» и т.д.). Не обязательно коррупция означает прямое нарушение законного порядка: нередко, скажем, взятку вымогают за самую простую и совершенно законную услугу (выдачу справки, разрешения). К тому же при самом совершенном законодательстве и регламентации — от чего наша жизнь, как известно, довольно далека — всегда имеются какие-то люфты, зазоры, которые могут пониматься и использоваться по-разному. В коррупционной сделке не всегда фигурируют деньги (или другие материальные блага). Как и во всей российской экономике, во многом далекой от современных рыночных принципов, здесь широко применяется бартер — обмен услугами. Причем к услугам можно отнести, например, исполнение незаконного приказа в «обмен» на благорасположение руководящего лица; обмен услугами в такой ситуации осуществляется как бы «по вертикали» зависимости. Кроме того, мотивация коррупции может быть связана не только с лично-корыстными интересами, но и с корпоративными, фирменными, ведомственными. И в советских, и в постсоветских условиях корпоративные ориентации всегда были не менее важны, чем противостоящие им (и связанные с ними) индивидуальные.

Феномен коррупции представляется довольно сложным и — по крайней мере, потенциально — всепроникающим. Это не значит, что все и везде намеренно погрязли в коррупции или непосредственно страдают от нее. Дело в том, что здесь перед нами один из характерных элементов определенного социального механизма (его «сочленений», «узлов», «регуляторов», «энергетических ресурсов») в определенных условиях его деятельности. В той или иной степени коррупция пронизывает различные сферы общественной жизни современной России.

Чаще всего к коррупции население относит получение взяток чиновниками разного уровня, подкуп государственных служащих, «блат, кумовство» (использование родственных и других личных связей при устройстве на работу, получении выгодного заказа, неоправданных льгот и привилегий), лоббизм.

Ответы на вопрос «Что такое коррупция?» распределились следующим образом.

Таблица 1. «Что такое коррупция?»

(% от числа опрошенных)

Расхищение государственной собственности, воровство	41
Содействие чиновниками коммерсантам в заключении выгодных для тех сделок за вознаграждение, долю в прибыли	10
Содействие чиновниками коммерсантам в уменьшении налогов или в уклонении от налогов, пошлин, других выплат в государственный бюджет	6
«Проталкивание» на важные должности «нужных людей»	12
«Проталкивание» чиновниками нужных решений (лоббизм)	7
Использование должностными лицами своего положения для личного обогащения	22
Взяточничество	28
Взяточничество в высших органах власти	24
Взяточничество муниципальных чиновников, инспекторов дорожного движения	8
Круговая порука чиновников	13
Сращивание государственного аппарата с криминальным миром	19

Примечание: сумма превышает 100%, поскольку некоторые респонденты указывали более одной позиции.

Массовые представления о коррупции питаются различными источниками — личным опытом (непосредственным и косвенным, т.е. суждениями знакомых и пр.), стереотипами массмедиа, сложившимися установками в отношении государственных институтов и т.д. В любом варианте в центре внимания оказывается преимущественно хорошо заметная «верхушка айсберга»; скрытые от внешнего наблюдения конструктивные элементы феномена фиксируются редко.

Заметно в то же время, что опрошенные склонны относить к коррупции целый ряд негативных, «ненормативных» акций разного рода или таких, в которых коррупция присутствует в качестве одного из элементов (расхищение государственного имущества, бюрократические процедуры, связи чиновников с организованной преступностью, нецелевое расходование средств и др.) В каждом из таких действий в качестве составной части может присутствовать и взятка, подкуп, вымогательство, но они не определяют весь характер происходящего нарушения.

Характер корруптивной сделки

Как можно полагать, определяющим признаком корруптивного действия является особый тип социально значимой *сделки*.

Корруптивная сделка — это прежде всего сговор (явный или неявный, вполне или не вполне осознанный) о некотором нарушении принятой нормы, правила, традиции, установленного порядка. Грубо говоря, с помощью взятки приобретают не товар, услугу, заказ и т.п., а некую (незаконную, запретную или незаконно установленную) льготу, привилегию на приобретение товара или услуги. Поэтому подкуп принципиально отличается от покупки. *Покупают* товар, благо, продукт труда. *Подкупают* продавца, сторожа, распределителя монопольного или дефицитного блага. В классических экономических моделях поведения, восходящих к А. Смиту, в любом акте купли-продажи (товара, услуги, труда) партнеры исходят из своих собственных интересов.

В нормальных, устойчивых экономических отношениях выступают на первый план долгосрочные интересы, которые могут реализоваться только с учетом интересов других субъектов действия и общезначимых норм. Регулярное экономическое поведение, в принципе, строится по универсально применимым образцам. Корруптивная сделка, в отличие от такого образца, всегда строится на краткосрочных, моментальных и сугубо партикулярных интересах участников (схватить, что удастся, не задумываясь о дальних последствиях). Она всегда нарушает или обходит общепринятые нормы и чужие интересы.

К тому же, если покупка (при понятных оговорках) может рассматриваться как самостоятельное действие, приводящее к переходу нужного блага в другие руки, то подкуп — всегда действие дополнительное, подсобное, которое лишь создает условия для такого перехода. Это, разумеется, содержание сделки с позиции «подкупающего» (взяточдателя), нуждающегося в данном благе. Для «подкупленного» (взяточполучателя или вымогателя) корруптивная сделка означает получение дополнительного выигрыша от незаконного использования своего положения сторожа, распределителя и т.п. (О «дополнительности», конечно, говорится в смысле сопоставления функций, а не размеров соответствующих затрат или выигрышей.) Если рассматривать корруптивное действие как выполнение некоторой «работы», то эта работа совершается не за зарплату, не по долгу, не по принуждению, не по приказу, а за дополнительную приплату как цену нарушения нормы.

В любом случае корруптивная сделка играет роль дополнительного механизма (триггера, включателя), который приводит в движение, направляет или тормозит какие-то потоки социально востребованных благ, услуг, действий.

Особая проблема — кто и когда (какой тип социальной системы) допускает существование такого механизма, более того, *нуждается* в нем.

В механизме корруптивного акта могут использоваться как «подкрепляющие» санкции (обещание вознаграждения), так и «угрожающие» (угроза лишения дохода, статуса). Возможности у них неодинаковые: побудить к нарушению какого-то запрета можно и с помощью подкрепления, и с помощью запугивания, но побудить сделать что-либо лучше, видимо, можно только дополнительным поощрением.

«Вертикали» корруптивной сделки

В принципе участники любой корруптивной сделки заведомо неравноправны. На одной стороне, «сверху» — обладатель некоего исключительного права (привилегии), на другой, «снизу» — проситель, желающий или вынужденный пользоваться чужой привилегией (сделка «начальник — подчиненный» — частный случай такой ситуации). Инициатива сделки может при этом исходить как сверху, от обладателя (вымогательство), так и снизу, от просителя («просто» подкуп). Причем «верх» и «низ» определяются позициями именно в рамках данной сделки, а не социальным статусом или уровнем дохода и пр.; скажем, богат, подкупающий сторожа, чтобы получить доступ на склад, занимает в такой сделке «низшую» позицию.

Корруптивная сделка всегда организована «вертикально», потому что по своему определению предполагает «нормативный переход», нарушение установленной нормы, запрета, привычки.

Но, пожалуй, наиболее наглядно принципиальное различие позиций участников корруптивной сделки в ситуациях группового или массового подкупа. И не только в экономической сфере: технологии массового подкупа потребителей и избирателей достаточно близки. Содержание типичной корруптивной сделки выражена в формуле, приводившейся в свое время популярным американским психологом Вэнсом Паккардом: «Мы не товар продаем, а потребителей покупаем». Общая схема «подкупающей» сделки сводится к тому, что потенциальному покупателю (в некоммерческих вариантах — зрителю, избирателю) предлагается некоторая «приманка» (подарок, обещание), исполняющая функции пускового, триггерного механизма, способная побудить колеблющегося потребителя сделать определенный выбор. Адресатом коммерческого или политического соблазна может быть, естественно, только группа, не имеющая устойчивых склонностей или соответствующих антипатий, — та самая середина, «болото», которая может создать необходимый перевес, особенно в ситуации «сумеречного» массового выбора, при отсутствии устоявшихся политических симпатий, неясности ориентиров.

Популистская политика, столь часто востребуемая в электоральные и кризисные периоды — рассчитанная на соблазн (или также запугивание), на использование массовых, чаще всего не слишком возвышенных страстей, — типичный пример массового политического подкупа. Одна из особенностей его механизма состоит в том, что он направлен не столько на какое-то множество людей, сколько на создание такой общественной атмосферы (восторга или страха — не столь важно), в которой с большей вероятностью люди склоняются к требованию от них варианту поведения.

Массовый подкуп, как экономический, так и политический, как и любая иная корруптивная сделка, — транзакция «о двух концах». Компания, подкупающая массового потребителя, не только манипулирует его поведением, но и зависит от него, пытается угодить его вкусам. Аналогичным образом оказывается зависимым от общественного мнения политик (со всеми своими рекламистами и «технологами»), манипулирующий этим мнением. Такая двусторонность отличает сделку от «простого» насилия, в том числе и массового. Конечно, силы сторон неравны — высокая организованность и изощренность, с одной стороны, и разобщенность, наивность и пр. — с другой. Но на «другой» стороне еще и массовость, и привычки, в том числе привычное лукавство. Если одна сторона («сверху») стремится подкупить, то вторая («снизу») надеется «откупиться» от излишних претензий, сохранить что-то свое и т.д. — по всем правилам «лукавого двоемыслия», о котором приходилось размышлять ранее.

Важным дополнением или даже альтернативой соблазняющего подкупа в популистской политике нередко служат факторы устрашения — нагнетание настроений тревожности, угрозы хаоса и бедствий, которые могут явиться результатом нежелательного выбора, конструирование пресловутых «образов врага», нападки на конкурентов и т.д. — все то, что предъявили российскому обществу избирательные кампании 1999–2000 годов, первые предельно деидеологизированные, «технологические» (манипулятивные).

В структуре массовой корруптивной сделки, как и во многих других массовых процессах и феноменах, можно обнаружить «игровой» аспект: вовлеченные в сделку не всегда воспринимают ее всерьез. Так, значительная часть избирателей 1996 года обычно довольно спокойно относится к невыполнению избранным должностным лицом своих обещаний. Большинство российских избирателей на выборах президента в 2000 году столь же спокойно восприняли отсутствие у претендента конкретных обещаний. Видимо, люди рассчитывали скорее на обещания, чем на реальные действия, а потому готовы были довольствоваться тем, что им оказали внимание, т.е. символическим или эмоциональным вознаграждением.

Еще один, особый (точнее — предельный) вариант корруптивной вертикали — сделка с собственной совестью, т.е. нарушение наиболее фундаментального нравственного запрета под влиянием актуальных соблазнов и страхов.

Отметим, что в общественном мнении «вертикаль» коррупции как нравственной и политической проблемы воспринимается довольно часто. 34% опрошенных склонны рассматривать коррупцию как проблему экономическую, 30% — как политическую, 24% — как нравственную (12% затруднились дать ответ). Нравственные оценки коррупции чаще встречаются у лиц с более высоким образованием.

«Корруптивные» времена

В традиционно-советском социальном мировосприятии коррупция обычно связывается с рынком, товарно-денежными отношениями. Но нормальный, развитый, бездефицитный рынок и в теории, и в реальной истории — наименее коррумпирован, потому что не нуждается в «триггерах» корруптивного образца. (Точнее, он коррумпирован лишь там, где он остается «ненормальным», монопольным, распределительным.) Наиболее коррумпированы сейчас страны с переходными экономиками и неустановившимися «правилами игры» в обществе. Согласно оценкам опубликованного в сентябре 2000 года международного «Индекса восприятия коррупции» (Corruption perception index), Россия входит в первую десятку наиболее коррумпированных стран.

По данным исследования ВЦИОМа, 29% опрошенных считает Россию «одной из самых коррумпированных стран», еще 30% полагают, что уровень коррупции в ней выше, чем в большинстве стран, 26% — что коррупции в стране «столько же, как в большинстве других стран», и только 4% — что этот феномен у нас представлен слабее.

В обществе явно преобладают мнения о резком росте коррумпированности современной российской жизни не только по сравнению с советским периодом, но и с положением, существовавшим год-два назад. Так, 62% опрошенных уверены, что размеры коррупции в России сейчас больше, чем при советской власти (по мнению 17% — столько же, 11% — меньше). Это представление чаще разделяют высокообразованные (64%) и, разумеется, ностальгирующие по лучшему прошлому сторонники коммунистов (72%, среди демократов — 54%). А суждения относительно изменения коррумпированности за последний год делятся поровну: 41% считают, что ее масштабы увеличились, 42% — что они остались примерно такими же (только 6% усматривают уменьшение).

Представления о ежегодном росте коррупции опросными данными не подтверждаются. Сопоставим результаты двух исследований типа «Экспресс», проведенных в 1995 и 1999 годах.

Таблица 2. «Приходилось ли Вам попадать в такие ситуации, когда у Вас вымогали взятку?»

(N=1700 человек, % от числа опрошенных)

	1995	1999
Много раз	9	5
2–3 раза	9	8
Один раз	7	9
Никогда	73	76
Затрудняюсь ответить	2	3

Практически никакой динамики не заметно. Можно полагать, что суждения о постоянном росте коррупции просто транслируют распространенные впечатления, основанные на сравнении нынешнего положения с неким прошлым. А вот эти последние требуют содержательных объяснений.

Наблюдаемый за последнее время (за пять–десять лет) всплеск явной, неприкрытой и непосредственно денежной коррупции связан, по всей видимости, с несколькими тенденциями. Во-первых, с общим кризисом нормативных структур общества, который происходит в условиях социально-экономических, политических, нравственных переломов, одновременного обесценения и сочетания разнородных социальных регуляторов. Во-вторых, с тем, что скрытые ранее механизмы «триггерного» стимулирования, о которых выше шла речь, вышли на поверхность в ситуации развала сложившихся ранее структур социального контроля (в число которых всегда входят и приемы социального лицемерия, двоемыслия). И, конечно, с большей свободой массмедиа, которые придают широкую гласность ранее скрывавшимся фактам коррупции, особенно среди высокопоставленных чиновников.

Все и всяческие формы корруптивных сделок и связей приобретают большой размах и значение преимущественно в переломные эпохи и в пограничных средах общественных отношений — там, где ослаблены «обычные» взаимосвязи между личными и официальными, корпоративными и государственными, локальными и центральными интересами. Коррупция неизбежно растет — и обращает на себя внимание — в переходных исторических ситуациях, когда длительное время сосуществуют разные нормативно-ценностные системы, когда «старые» уже дискредитированы, а «новые» не утвердились достаточно прочно. Причем, что особенно важно, это относится не только к внешним (правовым, полицейским) системам социального контроля, но и к «внутренним» (нравственным, личностным) регуляторам поведения.

Известно, сколь широко пронизаны коррупцией эпохи падения античного и средневекового Рима, период разложения сословного строя в Европе, особенно же — поздняя модернизация в странах Азии, Африки, Латинской Америки. В традиционной (допетровской) России градоначальники принимали подношения и «кормились» от вверенного им населения на вполне легитимных, по тем временам, основаниях. Но когда в более поздние и уже несколько просвещенные годы чиновники брали взятки с обывателей, это стало вызывать шумное и беспор-

мощное осуждение, отраженное в классической русской литературе и публицистике.

Бурные всплески коррупции наблюдались на всех переломах отечественной истории — в том числе в период становления и разложения советского строя, в последние годы трудного перехода России к рыночному обществу.

Советское «наследие»: общество соблазненное и запуганное

Одна из особенностей происходящего в настоящее время в России и других постсоветских странах социального перехода состоит в том, что исходной позицией этого процесса являлась не «обычная» стабильная ситуация, а состояние глубокого внутреннего, в значительной мере скрытого, общественного кризиса и разложения.

В распределительном и репрессивном обществе, каким мы знали советское, постоянным элементом обыденной жизни была погоня за дефицитными товарами и еще более дефицитными льготами. Столь же постоянными были и корруптивные сделки с торговцами, чиновниками и властью «в целом», как институтом. Средствами «оплаты» служили не только деньги, но и услуги, включая показную лояльность и ретивое доноительство. *Купить*, скажем, квартиру было почти невозможно, а вот *подкупить* распределяющего чиновника или начальника — можно. Государство, монопольный собственник, никогда не платило работникам «по труду», но постоянно подкупало их подачками, надбавками, теми же льготами. А население, со своей стороны, на деле никогда не «расплачивалось» с государством — не имея ни средств, ни желания для этого — но *откупалось*, платя «дань» косвенными налогами, обязательными поставками и просто смиренным терпением. «Верх» и «низ» как бы постоянно менялись местами (функциями), что, впрочем, не уравнивало их возможностей. Достаточно организованный государственный Левиафан, подкупающий и запугивающий население, и разобщенные — в том числе тем же набором устрашений и приманок — заведомо неравноправные и неравномошные партнеры сделки.

Система корруптивных сделок пронизывала общество в разных направлениях, хотя непосредственно экономическое (денежное) выражение получала сравнительно небольшая ее часть. Собственно денежные формы в этих механизмах имели вторичное значение просто потому, что в обществе, где правили страх и льготы, деньги играли подсобную роль. Но без такого механизма дополнительных, «триггерных» усилий не могли вращаться «колеса» даже самого развитого социализма, не мог поддерживаться «баланс» понуждения и терпения его социальной системы.

В обществе советского периода за все десятилетия его существования не были найдены регулярные, «нормальные» механизмы взаимодействия между государством и человеком, стимулирования труда, инициативы и т.д. «Привлечение к труду — главная проблема социализма», — говорил В. Ленин в 1920 году, и эта формула сохранила свое значение для всего советского периода с его нескончаемыми попытками добиться эффективных отношений между властью и подданными. Все их варианты укладывались в описанную выше модельную схему корруптивной сделки — и взвинчивание настроений направленной мас-

совой ярости или деланого энтузиазма, и атмосфера массового страха, и искусственные стимуляторы «ударного» труда. Все они сопровождалось шумными пропагандистскими кампаниями, бесконечными приписками в отчетах, созданием образов «врагов» и «героев». Использовались оба типа корруптивной стимуляции: репрессивный и поощрительный, с помощью дисциплины устрашения пытались обеспечить какой-то внешний порядок (выход на работу), с помощью надбавок и наград — трудовые подвиги. Реальные результаты — производительность труда в контексте международных сравнений — оказались мизерными.

Отсюда, конечно, и болезненность того обвала, который в начале 90-х годов почти моментально обесценил систему скрытой и явной, но преимущественно неэкономической, коррупции и вывел на поверхность общественной жизни «денежные» стимуляторы поведения, причем в самых архаичных и примитивных формах. Лишенное (точнее, не имевшее) «нормальных» регуляторов общество оказалось захваченным всепроникающими сериями корруптивных сделок различного масштаба, но однотипных по структуре и механизмам действия. Причем если для советских времен характерной была сделка, в которой статус (власть, привилегии) обменивались на богатство, т.е. использовались как средство обогащения, то сейчас характерным стал обмен богатства на статус. Престижные позиции, выборные должности, полезные решения и т.д. стали покупными, причем безо всяких внешних или внутренних ограничений, поскольку системы социального контроля действовать перестали.

Социальное пространство коррупции в массовом воображении

Распределение мнений о сферах большего или меньшего распространения коррупции в нынешнем российском обществе представляет интерес в двух отношениях. Это довольно ценный показатель установок населения по отношению к социальным институтам, прежде всего — институтам власти. А также показатель рамок личного и вторичного (масскоммуникативного) опыта знакомства с этим феноменом.

73% опрошенных полагают, что «взяточничества и коррупции больше в государственном секторе», и только 13% отдают приоритет частному сектору. Чаще всего при этом (45%) взяточничество приписывают руководителям предприятий и учреждений, реже (24%) должностным лицам среднего уровня, совсем редко (3%) — младшему персоналу; 23% считают, что берут взятки «все в равной мере».

Очевидно, здесь перед нами характерная для российского общественного мнения склонность искать источники «зла» (и ответственности) прежде всего в *государстве*, и притом преимущественно *«наверху»*.

В таблице 3 представлено распределение мнений относительно коррупции в различных учреждениях.

Как видим, верхние строчки в таблице занимают правоохранительные органы, т.е. те, которые как будто призваны в первую очередь препятствовать беззакониям. Причем это учреждения, о деятельности которых люди в значительной мере знают по собственному опыту (или по опыту родственников, соседей). Такие институты, как службы госбезопасности или президентская Администрация, известны большинству

населения только по косвенным источникам — из СМИ, из политической мифологии. Поэтому место, которое приписывается подобным организациям на «коррупционной шкале», связано с общими установками доверия/недоверия. Преобладают мнения о высокой степени коррумпированности почти всех перечисленных в опросе государственных, общественных и экономических институтов; только церковь и школа кажутся мало подверженными этому злу.

Таблица 3. «Насколько широко распространены коррупция и взяточничество в таких учреждениях, как...»

(% от числа опрошенных)

	Мало*	Широко**
Милиция, МВД	9	83
Суд, прокуратура	13	79
Государственная инспекция дорожного движения	8	72
Налоговые службы	15	71
Военные комиссариаты	18	69
Крупные компании, банки	16	69
Министерства и ведомства	14	69
Вузы	18	71
Власти города, района	17	71
Власти края, области	16	71
Государственная Дума	17	67
Таможни, пограничные службы	17	64
ТВ, СМИ	29	57
Больницы, здравоохранение	36	55
Воинские части	26	55
Администрация Президента	27	54
Службы госбезопасности	29	46
Промышленные предприятия	38	44
Школы	56	31
Церковь	55	19

Примечание: данные ранжированы по частоте «положительных» ответов.

** Сумма ответов «совсем нет» и «не очень распространены».*

*** Сумма ответов «довольно распространены» и «очень распространены».*

Правда, около трети опрошенных надеются, что с приходом к власти нынешнего президента коррупции в стране все же будет меньше. В этом случае наблюдается очевидная связь таких надежд с оценкой действий президента. Из одобряющих деятельность В. Путина (их на момент опроса было около 60%) 41% полагают, что масштабы коррупции уменьшатся, из не одобряющих — только 14%. Прямая связь суждений о судьбе коррупции с политическими надеждами очевидна. В сентябре 2000 года, через год после прихода В. Путина к власти (в качестве премьер-министра России), 15% опрошенных сочло, что после избрания В. Путина президентом (в марте) воровство и коррупции в руководстве России стало меньше, 11% — что эти явления стали более распространены, а 66% — что ничего не изменилось.

Приведенный выше материал позволяет представить некоторые черты широко распространенного в нынешнем российском обществе *ла-терналистского* сознания. И государственные учреждения, и чиновников население оценивает по делам их — и оценивает довольно критически. В общественном мнении сохраняется весьма высокий уровень одобрения деятельности президента, заметно реже одобряют премьер-министра, а также губернатора. Все же остальные властные институты — обе палаты парламента, представители президента — характеризуются преимущественно негативно. Только 10% опрошенных в августе

2000 года (N=1600 человек) согласны с тем, что уважение к власти за последние десять лет возросло, 84% полагает, что за эти годы власть стали меньше уважать. Но при этом надежды населения на заботу и помощь со стороны государства в значительной мере сохраняются. Причины такого расхождения оценок носят, скорее всего, сугубо практический характер: человеку запуганному, соблазняемому и при этом беспомощному не на кого больше надеяться. Поэтому, в частности, в «борьбе» с коррупцией население рассчитывает преимущественно на ту же власть.

Любопытным дополнением к приведенным данным о распространенности коррупции служат ответы на вопрос о собственном опыте людей, которые становились объектами вымогательства в различных обстоятельствах.

Таблица 4. «Случалось ли за последние три года, чтобы с Вас или с Ваших родственников, друзей вымогали взятки, подношения?»

(% от числа опрошенных, оказывавшихся в перечисленных ситуациях)

Нарушение правил дорожного движения	54
Получение заказа на выполнение работ для коммерческих фирм	37
Пребывание в больнице	36
Поступление в институт	36
Получение квартиры	28
Разбирательство по уголовному делу	28
Получение водительских прав, регистрация/техосмотр автомашины	25
Получение разрешения на покупку земли / на строительство	24
Общение с работниками военкомата по поводу призыва в армию	22
Устройство на работу	16
Уплата налогов	16
Поступление ребенка в школу	13
Регистрация (прописка)	12

Картина оказывается довольно одноцветной, почти во всех выделенных ситуациях вымогательство встречается часто. Реже всего требовали взятки за прописку; должно быть, это связано с тем, что неконституционная «разрешительная» регистрация сохранилась в немногих городах (включая Москву).

Человек и коррупция: уровни терпения

Свидетельство глубокой коррумпированности социального поля — готовность значительной части населения приспособиться к такой ситуации как неизбежной.

Таблица 5. «Насколько допустимо, по Вашему мнению...»

(% от числа опрошенных)

	Допустимо*	Предосудительно**
Устроить кого-либо на работу по блату	57	38
Использовать связи для карьеры	46	49
Делать подарки врачу, учителю	60	37
«Отблагодарить» за услугу	74	21
Дать взятку чиновнику	29	64
Дать взятку «в интересах дела»	38	54
Оказывать незаконную услугу за услугу	40	53
Не платить налоги	18	75

* Сумма ответов «вполне допустимо» и «в целом допустимо».

** Сумма ответов «в целом предосудительно» и «крайне предосудительно».

Уровень приспособления к корруптивной среде, в общем, достаточно высок. «Отблагодарить» за услугу считают правомерным две трети, дать взятку — более четверти (но если это «для дела», то одобряющих уже более одной трети). Следует учесть также, что при ответах на столь деликатные вопросы декларации часто расходятся с реальными действиями: многие люди стремятся представить свое поведение в лучшем, более «правильном» виде. Это видно, например, по ответам о необходимости платить налоги.

С этим прямо связано и суждение преобладающего большинства (60%) опрошенных о том, что сейчас ни один вопрос нельзя решить, не дав взятки: «не подмажешь — не поедешь». Более трети (37%) опрошенных полагают, что ситуации, когда ради решения какого-нибудь дела допустимо дать взятку чиновнику, бывают довольно часто, 22% — что это случается редко, лишь 24% — что таких ситуаций никогда не бывает.

Более половины опрошенных считают, что в нашей стране нельзя жить, не нарушая закона, не согласно с этим около трети (52:32). Важно знать, что стоит за мнениями о всеобщем беззаконии: то ли осуждение такой ситуации, то ли оправдание собственного приспособления к ней. Оказывается, из числа тех, кто думает, что в России «нельзя жить, не нарушая закон», 35% согласно с тем, что чиновнику допустимо дать взятку, а «для пользы дела» так склонны поступать 45%. А те, кто не согласны с тем, что нельзя жить по законам, со взятками мирятся реже — их 21% (и 31%, если это «для пользы дела»). Получается, что сетования на беззакония скорее служат прикрытием собственной готовности следовать за нарушителями. Заявления о том, что в стране ничего нельзя сделать без взятки, чаще служат ее оправданием.

Только 13% считают, что взятки дают «в основном жулики и преступники», 29% — что так поступают в основном «простые люди, у которых нет других способов добиться решения своих проблем», но большинство — 51% — что «взятки дают все, кто сталкивается с должностными лицами». По мнению 11% опрошенных, большинство людей, которым приходится давать взятки, делает это «с легким сердцем, без угрызений совести», 40% полагают, что взятки дают «скрепя сердце», а 31% — что это делается «с огромным внутренним сопротивлением».

Основная проблема не в наличии и даже не в широком распространении корруптивных связей в нынешнем российском обществе, а в отсутствии четкого водораздела, грани между корруптивным и «нормальным». В современной экономике России значительная часть — по оценкам различных специалистов, от 20% до 40% — сделок (между работодателями и работниками, производителями и потребителями, инвесторами, кредиторами и др.) совершается «в тени», скрыто от государственного контроля. Чаще всего это делается для того, чтобы уклониться от уплаты высоких налогов и сборов. Такие условия способствуют фактическому примирению большой части населения, бизнесменов, менеджеров и чиновников с необходимостью корруптивных отношений.

Корруптивная среда формирует человека, принимающего коррупцию как неизбежное зло, а то и как средство решения своих проблем. В том и другом случае — беспомощного перед этим явлением.

Посмотрим теперь, как в общественном мнении связываются концы с концами, т.е. как соотносятся суждения об истоках коррупции и средствах противодействия ей.

Мнения об основных причинах коррупции в России распределились следующим образом.

Таблица 6. Причины коррупции

(% от числа опрошенных, ответы ранжированы по частоте упоминаний)

1	Мягкие наказания, отсутствие страха перед наказанием	33
2	Нынешний экономический и финансовый кризис	30
3	Круговая порука чиновников	29
4	Падение уровня морали в обществе	27
5	Слабость государственной власти	27
6	«Теневая экономика»	21
7	Низкие зарплаты госслужащих	15
8	Традиционный способ решения проблем	14
9	Высокие налоги	12
10	Наследие социалистического прошлого	11
11	Существующая система льгот и привилегий	10
12	Влияние западных стандартов поведения	10
13	Результат внедрения рыночных отношений	5
14	Государственное вмешательство в экономику	3

Наиболее интересно в этом списке то, что «либеральные» и «антилиберальные» установки отмечаются реже всего (две последние позиции). На первых местах ситуативные причины (кризис), жалобы на слабость власти и страха перед ней (страха наказаний). Здесь перед нами важная особенность российского общественного мнения — упование на авторитет силы.

Немалая часть населения склонна видеть в страхе перед суровыми карами оплот вождя в порядке. Примечательно, что это мнение разделяется почти в равной мере в различных политических направлениях: например, 32% среди нынешних сторонников коммунистов и 36% — среди демократов (!). Такие настроения всегда используют авторитарные, диктаторские системы власти. Наказания за взятки и подкуп, действительно, мало кого пугают, но это не столько причина, сколько следствие тех явлений в современном обществе, на которые указывают приведенные выше данные.

Только 12% опрошенных полагает, что в России «можно полностью искоренить коррупцию и взяточничество», 52% — что можно существенно уменьшить масштабы этих явлений, а 29% — что «с этим социальным злом ничего нельзя сделать».

В ряду мер, которые опрошенным кажутся наиболее эффективными для противодействия коррупции, выделим две основные группы. 36–40% делают упор на рост уровня жизни, стабилизацию экономического положения, соблюдение законов — все это, так сказать, «регулярные», в основном экономические, меры. Другая группа предлагаемых мер — «чрезвычайного», силового порядка (ужесточение наказаний, усиление государственного контроля) — получает до 45% массовой поддержки. (Как это всегда бывает в опросах, масштабы согласия или несогласия с какой-либо позицией сильно зависят от контекста и формулировки вопроса.) Еще одна, менее популярная группа предложений носит «антибюрократический» характер: сокращение аппарата,

упрощение бюрократических процедур, замена нечестных чиновников честными кадрами, тщательные проверки принимаемых на должности и пр. Поддерживает такие меры до четверти опрошенных.

Кстати, широко обсуждаемое сейчас в печати существенное повышение зарплаты чиновников для противодействия их коррумпированности не получает (и никогда не получит) заметной массовой поддержки. В разных контекстах такую меру считают полезной от 5% до 13%, бесполезной — 80%.

Подавляющее большинство опрошенных, как мы видели, соглашается с тем, что коррупция в государственном секторе гораздо более распространена, чем в частном, а наиболее коррумпированными являются чиновники, причем именно в правоохранительных ведомствах. В то же время почти четверть опрошенных (23%) видит противодействие от коррупции в усилении государственного контроля «над всеми сферами жизни общества» (и кажется удивительным, что с этим в равной мере согласны сегодняшние коммунисты и демократы — по 25% и 26% соответственно). Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе.

Обнаружить какое-то специальное сильно- и быстродействующее средство «борьбы с коррупцией» общественное мнение, конечно, так же не способно, как и власти или их ученые советники, — просто потому, что его не существует. Динамика общественного мнения скорее позволяет увидеть не то, что «нужно сделать», а то, чего «нельзя (не удастся) сделать» при всем старании.

Советская дефицитная система экономики с такими ее непременными атрибутами, как очереди, карточки, льготы и неизбежное коррумпирование распределительной системы, уступила место видимому потребительскому изобилию. Однако остаются — и надолго останутся — дефицитными качественная медицинская помощь, качественное образование, престижная и хорошо оплачиваемая работа, социальная и правовая защита и пр. и пр. — а вместе с этим остается и естественная, «привычная» ниша для корруптивных сделок. Легализованы частный бизнес и валютный обмен (для физических лиц), тем самым утратила смысл целая сфера «теневого» бизнеса и связанный с ней вид коррупционных сделок. Но одновременно получили развитие многообразные формы рэкета (вплоть до государственного), льготной приватизации, отмывания сомнительных доходов и т.д. — при отсутствии независимой судебной системы и необходимой правовой базы, при высокой коррумпированности самих милицейских, прокурорских, судебных органов (как мы видели, это последнее обстоятельство хорошо ощущает и общественное мнение).

Простых решений здесь — как, впрочем, и почти везде — не существует. В принципе коррупция общественной системы может быть сведена до какого-то минимума в масштабах исторических сроков (цивилизационное время), а не в рамках и не средствами указов или призывов. Но соблазн «покончить», «нанести решительный удар» остается и на многих (и власть имущих, и от власти зависящих) действует. Около 30% опрошенных поддерживает политически модный вариант «нанести удар коррупционерам в высших эшелонах власти». Значительная часть населения явно хотела бы видеть в действиях президента В. Путина против непокорных олигархов и губернаторов что-то вроде похода на коррупционеров.

Этот соблазнительный призыв опасен прежде всего потому, что термин «коррупция», который может быть расширен каким угодно образом, обладает силой массового эмоционального раздражителя. Но реальной целью всех антикоррупционных кампаний, кто бы и под какими лозунгами их ни устраивал, была вовсе не борьба против коррупции (реальной или придуманной), а нечто иное — мобилизация массовой ярости против враждебных сил и массовой поддержки организаторов очередного «великого похода». Иначе говоря, мобилизация сил, способных ломать рамки законов и традиций, прокладывая — по крайней мере, потенциально — дорогу террору и диктатуре. Именно этим наиболее опасны популистские кампании.

Конечно, прямой линии перехода от популистской демагогии к массовому насилию не существует, требуется целый ряд промежуточных действий и условий, чтобы «предельные» угрозы примитивных решений стали реальностью. И чужой, и наш собственный, в том числе совсем недавний, опыт показывает, что на любой соблазн и подкуп общество способно отвечать защитными реакциями разного рода. К ним относится и сопротивление самого «материала» — нравов, привычек, установок людей. Если государственная власть пытается подкупить население, увлечь его обещаниями «покончить» с коррупцией (или преступностью, или терроризмом и пр.), то оно постоянно стремится «откупиться» от государственного контроля, по мере возможности обойти его (уклониться от налогов и т.д.). Это не выводит общество из корруптивного поля, скорее наоборот — избавляет от иллюзий относительно способности нынешнего государства из этого поля выбраться.

Анализ принципиальных результатов многолетней исследовательской программы «Советский человек»¹ имеет как методологическое (эффективность инструментария), так и актуальное социально-аналитическое значение. Социально-политические перемены последних лет, в частности перипетии и разломы 1999–2000 годов, вынуждают исследователей задумываться о том, насколько адекватным являлся тот анализ особенностей установок, оценок и поведения людей, которым мы занимались в рамках этой программы. Несомненно, что «человек советский» как социальный тип оказался значительно более устойчивым, способным приспособиться к изменению обстоятельств, чем это представлялось десять лет назад. Конечно, этому в немалой мере способствовали и доминирующие в наших процессах варианты самого изменения «обстоятельств» — непоследовательные и противоречивые акции при значительном ухудшении положения большинства населения.

Одни наши предположения вполне подтвердились, другие — нуждаются в переосмыслении. В некоторых случаях мы оказались неготовыми заметить или правильно оценить характер происходящих изменений или причины отсутствия таковых. В первоначальном проекте исследования (1989), естественно, не могли быть заложены проблемы, возникшие в ходе позднейшего развития политического кризиса в стране, связанные с распадом СССР, зарождением политического плюрализма, трансформациями структур социальной поддержки и мобилизации, характером лидерства и т.д. Такие проблемы рассматривались на последующих фазах реализации исследовательской программы.

В настоящей статье рассматривается лишь часть проблем проведенного исследования, требующих разностороннего анализа.

Три оси «человеческих координат»

Многообразие накопленного материала, относящегося к различным сферам деятельности социального человека, позволяет выделить основные направления «привязки» человека к социальному полю: *идентификация* («кто мы такие?»), *ориентация* («куда мы идем?»), *адаптация* («к чему мы можем приспособиться?»). Все другие проблемы, и методологические, и содержательные, так или иначе группируются вокруг такого определения координат человеческого существования.

1

В рамках исследовательской программы «Советский человек» за десять с лишним лет проведены три волны специальных опросов (1989, N=1250 человек; 1994, N=3000; 1999, N=2000), несколько крупных тематических исследований («Бюрократия», «Культура», «Национализм», «Власть и общество» и др.). Некоторые проблемы выяснялись в технологии регулярных омнибусов типа «Мониторинг» и «Экспресс». Данные исследований и аналитические материалы многократно публиковались в журнале «Мониторинг общественного мнения» и других изданиях, см.: «Советский простой человек». М., 1993; Куда идет Россия?.. М., 1994–2000. Вып. 1–7; Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1993–2000. М., 2000.

Идентификация рассматривается в социальных исследованиях через ряд признаков, обозначающих определенный тип связи человека с социальной группой (семья, «мы-группа») или организацией (предприятие), которые могут быть подкреплены символическими, эмоциональными, мифологическими структурами, могут обладать не только актуальным, но также историческим измерением. Данное государство, скажем, воспринимается как актуальная организация, социальный механизм, но такие понятия, как «страна», «отечество», «родной город» и пр., имеют символические, эмоциональные, исторические компоненты. Фирма может восприниматься только как актуальное предприятие, организация, связь человека с которой определяется исполнением правил и достижением предписанных целей, но может также выступать объектом эмоционально окрашенных, символических связей («честь фирмы», «традиции фирмы» и т.п.). Социальная идентификация — сложный, комплексный феномен, включающий разнородные компоненты.

Наиболее общим признаком идентификации человека с определенным социальным объектом можно, видимо, считать эмоциональное или символическое его «присвоение», т.е. отношение к нему как к «своему», в отличие от множества иных, «чужих», «посторонних» объектов: «своя» семья, «своя» группа, «свое» государство, «свои» священные символы и т.д. Моделью, а возможно, и исходной точкой такого отношения служит традиционная, замкнутая семья.

Всякая идентификация как бы «добавляет» к универсальным в принципе, общезначимым критериям истинности, рациональности, полезности, нравственности, эстетичности и пр. иное по своей природе, партикуляристское измерение «свойскости». Реально-историческая последовательность «добавлений», конечно, была обратной: универсальные нормы «добавлены» к партикулярным, но никак не заменяют их. Человек нигде и никогда в мире не может держаться каких бы то ни было универсалий, не накладывая на них эмоциональных, личностных, традиционных и прочих рамок идентификации, отождествления с неким «своим» в отличие от «не-своего». А это, в свою очередь, создает неустрашимые нормативные коллизии, с которыми можно лишь считать (так, в современном уголовном праве, в том числе и в российском Уголовном кодексе, родственники обвиняемого освобождаются от обязанности свидетельствовать против него: универсальный закон как бы обходит стороной традицию «своих» отношений).

Вопрос в том, как соотносятся партикуляристские и универсалистские координаты человека в различных общественных системах. Если в традиционных обществах и их современных аналогах доминируют

первые (хорошо и правильно то, что полезно «своим»²), то в обществах, которые признаны как цивилизованные, доминируют «универсалии», а отношения «по свойскости» кажутся оттесненными на обочину. Но это слишком упрощенная картина. Идентификация со «своим» государством, «своей» группой (в том числе этнической), «своей» фирмой сохраняется — в разных формах и пропорциях — повсеместно и играет достаточно важную роль в процессах социализации и социального контроля, особенно в условиях социальной мобилизации. Одно из важнейших условий

2

Так, по данным второй волны исследования по программе «Советский человек» (1994), 58% (против 30%, т.е. в соотношении 2 к 1) соглашались с тем, что «в России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде». В таком утверждении, впрочем, кроется солидная доля лукавства.

сохранения такого сочетания — участие *критического* компонента в самом комплексе идентификации. Его смысл достаточно точно выражен известной английской поговоркой: «Права она или не права, но это *моя* страна». Тем самым допускается, что «свое» может быть неправым, скверным, заслуживающим осуждения. Самый искренний патриотизм мог быть и резко критическим по отношению к порядкам, властям, традициям собственного отечества, что и демонстрировали, между прочим, все российские мыслители — от Чаадаева до славянофилов и революционеров далекого XIX века.

Этой сложности не знал примитивный традиционализм и не допускали неотрадиционалистские системы советского типа. «Свое» непременно означало «самое лучшее», «наше» считалось заведомо выше всего «чужого» (в ироническом варианте — «наши больные — самые здоровые в мире»); даже осторожное сомнение в этом становилось криминалом. И именно поэтому критические удары «гласности» оказались для советского общества столь болезненными и разрушительными. (Примечательно, что новейшие попытки консолидировать общество строятся по старой модели «докритического» патриотизма, под лозунгами возврата к достойному прошлому и т.п.)

Функции социальной идентификации можно рассматривать с двух сторон: идентифицируясь с какой-то социальной общностью или организацией, человек символически и эмоционально «осваивает» ее, в то же время эта общность (например, государственная) «присваивает» человека, притом далеко не символически. Человек ищет защиты и заботы хотя бы и символической (в свою очередь, демонстрируя готовность отстаивать «свою» общность).

Проблема «негативной идентификации»

Категория «негативная идентификация», обстоятельно рассмотренная Л. Гудковым на актуальном материале последних лет³, у некоторых специалистов (например, у В. Ядова) вызывает сомнения. Между тем накопленные данные, как представляется, дают все основания для выяснения возможности и функций этого феномена.

Компонент социального самоопределения через противопоставление, отторжение некоего «иного», «чужого», «не-своего», видимо, присущ любому идентификационному акту наряду с более или менее эксплицитным утверждением позитивных индикаторов «своего». Но в определенных ситуациях (конфликта, фобии) приоритетное или даже исключительное значение приобретают именно эти компоненты. В конфликтах разных уровней (от бытовых, межгрупповых до межгосударственных) происходит консолидация и, соответственно, самоотожествление противостоящих сил на «негативной» основе противостояния, противоборства. Если при этом и выдвигаются «позитивные» общие символы, лозунги, то они чаще всего имеют вторичное значение, поскольку в одном стане оказываются разнородные силы или группы, объединяемые лишь «общей» ненавистью к противнику или «общим» страхом перед ним. Так строились (и потому, кстати, были неустойчивыми) межгосударственные военные коалиции с древних времен до мировых войн.

3

Гудков Л. К проблеме негативной идентификации // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2000. № 5 [= Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. М., 2003. С. 262–299].

Принципиальной особенностью советского общества было демонстративное противостояние «враждебному окружению», а точнее, всему остальному миру. Притом, как известно, на всех фронтах — от государственной политики до культуры, науки, человеческих контактов и пр. С молодых ног человек формировался на основе воинственного и примитивного противопоставления «советского» мира всему остальному. Весьма разветвленная сеть идеологических обоснований лишь оправдывала такую ситуацию, стимулируя постоянную демонстративную (далеко не всегда эффективную, что показал опыт последней мировой войны) мобилизацию против реальных, потенциальных или воображаемых врагов. Эту традицию в значительной мере наследует российское постсоветское общество, не сформировавшее собственных механизмов национально-государственной идентификации. Сравнение общественных настроений в условиях двух чеченских военных кампаний позволяет видеть, насколько характерная для второй из них негативная, подкрепляемая общим страхом мобилизация (против предполагаемых террористов, бандитов и т.д.) эффективнее, чем «позитивная» мобилизация первой кампании (за сохранение конституционного порядка и целостности государства).

Кризис социальной идентификации: параметры и механизмы

По всей видимости, именно этот кризис составил главное содержание всех перемен последних лет, рассматриваемых на «человеческом» уровне. Объясняется это тем, что в традиционно советском обществе идентификация являлась, по сути дела, не только основным, но единственным средством выражения связи человека с общественной системой, а признанная принадлежность к определенной социальной позиции однозначно определяла характер поведения. В этом смысле общественная система могла характеризоваться как «одномерная», а присущие ей способы социальной идентификации человека — как *обязательные*.

С распадом советской системы человек оказался вынужден в какой-то мере самостоятельно ориентироваться в изменившихся обстоятельствах, определять свое положение, выбирать способ поведения, отношения к происходящему и т.д. Иначе говоря, оказался вынужден искать «свою» или «близкую» позицию, группу, символическую структуру. Тем самым социальная идентификация становится проблемой *выбора* — вынужденного, часто — при ограниченных представлениях о его содержании выбора и последствиях — болезненного. Имеющийся материал позволяет рассмотреть некоторые направления и уровни такой *«избирательной»* идентификации человека.

Как и следовало ожидать, никакого «естественного» человека, способного свободно и разумно делать социальный выбор, в нашей действительности не обнаружилось, как не обнаружился он и два-три столетия назад в Англии, Франции и т.д. Освобожденный (впрочем, скорее декларативно) от старых политических и идеологических облачений человек остался связан традициями и стереотипами советского и досоветского происхождения. Дискредитация официально-советской идентичности привела не столько к формированию демократических, общечеловеческих координат самоидентификации, сколько к росту значения традиционно групповых, локальных, этнических рамок.

Одним из результатов распада советской государственности явился кризис государственной идентичности на различных ее уровнях (от «советских» граждан к «российским»). За этими как будто вполне понятными сдвигами в самоопределении людей стоят неоднозначные процессы: изменения официально-государственного порядка (впрочем, при старых паспортах), отношение к этим переменам (инерция «старых» координат, привычка к новым, осознанная или неосознанная ностальгия). Выделить различные типы идентификации, например обязательные или избирательные, в такой связке не так просто. «Советская» самоидентификация может быть инерционной (привычная обязательность) или ностальгической (избирательная позиция); последняя, в свою очередь, может обозначать сожаление то ли об ушедшей общественно-политической системе, то ли о едином государстве, то ли о возможностях человеческих контактов и т.д. В любом варианте имеет свое значение чисто вербальная (на деле — социально-психологическая) составляющая — какие термины используются людьми для самоопределения.

В исследовании «Советский человек» выяснялось, с чем респонденты в первую очередь связывают мысль о своем народе. Часть полученных ответов приведена в таблице 1.

Таблица 1. Ассоциации респондентов, связанные с мыслью о своем народе
(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999
Наше прошлое, наша история	26	37	48
Наша земля, территория	12	25	26
Государство, в котором я живу	27	18	19
Наши песни, праздники и обычаи	14	17	19
Душевные качества моего народа	14	16	19

Примечание: сумма ответов превосходит 100%, поскольку респонденты

могли называть несколько вариантов.

Примечательно, что почти все перемены произошли в первой половине десятилетия. Внимание к «традиционным» признакам растет, государственная идентичность упоминается значительно реже. Вопрос в том, как понимать эти перемены: правомерно ли считать их признаками *реального* возврата к традиционалистской, аскриптивной идентификации или признаками символической ностальгии? Сколь ни многоярусна нынешняя социальная реальность, место для, собственно, традиционного самоопределения возможно лишь в квазиромантическом воображении. Скорее всего, приведенное распределение мнений — прежде всего показатель возросшего критического отношения к современному государству (причины лежат на поверхности и не требуют объяснения). И никак не реальный возврат к «почвенной» идентификации, которая, кстати, и придумана была в рамках российской интеллектуальной контрреформации XIX века.

В таблице 2 приводятся данные тех же опросов 1989 и 1999 годов, в которых респонденты отмечали наиболее распространенные общности, принадлежность к которым осознается людьми «с гордостью».

Осью «горделивой» идентификации является преимущественно «родительская» линия, притом ориентированная на детей, т.е. на будущее поколение. При этом значение национально-государственной при-

надлежности как будто даже возрастает: «русский человек» в 1999 году упоминается чаще, чем «советский человек» в 1989-м. Но в последнем варианте, по всей видимости, сочетаются признаки «государственно-русского» и «национально-русского» (в признаках «советского человека» образца 1989 года сочетались официально-государственные и социально-политические черты). Возросшая (прежде всего, конечно, демонстративная) роль локальных связей — одно из выражений критического отношения к нынешней государственности. Но никак не признак «разрыва» с ней.

Таблица 2. «Гордость» людей за принадлежность к той или иной общности

(% от числа опрошенных)

	1989	1999
Отец (мать) своих детей	43	57
Сын (дочь) своих родителей	19	24
Житель своего города, села, района	11	21
Сын своего народа	8	10
Специалист в своем деле	24	23
Советский человек	29	13
Русский человек	*	43
Верующий	4	7

*Примечание: сумма ответов превосходит 100%, поскольку респонденты могли называть несколько вариантов.
* Вопрос не задавался.*

Как известно по данным множества исследований, государственная власть и ее носители (за контрастным исключением отдельных фаворитов, время от времени формируемых в общественном мнении) оцениваются населением весьма низко. В начале 1998 года (N=1600 человек) 57%, а в декабре 2000-го (N=1600 человек) — 54% считали, что большинство стоящих у власти озабочены лишь своими привилегиями и доходами. Распространено мнение, что проявлений коррупции в государственном секторе больше, чем в частном.

И тем не менее все большая доля опрошенных утверждает, что человек должен рассчитывать только на свои силы (в январе 2001 года, N=1600 человек, 64% утверждали, что они живут, «полагаясь только на себя и не рассчитывая на власти»). В этом парадоксе — не столько отражение реального положения вещей, сколько установка, понемногу крепнущая (в силу невозможности опереться на казенную опеку) и потому значимая. «Разгосударствление» человека оказывается сложным и долгим процессом преодоления традиционной его государственной принадлежности (не лишенной, впрочем, определенного лукавства и дополнений в виде подсобных хозяйств и теневых приработков...). Причем доминирует в этом процессе отнюдь не тенденция становления свободного и ответственного гражданина.

Во всех вариантах идентификационных вопросов исследований респонденты обычно склонны, скорее всего, отмечать позитивно оцениваемые связи и значительнее реже — негативные. Первый опрос по программе «Советский человек» (1989) проходил в исключительный период наиболее активной общественной самокритики и попыток переоценки прошлого (непоследовательных и малоудачных), стимулировавшихся ведущими СМИ и политическим руководством страны (М. Горбачевым). Тогда мы обнаруживали более всего негативных оценок собственной страны, ее места в мире, ее народа, истории — и это все

тоже было довольно распространенным элементом социальной идентификации человека в определенный момент исторического перелома («экстраординарная» критическая идентификация). При некоем оптимистическом варианте развития событий, приводящего к утверждению новой системы признанных обществом ориентиров, общественная самокритика могла сыграть очистительную, созидательную роль. Этого не произошло, катарсис не состоялся. Негативные, даже уничижительные самооценки человека как «совка», лентяя, пьяницы и пр., обнаруживаемые и в массовых опросах, остаются неизменным компонентом его социальной самоидентификации и фактически служат средством оправдания пассивности, безволия, холопства во всех их проявлениях в полном соответствии с печальной исторической традицией («ординарной» псевдокритической идентификации).

Анализ проблемы идентификации в общественном мнении приводит к необходимости различать два уровня рассматриваемых показателей: декларативный (кем люди хотят себя называть) и реальный (кем люди себя ощущают). Соответствующие показатели могут почти совпадать или значительно отличаться друг от друга. Такая ситуация обнаруживается, разумеется, и в ответах по другим темам, например, относительно порядка и демократии, диктатуры, пути развития страны и т.д.

Идентификация и ответственность

Рассмотрим изменения одного из показателей социальной идентификации — представлений об обязанностях людей перед своим государством за 1989–1999 годы.

Таблица 3. Отношение к государству (возрастное распределение)

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Возраст, лет	Дало все	Можно требовать и больше	Ничем не обязаны	Должны помочь	Должны стать свободными людьми
1989					
До 20	4	13	9	33	30
20–29 (60-е г. р.)	3	6	5	36	35
30–39 (50-е г. р.)	3	15	8	39	25
40–49 (40-е г. р.)	3	9	6	38	25
50–59 (30-е г. р.)	11	11	6	40	19
60 и старше	7	12	5	47	17
Всего	5	11	6	40	25
1999					
До 20	1	11	38	11	38
20–29 (70-е г. р.)	2	7	31	21	38
30–39 (60-е г. р.)	1	4	42	13	39
40–49 (50-е г. р.)	2	6	39	15	37
50–59 (40-е г. р.)	0	4	34	20	41
60–69 (30-е г. р.)	0	7	40	17	32
70 и старше	1	9	42	15	27
Все	1	6	38	17	37

Примечание: точные формулировки ответов: 1) наше государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то; 2) государство нам дает

немало, но можно требовать и большего; 3) государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны; 4) наше государство сейчас в таком поло-

жении, что мы должны ему помочь, идя на какие-то жертвы; 5) мы должны стать свободными людьми и заставить государство служить нашим интересам.

В позициях всех возрастных групп происходят заметные изменения, и только в одном направлении — ослабление ответственности перед государством. В то же время почти во всех выделенных группах уменьшается и надежда на то, что от государства можно «требовать больше». Еще более наглядно выступает эта тенденция, если те же данные представить как изменения в установках одних и тех же возрастных групп (например, лиц, которым в 1989 году было 20–29 лет, а в 1999-м — 30–39 лет, и т.д.).

Вместе с тем к этой проблеме можно подойти и через другой ряд показателей.

Таблица 4. «Несет ли человек моральную ответственность за происходящие в стране события?» (возрастное распределение ответов)

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Возраст, лет	Безусловно, несет	В какой-то мере несет	Совсем не несет	Затруднились ответить
1989				
До 20	18	41	17	23
20–29 (60-е г. р.)	14	48	21	16
30–39 (50-е г. р.)	21	44	17	16
40–49 (40-е г. р.)	20	31	22	27
50–59 (30-е г. р.)	22	44	8	24
60 и старше	29	38	14	18
Всего	21	41	16	20
1999				
До 20	7	33	31	29
20–29 (70-е г. р.)	8	39	33	20
30–39 (60-е г. р.)	7	45	24	24
40–49 (50-е г. р.)	14	37	27	21
50–59 (40-е г. р.)	14	42	20	24
60–69 (30-е г. р.)	9	38	27	25
70 и старше	3	43	30	24
Все	10	40	27	23

Наиболее значительное снижение показателей «ответственности за страну» на протяжении десяти лет, как ни странно, наблюдается в тех возрастных когортах, кому в 1989 году было 50–59 и 60–69 лет. Получается, что старшие группы за это время по оценкам своей идентификации со страной, государством не только приблизились к молодым, но и обогнали их. Видимо, это связано с падением уровня жизни и крушением модели патерналистского государства, которые наиболее болезненны для старших поколений.

Элита и «массы» в поисках ориентации

Как уже отмечалось, это новая проблема, как бы неожиданно свалившаяся на голову людей. При этом проблема принципиально непосильная для отдельного человека и требующая групповых вариантов решения. Но ни одна из групп или структур, претендовавших за десять лет на лидерскую роль в обществе, не смогла предъявить каких-либо четких, понятных населению ориентиров, а тем более программ действия. Демонстративное отрицание советского прошлого или конституционно закреплённый лозунг «социального государства» равно непригодны для роли таких ориентиров.

Главная причина такого положения — отсутствие в стране лидеров или лидирующих групп, элитарных структур, которые были бы готовы и способны определить и задать ориентиры.

Противопоставление элитарных структур (соответствующих функционально специализированных групп, институтов, организаций, средств) и «масс» (слабо организованных, не исполняющих специфических функций и пр.) характерно преимущественно для традиционно-иерархических и модернизирующихся обществ. В первых из них элитарные структуры обеспечивают сохранение социальных и культурных образцов, во вторых — выступают еще и в роли модернизаторов, инициаторов перемен. В развитых обществах такое разделение функций теряет смысл, поскольку действуют многочисленные более или менее автономные динамические факторы экономического, социального, глобального и прочих порядков.

В отечественной истории наиболее очевидна послепетровская тенденция элитарно-бюрократической модернизации, в рамках которой разворачивались практически все общественные потрясения и кризисы до начала XX века, а затем и в советский, и в последующий период. Как стимулом, так и тормозом модернизации выступали главным образом соотношения сил внутри элитарных структур (а отнюдь не конфликты правящей элиты с угнетенной массой). Властвующая элита советского периода — неважно в данном случае, под какими именно лозунгами и с каким успехом, — монополизировала модернизаторские функции в обществе. Примерно к 60–70-м годам смена поколений в элитарных структурах, с одной стороны, и усложнение факторов социально-экономической и культурной динамики — с другой, привели практически к полной утрате этой функции элитарными структурами советского образца.

Как известно, инициировавшая перестройку часть партийно-государственной элиты была заинтересована преимущественно в совершенствовании средств поддержания собственного статуса. Демократические течения не имели ни сил, ни решимости играть самостоятельную роль и определять общественные ориентиры. В результате ни накануне общественно-политических сдвигов (перед 1985-м), ни в последующие годы потрясений и поворотов в стране не существовало новой или альтернативной элиты. А сохранявшая реальную власть государственная верхушка советского образца — при обновленных названиях и конфигурациях — была преимущественно заинтересована в самосохранении, устройстве собственных дел и т.п. Поэтому, в частности, была невозможной в России ни продуманная дальновидная реформа, ни «революционная» ломка старой системы. Радикально настроенная «команда Гайдара» за год работы смогла лишь создать ситуацию «обвала», запустив механизмы рыночных отношений и оставив открытыми проблемы их социальных последствий.

Роль массовых факторов (намерений, настроений, действий) в этих процессах неизменно оставалась вторичной, «зрительской». Если использовать грамматические аналогии, то эти факторы участвовали только в страдательном залоге — поддерживая, сомневаясь, не доверяя и т.д., но не влияя активно на сам ход происходящих событий. Лишь в редкие моменты (типа президентских выборов 1996 года) политическая элита нуждалась в действенной (чисто электоральной) массовой поддержке и стремилась ее мобилизовать.

Отсюда — растерянность и колебания значительной части населения при определении своего отношения к происшедшим в стране переменам. Представляется полезным разделить, с одной стороны, *демонстративное* отношение людей к официальным лозунгам, с другой — *реальное* отношение к повседневной стороне этих перемен, с которой приходится иметь дело «массовому» человеку.

Показателями демонстративного плана в значительной мере можно считать регулярно получаемые ответы на вопросы о пользе реформ, о том, нужно ли их продолжать, было бы ли лучше, если все в стране оставалось бы так, как было до перестройки, и т.п. Соответствующие данные многократно публиковались. Имеется, правда, и другая составляющая таких утверждений — уровень доверия и одобрения власти, лидеров, декларирующих линию на продолжение реформ. Поэтому высказывания в пользу продолжения реформ становятся то реже (в последние годы правления Б. Ельцина), то чаще (с приходом к власти В. Путина). Колебания, правда, происходят в ограниченном диапазоне, и перевес того или другого мнения обеспечивает небольшая доля опрошенных, притом что более 40% постоянно затрудняются выразить свою позицию. Стоит заметить, что понятие «реформы» давно утратило свой первоначальный смысл и используется преимущественно для обозначения всех перемен, связанных с переходом от советской экономической модели к рыночной.

Примечательно, что позитивные оценки начатым в 1992 году реформам высказываются всегда существенно реже, чем суждения о необходимости продолжать реформы, и наоборот, осуждение реформ звучит гораздо чаще, чем требования прекратить их. Объяснить такие расхождения, видимо, можно тем, что оценка начатых перемен не связана с каким-либо сегодняшним (да и тогдашним) выбором или иным действием, а вопрос об отношении к нынешним переменам — это вопрос действия, точнее, приспособления. Ведь около двух третей опрошенных (в различных опросах последнего времени) утверждают, что они либо уже приспособились к произошедшим переменам, либо смогут этого добиться в ближайшее время.

Сугубо демонстративной можно считать, например, усилившуюся за последние годы ностальгию по спокойному прошлому (ответы на вопросы типа «было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года?»), по планово-распределительной экономической системе и т.п. При этом желание вернуться к старой системе выражают лишь около четверти респондентов (примерно столько же симпатизируют компартии). Функции демонстративных утверждений такого рода нельзя недооценивать: это прежде всего демонстрация определенной установки, направленная «внутрь», т.е. самому себе (не интервьюеру же...), это средство самоутверждения человека в неодобряемой им нынешней действительности. При каких-то условиях такая позиция может быть повернута и вовне, скажем, превратившись в избирательную поддержку «реверсивных» сил. Но чаще всего «внутренняя» демонстрация таковой и остается.

Реальные же показатели переориентации людей, которые выявляют опросы, — это данные о готовности приспосабливаться к новым условиям (преобладают, как известно, пассивные и понижающие формы такого приспособления, изменение запросов происходит преимущественно за счет их ограничения), искать новые для себя способы деятельности (табл. 5). Разумеется, в любых «реальных» показателях общественного мнения отчасти присутствуют и демонстративные моменты.

**Таблица 5. «Что бы Вы предпочли, если бы могли выбирать?»
(возрастное распределение ответов)**

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Возраст, лет	Свободное время, легкую работу	Уверенность в завтрашнем дне	Много работать и хорошо получать	Собственное дело
1989				
До 20	7	29	30	15
20–29 (60-е г. р.)	11	39	33	12
30–39 (50-е г. р.)	11	41	31	11
40–49 (40-е г. р.)	8	60	20	5
50–59 (30-е г. р.)	14	45	28	2
60 и старше	7	61	17	1
Всего	11	47	26	7
1999				
До 20	3	35	36	17
20–29 (70-е г. р.)	5	52	28	11
30–39 (60-е г. р.)	2	56	33	8
40–49 (50-е г. р.)	2	63	28	5
50–59 (40-е г. р.)	2	76	14	3
60–69 (30-е г. р.)	5	68	7	1
70 и старше	1	61	8	0
Все	3	60	23	6

Примечание: точные формулировки ответов:

1) иметь пусть небольшой заработок, но больше свободного времени, более лег-

кую работу; 2) иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне; 3) много работать и хорошо полу-

чать, пусть даже без особых гарантий на будущее; 4) иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск.

Как видим, за десятилетие резко уменьшилась доля людей, увлеченных перспективой «легкой работы» и «собственного дела», заметно окрепли ориентации на малооплачиваемую, но стабильную работу; в более молодых возрастных группах почти не изменилась ориентация на работу и заработок. Эти данные не раз публиковались и обсуждались. Главный вопрос здесь, как представляется, — в том, «кто виноват» в отмеченной ситуации: консерватизм социальной «природы» «человека советского» или консерватизм самих *обстоятельств*, в которых человеку приходится действовать. Большинство опрошенных полагают, что для них эти обстоятельства либо не изменились, либо изменились так, что им приходится «вертеться, приспосабливаться» к худшим условиям жизни и работы.

А это, в свою очередь, создает не только постоянную основу для демонстративной массовой ностальгии, но и питает ожидания некоей «твердой руки», способной навести долгожданный «порядок». В последнее время (после исчерпания и дискредитации реформаторского порыва и возможностей демонстративного разрыва с советским прошлым) значение таких настроений существенно изменяется: они становятся массовой базой крепнущих тенденций «консервативного реванша», по крайней мере частичного.

Адаптация: возможности и пределы

Проблему приспособления человека к широкому спектру социальных и социально-политических изменений пришлось описывать ранее⁴. Не повторяя аргументации, отметим лишь принципиальные тезисы. В перипетиях отечественной истории последних столетий человек (во всех его

4

См.: Левада Ю. Человек приспособленный // Мониторинг общественного мнения. 1999. № 5; Он же. Человек ограниченный: Уровни и рамки притязаний // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 4 [= Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1993–2000. М., 2000. С. 467–488, 530–548].

статусах, включая правящую элиту и революционную контрэлиту) не выбирал варианты изменений, но лишь вынужден был приспосабливаться к ним. Причем сама возможность почти беспредельного приспособления объяснялась весьма ограниченным масштабом собственных запросов. Последняя по времени — и как будто почти успешная — операция такого рода разворачивалась на протяжении примерно последних десяти лет.

В ноябре 2000 года (N=1600 человек) на волне конъюнктурного массового оптимизма только 20% населения России полагали, что они выиграли от перемен, произошедших за эти годы, но 67% — что они либо уже приспособились, либо в ближайшем будущем приспособятся к этим переменам. В этих цифрах — все основные параметры современных проблем человеческого существования. Не ожидали, не выиграли, не одобряют (в значительной мере), но приспосабливаются.

К чему именно приспосабливается человек в сегодняшней России?

К снижению уровня жизни. Как известно из опросов, из официальной статистики, к концу 2000 года доходы населения составят в среднем около 70% от их величины в докризисные месяцы 1998-го. К снижению собственных запросов. Это позволяет привыкать жить «на пониженном уровне». К конкурентному рынку товаров, услуг и труда. К навязчивой рекламе со всеми ее шумами. К демонстративной конкуренции политических лозунгов и персон. К не существовавшему ранее «рыночным» возможностям получения дохода. К новым факторам и параметрам социального неравенства, связанным с личными и имущественными возможностями.

Приспособление в каждом случае означает трудное изменение способов деятельности, ее нормативных и ценностных регуляторов, а также «баланса» этих регуляторов. Даже в стесненных обстоятельствах человек стремится сохранить себя, свой статус, свою самооценку. Не относятся к этой категории те изменения, которые означали только снятие ограничений, — появление возможностей для потребительского и политического выбора, для выезда за границу, для получения информации и т.д. Ко всему этому не требовалось приспосабливаться, достаточно было просто привыкнуть (и, как обычно бывает в ситуациях привыкания, тотчас забыть о приобретенных свободах, пока об этом не напоминают какие-либо угрозы их вновь лишиться).

В то же время стало очевидным существование обстоятельств, к которым человек не может приспособиться (или приспосабливается ценой невосполнимых потерь в собственном положении). К таким обстоятельствам относятся нестабильность социальных регуляторов, отсутствие фиксированных критериев и «правил игры», хаос. Страдают и теряют от такой неопределенности «все», но в разной мере. Проще человеку, способному замкнуться в скорлупе собственных привычных интересов. Труднее всего приходится активным общественным группам, которые пытаются играть «на повышение» (или на сохранение относительно высокого уровня) собственного статуса, т.е. элите, имеющей или стремящейся получить доступ к верхним этажам общественной иерархии. Поэтому, в частности, все наблюдаемые в последние годы социально-политические кризисы были (и, скорее всего, будут

в обозримом будущем) преимущественно кризисами на этих, элитарных, околоставных этажах.

Получается, что всеохватывающие процессы адаптации оказываются дифференцирующими, формирующими новые структурные группы в обществе, определяющими функции и ответственность элит и т.д. Перспективы общественных перемен, их устойчивость и глубина определяются не «средней» массой (мнениями, голосованиями «всех»), а способностью определенных, специализированных групп и структур воздействовать на ситуацию.

Функции консервативных настроений

Хорошо известная историческая особенность отечественного развития как в досоветские, так и в советские, и последующие времена заключается в том, что любые сколько-нибудь прогрессивные сдвиги осуществлялись с помощью старых институтов и методов, при неучастии и незаинтересованности масс, разве что за исключением сугубо разрушительной составляющей перемен. Каждый шаг «вперед» предполагал укрепление механизмов насилия, личной зависимости, иерархизма и коррупции в общественном строе (в терминологии Л. Гудкова — «традиционализирующая модернизация»). Продолжая эту печальную традицию, некоторые российские реформаторы все еще надеются, что формирующийся на их глазах авторитарно-мобилизационный режим способен провести в жизнь их экономические замыслы. Значительно более реальные шансы имеет использование консервативных массовых настроений для укрепления авторитарных, великодержавных, реставраторских тенденций.

Символы действенные и «мертворожденные»

Символические аспекты человеческого действия приобретают особое значение в период перемен и потрясений, неопределенности социальных ориентиров и нестабильности ценностных регуляторов. Символическую роль могут приобретать термины, имена, тексты, даты, флаги, ритуалы и т.д. Позитивные (в контексте определенного движения, изменения) символы восполняют разрыв между реальным и желаемым положением вещей, мобилизуют активность, заменяют аргументацию. Негативные — отталкивают, демобилизуют и пр. (конечно, это крайне упрощенные разделения, при более подробном рассмотрении можно было бы выделять универсальные и партикулярные, национальные, традиционные и другие символические структуры).

Эпоха перемен (после 1985 и 1991 годов) в значительной мере обесценила советскую символику, в том числе идеологическую, но не создала никакой собственной. Попытки придать символически мобилизующий смысл терминам «перестройка», потом «реформа» (в значении 1992 года) давно провалились. Не удалось сделать символом «новой России» (тоже, по существу, дискредитированный термин) «август 1991 года», его надежды и жертвы. Даже введенный в те дни в обиход российский триколор был позже символически перекодирован как принадлежность петровской исторической традиции. Позднейшее (ха-

ракторное для ельцинского периода) обращение к российско-монархической символике (орлы, ордена, украшения, «придворные» нравы и т.д.) не привлекли общественного внимания и не играли никакой заметной роли в ориентации настроений и мнений. Другое дело — архаические по своему происхождению, но не утратившие влияния на значительную часть населения символы (в основном словесные) державного величия, национальных интересов, военной мощи, порядка, противостояния «козням» внешних врагов и т.п. В этом ряду оказалось и сугубо символическое церковное возрождение, оказывающее влияние в основном на внешние формы государственной и повседневной жизни, но лишь в малой мере — на ее идейные или нравственные устои. Даже официально признанная несчастной первая чеченская война 1994–1996 годов задумывалась как «маленький победоносный» символический жест восстановления государственных ценностей. Получается, что все символические структуры, вводимые в оборот на протяжении 15 лет, оказывались мертворожденными.

Вполне понятно поэтому, что команде нового президента, пообещавшего, кстати, устранить «разрыв» с прошлым (т.е. с советским прошлым), снять конфронтацию с компартией, не оставалось никакого иного символического выбора, кроме обращения к призракам советской государственной символики (военное знамя, музыка и стиль гимна). При выборе между (абсолютно нереальной) русской «Марсельезой» и (тоже нереальным) «Боже, царя храни!» государственный и массовый разум солидарно останавливаются на александровско-михайловской «середине». Необходимость именно такого решения стала очевидной, когда утихли критические страсти, а «консервирующие новации» получили как парламентскую, так и массовую поддержку. (В феврале 2000 года идею старой музыки для государственного гимна поддерживали 27% опрошенных, в октябре–ноябре, когда развернулась соответствующая политрекламная кампания, — 46%, в конце декабря, после голосования в Думе, музыку А. Александрова одобрили уже 75%; N=1600 человек для всех трех опросов.)

Проблема символики переместилась в другую плоскость — выяснения пучка реальных значений происшедшего. Один из моментов — демонстративное невнимание власти к мнению и шумным протестам «правых» — слишком очевиден и комментариев не требует. Главный вопрос: означает ли все это своего рода стартовый выстрел, символ реального реверсивного поворота или появление очередной мертворожденной символической структуры, подменяющей какое бы то ни было движение? Ответ на этот вопрос определяется не намерениями президентского окружения, а прежде всего возможностями их осуществить — политическими, экономическими, международными.

Особая сторона проблемы, которой до сих пор исследователи «человека советского» уделяли слишком мало внимания, — социальная мифология, без которой не обходится никакая общественная система. В нынешних условиях в общественном мнении явно преобладает традиционный, консервативный и консервирующий набор представлений о «добром» властелине при скверных боярах, счастливом прошлом, коварных чужеземцах и собственной жертвенной судьбе.

В существующих условиях все три выделенные «оси координат» человека находятся в состоянии сложного кризиса, т.е. ломки и формирова-

ния механизмов дальнейшей деятельности в соответствующих направлениях.

Острота ситуации определяется тем, что энергия разрушения, высвобождения от старых ограничений практически полностью исчерпана за предыдущие годы, нерешенность принципиальных проблем общественного и государственного устройства, отсутствие его нормативно-правовых основ ощущается людьми сильнее, чем когда-либо ранее. В этих условиях заметно возрастает роль «призраков» советского прошлого — не только как ностальгических фантомов или символов, но и как вполне реальных структур, традиций, нравов (продуктов «полураспада» разрушенной системы). Отсюда «реставрационные» надежды одних и опасения других. Для того чтобы оценить их обоснованность, нужен, очевидно, обстоятельный анализ исходного состояния — положения человека в «традиционном» советском обществе (это особый предмет рассмотрения) в соотнесении с переломами и сдвигами последних лет. Пока же стоит лишь отметить, что наблюдаемые (и по-разному влияющие на общество и общественное мнение) «призраки» прошлого реальным реставрационным потенциалом не обладают. Это относится и к таким химерическим образованиям, как сочетание самовластия с рынком или агрессивная мобилизация под лозунгами конституционного порядка и т.п. Процессы разложения и распада социально-политических систем (особенно если рассматривать их в «дальней», поколенческой перспективе) столь же необратимы, как термодинамические. Но продукты такого распада (полураспада) в каждый момент, на каждом этапе значимы сами по себе, могут долго воздействовать на общественную атмосферу, на самоопределение человека.

Исследование современных характеристик и вариантов наследия «советского» социально-антропологического типа требует экспликации первоначального, в некотором смысле «архетипического» образца этого феномена. Значение и сложность этой задачи становятся более очевидными по мере углубления в современный материал изучения. Публицистически оправданные приемы отождествления или, наоборот, противопоставления изначального (или классического) образца и его современных форм, очевидно, становятся непродуктивными в рамках научного анализа. В то же время очевидно, что сколько-нибудь строгие средства рассмотрения «советского архетипа» невозможны; материалы соответствующих эмпирических исследований фрагментарны и относятся к поздним периодам существования советского режима, первая волна нашего исследования (1989) застала «человека советского» в период упадка и трансформации. Необходимая реконструкция может опираться лишь на косвенные данные и носит преимущественно аналитический и гипотетический характер.

Особая проблема — интерпретация имеющегося в распоряжении исследователей достаточно обширного и представительного материала о ценностях и установках старших возрастных когорт, т.е. людей, которые в 1989 году были старше 50 лет (и сформировались в стабильно-советских условиях). Он позволяет в какой-то мере представить некоторые особенности более ранних форм интересующего нас феномена, но не более того: даже относительно прочные и давно сложившиеся антропологические комплексы подвержены влиянию перемен.

Еще одна методологическая трудность обусловлена неоднозначностью («многослойностью») как косвенных, так и непосредственных показателей состояния общественного мнения. Данные, относящиеся к советскому прошлому, — имеется в виду преимущественно «классически советское», наименее подверженное социальной эрозии время — трудно сопоставить с получаемыми в современных условиях средними или социально-групповыми показателями. Классическое советское общество являлось значительно более однообразным по сравнению с нынешним, но зато различия между массой и элитарными слоями были более значимыми. А потому особый смысл приобретал и «вечный» разрыв между демонстративным и реальным уровнями изучаемых показателей: универсальный императив выглядеть «как надо» накладывал заметный отпечаток на самооценки и самовыражение «массового» человека советской эпохи.

Анализ проблемы советского «архетипа» приобретает определенную актуальность в условиях очевидного оживления в обществе реставраторских тенденций и связанных с ними опасений. Примечательно, что тенденции реставрации (или реанимации) ряда характерных черт «человека советского» (изолированного от «человека западного», чуждого рациональному расчету, окруженного врагами, тоскующего по «сильной руке» власти и т.д.) действуют после общепризнанного кру-

шения идеологических структур и соответствующих им пропагандистских стереотипов, присущих советскому периоду. Это подкрепляет предположение о существовании некоего исторического «архетипа» человека, «архетипа», уходящего корнями в социальную антропологию и психологию российского крепостничества, монархизма, мессианизма и пр. Впрочем, следует учитывать также и продолжающееся воздействие на население квазипатриотической пропаганды, которая отнюдь не исчезла, избавившись от «революционной» фразеологии.

Отметим еще один фактор интереса к исходным особенностям «человека советского». Чем дальше уходит в прошлое его собственное время, тем более привлекательным представляется оно массовому воображению. Демонстративная ностальгия, естественно, служит прежде всего способом критического восприятия нынешнего положения. Ее побочный результат — поддержание в различных группах общества, вплоть до социально-научной среды, идеализированных моделей советского прошлого (кстати, аналогичная идеализация наблюдается и в сегодняшней западной советологии). Действует, впрочем, и прямо противоположная тенденция — возврат к полемически оправданному для своего времени представлению советской эпохи как некой «черной дыры», абсолютного тупика, выбраться из которого не дают возможности никакие реформаторские усилия.

Вопрос о серьезности или, напротив, эфемерности перемен, произошедших за последние годы на уровне человеческого сознания, позволяет судить и о степени реальности шансов на возврат общества к тоталитарной модели в каком-либо из ее вариантов.

Советский человек в «поколенческой» матрице

Советская история может быть представлена как последовательность смены «доминантных» поколений в различных общественных слоях. В каждый значимый период (такowymi можно считать, например, приблизительно десятилетия 1916–1929, 1930–1941, 1945–1953, 1953–1964, 1965–1985 годов) доминирует наиболее активно определенная поколенческая группа (когорта), обычно соотношенная с какой-то другой.

Если взять уровень властных структур, то 20-е годы были представлены взаимодействием «революционной» элиты со «старой» бюрократией, 30-е годы — как утверждение слоя новой (сталинской) партийно-государственной бюрократии, оттеснившей и уничтожившей «революционную» элиту. Для послевоенных периодов характерны борьба за «сталинское наследство» между политическими кланами примерно одного возраста и происхождения, затем (около 1965 года) смена политизированной элиты административной («брежневской»), а спустя два десятилетия — смена «закрытой» элиты «открытой» (М. Горбачев) — смена, которая оказалась губительной для политического режима.

На несколько условном «массовом» уровне поколенческие переходы имели иное значение. В 20-х годах во всех «больших» (в социологическом смысле) группах в городах и селах в массово-образованных слоях действовали поколения, сформировавшиеся в дореволюционных условиях, в той или иной мере приспособившиеся к изменению обстоя-

тельств или мало затронутые ими. В последующие десятилетия происходило бурное формирование новых крупных общественных групп советского происхождения в деревне («новое» крестьянство) и в городе («новые» рабочие и массово-образованные группы). За эти годы были созданы механизмы массовой политической социализации, мобилизации, контроля, репрессивная и воспитательная системы закрытого, изолированного от внешнего мира общества. Безусловно доминирующим являлось поколение людей, родившихся перед Второй мировой войной и социализировавшихся в советских условиях, — первое и практически единственное собственно «советское» поколение.

Первые послевоенные годы не принесли ни общественно-политических, ни поколенческих перемен. Победно-патриотическая волна массовых настроений использовалась для закрепления системы, ее господствующей элиты и способов ее господства, лишь несколько скорректированных по сравнению с предшествующим десятилетием.

Новый опыт поколений, прошедших войну и вступивших после нее в активный возраст, сказался лишь во второй послевоенный период (после 1953–1955 годов), т.е. в годы первого идейного и политического кризиса партийно-советской системы. Все поколенческие когорты, вступившие в активную жизнь после этого, не проходили уже ни «закалки» массового террора, ни милитаристской муштры, ни школы подчинения и противостояния, ни «школы» массового голода. В результате эти поколения оказывались в какой-то мере «расшатанными», отчасти отошедшими от собственно советских стандартов поведения, соответствующих запросов и ограничений.

Получается, что наиболее характерным собственно советским поколением может считаться только доминировавшее в 30-х и 40-х годах, т.е. в период кризисного формирования и военного испытания общественной системы. Но поэтому также это «советское» поколение не дало действительно устойчивого, цельного и, что особенно важно, способного к воспроизводству в следующих поколениях человеческого типа.

«Человек советский» в его исходном, условно говоря, классическом варианте — собирательное понятие, идеальный тип в терминологии М. Вебера. Никакой эмпирический референт, никакой конкретно-исторический тип социальной личности ему полностью не соответствует. Это важно иметь в виду при обращении к современным процессам.

«Человек изолированный»

Это важнейшая и многосторонняя характеристика рассматриваемого социального типа, поскольку здесь налицо изоляция внешняя и «внутренняя», пространственная и временная.

Исторические, географические, религиозные факторы, столетиями отгораживавшие Россию от остального (и прежде всего европейского) мира, хорошо известны. Мировая война и революция довели социальную и культурную изоляцию страны до предела. Контакты на массовом, человеческом уровне были прерваны практически полностью. Внешний мир был представлен как враждебное «капиталистическое окружение», смертельно опасное для «нового мира», а потому наглухо закрытое «железным занавесом», в том числе информацион-

ным (цензура, спецхраны, глушилки и пр.). Конечно, это несколько упрощенная картина, полная изоляция все же была невозможна. И именно поэтому для поддержания замкнутости советского мира требовались постоянные усилия воспитательного и репрессивного аппаратов, время от времени подкрепляемые неистовыми «патриотическими» кампаниями. В условиях Второй мировой войны и антигитлеровской коалиции внешние контакты, в том числе и на человеческом уровне, несколько расширились, возникла угроза размывания изолирующих барьеров. Реакцию на такую угрозу можно заметить в заполнявших последние годы сталинского режима волнах гонений против «космополитизма», «преклонения перед Западом» и т.п. В эти годы происходило, по существу, обновление изолировавшего страну идеологического вала, своего рода Великой Китайской стены на советский лад. Строительным «материалом» служили уже не классовые, а сугубо национально-патриотические компоненты — гротескные концепции повсеместного превосходства «русского» над «западным» в образе жизни, культуре, науке, технике, оружии, «отечественного приоритета» во всех сферах. Полвека спустя уместно вспомнить о факторах и последствиях этого, далеко не безобидного, калечившего души и судьбы множества людей, «патриотического» вздора.

Самая важная и, видимо, самая опасная сторона подобных усилий заключается в том, что они находили благодатную почву в человеческом материале, доставшемся власти и выращенном ею. Исторически и психологически укорененные противопоставления типа «свое — чужое» и «наше — вражеское» закреплялись и работали в массовом сознании куда эффективнее доктринерских классовых разграничений. Одна из причин предельно легкого крушения официальных доктрин в начале 90-х состоит в том, что марксистская идеология давно, еще с 40-х годов, служила преимущественно прикрытием великодержавной политики.

Изоляция «человека советского» от внешнего мира вполне логично дополнялась не менее строгой изоляцией от собственного прошлого. История представлялась ему так, чтобы выглядеть подготовкой поворота всех судеб в октябре 1917 года (в более поздних трактовках, как и в нынешнем массовом восприятии, кульминацией служит май 1945 года). Нечто подобное происходило с историей общественной мысли, литературой и пр. Отгораживать человека пытались (и не без успеха) от излишних сложностей психологии, культуры, генетики, т.е. от собственного внутреннего мира. Формировался человек «простой» и просто управляемый. Закономерный результат принудительно отгороженного существования — человек, внутренне (в своих установках и привычках) изолированный от внешнего мира, не готовый к его восприятию и пониманию, к диалогу и пр.

Особая и отчасти специфическая для России проблема — «элитарная» самоизоляция. После многочисленных чисток и проработок в слое, называвшемся советской интеллигенцией, особенно в около-властных ее группах, влияние «западников» было ликвидировано, преобладающими стали русофильские, великодержавные установки, активно использовавшиеся в идеологических кампаниях 40–50-х годов. Неудачи перестроечного прорыва в мировую цивилизационную систему привели к оживлению изоляционистских установок на всех уровнях, от официального до массового. Как показывают опросы, демонстративная отчужденность от внешнего мира и представление о том, что

Россия «окружена врагами», в последние годы разделяются чаще, чем пять–семь лет назад. Широкую поддержку получает главная идеология современного изоляционизма — концепция «особого пути» развития страны.

На первый взгляд, перед нами ситуация парадоксальная: внутренние изолирующие барьеры в общественном мнении, в политической идеологии власти сохраняют свое значение при почти полном устранении барьеров «внешних» (открытые границы, широкий обмен людьми, отсутствие формальной цензуры и пр.). Если в 30–50-х годах подавляющее большинство советского населения совершенно не представляло, как живут люди на капиталистическом Западе, и готово было принять на веру суждения о массовом голоде, «абсолютном обнищании» и пр., то сейчас, при обилии информации и развитых контактах (около трети населения имеет родственников или знакомых среди уехавших жить за рубеж), действуют ограничители иного типа (например, установка на то, что «там хорошо, но это не для нас»). Причем такие установки не столько навязаны пропагандой, сколько «выращены» почвой массовой апатии, неготовностью к активному социальному действию.

«Человек без выбора»

Изолированность существования «человека советского» неизбежно дополнялась *безальтернативностью* этого существования. Отсутствовали не только варианты политического, идейного, в значительной мере даже эстетического выбора — ограничения накладывались на трудовой и профессиональный выбор (запрещение самовольной смены работы, обязательное распределение специалистов), даже на избирательность поведения в сугубо личных сферах (запрещение аборт, затруднение разводов). Разумеется, не все запреты реально соблюдались. В открытом или теневом виде действовали многочисленные механизмы рыночной, карьерной, бюрократической конкуренции.

Абсолютной оставалась безальтернативность социально-политической системы. Ее воспринимали с энтузиазмом, по привычке, с лукавым терпением, редко — с возмущением, но непременно как нечто данное, неизбежное, непреходящее. В массовом человеческом сознании отсутствовали варианты существования — не только в настоящем, но и в прошлом, а также в будущем (поскольку исключались из воображения социальные измерения будущего — открытость и неопределенность вариантов). Утопия грядущего земного рая, в позднейших вариантах ограниченного «отдельно взятой страной», в который, впрочем, мало кто верил, исполняла сугубо идеологическую, по терминологии К. Манхейма, функцию закрепления массовой иллюзии вечности на личной социальной системе.

Два поколения советских граждан выросло в пространстве-времени замкнутого мира, практически не имея представления о существовании иных миров или иных линий развития. Остатки поколения «старых» интеллигентов и специалистов, видевших другие горизонты, к началу 50-х годов вынуждены были признать, что у них в стране больше нет выбора. Даже десятилетия спустя расшатанное в своих установках поколение «шестидесятников» (речь шла, конечно, о его интеллигентской верхушке) усматривало не альтернативу существующей

системе, а лишь возможность некоего гуманизированного ее варианта — «социализма с человеческим лицом», надежды на который родились и погибли вместе с «пражской весной» 1968 года.

Безальтернативность существования — один из важнейших факторов демонстративной капитуляции старой революционной партийной элиты перед сталинским режимом и ее политической гибели. При всех сомнениях эти люди не имели никакой политической или нравственной альтернативы, вынуждены были считать террористический режим «своим», а потому подчиняться его мифологии и его правилам политической игры. Это особенно очевидно стало во время наибольшего разгула террора 30-х годов.

Человек, лишенный «бремени выбора», естественно, оказался (и остался) удобным объектом политического и пропагандистского манипулирования. Неожиданно открывшиеся после 1985 года возможности выбора — сначала читательского, потом политического, государственного (выбор страны проживания), позже потребительского и рекреативного — его скорее ошеломили, чем изменили в наиболее существенных чертах. Винить в этом, разумеется, нужно прежде всего обстоятельства формирования в обществе социально-политического плюрализма, во многом искусственного и эфемерного. В стране не сложились политические организации, имеющие массовую поддержку и определенную идейную платформу, существующая многопартийность оценивается общественным мнением довольно низко. Однако и возврат к «классическому» партийно-государственному единству советского типа приветствуется не столь часто. Можно полагать, что широко распространенная демонстративная тоска по былому единоначалию является прежде всего зеркально перевернутой картиной современного многоначалия и безначалия.

«Человек упрощенный»

Характеристики «образцового» типа человека советского как *простого* обладают большой семантической нагрузкой. Постоянным лозунгом на протяжении всей советской эпохи оставалось формирование «нового человека» — нового по сравнению со всей предшествующей историей. Еще где-то к концу 20-х годов стало ясно, что этот конструируемый человеческий тип отнюдь не должен быть подобен модному в начале XX века образу могущественного титана, «разрывающего цепи». Идеальный человек, востребованный советской историей, прославленный ее лидерами и трубадурами, — скромный, незаметный и непритязательный исполнитель указаний и предначертаний власть имущих. Декларативный героизм его сводился к выполнению трудовых, боевых и прочих заданий руководства. От своих дальних предшественников (просветителей XVIII века с их *homo novus*) советская модель «нового человека» сохранила лишь освобождение от «порочного» наследия цивилизации (буржуазной, эксплуататорской). В реальности речь шла о формировании человека, свободного от излишних претензий, знающего свое место в иерархической системе и избавленного от «пережитков прошлого», к длиннейшему списку которых причислялись чуждые вкусы и религиозные убеждения, непослушание начальству и воровство, лень и пьянство, преклонение перед западной культурой и «амо-

ралка», индивидуализм, национализм и «погоня за длинным рублем». Акценты изменялись применительно к различным ситуациям. На деле попытки привести человеческую массу к единственно правильному знаменателю не были успешными. Результаты, если они и были, сводились к тому, чтобы оттеснить неконтролируемые явления с демонстративной плоскости общественной жизни на «теневую».

Представление о том, что опорой социализма должны быть люди, максимально свободные от вредного наследия прошлых цивилизаций, отражалось в (сугубо декларативной) ставке на малограмотных «низовых» рабочих и крестьян. На деле власть опиралась на бюрократию и специалистов, а голоса и кадры из «простых» использовались для того, чтобы приструнить образованные и плохо управляемые группы. Так создавался не «новый» и не «простой», а лишь «упрощенный» человек — послушный, скромный, готовый довольствоваться малым, жить «как все», не «высовываться», ожидать заботы и милостей от всемогущего государства. В этот «кодекс упрощения» входило и требование «прозрачности», доступности для коллективного и начальственного контроля. История известного персонажа В. Набокова, караемого за «непрозрачность», многократно повторялась в советской реальности.

Закрепленная в советской системе зависимость человека от «группового коллектива» превращала его в группового заложника. В то же время эта зависимость оборачивалась групповым сговором — против установленного порядка.

Положение человека в западном массовом обществе критическая социология (Д. Рисмен, Э. Фромм и др.) описывает как одиночество в анонимной толпе. К советской ситуации такая терминология вряд ли применима. Вынужденный растворяться в группе и организации, человек страдал не столько от одиночества, сколько от принудительной социальности. Разумеется, «упрощение» человека имело свои пределы. «Мечтая начать с *tabula rasa*, русские революционеры лгали самим себе. Утвердившись в Кремле, они могли строить лишь из того „материала“

людей, обычаев и привычек, которые имели под рукой.

И, что еще хуже, сами были сделаны из того же материала», — замечал польский поэт и проникательный мыслитель Чеслав Милош¹.

1

Милош Ч. Россия // Литературное обозрение. 1999. № 3. С. 13.

Контроль страха

Постоянный страх человека перед всемогущей государственной системой чаще всего был привычным и неосознаваемым, подобно тому как, скажем, не ощущается атмосферное давление в «нормальных» пределах, но становился предметом переживания, когда ситуация выходила за пределы условной «нормы». Это был страх потери социального статуса и привилегий, потери доступа к распределительным структурам, утраты допустимой доли свободы, благополучия семьи, страх за собственную жизнь. Непосредственными жертвами массового террора даже в годы его пика было все же относительное меньшинство населения. Но механизм всякого террора бьет не столько по «целям», сколько по «площадям», косвенно затрагивая большинство, если не всех. Пока этот механизм работал, к нему приспособлялись, его считали неизбежным верхи и низы, массы и элиты, жертвы и палачи.

«Классическое» советское общество не знало сколько-нибудь заметных социальных протестов и потрясений — безальтернативное тотальное господство, подкрепляемое массовым страхом, не оставляло для них никаких возможностей. Скрытое несогласие уходило в «двоемыслие», прикрывалось показной лояльностью по отношению к власти (другая сторона того же явления — показная забота власть имущих о народе).

Возможности реставрации в оценках общественного мнения

Незавершенность и неопределенность перемен последних 20 лет вынуждает общественную мысль (и общественное мнение) постоянно фокусировать внимание на проблеме — или опасности — вполне *практической* реставрации институтов и ориентиров советского прошлого. При этом не только в сознании относительно молодых (условно говоря, тех, кому до 40 лет), но и в памяти «очевидцев» событий этого времени действуют преимущественно популярные, навязанные старыми или современными СМИ образы, стереотипы восприятия. Это очевидно сказывается и на представлениях о возможности или невозможности реальной реставрации старых порядков.

Таблица 1. «Возможно ли сейчас вернуться к той общественной системе, которая существовала у нас до 1985 года?»
(возрастное распределение ответов)

(Март 2001 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет					
		18–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70 и старше
Да	4	1	3	2	6	3	10
Скорее да	10	5	4	11	11	14	21
Скорее нет	40	36	34	33	41	41	26
Нет	40	48	50	49	29	28	26
Затрудняюсь ответить	11	9	8	5	13	14	17

Наконец, выясним, как соотносятся оценки прошлого («до 1985 года») и представления о возможности вернуться к нему.

Таблица 2. «Было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года?»

(Март 2001 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных, по столбцу)

«Возможно ли сейчас вернуться к той общественной системе, которая существовала у нас до 1985 года?»	«Было бы лучше, если бы все оставалось как до 1985 года?»			
	Совершенно согласен	Скорее согласен	Скорее не согласен	Совершенно не согласен
Да	11	1	1	1
Скорее да	21	9	2	2
Скорее нет	31	49	41	22
Нет	23	31	49	72

Даже те, кто согласен, что было бы лучше сохранить в стране «доперестроечное» положение, в большинстве не верят в возможность «вернуться» к советскому прошлому.

Серию очерков о чертах и судьбе «человека советского» в меняющихся общественных условиях уместно дополнить попыткой представить возможные направления динамики интересующего нас феномена на более или менее отдаленную от нынешней ситуации перспективу. Разумеется, рамки социологического анализа, в том числе опирающегося на данные массовых опросов, исключают умозрительные гадания любого рода. Речь может идти лишь о том, чтобы представить социальное существование человека как некоторый пучок возможных вариантов развития в различных направлениях. В качестве исходной базы при этом может использоваться и «обратная перспектива», т.е. анализ пройденных узлов, развилок, использованных и упущенных возможностей. К тому же, если собственно историческое знание, как принято считать, не имеет сослагательного наклонения (т.е. не имеет права использовать оборот «если бы...»), то социологическому воображению — как называл его Чарлз Райт Миллс — в таком праве отказать нельзя.

Проблема «дальней» перспективы всегда была больной не только для официально-советского миропонимания, но и для различных направлений протестных и постсоветских идеологов, для российского национального сознания в целом. Линейный взгляд на историю, как правило, сочетался в них с близоруким прагматизмом, т.е. с привязкой социального действия к его непосредственному результату: свободы, порядок, прогресс и благосостояние всегда востребовались в режиме «немедленно». Отсюда болезненное *нетерпение* и неоправданные ожидания, а затем столь же болезненное разочарование отсутствием или двусмысленностью достигнутых результатов. Все эти стадии можно было наблюдать со времен крестьянской реформы 1861 года (если не с петровских перетрясок) и переворотов 1917-го, а сейчас — в массовых и элитарных оценках событий последних 10–15 лет.

Негативный фон

В современном общественном мнении результаты перемен последних лет оцениваются, как известно, в целом негативно.

Картина выглядит довольно беспросветной: по всем показателям (за единственным исключением — свободы информации) безусловно преобладают негативные оценки произошедших перемен. Примечательно, что реже всего улучшения отмечаются в сфере реальной, «участвующей» демократии, а чаще всего — в сфере демократии «зрительской» (получение информации).

Подобное распределение суждений — это не отражение случайных колебаний массовых настроений: общественное мнение в марте 2001 года довольно спокойно, 71% считают, что они уже приспособились или вскоре приспособятся к переменам, 33% предпочли бы, чтобы положение в стране оставалось таким, каким было до перестройки. В конте-

ксте других исследований обнаруживается примерно такая же доля (15–20%) выигравших от перемен. (По статистическим данным, около 20% населения за последние годы заметно увеличили свои доходы, оторвавшись от остальных социальных групп; именно эти 20% обеспечивают сейчас основную часть потребительского спроса на престижные товары и услуги.) Болезненная проблема — социальная роль этой относительно состоятельной «верхушки»: она может быть как «локомотивом» или примером для общего подъема, так и «тормозом», препятствующим подъему «средних» и «низших» слоев. На деле оба механизма действуют одновременно.

Таблица 1. «Как изменились за последние 10 лет...»

(Март 2001 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Стало лучше*	Без изменений	Стало хуже**	Затрудняюсь ответить
питание членов семьи	18	28	53	2
одежда членов семьи	18	25	55	2
жилищные условия семьи	13	56	30	1
мебель, бытовая техника в семье	20	39	39	2
возможности (для детей, внуков) получить хорошее образование	8	20	63	8
возможности получить хорошее медицинское обслуживание	8	21	67	4
возможность иметь интересную работу	15	38	27	20
уровень доходов	15	19	62	5
положение в обществе	11	46	35	7
возможность завести собственное дело	17	28	33	22
возможность получать разнообразную информацию	52	25	18	6
возможность посещать зарубежные страны	17	29	41	13
возможности для отдыха	15	21	23	7
возможность влиять на принятие решений на своем предприятии	6	44	30	20
возможность влиять на принятие решений в своем городе, районе	6	52	26	16
возможность влиять на принятие решений в стране	4	55	26	16

* Сумма ответов «значительно лучше» и «в какой-то мере лучше».

** Сумма ответов «в какой-то мере хуже» и «значительно хуже».

В любом случае негативное восприятие перемен — долговременный общий фон восприятия населением прошедших изменений и перспектив дальнейшего развития. Этим надолго определяется политическая слабость активных сторонников «курса реформ». (Массовое вынужденное приспособление к ситуации не изменяет положения.)

Тем самым сохраняется устойчивая почва для дискредитации реформ и реформаторов, для попыток вернуть страну к ситуации «до 1985 года» — по крайней мере, символически. Если, например, в 1988 или 1991 годах можно было усматривать массовую опору для политических рынков и авантур в разных направлениях (грубо говоря, «вперед» и «назад»), то сейчас налицо такая опора лишь для попыток попятного движения. Правда, ее наличие никому не гарантирует успеха, реальные возможности реверсивного курса ограничены целым рядом экономических, элитарных, международных факторов. В этой ситуации оценки перспективы явно осложняются.

Исследования последнего времени дают странную на первый взгляд картину взаимоисключающих тенденций. С одной стороны, очевидная установка на противопоставление своей страны остальному миру: мы окружены враждебными силами, нам никто не желает добра, иностранный капитал стремится колонизировать Россию, присвоить ее богатства, действия НАТО направлены против наших интересов и т.д. С другой стороны, практически неизменная тенденция к сближению со странами Запада, преобладание позитивных оценок США и других западных стран, стремление видеть Россию членом ЕС, довольно широко распространенное (хотя и не преобладающее) представление о «европейском» будущем России. С одной стороны, чуть ли не всеобщая тоска по советскому прошлому, предпочтение плановой экономики. С другой стороны, как мы уже видели, около 70% утверждают, что уже приспособились или почти приспособились к нынешней системе, за продолжение реформ высказываются чаще, чем за их прекращение, деятельность бизнесменов чаще считают полезной для страны.

С одной стороны, всеобщее признание свободы слова как главного достижения всей эпохи перемен, одобрение независимости СМИ и их права на критику власти. С другой стороны, готовность признать право государственного контроля за медиа и введение некой «моральной» цензуры СМИ. Чрезвычайно поучителен опыт конфликта вокруг НТВ в 2000–2001 годах: попытки массового протеста, растерянность, в конечном счете — смирение перед силой манипуляции.

С одной стороны, высокий уровень надежд на то, что нынешний президент сможет навести порядок, поднять благосостояние, добиться победы в чеченской войне. С другой стороны, довольно сдержанные или просто негативные оценки деятельности президента в различных сферах. (В июле 2001 года только 14% опрошенных объясняли массовое доверие к В. Путину тем, что он успешно справляется с решением проблем страны, 43% усматривали причину доверия в том, что президент еще сможет справиться с этими проблемами, а 34% ссылались на то, что «люди не видят, на кого другого они могли бы положиться».)

Подобный список можно продолжать довольно долго. Самое странное на первый взгляд, что перед нами не только — и даже не столько — различия во мнениях разных социально-политических, возрастных, образовательных и прочих групп, но «разномыслие» в умах одних и тех же или близких по позициям людей. В прошлые годы распределение мнений по фундаментальным — как казалось тогда — проблемам отношения к советскому прошлому и рыночным реформам довольно строго соответствовало возрастному рубежу 40 лет. Но суждения о проблемах новейшего происхождения — «управляемой» («административной») демократии, чеченской войне, манипуляции СМИ — как будто не связаны ни с возрастными, ни с образовательными, партийно-политическими и прочими стандартными характеристиками.

Поэтому любая из перечисленных выше позиций может, в разных контекстах, оказываться «мнением большинства» и получать разную практическую трактовку. В социологической публицистике такая ситуация иногда трактуется как выражение «незрелости», «разорванности», даже «шизофреничности» современного общественного мнения

в России. Однако даже самые удачные названия и словесные формулы объясняющей силой не обладают, поскольку их первичные значения сами нуждаются в объяснениях.

Принципиальная задача понимания — не в подборе подходящего обозначения, термина, а в том, чтобы вскрыть механизм взаимобусловленности позиций, которые представляются полярно противоположными. Скажем, желательным представляется такое сближение с внешним миром, которое несовместимо с привычным имперским самосознанием и потому кажется унижительным. Или принимаются демократические свободы, вынужденно дарованные властью, а потому и с легкостью превращаемые в предмет властного манипулирования. Или признаются, пусть с оговорками, реформы, которые приводят к длительному падению жизненного уровня населения и тем самым создают массовую почву для недовольства. Другая сторона действия тех же, по существу, механизмов — неоднократно обсуждавшееся соотношение декларативного (желаемого) и реального (вынужденного) поведения; это постоянно находит отражение в данных исследования общественного мнения.

Но ведь само общественное мнение лишь отражает (фиксирует, усиливает) особенности нашей социально-политической сцены, примитивность ее ролей и масок, текстов и декораций. Будущим исследователям (для современного глаза это трудно различимо) предстоит разбираться, в какой мере такое положение можно считать атрибутом «переходности» социального времени, а в какой — российской (российско-советской) традицией. В значительной мере — однако не целиком — от этого зависит и перспектива следующих 50–100 лет. (Не целиком, так как развитие ситуации зависит не только от состояния «человеческого материала», раскрываемого опросами, но и от судьбы элитарных групп, социальных институтов, внешних воздействий и пр., иначе говоря, от всей социальной конструкции.)

Две ключевые проблемы подхода к анализу возможных перспектив интересующего нас феномена — понимание исходного, нынешнего его состояния (т.е. «массового» человека в современной российской ситуации) и адекватная характеристика механизма или, по крайней мере, парадигмы его возможных трансформаций. Приходится преодолевать соблазн «простейших» вариантов — например, экстраполяции нынешнего образца в отдаленное будущее, конструкции желаемого (утопического) социально-антропологического типа, рационального процесса совершенствования наличного человеческого материала, воспроизводства в отечественных условиях стадий и форм развития, пройденных ранее другими общественными системами, а также различных вариантов реверсивных (попятных) или циклических трансформаций. Какие-то элементы подобных вариантов можно обнаружить, в том числе и с помощью массовых опросов. Но никакого единого механизма изменений — будь то экономический (в духе концепций экономического или технологического детерминизма — даже при самом фантастическом технико-экономическом прогрессе в наступившем столетии), нравственный, глобализующий или иной — обнаружить не удастся и, скорее всего, не удастся. Остается внимательное рассмотрение действующих, а также ушедших в прошлое и, наоборот, только формирующихся «фигур» общественных перемен с помощью имеющегося эмпирического и мыслительного материала.

«Человеческие» последствия догоняющей модернизации:
 российские версии

Запоздавая, или «догоняющая», модернизация нигде и никогда не напоминала в XX веке плавный эволюционный процесс освоения достижений мирового прогресса на благо населения новых или обновленных государств. Использование определенных (прежде всего военно-промышленных или просто «оружейных») достижений западной цивилизации традиционными общественными системами, выход на поверхность новых национальных, клановых, религиозных разделений и амбиций, массовое нетерпение, а иногда еще и революционный авантюризм — все эти факторы неизбежно придавали общественному развитию, если рассматривать его в глобальных масштабах ушедшего столетия, конвульсивный и болезненный характер. Практически все «догоняющие» страны и регионы воспроизводили не «рациональную», а «иррациональную» составляющую европейской модели, т.е. скорее ее катаклизмы, чем ее преимущества. Вопреки всем расчетам прогрессистов и социалистов утопического периода (XIX век) новые национальные консолидации и разграничения приобрели больший вес, чем классовые или идеологические. Одна из ошибок либералов и социалистов заключалась в том, что они считали нацию пережиточной, традиционной структурой, которая отмирает или теряет значение в модернизационных процессах. На деле же современные национальные консолидации, разграничения, символы, противопоставления, затрагивающие массовые переживания и комплексы, — неизбежные продукты модернизации на определенных («формирующих») ее этапах. Точно так же как транснациональные образования на более поздних этапах. В Европе ситуация стала изменяться в пользу новой интеграции лишь к концу XX века, но положение во многих «догоняющих» странах (Азии, Африки) скорее осложнилось. Новые государства, избавляясь от колониализма, утверждают себя самым простым способом — противопоставлением «Западу» (а сейчас еще и «глобализму»).

Другая важная черта «догоняющих» обществ — неравномерность, разрыв во времени технических, экономических, социальных, политических, нравственных процессов. Отсюда парадоксальные сочетания разнорядковых структур. Вопреки иллюзиям экономического детерминизма во многих странах традиционные диктатуры или деспотии в условиях привнесенного или милитаризованного экономического роста укреплялись, а то и уступали место не менее деспотическим и диктаторским «освободительным» режимам.

Все эти «завихрения» прогресса Россия испытала, освоила, и — по всей видимости — до сих пор не преодолела.

Феномен «многослойности» социального времени

Одна из весьма важных особенностей российской истории — наложение разновременных социальных, социокультурных, социально-политических структур. Отсюда многослойность, как бы протяженность во всех направлениях — «в даль» пространства (территория для России всегда имела социальные и исторические измерения) и «в глубь» социального и человеческого материала, испытывающего воздействие преобразующих и разрушающих факторов. В этой толще меркнут и гаснут,

трансформируются любые импульсы перемен, на любой тип действия находится соответствующая форма противодействия, преимущественно пассивного, адаптивного. В итоге «понижающий трансформатор» работает на всех уровнях, приспособляя импульсы перемен, откуда бы они ни исходили, к существующему образу жизни и сознания. Это относится и к «массе» (многочисленные «низовые», по характеру жизни наиболее косные слои), и к разнообразным группам элиты — консервативным, прогрессистским, эгоистическим и пр. И, разумеется, к бесконечной российской «глубинке», отнюдь не только пространственной. (Это наверняка не исключительная особенность России, но вряд ли где-нибудь разновременность социальных процессов играла столь важную роль и могла проявляться столь наглядным образом.)

Поэтому, в частности, в России никогда не были возможными эффективные (соответствующие каким бы то ни было замыслам и планам) изменения «сверху» — каждая волна перемен, навязанных волей власти или стечением обстоятельств, переходя от одного временного слоя к другому, от центра к периферии, трансформировалась многократно, создавая как очаги молчаливого сопротивления, так и многообразные формы мимикрии и приспособления к переменчивым обстоятельствам. Сопротивление любым переменам (независимо от их направленности) в России всегда опиралось прежде всего на эту инерцию социального и человеческого «материала», в меньшей мере — на чье-то заинтересованное или привычное противодействие. М. Горбачев как-то привел популярный анекдот своего времени: «Перестройка как ветер в тайге, качаются верхушки деревьев, а внизу никакого движения не заметно». Позднейшие фольклорно-политические вариации типа «хотели как лучше...» разрабатывают ту же извечную модель. Важно в данном случае то, что перед нами — не просто ряд исторических примеров, но парадигма, своего рода стандарт преобразующих процедур. Этот стандарт сохраняется не только массовой инерцией, но и действием вполне определенных рудиментарных социально-политических структур — военных и карательных, которые выступают хранителями и инкубаторами традиционно-советских поведенческих типов.

Шансов на преодоление этой парадигмы в обозримом будущем — скажем, на два ближайших поколения или дольше — не видно. Протяженность российской социальной реальности «вглубь» принципиально отличает ее от «одновременной» реальности американской, немецкой, польской, эстонской и т.д.

Согласно многократным исследованиям, заметная часть населения России — около 15% — постоянно утверждает, что живет «как раньше», не чувствуя перемен последних лет. Причем, что особенно любопытно, это в большинстве своем вовсе не обитатели «географической» российской глубинки — больше всего их среди жителей крупных городов, это почти треть (29%) относящих себя к «верхней части среднего слоя» и 30% считающих, что «все не плохо и можно жить» (данные опроса мая 2001 года, N=1600 человек).

Бремя империи в обществе и в человеке

Имперское сознание, точнее, мировосприятие — существенный конструктивный элемент российского государственного и массового

менталитета с давних (примерно с XVII века) до нынешних пор. (Именно поэтому не кажется лишней очевидная оговорка: никаких оценочных, уничижительных или возвеличивающих моментов при исследовании этого феномена не должно быть.) Выделим три основных компонента этого явления: положение страны в мире (реальное или воображаемое участие в решении судеб мира), отношение к зависимым странам и народам (миссия насаждения своей цивилизации и наведения порядка) и, наконец, самоутверждение и самооправдание (отсталости, насилия, жертв). В исследовании современного общественного мнения на первый план выступает последнее.

Комплекс незаслуженного поражения, унижения, появившийся после крушения «большой» советской империи в 1991 году, составляет не только основу массовой ностальгии, но и источник надежд на реставрацию — хотя бы в «суженных» рамках — России как великой державы (в ядерном и ооновском смысле) с административно-лидирующей миссией по отношению к условной «периферии» (куда попадают регионы Поволжья, Северного Кавказа, Сибири) и, естественно, соответствующим набором оправдательной аргументации. Опыт последнего десятилетия показывает, что цивилизованный выход из имперского тупика в России не найден и в ее массовом сознании практически незаметен.

Неудача воинственного противостояния «Западу» и падение «железного занавеса» действительно сблизили Россию с остальным миром, но в то же время показали ее реальное нынешнее положение как периферии европейской цивилизации. (Собственно, в международных сравнениях и в советские, и в досоветские времена страна занимала место на периферии Европы — об этом в 30-х годах писал Г. Федотов; в условиях противостояния этого не было видно.) Более того, развитие событий в странах бывшего «третьего мира» продемонстрировало, что Россия оказалась и на периферии Азии, поскольку магистраль развития ведущих стран (Японии, Китая), «тигров», нефтяных царств все прошли мимо нас; сложные связи Азии с Западом развиваются, минуя Россию.

В результате Россия воспроизводит на своей территории катаклизмы имперского и постимперского типов, но не находит цивилизованных способов их преодоления. Это касается и отношений с бывшими союзными республиками, с нерусскими в России. Обратная страна всякого имперского комплекса — «антиимперский» комплекс, порождающий тенденции нового национального самоутверждения, реализуемые часто далекими от цивилизованности средствами. Это, в частности, выражается в выявленном опросами общественного мнения позитивном отношении большинства к сохранению в паспортах «пятого пункта» — указания на национальную принадлежность. Причем это позиция как доминирующей этнической общности (русских), так и менее многочисленных национальных групп (татар и др.): одни хотят напомнить об исторических корнях собственной значимости, другие добиваются нового самоутверждения. Получается, что переживание национальной идентичности обостряется с обоих концов разорванной цепи.

В некоторых случаях общественное мнение — руководствуясь, видимо, сугубо прагматическими соображениями — обнаруживает стремление отойти от имперских стереотипов. Так, признаками «великой страны» опрошенные чаще всего считают высокий уровень экономики и благосостояния, стабильность. Но две трети предпочли бы жить

«в огромной стране, которую уважают и боятся другие», а не в «маленькой, уютной, безобидной стране» (март 2000 года, N=1600 человек).

Чеченский узел — самый трагический и наглядный пример тупиковой постимперской ситуации в России. («Постимперской» правомерно называть ситуацию, когда имперские комплексы действуют после разрушения имперских механизмов господства.) Ни политическое, ни массовое сознание в стране не способно найти способ преодоления кровавого конфликта, в котором не может быть победителей.

Варианты преодоления имперских комплексов дает новейшая европейская история — это формирование новых условий для нормальных отношений между бывшими метрополиями и бывшими колониями, между «историческими» соперниками. Сегодня российское общество (на всех его этажах, включая общественное мнение) значительно ближе к наименее цивилизованному, «югославским» вариантам переживания постимперской ситуации.

Непреодоленное бремя империи — еще одно существенное отличие российской ситуации от польской, венгерской и пр.

Поиск «поводыря»: масса, элита и власть

В начале XXI века, как и сто лет назад, в России продолжается спор о том, «кто виноват» (с вариантами ответа — лидеры, элита или «народ», масса) и кто способен вывести страну из очередного тупика. Эту вечную тему приходилось рассматривать с разных сторон, в данном случае ограничусь некоторыми соображениями, относящимися к теме статьи.

Представления о «стихийных» настроениях и действиях масс, которые могут использовать и подчинить своим нуждам профессионалы революции, восходят к упрощенному прогрессизму конца XIX века, испытанному на практике в последующем столетии. Ничего собственно «стихийного» в социальных действиях не бывает. Существуют привычные, традиционные ориентиры и способы действия, которые могут активизироваться в измененных условиях, вступать в сложные коллизии с прогрессивными тенденциями и образовывать с ними причудливые симбиотические конфигурации. Осознанные намерения и действия играют в них — на всех без исключения уровнях социальной организации — подчиненную роль. «Вынужденный» и противоречивый, неоднозначный характер российских перемен, о котором приходилось писать ранее, проявляется на всех этапах происходящих преобразований, в том числе и на последнем («постпереходном» или «посттермидорианском», в трактовке разных авторов). Убежденные или декларативные демократы считают себя обязанными поддерживать заведомо антидемократические действия властей (или, по меньшей мере, смиряться с ними, находя оправдания собственной слабости), а воинственно-патриотически воспитанные и ориентированные деятели вынуждены учитывать экономические и международные реалии, в какой-то мере использовать лексику и набор средств «демократического происхождения». В результате поверхность общественной жизни приобретает как бы закамуфлированный вид, и это непосредственно сказывается на распределении оценок общественного мнения.

Старомодная квазимарксистская, скорее характерная для ленинизма, схема преобразований (революции) как взаимодействия «со-

знательной» верхушки (элитарные группы, организации революционеров, прогрессивные диктатуры) и «стихийной» деятельности масс очень мало подходит для описания процессов перемен в современных отечественных условиях (а возможно, и не только в них). Представление об общей (предположим, цивилизационной, демократической) направленности желаемых перемен не превращает действия их сторонников в сознательные. Слабо организованная политическая верхушка последнего периода «бури и натиска» (перестройки, реформ) в лучшем случае представляла, «с чего начать» разрушение старой системы, и практически не знала или не принимала во внимание, как это отзовется в разных слоях и группах общества. (Напрасно было бы их в этом упрекать: ослепленные собственной миссией или амбициями люди всегда плохо видят вдаль, но именно это и позволяет им достаточно решительно действовать.) Призрак «экономического материализма», многократно опровергнутого историей XX века, сослужил скверную службу реформаторам, утешавшим себя и страну тем, что с изменением хозяйственных отношений все остальное само собой уладится и расцветет. Эта иллюзия привела по меньшей мере к двум тяжелым ошибкам: во-первых, это невнимание к нуждам простого, «массового» человека, лишившее реформаторов шансов на массовую поддержку, а во-вторых, это надежда на «реформаторский» потенциал недемократических властных структур и персонажей, приведшая к тому, что реформаторы трижды (при трех президентах) упустили возможность обрести собственное политическое лицо.

Утраченные иллюзии «перестроечных» и последующих лет околореформенных конвульсий — это не просто массовое разочарование в демократических идеях и лозунгах, это показатель неудачи той элитарной, квазихаризматической, а на деле бюрократической структуры, которая исполняла роль движущей силы общественных перемен. Реформаторы имели высокие показатели общественного доверия в самый трудный переломный момент 1991–1992 годов, но даже не попытались превратить кредит доверия в систему гражданских организаций и нормально работающих институтов. Вполне закономерно поэтому, что по исчерпанию надежд на квазихаризматических лидеров массовые ожидания связываются с чиновником, получившим рычаги власти. Два года, прошедшие после властного перехода 1999–2000 годов, показывают, что «новая власть» — при всей ее слабости, шараханьях «курса», возможных перестановках персонажей и т.п. — может быть обречена на довольно длительное существование. Если рассматривать ситуацию в плане властной или управленческой организации общества в целом, а не только его правящей верхушки или отдельных личностей, можно попытаться представить обоснованность различных вариантов перспективы.

Рассмотреть их уместно в парадигме «мобилизующего»-«либерализующего» типов развития, на которые недавно обратил внимание В. Мау (правда, в терминах типов революции).

Атрибуты «мобилизующего» развития применительно к российским условиям наступившего столетия — это концентрация власти вплоть до единоличной диктатуры, воссоздание (под разными вывесками) механизмов элитарной и массовой поддержки, формирование новой «преторианской» политической элиты, централизованный контроль над основными экономическими ресурсами. Этот набор естественно дополняется попытками создания искусственной, вторичной ха-

ризмы лидера (т.е. не приводящей его к власти, а конструируемой с ее помощью, на уже достигнутом «рабочем месте»). Другое дополнение такой конструкции — патерналистская, опекаемая властью и служащая ей образованная, духовная, даже и церковная элита.

Общественное мнение сегодня, как видно по опросам, почти готово принять или даже приветствовать подобный вариант. Существующие конституционные формы (парламент, выборность), как показывает отечественный исторический опыт, в частности за последние два года, достаточно легко приспосабливаются к мобилизационным тенденциям. Не препятствуют ему ни частная собственность, ни множественность хозяйствующих субъектов (более сложный вопрос — участие в мирохозяйственных связях; советские и китайские варианты известны).

Реализация любых мобилизационных сценариев предполагает высокую сплоченность правящей элиты (и правящей верхушки в более узком смысле слова), эффективное использование механизмов массового социально-психологического напряжения (увлечения, страха). То и другое трудно представить продуктами каких бы то ни было «технологических» разработок, в XX веке для подобных массовых экспериментов в разных странах (Россия, Германия, Испания и др.) требовались как минимум общенациональные катастрофы. Кроме того, общественные системы мобилизационного типа никогда не были способны к самовоспроизведению, т.е. к воспроизводству собственных социальных и «человеческих» компонентов. Поэтому мобилизационные общественно-политические системы имеют внутренне ограниченный лимит времени для существования.

Можно полагать, что в перспективе мобилизационные варианты (во множественном числе) имеют шансы на неполную и «импульсную», относительно кратковременную, реализацию.

Вариант доминирования реальной личной харизмы в сложно организованном, дифференцированном и к тому же прагматическом обществе мог бы иметь какие-то шансы быть реализованным только в ситуации общенациональной (или даже общемировой) катастрофы такой силы, которая была бы способна разрушить всю институциональную и групповую общественную структуру. Катастрофы общенационального масштаба довольно редки, уникальны, поэтому трудно вообразимы. При существующей на начало столетия расстановке мировых сил ситуация военного разгрома кажется исключенной, глобальные военные события второй половины века, скорее всего, связаны с развитием «китайского» или, что менее вероятно, «исламского» факторов, но сами эти факторы лет через 50 могут существенно трансформироваться. Несколько более вероятной представляется перспектива техногенной катастрофы, какого-нибудь супер-Чернобыля (ядерного, химического). В любом из поддающихся воображению «катастрофических» вариантов институциональная структура («социальная ткань») общества и мирового сообщества имеет шансы на сопротивление и восстановление.

Примерно по тем же причинам не кажется реальной для российского общества вариант неполитической, «духовной», пророческой харизмы. (Напомню, что, по М. Веберу, образец собственно харизматической личности — не Наполеон, а Лютер.) Фантом «духовного лидерства», с которым в XIX веке связывала свою миссию русская интеллигенция, в иных по своей природе общественных разломах — нынешних или будущих — перспективы очевидно не имеет.

«Либерализующие» варианты (тоже во множественном числе) означают не высвобождение, а реальное формирование институтов разделения властей, в том числе парламента и судебной системы, свободных от административного контроля, независимых гражданских организаций и т.д. Переход от нынешних деклараций к действительному существованию таких институтов гораздо сложнее и дольше, чем переход от тоталитарных лозунгов к либеральным декларациям. Весьма вероятно, что в рамки наступившего столетия, т.е. ближайших трех поколений, он не сможет уложиться, даже если допустить возможность непрерывного развития ситуации по одному варианту.

Скорее всего, человека XXI столетия в России ждут новые потрясения и повороты «курса» (не власти, но истории...), импульсы мобилизаций и промежутки преобладания либерализационных тенденций.

Что значит «человек обыкновенный»

В одной из коллективных работ ВЦИОМа, пытаясь представить сложность положения «советского» человека в постсоветский период, специфика которого еще была малопонятной, исследователи использовали такое объяснение: «После развала советской системы на поверхность вышел не сказочный богатырь, а человек, готовый приспособиться, чтобы выжить. Готовый декларировать свою приверженность демократии из отвращения к старой системе власти, но никак не приспособленный к демократическим институтам (да и не имеющий их). Готовый — так это было до недавнего времени — следовать в моменты эмоционального подъема за новыми лидерами в надежде на то, что они окажутся вождями, отцами и спасителями народа. (А потому, кстати, склонный довольно быстро от этих лидеров отворачиваться, если они таких надежд не оправдывают.) Готовый демонстрировать предпочтения рынку и приватизации, но лишь в малой степени приспособленный к самостоятельному экономическому поведению, и т.д. Из этой двойственности соткан мир человека советского, как внешний, так и внутренний»¹.

1
«Советский простой человек».
М., 1993. С. 265–266.

Накопленный опыт исследований дает основания считать такую трактовку ситуации слишком примитивной, прежде всего, по своим методологическим посылкам. Стало очевидным, что человек советский в постсоветских условиях руководствуется не только стремлением выжить, сохраниться, будучи готовым приспособиться к пониженному уровню существования. Это еще и человек униженный, одержимый комплексами социальной, государственной, национальной неполноценности. Человек, склонный видеть за всеми неудачами происки «врагов», склонный искать виновных в развенчанных кумирах (Горбачеве, Ельцине, снова Горбачеве). Человек, «обремененный за державу», т.е. мучительно страдающий комплексом имперского самосознания при отсутствии империи. Человек, предельно уставший от беспорядка и «беспредела». На уровне деклараций он ценит свободы, демократию, плюрализм, но не склонен и пальцем пошевелить для их поддержки, особенно в трудный момент. Куда выше свобод он ставит порядок (хотя бы квазипорядок) и собственное благополучие, которое оказалось таким хрупким в эпоху перемен. И поэтому готов — по крайней мере, на время — поверить любому, кто пообещает

навести порядок, пусть даже самым варварским образом. В особенности если новый лидер по стилю поведения отличается от давно дискредитированного в общественном мнении Б. Ельцина.

Этот «новый» (в очень условном смысле, конечно) человек — не герой, не боец, не фанатик. Он первым страдает от всех перемен, но совсем не хочет быть страдальцем, несчастным, он готов вертеться, искать свою нишу в новом порядке, умерять свои запросы и надеяться на удачный случай. Человек сегодня не жаждет подвигов, не ценит их и потому в кумирах своих не хочет видеть сверхчеловеков, потрясателей основ, небожителей (а ведь все наши вожди с революционных лет до Горбачева и Ельцина претендовали на такой имидж). Скорее он готов видеть кумира в неприметном чиновнике на ответственном посту. Притом с минимумом эмоций (характерно эмоциональное отношение населения к В. Путину по ряду опросов — 3% восхищения, 30% симпатии...). Времена героев и подвигов как будто прошли.

Этого человека столь же бессмысленно упрекать в том, что он «оказался» неготовым к демократии, как российскую политическую и прочую элиту — в том, что она не сумела должным образом воспитать народ и привести его к светлому демократическому будущему. Никто и никогда — по крайней мере, в отечественной истории — не был «готов» к какому-либо серьезному повороту, но все вынуждены были приспособливаться к тому, что получилось.

Ведущий персонаж наступившей эпохи — «человек обыкновенный», homo habilis, которого долго поносили как обывателя, живущего своими собственными интересами. В конечном счете, все великие потрясения именно для него и происходят.

Дежурный — хотя и принципиально нелепый — вопрос: может ли этот человек «взорваться», взбунтоваться? До 20% в каждом двухмессячном опросе заявляют о готовности протестовать, но никогда этого не делают. Ни в человеке, ни в обществе не заложен сегодня «часовой механизм» бунта, массового взрыва антивластного насилия. Слишком сильны механизмы адаптивные, и слишком ясна беспомощность человека перед силой государства. В современных обществах, бедных и богатых, бунтов не бывает. Нереальны они и у нас — если, конечно, исключить упомянутый ранее вариант всеобщей катастрофы. Реальная проблема заключается не в воображаемом «бунте», а в условиях для цивилизованного и эффективного общественного протеста. Пока их нет, в отдаленной перспективе — могут появиться.

«Кривые дороги» и «ограниченная рациональность»
(теоретическое отступление)

Если суммировать опыт всех преобразований и перемен последних двух столетий, напрашивается простой вывод: история «прогрессивного» времени не знает прямых дорог — ни в передовых, ни в догоняющих, ни в подражающих тем или другим странах. Тем более у нас. Никакое накопление знаний, технических достижений, никакие темпы экономического роста — который, впрочем, никогда и нигде не бывает непрерывным и плавным — не обеспечивают гармонического социального развития. Не обеспечивают его и самые высокие нравственные принципы или самые разумные правовые рамки. Механизмами соци-

ального движения остаются кризисы, конфликты, катаклизмы, конвульсии, катастрофы разных масштабов (некоторые из них часто относят к революциям). Разнородность и разнозначность таких феноменов общественного развития в данном случае оставим в стороне, остановимся лишь на особенностях социальных процессов и действий, которые генерируют конвульсивный характер суммарного движения.

Дело в том, что никакой «единой» или «общей» логики социальных действий не существует, в социальном мире нет ни «великого часовщика» XVIII века, ни «невидимой руки» А. Смита, призванной приводить к общему знаменателю разнородные интересы участников рынка. Социальная сцена куда сложнее рынка (тем более в его рационализированном изображении). Даже если считать вполне рациональными действия отдельных субъектов — что весьма сомнительно, скорее можно говорить, что каждое из них имеет свою «логику», — общая картина получается не то мозаичной, не то хаотичной, не то описываемой через «логику» конфликтов сил, амбиций и пр. Так было в XIX и XX веках, сейчас трудно представить себе, чтобы в XXI веке ситуация была иной. Хотя бы потому, что реальные последствия и конвульсии прогресса в глобальных масштабах еще только намечаются. Отечественная история и в XIX и в XX веках, как и современная российская действительность, многократно это подтверждает. Материал для размышлений дают и накопленные данные изучения общественного мнения.

Модель «достижительной» рациональности (максимизирующей некое благо) — лишь один из возможных идеальных типов, с помощью которых нельзя объяснить всю систему человеческого поведения, индивидуального или социального. Ничуть не «хуже» (не менее пригодна) модель поддержания наличного статуса и типа жизни («синица в руке») с помощью рационально рассчитанных средств. Или модель поведения человека, движимого амбициями, завистью, честолюбием. Или модель «исполнительного», послушного чужой воле поведения.

Аксиома человеческой рациональности (т.е. самого существования homo sapiens) предполагает, что человек обдуманно выбирает наиболее эффективные средства для достижения определенной цели или реализации определенных интересов. Сама «цель» или «интерес» при этом задаются «свыше» — традицией, социальной нормой, группой, организацией и т.д. Да и набор доступных и допустимых средств тоже. Не говоря уже о критерии «эффективности», который в социальном и массовом действии не подсуден индивидуальному разуму. Рациональность действия всегда оказывается ограниченной целым набором условий и факторов.

Массовое сознание (общественное мнение), видимо, имеет свою «логику» — или свой набор «логик», способов оценки социальных феноменов и выбора способов действия. При этом движущей силой чаще оказывается не рациональный расчет, а «заготовленные», закрепленные в недрах, глубинных слоях этого сознания *комплексы*. Можно допустить, что это более сложные структуры по сравнению с хорошо известными чисто психологическими комплексами. Их взаимосвязанными компонентами служат претензии и переживания неполноценности, привычки и иллюзии, стремления к реваншу и др. Фигурально выражаясь, не разум, а комплексы «правят» миром общественного мнения.

Простой пример. По многим регулярно повторявшимся опросным данным, население России ценит деловые и моральные качества

западных бизнесменов значительно выше по сравнению с российскими. И в то же время теми же голосами требует обеспечить отечественным предпринимателям преимущества перед иностранцами на российском рынке, боится проникновения иностранного капитала в страну, особенно в крупный — а значит, и наиболее рационально организованный — бизнес и в сельское хозяйство. (В шумной битве вокруг Земельного кодекса массовые суждения всегда были против допуска иностранцев к земельной собственности.)

Рациональный расчет в данном случае означает не только следование популистским аргументам «левых», «агров», «почвенников», «моралистов» и др. Здесь в полную силу работает социальный комплекс неполноценности, побуждающий ставить во главу угла не расчеты экономической эффективности или принципы правового универсализма, а страх утраты «национального богатства» (земли). А кроме того, и страх перед секуляризацией, превращением в предмет экономических отношений таких традиционно мифологизированных категорий, как «земля-матушка», собственность и пр.

В XXI веке мир, в том числе и «наш», станет значительно сложнее, но вряд ли станет разумнее. Может меняться модальность или значимость тех или иных компонентов «комплексного» (в отмеченном выше смысле) механизма, но сам он останется определяющим.

В задачу статьи, напомним, не входит прогноз темпов или характера трансформаций, которые предстоят человеку постсоветскому в перспективе столетия. Обсуждаются лишь предпосылки исследования такой перспективы.

Перемены на человеческом уровне можно, очевидно, наблюдать в трех временных рамках: переоценки ценностей (ориентаций), вертикальной мобильности, смены поколений. Переоценка ориентиров значительной части населения (от «социалистических» к «демократическим», а иногда и наоборот) в связи с увлечениями-разочарованиями последних лет на обозримый период как будто завершилась, как завершилась и фаза первоначальных передвижек общественных слоев (выдвижение на лидирующие позиции более молодых и менее отягощенных советским прошлым кадров, частичное отступление старой элиты на запасные позиции). На очереди общая смена активных поколенческих групп. В перспективе ближайших 20–25 лет поколения, сформировавшиеся в советских условиях, практически целиком сменяются людьми «новой» формации. Эти люди наверняка будут более прагматичными, индивидуалистичными, ориентированными на благосостояние «западного» типа, более свободными от социальной мифологии эгалитаризма и т.п. Из этого не следует, что новое (условно) поколение окажется более приверженным ценностям демократии и гуманизма, более свободным от имперских комплексов. У российского общества нет шансов пойти путем «восточной» (китайской, арабской, корейской) модернизации, но у человека постсоветского, видимо, надолго останется шанс сочетания «полуазиатского» («полусоветского») лица с более европейским стилем жизни. Если, конечно, не произойдет слишком больших потрясений (например, вокруг того же имперского комплекса).

Многочисленные исследования и наблюдения обнаруживают устойчивое преобладание позитивных оценок, стереотипов восприятия, установок, обращенных к прошедшим периодам отечественной истории, преимущественно к самому длительному в XX веке «периоду застоя». Судя по опросам, политическая и экономическая системы, лидеры, отношения между людьми, вся обстановка 70–80-х чаще всего представляется современному российскому человеку более предпочтительной по сравнению с нынешней. Создается — и активно поддерживается значительной частью политической и журналистской элиты — представление о доминировании ностальгических ориентаций в современном российском обществе. Отсюда нередко делаются выводы о неудаче или даже о принципиальной невозможности его реформирования, неприемлемости чуждых моделей жизни для людей, сформировавшихся в советскую эпоху, неизбежности возврата к привычным образцам или хотя бы символам и т.д. Судя по опросным данным, общественное мнение довольно охотно принимает подобные трактовки.

Проблема «человека ностальгического» (а в известном смысле — и «общества ностальгического») несомненно существует, но столь же несомненно, что она не поддается раскрытию с помощью примитивных «ключиков». Нетрудно привести солидный ряд фактов, данных исследований, показывающих, что, сколько бы люди ни сожалели о некоем прошлом, они живут сегодняшними интересами и надеждами. Самая острая тоска по пройденному далеко не всегда равнозначна стремлению туда вернуться. Общественная полемика вокруг образцов и установок, коренящаяся в историческом прошлом, служит, скорее всего, средством самоопределения, самооправдания, размежевания и т.д. современных общественных сил. Это значит, что нуждаются в обстоятельном анализе характер, источники и механизмы влияния «ностальгических» образцов на различные сферы жизни общества и человека.

Существует стандартный набор простых объяснений наблюдаемых феноменов социальной ностальгии: надежды не оправдались, жизнь большинства людей стала просто хуже, политические лидеры первых лет перемен не выполнили своих обещаний, старый порядок сменился хаосом, «Запад» не только не оказал действенной помощи, но использует в своих интересах слабость России и т.д.

Между тем в массовых настроениях, как мы знаем их по регулярным опросам, выражения тоски по лучшему прошлому постоянно сочетаются с обычными практическими интересами сегодняшнего дня: большинство опрошенных постоянно выражает желание не просто «выживать», но жить «не хуже», а то и «лучше» окружающих, кое-кто примеряется и к западным стандартам жизни. Давно установлено, что оценки населением «общей» ситуации (положения в стране) всегда выглядят хуже оценок собственного положения. (Строго говоря, здесь

прямые сравнения неадекватны, потому что сами ряды оценок «общей» и «своей» ситуации исходят из разного опыта и исполняют различные функции в системе координат человеческой деятельности.) В то же время социальная ностальгия нередко наблюдается и у людей, преуспевающих в собственных делах. Индивидуальные ретроспективы (и перспективы тоже) строятся и оцениваются принципиально иначе, чем социальные, политические и пр.

Очевидно, что из любого трудного положения возможны, в принципе, разные «выходы». Если «сегодня» что-то плохо, можно либо вспоминать о том, что «вчера» было лучше, либо надеяться на то, что лучше будет «завтра». По опросным данным, в самой трудной, переломной ситуации 1992 года в общественных настроениях преобладали не тоска по «вчера», а как раз надежды на «завтра». Вопрос, что произошло позже с массовыми и элитарными ожиданиями, требует, видимо, специального изучения. Можно сослаться на усталость, на какие-то «естественные» пределы массовой выдержки, на обманутые надежды, на разочарование в лидерах, на возрождение — в различных формах — организованной оппозиции, способной придать оформленное выражение настроениям разочарования и недовольства. Так или иначе, где-то на рубеже 1993–1994 годов явно изменился характер ожиданий — притом связанных с надеждами социального порядка (на власть, на лидеров). Другое дело, насколько изменилась природа таких ожиданий, т.е., например, насколько важным остался в них «сказочный» компонент (ожидание «чуда»).

Если для преобладающей части опрошенных средоточием ностальгических соблазнов обычно является «застой» (именно этому периоду приписывается максимальная — по меркам ушедшего века — стабильность, уверенность в завтрашнем дне и пр.), то для некоторых групп соблазнительными служат иные исторические образцы — от монархических до сталинских. Можно встретить и людей, восторженно вспоминающих первые годы перестройки и гласности или даже завидующих соседним странам, где на поверхности общественной жизни как будто заметно открытое противостояние, демонстративная (не всегда, впрочем, серьезная по классическим меркам) политическая борьба.

Все это наводит на мысль, что доминирующую социальную ностальгию нельзя «вывести» из какой-то суммы или индекса индивидуальных настроений (например, отслеживаемых ВЦИОМом в рамках замеров индекса социальных настроений). В поисках истоков интересующего нас феномена приходится обратиться к анализу природы и способов действия того ностальгического арсенала (набора рамок и категорий), который влияет на массовое сознание.

Эмпирические параметры проблемы

Обратимся к показателям ряда исследований, которые позволяют представить характер и масштабы влияния современных ностальгических настроений.

Таблица 1. «Согласны ли Вы с тем, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, как было до 1985 года?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Согласен*	Не согласен**
1992, апрель	45	39
1993	46	30
1994, апрель	54	29
1995, сентябрь	45	30
1996, август	51	41
1997, март	52	41
1998, февраль	51	39
1999, январь	51	27
2000, апрель	49	41
2001, март	54	39

Примечание: здесь и в нижеследующих таблицах данные о затруднившихся ответить не приводятся.

** В опросах 1996–2001 годов — сумма ответов «вполне согласен» и «в основном согласен».*

*** В опросах 1996–2001 годов — сумма ответов «совершенно не согласен» и «в основном не согласен».*

Сопоставим более подробные (по возрастным и образовательным группам) данные 1996 и 2000 годов.

Таблица 2. «Согласны ли Вы с тем, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось так, как было до 1985 года?» (по возрастным и образовательным группам)

(N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой социально-демографической группе)

		Согласен	Не согласен
Все	1996	50	42
	2001	53	40
Возраст, лет			
18–29	1996	28	61
	2001	28	55
30–39	1996	40	52
	2001	51	43
40–49	1996	48	42
	2001	51	42
50–59	1996	63	33
	2001	60	34
60–69	1996	73	21
	2001	77	20
70 и старше	1996	83	11
	2001	69	27
Образование			
Высшее	1996	29	64
	2001	35	61
Среднее	1996	42	49
	2001	44	46
Ниже среднего	1996	70	23
	2001	72	22

Таким образом, во всех без исключения наблюдаемых группах произошел явный сдвиг симпатий к ситуации «до 1985 года», причем наиболее заметно уменьшилась доля «несогласных», т.е. заметно ослабло сопротивление ностальгическим настроениям.

Возьмем теперь данные об отношении к конкурирующим экономическим системам.

Таблица 3. «Какая экономическая система лучше для России?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Государственное планирование	«Рынок»
1992, февраль	28	51
1992, март	32	42
1992, декабрь	30	42
1994, февраль	39	32
1995, май	39	22
1996, март	42	34
1997, май	43	40
1998, сентябрь	50	34
1999, май	48	34
2000, апрель	52	33
2002, май	56	30

Ностальгические стереотипы исторической памяти

Примерно с начала XIX века — собственно, с момента зарождения в России общественного сознания (непридворного и нецерковного) — его доминантой становится романтическая концепция «счастливого прошлого». Формальные истоки этого феномена — идеологическое влияние немецкого романтизма и французских течений периода Реставрации. Реальные же кроются в начальных и непреходящих особенностях российской модернизации, которая сталкивается с сильнейшим внутренним сопротивлением (под лозунгами «остаться собой», «сделать по-своему», «вопреки» и т.п.); это касается не только прямых консерваторов, но почти всех отечественных прогрессистов — от ранних славянофилов и первых народников до большевиков и их державно-реформаторских преемников.

Если оставить в стороне «внешние» аспекты доминирующего стереотипа (Россия — Запад), то его структура сводится к представлению о сверхзначимом прошлом («до» некоего критического рубежа — до самодержавия, до завоевания, до крепостничества, до модернизации и т.д.), ничтожном, извращенном, «преходящем» настоящем — и надежде на возвращение к некоему чистому образцу.

Примечательная особенность самого механизма ретроспективных установок общественного сознания: их предметом служили не *«вчерашие»* (т.е. «непосредственно» прошлые) состояния, ценности, герои и пр., а соответствующие атрибуты *«позавчерашнего»* происхождения. Объяснение этого явления довольно очевидно: наша история практически не обнаруживает периодов «плавного» развития, каждая новая фаза которого вызревала бы в предшествующей и ее продолжала. Характерный рисунок («дизайн»?) знакомого нам движения исторического времени — всякий новый этап и режим демонстративно отвергает, клеймит, обличает своего непосредственного предшественника, ища опоры в предпрошлом периоде, который был столь же демонстративно отвергаем ранее. Происходившие разрывы и отвержения, вне всякого сомнения, демонстративно преувеличивались для самоутверждения новой правящей верхушки, новой свиты и т.д. Можно обнаружить подобные конфигурации перемен и в монархические, и в советские, и в постсоветские годы (в последние периоды они даже более очевидны). Впрочем, согласно Светонию и другим источникам, каждый римский цезарь начинал историю с себя...

Поминать всеу гегелевские триады «отрицания отрицания» по этому поводу не следует — хотя бы потому, что в классической философской конструкции предполагался высший и возвышающий смысл «спирального» движения, которого реальная история не обнаруживает.

Свою лепту в распространение стереотипов ностальгического романтизма внесли утопические социалисты и революционеры, в том числе и марксистские. В XIX — начале XX века практически вся социалистическая критика капитализма, рынка, государства, разделения (и «отчуждения») труда, общественного неравенства, несправедливости — как морально-философская, так и экономическая, претендовавшая на научность и радикальность — фактически ориентировалась на патриархальные или просто архаические (общинные, монастырские и пр.) образцы «домодернизационного» происхождения, по значению своему противостоявшие опасным новшествам. В России подобные образцы уже в том далеком веке принимали, как известно, самые причудливые и экстремистские формы, но они влияли на общественное сознание и в других европейских странах; никакой российской уникальности в этом смысле не существовало никогда.

Конечно, тогда речь шла почти исключительно о влиянии на *элитарное* сознание, носителями которого выступали разночинцы-интеллектуалы и аналогичные группы. Для массового влияния какой бы то ни было идеологической конструкции, как показал последующий опыт, требовались такие условия, средства и организации, которых в XIX веке не существовало. В XX веке (если вести отсчет от Первой мировой) они стали доминирующими.

Соблазны державного социализма

Действительное, и достаточно сильное, влияние на массовые уровни общественного сознания оказали не иллюзии проповедников социалистических утопий, а государственные реальности «социализмов» XX века — советского со всеми своими продолжениями, в определенной мере — германского национал-социализма, а также целой серии азиатских, африканских и латиноамериканских режимов с социал-популистскими претензиями. В дальнейшем ограничимся ссылками только на опыт первого из них.

«Реальный социализм», как стали официально именовать этот феномен в последние годы его существования, существенно, принципиально отличался от утопических проектов, а также и от революционных метаний собственной молодости. Ритуальные апелляции к символическим истокам (и классическим авторитетам), занимавшие громадное место в идеологической подсистеме, нужны были для легитимации существующего порядка, а отнюдь не для ностальгических воспоминаний о давних страстях и надеждах. Опорой реального социализма никогда не были высокая производительность, изобилие и свободы, обещанные утопиями, иначе говоря — иллюзии прошлого, перенесенные в далекое будущее. Строй опирался на прямое принуждение, властную, информационную и экономическую монополию, навязанную изоляцию.

Только разгромленные оппоненты режима пытались — и всегда неудачно — использовать идею «возвращения к истокам». Много позже, когда обнаружились надломы в самой системе властвования, по-

добные апелляции (вроде лозунга «восстановления ленинских норм» в хрущевские годы, когда эти термины давно утратили даже вторичный, приписанный им смысл) использовались для символического обновления режима. Любая неспособная к саморазвитию система допускает изменение только как «возвращение» к исконному состоянию; близкий к фарсу пример — официальные формулы 1987 года, объявлявшие перестройку «продолжением дела Октября». В данном случае достаточно отметить, что в обеих попытках обновить непригодную для этого систему ностальгические призывы играли сугубо символическую роль, действующей силой было стремление правящей группы как-то оосовременить режим.

Нет оснований приписывать сколько-нибудь значимые ностальгические настроения массе советского населения в условиях сформировавшегося режима. Если у значительной части людей старших поколений до 40-х годов и оставались живые, собственные воспоминания о досоветском, доколхозном и прочем времени, то они оставались достоинствами личной памяти, но никак не ориентирами социальных надежд и действий.

Но точно так же ни в коей мере не были реальными ориентирами социального поведения — ни на каком из его уровней, от официального до массового, вне зависимости от меры идеологической ангажированности — упования на грядущее царство общинно-потребительской утопии (т.е. иллюзии о счастливом прошлом). Обращения к соответствующей терминологии — не более как ритуальный жест, которым пользовались при недостатке иных способов самооправдания режима (например, в пустословии партийной программы 1961 года, к которой никто не относился всерьез; когда все указанные сроки достижений были провалены, ни власть, ни население просто не вспомнили об этом...). Апелляции к «послезавтрашнему» времени исполняли ту же функцию, что и апелляции ко времени «позавчерашнему».

Что же касается «официальной» (в том числе школьной, газетной и пр.) социальной памяти, то она служила таким же объектом манипулирования, как информация о положении страны или о внешнем мире. История всегда оставалась текущей «политикой, опрокинутой в прошлое» (сколь ни пытались откrestиться авторитеты советского времени от этой, чересчур откровенной формулы М. Покровского, она неизменно оставалась руководством к утилитарной переоценке персон, эпох, правителей, мыслителей и т.д.).

Реально же общество все свои «зрелые» десятилетия жило только в одном, «сегодняшнем» временном измерении, — что свойственно, видимо, любой относительно устойчивой общественной системе. Независимо от того, стремились ли люди, элиты, власти «просто» выживать, сохраняя свое положение, или рассчитывали на какие-то улучшения/облегчения, они ориентировались на действующую систему интересов, возможностей, ограничений, норм и т.д. Прошлое было, как считалось, отринуту навсегда, «иное» будущее исключалось, единственно реальным представлялось продолжение существующей ситуации, т.е. продление «сегодняшнего» состояния. (За пределами нынешнего анализа — вопрос о надежности оснований такого, в терминах У. Томаса, «определения ситуации».)

Именно ощущение стабильного, длящегося положения, согласно многим опросным данным, составляет для заметной части населения

преимущество социалистических порядков перед современными, «переходными». К этому следует добавить другое демонстративное достоинство прошлой системы: ее простота, как бы отшлифованная примитивность властных, социальных, трудовых, идеологически-ритуальных и прочих отношений. Социальные противоречия, как и конфликты в руководстве, наружу не выступали, а такие «несистемные» феномены, как диссиденты, Афганистан и т.п., довольно успешно вытеснялись на периферию общественного внимания.

Привлекательность государственно-социалистического образца в XX веке — преимущественно для стран и регионов, не прошедших самостоятельной школы исторического воспитания, к которым относилась и Россия, — в значительной степени объясняется предложениями простейшим образом («отобрать и поделить») решить проблемы бедности, неравенства, отсталости и пр. А для России, отчасти и для Китая, еще и возможностью выйти на мировую арену с железным (ракетным) кулаком. Всемирные претензии, подкрепленные новой военной силой, при глубочайшей изолированности страны от мирового развития, составляют один из важнейших секретов влияния этого образца в его великодержавных вариантах.

Современному общественному мнению в России стабильным представляется прежде всего стагнирующее состояние скрытого разложения системы, т.е. то, что задним числом окрестили как «застой». В этом нельзя усматривать простой парадокс: сегодня массовое сознание — под давлением обстоятельств и сравнений — фактически воспроизводит самую распространенную двадцать лет назад позицию самых серьезных аналитиков и критиков советского режима, как отечественных, так и зарубежных. Хронологически близкий к своему концу, этот режим представлялся всем им чуть ли не ультрастабильным.

Между прочим, накануне конкурентных президентских выборов 1996 года, когда существовала теоретическая возможность успеха кандидата от коммунистов, в ряде опросов чаще всего высказывались предположения о том, что победа этих сил вернет страну в период желанного «застоя». Любая ностальгия, тем более социально принятая, имеет дело с идеализированной, так или иначе реконструированной памятью...

По данным одного из последних исследований (октябрь 2002 года, N=1600 человек), «если бы можно было начать свою жизнь заново», 39% предпочли бы жить в «спокойные брежневские годы», 23% — сейчас, при В. Путине, 17% — в другой стране, Россия до 1917 года привлекает 5%, а пятилетки, «оттепель» и перестройка — по 3% опрошенных.

Наиболее приемлемым периодом советской истории в общественном мнении оказываются отнюдь не героические или воинственные годы, а те, что представляются наиболее спокойными и относительно уютными. (Впрочем, живая память большинства российского населения и не простирается далее «застоя», все предшествующее —

это в основном содержание опосредованной памяти, письменной, отфильтрованной.) Ностальгические представления о советском прошлом — отнюдь не признак исключительности ментальности советского, или русско-советского, человека. Многие респонденты во всех, без исключения, странах бывшего советского блока отмечают примерно такие же достоинства существовавших у них порядков подсоветского типа¹.

1
См.: Rose R. A bottom up evaluation of enlargement countries // New Europe Barometer 1: Studies in Public Policy (Glasgow). 2002. № 364; см. также: Поус Р. Десятилетие сдвигов, но без особого успеха // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 4.

«Реальный социализм» XX века — не удел фантазеров и фанатиков, а государственная, организованная, бюрократизированная и коррумпированная официальная практика, через множество каналов (социализации и социального контроля) влиявшая на массовую жизнь и массовое сознание, втягивавшая большинство населения в систему властных и клиентских связей, подчинявших его идеологической миссии и всеобъемлющей коррупции. За рамками повседневности человек вынужден был пользоваться только одним, официально навязанным языком. А он претендовал на универсальное объяснение всего и вся в категориях бесконечно длящейся современности.

Оси дезориентации «переходного» времени

Крушение советской псевдостабильности привело к неизбежному распаду всей системы временной ориентации общества. Главное здесь — принципиальная переоценка значения «настоящего» времени. Современное положение вещей стало «ненастоящим», мимолетным (при всем своем стаже на сегодняшний день переживаемый период перемен и поворотов грозит стать куда более длительным, чем «застой»), промежуточным, как бы зажатым между катастрофой вчерашнего и бездной неопределенного, но заведомо «иного» будущего. Все остальные смещения и разрывы в социальном самоопределении — и возникающие в этой связи иллюзии — как бы вращаются вокруг этого осевого феномена. Поначалу, в годы золотых снов ранней перестройки, «подвешенное» состояние впрямь казалось краткосрочным (переходом, взлетом, спуском — неважно), теперь оно воспринимается как довольно длительное, но по-прежнему нестабильное, смутное, как бы неуверенное в самом себе.

Показательными можно считать данные о предпочтительности политической системы (табл. 4, 5).

Таблица 4. «Какая политическая система кажется Вам лучшей?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Советская	Нынешняя	Демократия по образцу западных стран
1996, февраль	39	8	28
1996, апрель	38	11	26
1996, июнь	35	19	25
1997, февраль	45	10	26
1998, декабрь	43	5	32
2000, январь	43	13	31
2000, апрель	42	11	26

Распределение позиций в общественном мнении оказывается относительно стабильным, наблюдаемые колебания почти не выходят за рамки неизбежных ошибок измерения.

Самое примечательное в приведенном ряде показателей — весьма невысокий уровень принятия существующей, «сегодняшней» политической системы, как при теряющем поддержку президенте Б. Ельцине, так и в месяцы наиболее восторженных ожиданий, связанных с президентом В. Путиным. (Кратковременный рост оценок нынешнего порядка в момент напряженной политической конфронтации перед выборами 1996 года — явление ситуативное.)

Представление о временном, преходящем характере действующих социальных институтов и норм очевидно распространяется не только на политическую систему, но и на все прочие сферы социальной жизни. (Укоренившиеся в литературе и политическом обиходе термины типа «переходный» применительно к разным аспектам нынешней реальности основательно искажают картину происходящего, придавая видимость солидности малосодержательным определениям; имплицитные аналогии с органическими и другими чертами переходного возраста скорее усугубляют, чем устраняют дезориентацию.)

Таблица 5. Предпочтительная политическая система, 1996 и 2000

(Май–июнь 1996 года, апрель 2000 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных в каждой группе)

		Советская	Нынешняя	Демократия западного типа
Все	1996	36	10	31
	2000	42	11	26
Возраст, лет				
18–24	1996	7	14	61
	2000	19	21	48
25–39	1996	25	13	40
	2000	37	16	36
40–54	1996	39	9	28
	2000	43	11	29
55 и старше	1996	59	8	13
	2000	66	9	15
Образование				
Высшее	1996	20	11	47
	2000	26	10	46
Среднее	1996	28	12	36
	2000	36	16	35
Ниже среднего	1996	55	8	18
	2000	64	11	15

Изменения можно свести к таким основным моментам: 1) симпатии к советскому строю возросли во всех группах, особенно среди самых молодых; 2) симпатии к западной демократии ослабли, опять-таки заметнее всего — у молодежи и лиц среднего возраста; 3) предпочтения нынешней системы остались в целом на том же низком уровне, но несколько укрепились у более молодых (очевидное следствие увлечения «молодым» лидером).

Не лишено интереса распределение мнений о предпочтениях в отношении политического времени в том же опросе 2000 года по культурно-ценностным основаниям.

Таблица 6. Политические предпочтения поклонников «русских кумиров XX века»

(Апрель 2000 года, N=1600 человек, % от числа назвавших данную фамилию)

«Русские кумиры XX века»*	«Какая политическая система лучше?»		
	Советская	Нынешняя	Демократия западного типа
М. Булгаков	23	26	35
В. Высоцкий	44	13	31
Ю. Гагарин	50	11	26
М. Горбачев	32	16	35
Г. Жуков	54	11	22
В. Ленин	63	10	16
А. Сахаров	37	18	36
А. Солженицын	29	21	36
И. Сталин	63	6	18
Л. Толстой	36	13	39
В. Чапаев	47	14	21
М. Шолохов	53	13	23

* Предлагалось указать три фамилии; приводится только часть списка.

Довольно отчетливо — хотя далеко не просто — прослеживается разделение поклонников кумиров по ориентациям на советское прошлое и на западные образцы. Предпочтение нынешним порядкам высказывают более молодые и демократически настроенные.

Возьмем теперь распределение оценок переживаемого периода как «своего времени» за разные годы.

Таблица 7. «Можете ли Вы сказать, что сейчас Ваше время?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	1993	1999, март	2000, январь
Это мое время	17	17	33
Мое время ушло	36	38	34
Мое время еще не пришло	18	21	23
Затрудняюсь ответить	30	24	10

Получается, что доля определяющих текущее время как «свое» растет, притом за счет уменьшения доли затруднившихся ответить. По данным 2000 года (N=1600 человек), «время, в которое мы живем», считают «своим» 53% в возрасте 18–24 лет, 46% — в возрасте 25–39 лет, 32% — в возрасте 40–54 года, 31% — в возрасте 55 лет и старше.

Приведенные данные нуждаются, очевидно, в одном существенном комментарии. Дело в том, что с привлечением показателя «моего времени» мы переходим от *социального* времени, в координатах которого существует общественное мнение, к *индивидуальному времени человека* — молодого, взрослого, пожилого, преуспевающего или еле выживающего и т.д. Это последнее время всегда для человека «настоящее» в обоих смыслах («сегодняшнее» и «реальное»), в нем расположены все практические и нравственные человеческие интересы, заботы, расчеты, даже самые дальние. Измеряется оно не календарными мерами, конечно, а масштабами связи человеческих дел, поколений. В эти рамки укладываются как «реальное» (индивидуальное, родовое) прошлое, так и «реальное» будущее. К собственной жизни нормальный человек относится всерьез, — вне зависимости от того, насколько серьезно или насколько положительно он воспринимает общественные, социально-политические и прочие события, институты, персоны. В ситуации социальных катастроф и потрясений неизбежно возникает противопоставление индивидуального («серьезного») и социального («несерьезного») времен и противопоставление соответствующих нормативных структур. В частности, такой разрыв выражается в укоренившихся представлениях о неизбежности взаимного обмана, коррупции и пр.²

Что касается другой позиции приведенных выше табличных распределений — «демократии западного образца», то этот вариант многим кажется заметно более привлекательным по сравнению с нынешней реальностью, особенно — как и следовало ожидать — для более молодых и более образованных. Но повышенная привлекательность в данном случае далеко не равнозначна ценностному, а тем более практическому *выбору*. Слишком часто образ «Запада» оценивается в российском массовом сознании то как «зеленый виноград», непригодный для внутреннего потребления, то как «краса в чужом окошечке», то как прямая угроза. Эта тема часто рассматривается и в данном случае не является предметом обсуждения, по-

² См. статью «Человек в корруптивном пространстве» в настоящей книге.

этому ограничусь лишь одним замечанием. До последнего времени опросы обнаруживали явное преобладание предпочтений к «особому пути» и «особому порядку» (в смысле отличного как от советского, так и от западного образцов). Новейшая политическая струя — поиски западной поддержки или как минимум оправдания чеченской политики России — создает впечатление необходимости сближения с Западом, США, НАТО, и это не может не влиять на общественное мнение. Отсюда и некоторый, впрочем, довольно неустойчивый сдвиг настроений (см., например, кривую отношения к США в 2002 году), который требует осторожного к себе отношения — и отдельного анализа.

Пока части российского общественного мнения «западный» образец представляется наиболее вероятным для нашего дальнего будущего, другим — отрицательным ориентиром, от которого следует по возможности держаться в стороне — неясно, правда, в какой именно. В любом случае статус самого «будущего времени» (не непосредственно ближайшего, а дальнего) представляется весьма неопределенным. Убогие мечтания о молочных реках в кисельных берегах (в партийной программе 1961 года было обещано, что уже через 20 лет «богатства польются полным потоком»), вряд ли серьезно действовавшие на многих, забыты напрочь, новых не придумано. Идеалы Будущего (с большой буквы), как отмечалось выше, всегда были возводимы на пьедестал иллюзиями Прошлого. В зрелых современных обществах, укорененных в разнообразии сложного настоящего времени, работает, видимо, категория продленной современности. В бедном настоящем, скрывающемся под маской «переходности», этого нет.

«Статус» прошлого в современной ностальгии

Никакие распределения массовых предпочтений сами по себе не дают ответа на вопрос о реальных *функциях*, о *значении* таких предпочтений в данный момент, в данном обществе, при данном соотношении действующих в нем сил и факторов. Подойти к ответу можно лишь окольными путями.

События и ценности ушедших времен в той или иной форме «работают» в различных обществах (речь не идет о чисто исследовательских интересах и т.п.). Традиции, социально-исторические ритуалы действуют в исторической Англии, в постисторической Америке, в не имеющих собственной истории новых государствах. Социальная ностальгия, психологически значимое для множества людей отношение к ретроспективным ценностям, присутствует во всех подобных ситуациях. Болезненной она может становиться тогда, когда апелляция к исторической памяти (в не столь давнем отечественном прошлом — к «юбилеям») заменяет или подменяет теряющие свою действенность средства социальной консолидации. И даже опасной — когда во спасение существующих институтов, авторитетов, политических акций привлекаются не просто атрибуты памяти, а средства, инструменты прошедшей эпохи.

С некоторой долей условности правомерно выделить два типа ностальгических феноменов — «*символ*» и «*тень*» прошлого. В первом случае речь идет собственно об апелляции к определенным узлам социальной памяти, которые наделяются специальным (например,

ритуальным) значением. Во втором — о восстановлении «в правах» отвергнутых ранее социальных институтов, нравов, порядков. Символическое наследие прошлого как бы переработано временем, лишено непосредственного (оперативного) влияния на текущую ситуацию, обеспечивая преемственность и связь времен на уровне культурных значений. Как известно, на площади перед британским парламентом стоят памятники О. Кромвелю и королю Карлу I, казненному революцией XVII века, — история как история. Памятники царским особам, которые сооружаются в разных городах России, вполне можно отнести к ностальгическим символам прошлой истории, не задействованным в современных противостояниях и интригах. Иное дело — попытка вернуть на Лубянскую площадь памятник Ф. Дзержинскому, снесенный после провала «путча» 1991 года. Когда летом 2002 года московский мэр выступил с таким предложением, эту идею одобрили 56% российских граждан. Доминирующее объяснение выглядит совершенно аполитично — необходимость сохранить память о прошлом. На деле в этой ситуации сработала скорее «антипамять» — стремление забыть о роли всей «чрезвычайщины» в недавней истории страны. А также о том всплеске демократических надежд, который был вызван событиями августа 1991 года. Вновь, как в скандальной полемике вокруг музыки национального гимна осенью 2000 года, аргументы демократов разбились о пьедестал — о массовое беспамятство; лишь интриги в верхах как будто затормозили эту затею. В обоих случаях речь шла не о символах, а скорее о *тнях* прошлого, используемых в определенных актуальных интересах.

Еще один предмет для подобного анализа — динамика оценок такого события XX века, как Октябрьская революция 1917 года. Как показывает недавний опрос (октябрь 2002 года; N=1600 человек), за последние пять лет, с 1997 по 2002 год, доля сторонников стандартно-советских оценок этого события («новая эра», «стимул развития») возросла с 49% до 60%, а доля склонных к пессимистическим суждениям («тормоз», «катастрофа») уменьшилась с 34% до 28%. Истоки наблюдаемого сдвига в настроениях понятны — дух времени, уводящий от старых, нередко искусственно раздутых конфронтаций. Главная же проблема — значение перемен в распределении позиций. Судить об этом позволяют ответы на прожективный вопрос того же исследования «Представьте себе, что Октябрьская революция происходит на Ваших глазах. Что бы Вы стали делать?» В такой воображаемой ситуации поддержка большевиков достигает 43% (в 1997 году — 31%), противостояние им — 8% (было 7%), а стремление остаться в стороне (переждать, уехать за рубеж) — 43%. Скорее всего, всю ситуацию можно определить как продолжающуюся борьбу за важный символ прошлого. Но признаки активной ностальгии, стремления «вернуться» — не заметно.

Используя эти, сугубо предварительные, соображения, попробуем определить значение получаемых опросных данных.

Таблица 8. «Возможно ли вернуться к тому, что было при советской власти?»
(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	1994, июнь	2001, март
Да, скорее да	14	14
Нет, скорее нет	70	76
Затрудняюсь ответить	16	10

По исследованию 2001 года (N=1600 человек), из тех, кто предпо- чел бы, чтобы «все оставалось как до 1985 года», 22% сочли возврат к советским порядкам возможным, 66% — невозможным. Из тех же, кто не жалеет о ситуации до перестройки, возможность возврата по- лагают возможным 3%, невозможным — 92%.

Следующие данные показывают уровень поддержки возвращения к советскому строю за ряд лет.

Таблица 9. Поддержка возвращения к советскому строю, 1994–2001

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

1994, февраль	15
1994, март	19
1994, июль	21
1995, март–апрель	11
1995, июль–август	13
1996, март	39
1998, апрель	23
1998, апрель	27
1998, декабрь	14
1999, апрель	20
1999, сентябрь	29
1999, декабрь	20
2000, апрель	18
2001, январь	22

Таким образом, при всех колебаниях настроений (самое очевид- ное — в марте 1996 года, когда было заметно преобладание электората Г. Зюганова в президентской гонке) возвращения прошлого желают немногим более одной пятой опрошенных, что примерно соответствует размеру электоральной поддержки компартии. Это значит, что массо- вую ностальгию по «положению до 1985 года» мы вправе characterizo- вать скорее как *символическую*, как выражение критического отноше- ния к политике власти, — но отнюдь не как стремление вернуть советское прошлое. Причем, что стоит отметить, существенного влия- ния на уровень ностальгических настроений такого рода не оказали ни президентские выборы 1996 года, ни дефолт 1998-го, ни приход к влас- ти нынешнего президента в 2000-м. (Следует, конечно, оговориться, что общественные настроения не определяют реальную возможность или невозможность какого бы то ни было перехода к «другим» поряд- кам — речь идет только о массовых предпочтениях.)

Очевидно, что для общественного мнения, при всех теплых воспо- минаниях о стабильном и великом прошлом, проблемы выбора между «старой» и нынешней общественными системами давно не существует. Открытым — и не только для общественного мнения — остается вопрос о реальном характере и тенденциях эволюции существующей системы. Здесь массовое сознание оказывается неуверенным, колеблющимся, склонным поддаваться давлению сверху, — в сочетании с «давлением» непройденного, непреодоленного собственного прошлого.

За последние два-три года обозначилась явная тенденция к ис- пользованию в интересах властной «вертикали» характерных для совет- ского периода инструментальных механизмов. В этом ряду — не только уже упомянутые механизмы символического происхождения, но «пол- зучая» реставрация политической цензуры, возвышение силовых структур и спецслужб и пр. Практически все такие шаги и намерения встречали одобрение со стороны большинства населения. Здесь перед

нами — не ностальгия по прошлому и не «реставрация» его по полной программе, а иное явление, которое можно представить как *реанимацию «теней» прошлого* (или его сохранившейся инфраструктуры) для решения задач, с которыми властные институты не способны справиться иными средствами. К скрытой, «теневой» инфраструктуре прошлого можно отнести, видимо, не только неприкосновенные силовые инструменты власти, но и привычные установки общественного сознания, которое — особенно в напряженной обстановке, под воздействием силового поля власти и зависимых от нее массмедиа — готово принять привычный, авторитарный стиль политической жизни (и даже считать его демократическим). Инициатива, однако, исходит не снизу, не от массового сознания, а от властной команды и претендентов на ее благосклонность.

Позволю себе одно — все же далекое, но исторически оправданное — сравнение. В конце 30-х — начале 50-х годов прошлого века сталинский режим, не собираясь реставрировать самодержавную монархию, укреплял личную диктатуру вождя восстановлением чиновничьей и военной иерархии, мундиров, табели рангов, политического культа, каторги, пыток, виселиц и тому подобных атрибутов, «тени» предреволюционного российского прошлого. Не место сейчас обсуждать, насколько эффективными или избыточными были — или могут быть — подобные «ностальгизмы», речь идет лишь о конфигурации соответствующих феноменов.

В любом случае обращение к «теням» прошлых эпох — признак болезненной нестабильности, неуверенности современных регулятивных структур общества. (К подобным ситуациям приложим известный совет «вспоминайте жену Лотову»...)

Вместо заключения: о смысле ностальгизма наших дней

Как мы видели, общественное мнение России пронизано ностальгией преимущественно *символической*. Желания возвращаться к прошлому немного, а средств для этого у него вовсе нет. Но общественное мнение, даже если бы оно было активным и организованным — до чего ему сейчас бесконечно далеко, — не способно само совершать повороты исторических масштабов, в лучшем случае они могут фиксироваться в распределении мнений. Стремление использовать отработанные социально-политические инструменты старого образца (на новой коммуникативной базе) наблюдается прежде всего в правящей элите и в ее рекламно-«технологической» службе. При все менее восторженной, но заметной поддержке большинства — в том числе из вчерашней интеллигентской и демократической среды. И при весьма слабом сопротивлении небольшой части этой последней группы. А также при неприятии со стороны старой, по возрасту и происхождению, коммунистической оппозиции; последнее обстоятельство также нельзя не учитывать. Даже все эти тенденции, вместе взятые, не способны «вернуть» страну в исходную точку перемен. Но на сегодняшний и завтрашний облик общества они влияют очень серьезно.

Понятный, доходящий до паники нынешний массовый страх перед публичными потрясениями и переворотами любого направления побуждает общественное мнение принимать как должное плоды под-

коверных интриг и «ползучие» сдвиги в политическом стиле и средствах деятельности властей. Определенную часть более просвещенного слоя, вчерашних демократов все еще околдовывают давно опровергнутые историческим опытом формулы экономического (или, на более современный лад, глобально-экономического) детерминизма, побуждающие к утешительным суждениям типа: «Пусть оглядываясь назад, через грязь, кровь и коррупцию, но идем вперед, растаем в мировую экономику, и пр.» Примерно в том же направлении по-прежнему работает в массовом сознании давняя дихотомия, которая относилась к «демократии» все и вся, противостоявшее партийно-советскому режиму, а ныне сохраняет демократические метки на режиме, от реальной демократии весьма далеком. За фальшивые формулы приходится дорого и долго платить всем.

3

См. статью «Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября в общественном мнении России и мира» в настоящей книге.

Возвращаясь к проблематике, затронутой в одной из предыдущих статей³, следует повторить ее основной тезис: история не носит «линейного» характера, ее вариации не могут поэтому измеряться показателями «вперед», «назад», «отстать», «догнать» и т.п. Никакие «рыночные» преобразования — даже если бы они происходили достаточно последовательно и быстро — не могут поставить Россию в один ряд со странами, прошедшими иной путь в иных условиях. Реальное место страны в «глобальном» социальном пространстве в прошлом, сейчас, в сколь угодно далеком будущем зависит и от способа освоения («переваривания») ею чужого опыта — и собственного, непреодоленного прошлого со всеми его нынешними реминисценциями.

В июле–августе 2003 года ВЦИОМ провел очередное, четвертое исследование в рамках программы «Советский человек». Опрошено 2000 респондентов по репрезентативной общероссийской выборке. (Напомним, что предыдущие опросы этого цикла проходили в 1989, 1994 и 1999 годах; N=1250, 3000 и 2000 человек соответственно. Далее приводятся данные только этих исследований.) Анализ полученных данных позволит представить различные аспекты типичных ценностных ориентаций, установок, стереотипов, самооценки, настроений, ожиданий и разочарований, восприятия исторических событий и деятелей, присущих массовому сознанию различных общественных групп, которые в совокупности составляют социально-антропологический тип «человека советского», *homo sovieticus*. В соответствии с принятыми в начале работы исследовательского коллектива методологическими предпосылками мы стремимся рассматривать этот сформированный прошлой эпохой феномен в меняющихся общественных условиях как лабильный, адаптирующий и — благодаря этому — в высшей степени устойчивый. Поэтому мы можем сейчас говорить о судьбе характеристик «человека советского» в постсоветских условиях.

Каждый новый этап разработки программы не только дает материал для понимания динамики изучаемого предмета (массового сознания «человека советского»), но позволяет глубже понять, а иногда и переоценить многие полученные ранее результаты и гипотезы исследования.

В настоящей статье рассматривается лишь одна из тем четвертой волны исследования — восприятие человеком общественных перемен последнего времени — в сопоставлении с результатами предыдущих опросов по той же программе.

Масштабы перемен

Начнем с самых общих — а потому и наиболее противоречивых — оценок происходящих перемен в общественном мнении. Как показывает исследовательский опыт, любые общие оценки (к чему бы они ни относились) чреваты парадоксами и противоречиями уже потому, что строятся на основе разных источников, как бы суммируя близкий и дальний опыт, информацию индивидуально приобретенную, групповую (полученную от «своих», от знакомых, встречаемых и пр.) и массовую, официальную и неофициальную.

Две особенности в общих оценках перемен общественным мнением бросаются в глаза. Во-первых, значительно более редкими стали представления о том, что в собственной жизни людей произошли большие перемены. Во-вторых, с годами необъяснимо возросло число считающих, что в их жизни «по сути дела ничего не изменилось». В то же время уменьшилась — и довольно заметно, в полтора раза — доля «разочарованных» («но все идет по-старому»).

Таблица 1. «Для Вас лично за последние годы...»

(% от числа опрошенных)

	1994	2003
Произошли большие изменения	56	39
По сути дела ничего не изменилось	13	46
Недавно казалось, что моя жизнь изменилась, но теперь я вижу, что все идет по-старому	16	10
Затрудняюсь ответить	14	5

Рассмотрим эти тенденции подробнее, в разрезе возрастных групп.

Таблица 2. Масштаб перемен в представлениях различных возрастных групп

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

		Все	Возраст, лет			
			15–24	25–39	40–54	55 и старше
Произошли большие изменения	1994	56	60	57	55	54
	2003	39	49	45	35	31
По сути ничего не изменилось	1994	13	16	12	13	13
	2003	46	43	38	48	54
Казалось, что жизнь изменилась, но все идет по-старому	1994	16	10	16	19	18
	2003	10	5	10	12	10
Затрудняюсь ответить	1994	14	15	15	14	15
	2003	5	3	6	5	6

Таким образом, «большие изменения» в 1994 году отмечали почти в равной мере все выделенные возрастные группы (но чаще — до 40 лет), а в 2003-м перемены явно «измельчали», особенно в глазах 40-летних и старше. Заметим, что такое изменение оценок произошло, в частности, в одной возрастной когорте, которой в 1994 году было 25–39 лет, а в 2003-м (примерно) 40–54 года.

Представления о том, что «ничего не изменилось», стали почти вчетверо (!) более распространенными во всех возрастных группах, причем они чаще встречаются у самых молодых и у самых старших. Очевидно, что в старшей группе такие мнения связаны с переживаниями трудностей жизни и ностальгией по прошлому (по-видимому, представления о переменах для значительной части опрошенных имплицитно связаны с понятием «изменения к лучшему»). Что же касается нынешних молодых, то у них нет собственного опыта для сравнения с дореформенным положением вещей; в 1994 году у тогдашних молодых людей такой опыт имелся; кроме того, на умы действовал разноголосый хор СМИ, воспевавших или проклинавших перемены.

Наконец, то, что уровень разочарования в переменах («оказалось, что все идет по-старому») во всех группах заметно снизился, скорее всего можно объяснить дискредитацией самих иллюзий относительно перемен: сейчас о них реже вспоминают.

Значимость перемен

Перейдем теперь к представлениям о значимости перемен в различных сферах жизни.

Таблица 3. «Насколько важно, по Вашему мнению...»

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все		Возраст, лет							
	важно	неважно	важно	неважно	важно	неважно	важно	неважно	важно	неважно
Исчезновение дефицита										
1994	76	16	86	10	79	15	72	18	69	17
2003	74	23	76	17	60	19	77	22	65	30
Рост безработицы										
1994	81	6	60	11	84	10	85	6	78	9
2003	76	20	79	16	80	19	84	14	62	31
Увеличение зависимости страны от Запада										
1994	53	25	52	30	56	23	54	26	50	23
2003	54	34	51	34	52	38	60	29	54	32
Появление слоя богатых, состоятельных людей										
1994	41	39	53	35	43	40	37	43	34	40
2003	37	56	40	52	36	58	40	55	33	57
Ослабление единства России										
1994	73	11	69	15	72	12	75	9	73	8
2003	77	14	72	18	70	18	85	10	79	12
Возможность стать собственником, завести свое дело										
1994	44	39	66	26	50	37	40	43	27	46
2003	46	47	73	22	61	35	42	52	18	72
Обнищание людей										
1994	81	8	76	11	83	8	81	8	80	5
2003	86	9	80	14	82	13	82	5	89	6
Возможность учиться, работать, отдыхать за рубежом										
1994	49	39	65	28	50	39	45	42	34	44
2003	48	47	72	24	54	42	46	49	25	77
Политические и гражданские свободы										
1994	51	31	56	28	52	33	50	31	46	28
2003	45	47	42	34	48	46	49	46	34	55
Рост коррупции, анархия, безвластие										
1994	66	13	63	16	70	13	69	13	64	13
2003	75	18	65	23	73	21	82	14	78	14
Крах коммунистической идеологии										
1994	35	40	34	43	34	44	34	39	37	31
2003	36	52	20	63	26	62	37	55	54	31
Возможность жить, не обращая внимания на власти										
1994	44	28	54	24	45	31	42	28	38	27
2003	41	39	46	35	45	38	41	37	34	42

Примечание: в позиции «важно» суммированы ответы «очень важно» и «достаточно важно», в позиции «неважно» — ответы «не очень важно» и «совсем не важно».

Как видим, почти все отмеченные в таблице 3 изменения в 2003 году кажутся людям менее важными, чем в 1994-м. Исключений заметно *три*: более важными стали представляться *ослабление единства страны, обнищание людей*, особенно же *рост коррупции и анархия*. Каждая из этих позиций, очевидно, содержит различные компоненты: с одной стороны, действуют «реальные» факторы (кавказская ситуация, уровень жизни, масштабы коррупции), с другой — общественное внимание к соответствующим явлениям, поддерживаемое СМИ и официальными источниками.

Остановимся теперь на некоторых возрастных особенностях восприятия общественных перемен. *Исчезновение дефицита* примерно в равной мере важно для всех возрастных групп и примерно в равной мере стало несколько менее важной. Проблема *безработицы*, естественно, тревожит людей в рабочем возрасте, особенно в старшем рабочем

(40–55 лет). Но за десятилетие эти тревоги заметно возросли преимущественно среди самых молодых. *Зависимость от Запада* отмечают почти одинаково часто во всех группах, одновременно повсеместно отмечается и рост показателей «неважности» этой проблемы. Вероятно, действует фактор привыкания к изменившемуся положению России в мире. Тот же фактор уменьшает остроту восприятия такого явления, как формирование слоя *богатых* людей, только в старшей рабочей группе отмечается рост его значимости. Ослабление *единства России* стало больше беспокоить прежде всего людей двух старших возрастных групп (что и дало рост соответствующего сводного показателя). Тенденция *обеднения, обнищания* населения сильнее тревожит самых молодых и — в большей мере — самых пожилых. Такие изменения, как возможность завести *собственный бизнес, учиться и работать за рубежом*, а также «*жить, не обращая внимания на власти*», понятно, привлекают «практическое» внимание прежде всего у молодых; для более пожилых это скорее предмет «идеологического» интереса, притом слабеющего.

Особо стоит отметить динамику оценок важности двух идейно-политических позиций — политических и гражданских свобод, а также краха коммунистической идеологии. «*Свободы*» явно имеют теперь меньшее значение для всех возрастов. Одни — например, свобода слова — стали привычными и малоинтересными, другие представляются скорее излишними или вредными (многопартийные выборы; на этом мы остановимся позже). Сказывается и официально заявленная в последнее время точка зрения, согласно которой мы имели до сих пор не свободы, а «вседозволенность», от которой надлежит избавиться в интересах порядка и управляемости в государственной жизни. Нетрудно заметить, что приведенное мнение почти буквально повторяет известный лозунг консервативных оппонентов «перестройки», распространенный в 1990–1991 годах.

Примечательно, что крушение официальной идеологии советского режима кажется сейчас более важным только в самой старшей группе, и только в этой группе это событие оценивается как «скорее важное». Во всех остальных возрастах оно уже в 1994 году воспринималось как относительно маловажное, а сейчас стало еще менее значимым. Это не признак переоценки идеологических ценностей или замены одной идеологической системы какой-то иной, — такие процессы не наблюдаются и вряд ли возможны, — а признак всеохватывающей деидеологизации общества. Что, кстати, мешает и формированию системы «управляемой демократии».

Остановимся теперь на оценках значимости ряда общественных перемен в различных *политических* группах (табл. 4).

В электоратах, относительно высоко оценивающих возможность начать собственное дело («Яблоко», СПС, ЛДПР), эти оценки выросли, среди избирателей КПРФ — снизились. Обнищание населения больше стало тревожить электораты всех партий, кроме ЛДПР, где такая тревога даже несколько снизилась. Только сторонники СПС стали со временем (в сравнении с избирателями «Выбора России») больше ценить значение политических свобод. А крах коммунистической идеологии кажется скорее важным только избирателям «Яблока» и КПРФ (последним явно с другим знаком, как негативное изменение), только для названных двух электоратов значимость этого события с годами возросла. О позициях сторонников «Единой России» можно судить, понятно,

только по данным 2003 года; как правило, их оценки оказываются где-то посередине между демократами и коммунистами. Политические свободы им представляются скорее важными — по-видимому, поскольку составляют демонстративные атрибуты нынешней правящей элиты.

Таблица 4. Значимость перемен (распределение по группам партийных симпатий)

(% от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	«Яблоко»*		СПС**		КПРФ		ЛДПР		«Единая Россия»	
	важно	неважно	важно	неважно	важно	неважно	важно	неважно	важно	неважно
Возможность открыть свое дело										
1994	52	35	50	36	28	54	42	44	—	—
2003	66	32	64	35	24	66	52	43	47	45
Обнищание людей										
1994	83	5	83	6	87	3	85	7	—	—
2003	91	6	88	8	89	7	81	9	87	8
Политические свободы										
1994	61	26	66	21	48	29	44	42	—	—
2003	54	43	76	22	33	58	36	52	56	38
Крах коммунистической идеологии										
1994	44	39	40	36	46	27	36	43	—	—
2003	57	40	34	60	66	24	28	59	38	52

Примечание: в 1994 году задавался вопрос о голосовании на выборах 1993 года;

в 2003-м — о намерениях голосовать на предстоящих выборах.

** В 1994 году — «Блок Явлинского». ** В 1994 году — «Выбор России».*

«Знак» перемен («полезные» и «вредные»)

Данные различных волн исследования показывают довольно сложную динамику одобрения/неодобрения изменений в различных сферах жизни.

Таблица 5. «Что принесли России...»

(% от числа опрошенных)

	1994		1999		2003	
	больше пользы	больше вреда	больше пользы	больше вреда	больше пользы	больше вреда
Свобода слова, печати	53	23	47	32	49	33
Многopартные выборы	29	33	21	50	29	40
Свобода выезда за рубеж	45	23	43	23	61	18
Свобода предпринимательства	44	28	50	25	63	19
Право на забастовки	23	36	32	26	41	24
Сближение с Западом	47	19	38	23	55	22

Только в двух сферах из приведенного перечня изменений наблюдается устойчивый рост положительных оценок (*свобода предпринимательства и забастовки*), причем только в оценках забастовок произошел «поворот знака», т.е. возобладало представление о полезности такого права. И лишь в одной области — *многопартных выборов* — стабильно преобладают негативные оценки («больше вреда»). Примечательно, что преобладание представлений о вредности конкурентных выборов сохраняется в общественном мнении и летом 2003 года, в обстановке нарастающего электорального ажиотажа. *Свобода выезда* оценивалась фактически одинаково позитивно в 1994 и 1999 годах, а в 2003-м представления о полезности этой перемены стали заметно более частыми. Неустойчивыми выглядят уровни

одобрения таких — в целом одобряемых — перемен, как *свобода слова* и *сближение с Западом*: в кризисной ситуации 1999 года возрастает их неодобрение, в как будто более спокойной обстановке 2003-го они чаще кажутся полезными.

Обратимся вновь к возрастной динамике наблюдаемых показателей за 1994–2003 годы.

Таблица 6. Польза и вред перемен (возрастное распределение)

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

		Возраст, лет							
		16–24		25–39		40–54		55 и старше	
		польза	вред	польза	вред	польза	вред	польза	вред
Свобода слова	1994	65	11	57	18	53	24	39	33
	2003	69	14	55	27	46	37	31	50
Многopартийные выборы	1994	28	34	35	26	29	35	21	36
	2003	38	22	32	33	32	42	19	55
Свобода выезда	1994	58	19	52	16	42	22	28	32
	2003	69	16	69	12	66	15	43	28
Свобода предпринимательства	1994	63	16	52	21	41	31	23	38
	2003	76	10	72	12	67	17	41	34
Право на забастовки	1994	25	34	24	31	26	36	19	41
	2003	48	20	42	23	41	22	36	30
Сближение с Западом	1994	62	9	55	14	44	21	31	27
	2003	68	10	60	16	59	21	38	36

Свобода слова в относительно молодых группах (до 40 лет) стала представляться более полезной, хотя возросла и доля считающих ее вредной. В старших двух группах эту свободу реже считают полезной, а чаще — вредной; в группе пожилых стало преобладающим представление о ее вредности. Самым молодым (впервые получившим право голоса) многопартийные *выборы* представляются полезными, во всех остальных возрастах — скорее вредными, притом в заметно большей мере, чем в 1994 году. А свободу *выезда* за границу все считают скорее полезной и эту пользу отмечают чаще. Свободу *предпринимательства* оценивают как более полезную во всех возрастных группах, и этот показатель у всех вырос. Право *бастовать* «все» считали вредным в 1994 году, а теперь все группы, вплоть до старшей, признают его полезным. И наконец, *сближение с Западом* также одобряется повсеместно, но в старшей группе — с явно возросшим сопротивлением.

Свободу *слова, печати* в 1994 году скорее одобряли во всех электоратах, даже в коммунистическом (возможно, имела значение свобода оппозиционной прессы, подвергавшейся гонениям в 1991 и 1993 годах), в 2003-м ее считают скорее вредной лишь избиратели КПРФ. Но во всех политических группах населения негативные суждения об этой свободе стали более заметными, в том числе и среди демократов. Можно предположить, что здесь сказывается реакция на растущую монополизацию СМИ и усиление контроля над ними.

Многopартийные *выборы* полагают скорее полезными (хотя и с более частыми оговорками) избиратели демократов — «Яблока» и СПС. В электоратах КПРФ и ЛДПР они казались вредными в 1994 году и стали казаться еще более вредными в 2003-м. Как ни странно на первый взгляд, разделяют такие оценки и в электорате «Единой России», нацеленном на успех в очередных думских выборах. Видимо, в современных условиях никакие электоральные победы не могут считаться прочными.

Таблица 7. Польза и вред перемен (распределение по группам партийных симпатий)
(% от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	«Яблоко»*		СПС**		КПРФ		ЛДПР		«Единая Россия»	
	больше пользы	больше вреда	больше пользы	больше вреда	больше пользы	больше вреда	больше пользы	больше вреда	больше пользы	больше вреда
Свобода слова, печати										
1994	64	21	67	13	40	37	48	28	—	—
2003	68	25	72	20	34	49	47	32	60	29
Многopартiйные выборы										
1994	45	27	45	23	18	44	29	35	—	—
2003	48	31	56	28	16	60	28	41	39	44
Свобода выезда за рубеж										
1994	59	21	54	19	24	44	36	33	—	—
2003	74	15	93	2	43	32	60	23	67	18
Свобода предпринимательства										
1994	61	23	61	17	20	51	35	36	—	—
2003	63	22	87	3	47	35	71	17	65	22
Право на забастовки										
1994	28	35	26	37	24	37	24	37	—	—
2003	38	37	54	20	36	31	41	28	48	28
Сближение России со странами Запада										
1994	56	20	63	12	23	35	40	24	—	—
2003	76	14	78	8	35	45	56	19	65	19

Примечание: в 1994 году задавался вопрос о голосовании на выборах 1993 года;

в 2003-м — о намерениях голосовать на предстоящих выборах.

* В 1994 году — «Блок Явлинского». ** В 1994 году — «Выбор России».

А свободу *выезда* сейчас считают скорее полезной все партийные электораты, в том числе и коммунистический, в котором ранее преобладали опасения по этому поводу.

Весьма примечательно, что свобода *предпринимательства*, к которой ранее явно негативно относились коммунисты и очень сдержанно — жириновцы, теперь одобряется всеми электоратами без исключения. Это показывает, что частная собственность и бизнес в принципе — на массовом уровне — перестали быть предметом политических коллизий.

Интересная метаморфоза произошла с оценками такой перемены, как легализация *забастовок*. В 1994 году во всех электоратах, в том числе в демократических, почти в равной мере преобладало негативное отношение к этому явлению, а в 2003 году мы видим, что его оценки везде стали положительными. А то, что наиболее сдержанными (соотношение оценок 41:28) они выглядят в коммунистическом электорате, должно быть, показывает, сколь далеко компартия от нынешних массовых протестов.

Сближение с Западом одобряют сейчас все электораты, кроме коммунистического. В последнем оценки такого сближения стали еще более негативными, чем десятилетием ранее.

Налицо как будто широкое, чуть ли не всеобщее, принятие существенных перемен последних 10–15 лет. Однако приходится признать, что методологический аппарат исследования, разработанный почти полтора десятилетия назад, уже не способен учитывать тех качественных характеристик общественных изменений, которые сейчас приобрели первостепенное значение. Декларативное признание свободы слова — исходит ли оно «сверху» или «снизу» — немногого стоит сейчас без надежных гарантий и правовых механизмов ее обеспечения. И без готовности общества (институтов гражданского общества...) ее

защищать. Точно так же реальное значение нынешней электоральной многопартийности не может определяться степенью — или мотивами, что немаловажно — ее словесного признания на любом уровне. При сегодняшнем распространении приемов «политтехнологии» и неразрывно связанной с ней «управляемой» политкоррупции имеют значение — точнее, должны его иметь в расчете на перспективу — не партийные «ярлычки», а реальные возможности политических организаций, способных определять и отстаивать интересы общественных групп в реальной политической конкуренции. Утверждение предпринимательства как свершившегося факта, в том числе в общественном мнении, не снимает проблему законной свободы бизнеса, а переводит эту проблему в иную плоскость — эффективности производства, законодательного обеспечения прав труда, капитала и государства. А также преодоления популистского наследия («черной» зависти в отношении богатых и ностальгии по эгалитарной бедности) как в массовом сознании, так и в государственной политике.

Особо следует отметить, что проблемы отношений с развитым миром, с «Западом» в сегодняшних условиях не решаются, а скорее лишь маскируются демонстративными жестами сближения «в верхах», масштабами поездок на среднемассовом уровне, объемами нефтегазоэкспорта и т.п. К реальному сближению социальных институтов, норм, ценностей, политических и социальных программ не готовы ни власть, ни само общество (в том числе и общественное мнение). Тотальная изоляция советского образца уже невозможна, но, как будто невидимая стена (впрочем, хорошо заметная и в политических акциях, и в массовых опросах), по-прежнему противопоставляет «наше» всему «чужому». Давно замечено, что чем больше размываются старые политические, информационные, экономические барьеры, не говоря уже об идеологических, тем сильнее действует на разных уровнях стремление спасти собственную «особость» с помощью традиционных и новообразуемых заграждений.

Видимо, одна из задач последующих исследований должна состоять в том, чтобы оценки произошедших перемен дополнить анализом вариантов их дальнейшего развития.

Символический поворот 1985-го

Реальные перемены и борьба вокруг них происходили позже, но этот год остается знаком поворота к иному, все еще не вполне определенному пути общественного развития. Поэтому и он остается предметом резко противоположных оценок.

Таблица 8. «Было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?»

(% от числа опрошенных)

	1994	1999	2003
Согласен	44	58	44
Не согласен	34	27	35
Затрудняюсь ответить	22	15	21

В посткризисный 1999 год ностальгические оценки положения «до 1985 года» резко возросли, но в последнее время вернулись к значе-

ниям 1994 года. В соответствии с принятой в статье методикой изложения, обратимся к возрастным и партийным аспектам динамики этих оценок (табл. 9, 10).

Таблица 9. «Было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?» (возрастное распределение ответов)

(% от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

Возраст, лет		1994	1999	2003
16–24	Согласен	28	34	16
	Не согласен	42	42	43
25–39	Согласен	34	46	30
	Не согласен	41	33	49
40–54	Согласен	45	62	49
	Не согласен	33	27	35
55 и старше	Согласен	62	78	71
	Не согласен	20	14	17

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

На протяжении десятилетия сохраняется заметное различие в суждениях лиц до и после 40 лет: переходя в более старшую возрастную группу («30-летние» 1994 года стали «40-летними» 2003-го — рамки возраста приблизительно), они как будто переходят и в иную группу мнений. Колебания уровней согласия/несогласия с позицией «лучше как до 1985-го» связаны с кризисной ситуацией 1999 года.

При рассмотрении суждений в разрезе партийных симпатий ограничимся, как и ранее, сравнением ситуаций 1994 и 2003 годов.

Таблица 10. «Было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?» (распределение ответов по группам партийных симпатий)

(% от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

		1994	2003
«Яблоко»*	Согласен	27	32
	Не согласен	53	47
СПС**	Согласен	24	14
	Не согласен	57	76
КПРФ	Согласен	75	82
	Не согласен	14	10
ЛДПР	Согласен	56	40
	Не согласен	27	39
«Единая Россия»	Согласен	—	39
	Не согласен	—	46

Примечание: в 1994 году задавался вопрос о голосовании на выборах 1993 года;

в 2003-м — о намерениях голосовать на предстоящих выборах.

** В 1994 году — «Блок Явлинского». ** В 1994 году — «Выбор России».*

Некоторые показатели, приведенные в таблице 10, кажутся нетривиальными. Предпочтение ситуации «до 1985-го» сохранилось и даже заметно усилилось только в электорате КПРФ, резко уменьшилось у избирателей ЛДПР (практически сравнялись уровни согласия и несогласия). В электорате СПС решительное несогласие с таким предпочтением выражено еще резче, чем у избирателей «Выбора России» в 1994 году, — можно полагать, что здесь сказываются не только идеологические приоритеты, но и практическая причастность лидеров партии к реформам 90-х. Но вот среди сторонников «Яблока» сопротивление ностальгическим настроениям явно ослабло, и связано это, скорее всего, с ростом скептических оценок результатов перемен минувшего десятилетия.

Имеется возможность сопоставить аргументы сторонников и оппонентов предпочтений положения «до 1985-го» в исследованиях 1999 и 2003 годов.

Таблица 11. «Почему Вы согласны с тем, что было бы лучше... как до 1985 года?»
(% от числа опрошенных)

	1999	2003
Мы были сильной, единой страной	37	26
В стране был порядок	32	26
Отношения между людьми были лучше	22	17
У людей была уверенность в завтрашнем дне	43	24
Цены были невысокими и стабильными	30	20
Больше заботились о культуре, образовании, науке	7	4
Жить было интересней, веселей	10	6

Примечание: некоторые респонденты отмечали более одного варианта ответа.

Рассмотрим эту аргументацию в разрезе возрастных групп.

Таблица 12. «Почему Вы согласны с тем, что было бы лучше... как до 1985 года?»
(возрастное распределение ответов)
(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

		Возраст, лет			
		16–24	25–39	40–55	55 и старше
Мы были сильной, единой страной	1999	18	28	43	52
	2003	9	16	31	44
В стране был порядок	1999	14	26	34	46
	2003	11	17	26	45
Отношения между людьми были лучше	1999	20	21	24	23
	2003	7	14	25	45
У людей была уверенность в завтрашнем дне	1999	30	37	45	52
	2003	9	14	28	38
Цены были невысокими и стабильными	1999	20	25	29	42
	2003	8	13	20	34
Больше заботились о культуре, образовании, науке	1999	5	5	6	11
	2003	2	1	4	7
Жить было интересней, веселей	1999	8	7	14	10
	2003	1	4	6	10

Примечание: некоторые респонденты отмечали более одного варианта ответа.

На распространенность различных доводов прежде всего влияет многократно отмеченный барьер 40-летия. Апелляции к «сильной, единой стране», «порядку», уверенности в будущем и низким ценам значительно чаще встречаются в старших группах, а ослабевают преимущественно у молодых.

Рассмотрим теперь — тоже в разрезе возраста — аргументацию противников ностальгии по доперестроечному прошлому (табл. 13).

Изоляция страны от мира, дефицит и невозможность хорошо заработать отмечаются прежде всего более молодыми, но чаще всего — «старшими», работающими молодыми (25–39 лет). Отсутствие свободы слова одинаково часто указывают обе младшие группы. В старшем возрасте недобрым словом поминаются преимущественно дефицит и бедность. Представление о том, что «жить было скучно», разделяют фактически только до 40 лет.

**Таблица 13. «Почему Вы не считаете, что было бы лучше... как до 1985 года?»
(возрастное распределение ответов)**

(2003, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет			
		15–24	25–39	40–54	55 и старше
Страна находилась в культурной и информационной изоляции	19	22	29	17	8
Страна была нищей, на все продукты и товары существовал дефицит	20	24	27	21	10
Люди не имели возможности политического выбора, правила партноменклатура	9	9	12	11	4
Не было возможности заработать хорошие деньги и занять достойное место в обществе	16	20	23	14	8
В стране не было свобод слова, выезда за границу, собраний и демонстраций	11	16	15	10	5
Люди не имели свободы вероисповедания	3	2	4	4	1
Жить было скучно, не было перспектив в жизни	5	9	8	3	3

Необратимость перемен?

В заключение обратимся к массовым суждениям относительно возможности событий, которые были характерны для прошлых периодов истории.

Таблица 14. «Могут ли произойти в ближайшие годы в России следующие события?»

(2003, % от числа опрошенных)

	Определенно да	Возможно, да	Маловероятно	Определенно нет	Коэффициент*
Возврат к плановой экономике	5	20	39	18	0,45
Дефицит, карточная система	2	9	45	37	0,13
Массовый голод	1	11	40	40	0,15
Преследования диссидентов	1	15	38	27	0,39
Куль личности главы государства	4	20	37	24	0,39
Массовые репрессии	2	16	40	31	0,25
Преследования верующих	2	7	39	43	0,11
Массовые столкновения на национальной почве	7	40	26	16	1,12
Революция, переворот	2	20	41	26	0,33
Гражданская война	4	23	36	26	0,44
Мировая война	3	21	34	23	0,42

* Соотношение суммы ответов «определенно да» и «возможно, да» и суммы ответов «маловероятно» и «определенно нет».

Как видим, почти все варианты возвращения к порядкам, событиям и самой атмосфере прошлого довольно решительно отвергаются в общественном мнении. Только возможность национальных конфликтов кажется реальной (коэффициент больше 1) — поскольку она составляет часть современной общественной реальности. Но все же почти половина опрошенных (коэффициент 0,42–0,45) допускает вероятность таких событий, как восстановление плановой экономики, гражданская

и мировая войны, а около 40% считает вероятными «преследования диссидентов» и «культ личности главы государства». Конечно, общественное мнение лишь свидетельствует о степени массовой обеспокоенности теми сегодняшними реалиями, которые в той или иной мере могут считаться аналогиями или имитациями определенных феноменов прошлых эпох. Само по себе мнение «большинства» или «меньшинства» опрошенных не определяет степень опасности исторического возврата. Тем более что буквального повторения событий и форм быть не может (в «реку времени» дважды вступить нельзя), а видоизмененные образы таких явлений плохо распознаются в массовом сознании, да и не только в нем. По известному изречению, генералы всегда готовятся к «прошлой войне». Аналогичным образом общественное мнение в своих оценках ориентируется на представления о бывших войнах, переворотах, режимах, репрессиях, «культах» и пр. Между тем сегодня (и тем более в туманном «завтра») подобные явления могут иметь совсем иной вид, таить в себе иные угрозы или соблазны.

В принципе это возвращает исследовательское внимание к уже отмеченной проблеме — необходимости более глубокого анализа произошедших общественных перемен и их последствий.

Терминологическое отступление

В советском новоязе трудно найти другой специфический термин, сравнимый по экспансивности с понятием «особый» (обособленный, отделенный от других, принципиально иной по значению, происхождению, назначению, использованию и т.д.). Особый режим, особый порядок, особо важный, особо опасный, особо секретный, особые отделы, особые совещания (т.е. пресловутые «тройки»), особые «папки» (условия хранения документов) — вплоть до особых магазинов и продуктов, сортов колбасы, пайков и пр. и пр. В любом случае крайняя степень какого-то качества обозначалась через определение его «особости», исключительности, в отличие от более или менее обычного его варианта. Видимо, столь широкое распространение меток «исключительности» свидетельствует о характере разобщенного, «разгороженного» языкового (понятийного, категориального) пространства, в котором общезначимость или общеобязательность превращались в исключительное. В социологическом плане это пространство господства партикуляристских норм — привилегий, льгот, разрешений и, соответственно, запретов, ограничений, репрессалий. Кстати, именно в таком пространстве (универсализации партикуляризма) возможно появление все еще живучего в официозном воображении жупела «вседозволенности» — кошмарного видения сломанных перегородок.

Одна из особенностей «разгороженного» социального пространства состоит в том, что сами перегородки приобретают таинственно-сакрализованное значение. Попытки их объяснить выглядят столь же рискованными, как и попытки преодоления, сама апелляция к «особому» считается объясняющей.

Если подойти ближе к интересующей нас теме, то «советское» ее воплощение оказывается одним из крайних вариантов значительно более старой и более живучей концепции «особости», «исключительности» судьбы, истории, самого человека в России. В данном случае, в соответствии с программой исследования, мы ограничиваемся только проблемой «особости» человека в массовом сознании.

Дежурная тема «русских дебатов» XVIII–XXI веков

И практически, и когнитивно проблема соотношения «своего» человека с «иным», «чужим» в современном, т.е. модернизационном, контексте существует в России примерно три столетия; более ранние контакты с миром на «человеческом» уровне имели иной масштаб и иное содержание (конфликтное, колонизаторское, сугубо локальное). Причем эта проблема неизменно обостряется как в моменты очередного модернизационного «рывка», так и в периоды разочарований в его результативности.

Представление об исключительности социального характера и установок «русского человека» в сравнении с любым иным имеет

устойчивые опоры, с одной стороны, в насаждаемых «сверху» идеологиях (неоднократно менявших собственные обоснования — от традиционно-религиозных до революционных и, затем, едва ли не обратно), а с другой стороны, в привычной инертности массового сознания, готового эти идеологии воспринять на своем уровне.

Следует напомнить, что концепция особого человеческого типа (как и особого исторического пути и пр.) широко использовалась не только в рамках консервативных и ретроградных общественных течений, но и в рамках течений наиболее радикальных. Практически все основные направления отечественного радикализма, выдвигая универсально-«западнические» лозунги, явно или неявно предполагали, что осуществить их удастся лишь человеку «особому» (общинному, лишенному индивидуальных интересов и склонности к рациональным компромиссам и пр.). На особого русского человека — казавшегося верным слугой монархии и православия — в свое время возлагали надежды отечественные консерваторы. Но на особого русского человека, способного ломать закономерности и сроки исторических перемен, уповали и все отечественные социалисты XIX и XX веков. Все русские «западники», от Герцена до Ленина, использовали концепции «особого» человека и его «особого» пути к мировым универсалиям. Аналогичным образом на модель особого — уже советизированного — человека рассчитывали чуть позже практики лагерного социализма. При смене содержания и обоснования идеологией воспроизводилась модель противопоставления «нашего» человека чуждым («западным») его образцам.

Перемены и события последних лет придали новую остроту извечной проблеме. Падение множества официальных и традиционных перегородок поставило «нашего» человека лицом к лицу с «западным» миром, сделало неизбежным постоянное практическое сопоставление, сравнение, влияние исторически разделенных миров, в том числе на человеческом, социально-антропологическом уровне. Это испытание часто оказывается шоковым. Только вблизи стали очевидны масштабы реальных, уже не декларативных, различий не только в факторах экономического роста и значении социальных институтов, правовых концепций и пр., но и в сложившихся установках и притязаниях человека. На всех уровнях, от массового до официального — и не без солидных интеллигентских усилий — с различных сторон и с новой энергией реализуются лозунги вредности западного влияния, недопустимости чужого вмешательства во внутренние распри и т.д. и т.п. Как и ранее, попытки нового отгораживания от внешнего мира, нового изоляционизма служат средством самоутверждения (на «своем» уровне) и самооправдания («не получилось»).

Сравнительный анализ результатов 1994 и 2003 годов (второй и четвертой волны исследований по программе «Советский человек»; N=3000 и 2000 человек соответственно) позволяет рассмотреть существенные стороны этой ситуации на эмпирическом уровне.

Веки десятилетия

Даты рассматриваемых исследований разделяют 9 лет, поскольку внешние обстоятельства вынудили на год сократить период между последними опросами. На принципиальные результаты такой

сдвиг сроков мало влияет, с некоторой долей условности можно говорить о том, что сравнительные показатели двух волн представляют определенный десятилетний цикл динамики общественного мнения.

Начало этого периода (1994) — первые, довольно неуклюжие, шаги общественно-политической стабилизации после кризисного года, начало преодоления дефицита, первые массовые разочарования в демократии и демократических переменах. (Опрос проводился в ноябре, до начала первой чеченской кампании.) В следующей волне исследования (1999) интересующий нас блок вопросов не задавался. Завершающий год периода (2003) был озаглавлен тенденцией общественной консолидации в рамках «управляемой демократии» и с помощью лозунгов примирения с прошлым, т.е. прежде всего прекращения демонстративной конфронтации с ценностями советского времени, и прагматически-ограниченного сближения с Западом.

«Другие люди» и «общий путь»: оценки 1994 и 2003 годов

Сопоставим для начала средние данные двух исследований по ключевым позициям интересующей нас проблемы.

Таблица 1. Люди стали другими?
(«В какой мере Вы согласны со следующими суждениями?»)
(% от числа опрошенных)

	1994	2003
За 75 лет советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить		
Полностью согласен	20	23
Скорее согласен	34	34
Скорее не согласен	24	24
Полностью не согласен	5	8
Индекс*	1,9	1,8
Не думаю, что люди в России отличаются от людей в других странах		
Полностью согласен	27	24
Скорее согласен	35	29
Скорее не согласен	17	25
Полностью не согласен	4	11
Индекс*	3,1	1,7
Россия рано или поздно пойдет по пути, общему для всех цивилизованных стран		
Полностью согласен	21	23
Скорее согласен	37	36
Скорее не согласен	11	16
Полностью не согласен	4	5
Индекс*	3,9	2,8

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

** Соотношение согласных и несогласных с данным утверждением.*

В целом изменения позиций за 9 лет сравнительно невелики. Это позволяет считать, что мы имеем дело с довольно устойчивыми установками массового сознания и с устойчивыми их сдвигами в одном направлении. Наиболее заметные перемены произошли в суждениях о том, что «люди в России не отличаются...», согласие с этим мнением явно уменьшилось. При этом представления об историческом контексте своеобразия людей изменились значительно меньше.

Обратимся теперь к динамике представлений о характерных особенностях «нашего» человека.

Таблица 2. Характерные особенности человека
(«В какой мере Вы согласны со следующими суждениями?»)
(% от числа опрошенных)

	1994	2003
Мы привыкли довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством		
Полностью согласен	21	25
Скорее согласен	44	39
Скорее не согласен	22	25
Полностью не согласен	5	6
Индекс*	2,4	2,1
У нас привыкли делать все сообща, а потому не терпят тех, кто ставит себя выше коллектива		
Полностью согласен	19	21
Скорее согласен	39	40
Скорее не согласен	17	21
Полностью не согласен	5	6
Индекс*	2,6	2,3
В России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде		
Полностью согласен	22	27
Скорее согласен	36	37
Скорее не согласен	25	25
Полностью не согласен	5	5
Индекс*	1,9	1,8

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

** Соотношение согласных и несогласных с данным утверждением.*

В представлениях о характерных особенностях человека изменений за 9 лет почти не заметно. В целом отмечается даже некоторое снижение уровня согласия с традиционным образом человека. Но одновременно несколько категоричнее стали суждения о готовности «довольствоваться малым» и, в большей мере, «не думать о выгоде». Можно предположить, что здесь перед нами — одно из выражений возросшей дифференциации доходов и, соответственно, установок по отношению к успеху, богатству, выгоде. Для проверки сопоставим представления об одной из черт, приписываемых «нашему» человеку, по статусным группам в 1994 и 2003 годах.

Таблица 3. «В России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде»

(% от числа опрошенных в каждой социальной группе)

		Социальный статус*		
		высокий	средний	низкий
Полностью согласен	1994	19	19	30
	2003	24	27	37
Скорее согласен	1994	44	37	33
	2003	35	39	27
Скорее не согласен	1994	25	27	20
	2003	30	24	23
Полностью не согласен	1994	4	5	5
	2003	6	4	6
Индекс**	1994	2,2	1,8	2,2
	2003	1,6	2,3	2,2
Число опрошенных, человек	1994	278	1868	638
	2003	421	1344	225

** Статус оценен по 10-балльной шкале, сведенной затем к трем группам.*

*** Соотношение согласных и несогласных с данным утверждением.*

Заметно возросло согласие с утверждением «привыкли относиться по-свойски» в средних статусных группах, примерно в той же степени оно уменьшилось в высших группах, в низших осталось без изменений. Но именно в средних (численно преобладающих) группах в наибольшей мере сосредоточены неудачные стремления к успеху, повышению собственного статуса. В более высоких статусных группах, естественно, чаще наблюдается успех, в низших — отсутствие достижительных стремлений. Как видим, представления о «недостижимости» нашего человеческого образца связаны с оценками собственных успехов.

Возрастные группы и когорты

Рассмотрим распространенность представлений об исключительности нашего человека среди различных возрастных групп.

Таблица 4. Люди стали другими?
(«В какой мере Вы согласны со следующими суждениями?»)
(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

		Все	Возраст, лет						
			До 20	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70 и старше
За 75 лет советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить									
Согласен	1994	53	54	47	52	51	55	61	63
	2003	57	50	52	56	56	58	61	75
Не согласен	1994	29	29	36	34	31	28	16	14
	2003	31	32	40	34	35	29	26	9
Индекс*	1994	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	2,0	3,8	4,5
	2003	1,8	1,6	1,3	1,6	1,6	2,0	2,3	8,3
Не думаю, что люди в России отличаются от людей в других странах									
Согласен	1994	61	60	56	64	63	65	58	52
	2003	53	53	56	54	60	53	51	41
Не согласен	1994	21	25	28	21	22	15	17	11
	2003	36	39	39	36	31	37	34	41
Индекс*	1994	2,9	2,4	2,0	3,0	2,9	4,3	3,4	4,7
	2003	1,5	1,4	1,4	1,5	1,9	1,4	1,5	1,0
Россия рано или поздно пойдет по пути, общему для всех цивилизованных стран									
Согласен	1994	58	68	66	61	59	51	48	38
	2003	59	65	69	62	64	55	48	40
Не согласен	1994	15	13	12	15	15	16	16	17
	2003	21	16	20	20	21	23	25	22
Индекс*	1994	3,9	5,2	5,5	4,1	3,9	3,2	3,0	2,2
	2003	2,8	4,1	3,5	3,1	3,0	2,4	1,9	1,8
Число опрошенных, человек	1994	3000	185	530	745	494	435	429	140
	2003	2000	198	404	310	338	322	244	188

* Соотношение согласных и несогласных с данным утверждением.

Представление о том, что «люди стали другими», стало несколько менее распространенным среди самых молодых и — в большей мере — среди 60-летних; заметно более распространенным — только в самой старшей возрастной группе (70 лет и старше). В то же время во всех группах стало более редким мнение о том, что «люди в России не отличаются от людей в других странах». В несколько меньшей мере, но тоже во всех без исключения группах уменьшилось влияние идеи «общего

пути цивилизованных стран». При этом последние две позиции остаются преобладающими (как, впрочем, и суждение об изменившихся людях). По сути дела, наблюдаемые изменения позиций — это, по преимуществу, сдвиги от «молодежных» к «старым» моделям самоопределения человека.

Попытаемся представить рассмотренные выше данные в разрезе *поколенческих когорт*, т.е. как динамику позиций одних и тех же возрастных групп (табл. 5). Поскольку исследования проводились с разрывом 9 лет, требуется выделить *девятилетние* возрастные группы.

Таблица 5. Люди стали другими?

(«В какой мере Вы согласны со следующими суждениями?»)

(% от числа опрошенных в каждой поколенческой когорте)

Возраст, лет	Поколенческие когорты							
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1994	До 20	20–28	29–37	38–46	47–55	56–64	65–73	74+
2003	20–28	29–37	38–46	47–55	56–64	65–73	74+	
За 75 лет советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить								
Согласен	1994	54	47	52	51	55	61	63
	2003	51	57	56	55	68	64	73
Не согласен	1994	29	36	34	31	28	16	14
	2003	41	34	35	32	22	26	8
Не думаю, что люди в России отличаются от людей в других странах								
Согласен	1994	60	56	63	65	65	61	56
	2003	56	52	61	54	54	46	41
Не согласен	1994	25	29	22	21	18	16	17
	2003	39	38	31	35	32	41	40
Россия рано или поздно пойдет по пути, общему для всех цивилизованных стран								
Согласен	1994	68	66	64	58	58	47	45
	2003	70	57	68	57	48	45	40
Не согласен	1994	13	13	14	16	16	17	18
	2003	19	24	18	22	24	26	23

За исключением когорты I (до 20 лет в 1994 году, 20–28 лет в 2003-м), во всех остальных группах за 9 лет возросла доля считающих, что «люди стали другими». Наиболее заметны перемены в установках старшей (VII) когорты. Несогласных с этой позицией стало заметно меньше почти во всех группах (кроме I и VI). Согласных с тем, что «люди не отличаются от людей в других странах», стало меньше повсеместно, особенно в когортах VI и VII. Наконец, во всех группах, кроме I и IV, стало меньше согласных и больше несогласных с идеей «общего пути».

Рассмотрим аналогичные данные о внутр поколенческих сдвигах во взглядах на особенности «нашего» человека (табл. 6).

Тенденции изменений в декларативных установках в принципе те же, что отслеживались в предыдущей таблице, однако выражены они заметно слабее. Уровень несогласия с позициями «советского» образа почти не изменился за десятилетие, доля несогласных с ними (второе и третье суждение) возросла у более молодых, а в некоторых случаях — и в старших когортах.

Кажется удивительным, что показатели согласия с особым характером россиян среди избирателей различных партий довольно близки друг к другу. Нетрудно объяснить, почему в коммунистическом электорате реже всего принимают идеи «общего пути» и отсутствия отличий

между людьми разных стран. Понятно, что «общий путь» наиболее популярен среди «яблочников» и «правых». Но почему представления о том, что «люди стали другими», или о привычке «относиться друг к другу по-свойски» столь различны у избирателей двух демократически ориентированных партий? (Ведь взаимные упреки относительно реформ и лидеров тут явно ни при чем.)

Таблица 6. Характерные особенности человека («В какой мере Вы согласны со следующими суждениями?»)

(% от числа опрошенных в каждой поколенческой когорте)

		Поколенческие когорты						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
Возраст, лет	1994	До 20	20–28	29–37	38–46	47–55	56–64	65–73
	2003	20–28	29–37	38–46	47–55	56–64	65–73	74+
В России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде								
Согласен	1994	46	53	51	59	65	66	72
	2003	55	61	62	65	75	73	74
Не согласен	1994	40	33	36	31	23	24	17
	2003	38	36	33	31	19	21	16
Мы привыкли довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством								
Согласен	1994	49	53	62	61	70	72	80
	2003	55	57	65	71	72	73	78
Не согласен	1994	40	36	30	28	22	19	13
	2003	42	40	31	25	23	20	17
У нас привыкли делать все сообща, а потому не терпят тех, кто ставит себя выше коллектива								
Согласен	1994	56	48	60	54	62	57	70
	2003	56	61	56	63	68	70	65
Не согласен	1994	31	28	22	28	20	17	12
	2003	33	29	35	23	18	19	15

Таблица 7. Люди стали другими? («В какой мере Вы согласны со следующими суждениями?») (распределение ответов по группам партийных симпатий)

(2003, % от числа опрошенных в каждой электоральной группе)

	Все	«Яблоко»	«Единая Россия»	ЛДПР	КПРФ	СПС
За 75 лет советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить						
Согласен	57	66	61	54	69	53
Не согласен	32	31	31	31	24	41
Не думаю, что люди в России отличаются от людей в других странах						
Согласен	53	70	55	55	52	54
Не согласен	36	28	37	35	37	38
Россия рано или поздно пойдет по пути, общему для всех цивилизованных стран						
Согласен	59	71	69	59	41	71
Не согласен	21	20	16	21	33	17
В России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде						
Согласен	64	64	69	57	77	48
Не согласен	30	34	28	37	17	50

Примечание: «партийные симпатии» — намерения голосовать за указанные партии на выборах в Государственную Думу в 2003 году.

Возможно, у людей различных политических ориентаций апелляция к особому характеру человека служит своего рода общим местом, малозначимым приемом речи. Но не исключено и то, что в такие апелляции вкладывается *различный смысл*. Попытаемся проверить эти предположения более обстоятельным анализом некоторых сторон полученных данных.

Наиболее очевидный путь поисков рационального понимания противоречивых, парадоксальных показателей — обращение к взаимным соотношениям и контексту полученных данных. Попытаемся использовать это применительно к рассматриваемому материалу.

Таблица 8. Люди «стали другими» или «не отличаются от других»?

(% от числа опрошенных по группам ответивших на первый вопрос)

За 75 лет люди стали другими...		Люди в России не отличаются от людей в других странах		
		Согласен	Не согласен	Затрудняюсь ответить
Согласен	1994	62	24	14
	2003	52	40	8
Не согласен	1994	71	22	7
	2003	61	35	4

Таким образом, в 1994 году почти две трети (62%), а в 2003-м — меньше, но все же более половины (52%), утверждавших, что россияне «стали другими», чем люди на Западе, были согласны с тем, что те же россияне *не отличаются* от людей в других странах. Как понять, что больше половины опрошенных сочетают как будто прямо противоположные, взаимоисключающие позиции? Вероятно, дело в том, что эти позиции находятся в разных смысловых плоскостях и потому не пересекаются в массовом сознании.

Утверждение о том, что «люди стали неисправимо другими», — универсальное оправдание неумения и нежелания двигаться в сторону более цивилизованного варианта существования, объяснение неудач демократических экспериментов и прикрытие новейших ретроградных тенденций. Приходилось отмечать, что все доводы в пользу такой позиции достаточно полно выражены в самоуничижительной (и одновременно — самооправдывающей) формуле человека-«совка». А представление о том, что наши люди «не отличаются» от других, относится скорее к плоскости надежд и устремлений, в частности, многократно подтвержденной исследованиями установки на то, чтобы «жить как все», «не хуже других». Некое «мирное сосуществование» различных — и имеющих не только свои функции, но и собственную логику — плоскостей обеспечивает адаптивную лабильность человека в неоднозначной ситуации.

Рассмотрим еще одно сочетание противоречивых позиций в исследованиях 1994 и 2003 годов.

Таблица 9. «Люди в России отличаются от людей в других странах?»

(% от числа опрошенных по группам ответивших на указанные в таблице вопросы)

		Согласен	Не согласен	Нет ответа
В России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде				
Согласен	1994	65	20	15
	2003	55	36	8
Не согласен	1994	61	27	12
	2003	54	39	7
Мы привыкли довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством				
Согласен	1994	63	21	17
	2003	55	36	9
Не согласен	1994	64	25	11
	2003	55	38	6

Картина примерно та же, что и в предыдущей таблице: из числа согласных с тем, что у нас люди «привыкли жить по-свойски...», 65% в 1994 году и 55% в 2003-м считают, что люди в России не отличаются от других. Из числа несогласных — соответственно 61% и 54%. Почти так же распределяются мнения склонных утверждать, что мы привыкли «довольствоваться самым малым». То есть вполне консервативный образ человека сочетается с либеральной установкой (иллюзией?). Сочетается, в частности, потому, что несовместимые позиции разведены разными шкалами социального времени. Представления об «общем пути», равно как и об общем типе человека, относятся к некой неопределенной перспективе (формула «рано или поздно» фактически означает «когда-нибудь в будущем»), а консервативный («консервирующий») сложившиеся стандарты) образ человека — практически значим в повседневной и социально-политической реальности. Для сравнения стоит припомнить, что в общественном мнении преобладают «правильные» установки относительно того, что врать, воровать, уклоняться от налогов — вообще-то нехорошо. Но «здесь и теперь», поскольку «все» так поступают, это считается отчасти допустимым...

Кроме различных шкал времени в общественном мнении, по-видимому, действует и разграничение уровней «декларативности» и «практичности» установок. Декларативные установки служат для легитимации действия, для самооправдания поступка, практические («серьезные») — собственно для действия, для учета практических интересов и обстоятельств и т.п. Можно было декларировать ценности эгалитаризма, устанавливая иерархический режим. И можно утешаться концепциями собственной исключительности, стремясь к «западным» благам.

А вот пример иного сочетания несовместимых установок.

Таблица 10. Включаться в мировую культуру или отгораживаться от нее? («С каким суждением Вы скорее согласны?»)

(2003, % от числа опрошенных по группам ответивших на указанные в таблице вопросы)

	Включаться в мировую культуру*	Бороться с чуждыми влияниями**	Затрудняюсь ответить
За 75 лет советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запада, и этого уже не изменить			
Согласен	25	52	24
Не согласен	30	45	25
Россия рано или поздно пойдет по пути, общему для всех цивилизованных стран			
Согласен	29	48	23
Не согласен	25	49	26
Не думаю, что люди в России отличаются от людей в других странах			
Согласен	29	48	23
Не согласен	24	52	24

* «России нужно активно включаться в мировую культуру, ориентироваться на западные стандарты

жизни». ** «России нужно бороться с чуждыми русскому народу западными влияниями, возродить са-

мобытный уклад жизни русского народа».

В данном случае налицо явное преобладание культурного изоляционизма как у носителей консервативного образа российского человека, так и у сторонников либеральных позиций — при сравнительно небольших различиях в масштабах такого преобладания. Доминирование в общественном мнении резко отрицательных оценок «чуждого» культурного влияния отмечается в исследованиях на протяжении ряда лет. В этих оценках можно выделить неоднородные компоненты: массовое «консер-

вативное» неприятие нравственных ценностей современной цивилизации, опасения правящей элиты относительно угрозы распространения «западных» представлений о политических и гражданских правах, наконец, отсутствие сложившихся рамок восприятия современной массовой культуры в ее различных проявлениях. В результате даже вполне либеральные декларации (которые нельзя отождествлять с усвоенными ценностями) меркнут и гаснут перед конкретными, осязаемыми «угрозами».

В настоящей статье предметом рассмотрения являлась только одна сторона феномена «особенности» российского/советского человеческого типа — распространенность представлений об этой особенности в общественном мнении. Но это как раз такая ситуация, в которой уверенность в существовании, допустим, болезни (или таланта, богатства, беды, счастья и пр.) может быть важнее «реального» наличия таких обстоятельств или качеств. Массовое — да и элитарное, идеологически и религиозно-философски обосновываемое — убеждение в исключительности национального характера неизменно служило оправданием косности, консервативного изоляционизма, с одной стороны, и радикального авантюризма — с другой. Концепция «особости» питала убеждение в том, что народ «все стерпит», и расчеты на то, что с ним можно «сделать все». Кроме того, как отмечалось выше, ссылки на особые качества человека обычно подменяли серьезное изучение исторических, экономических, психологических, социальных детерминант этих качеств.

В последнее время, как видно из рассмотренных выше данных, наблюдается консервативный сдвиг в массовых представлениях об особом характере человека. В том же неоконсервативном (в «советском» смысле) направлении сдвигается и официальная идеология; налицо нечто наподобие «единства власти и народа». Причем происходит это в ситуации, когда входжение в современный цивилизованный мир для страны как будто стало практической — правда, трудной и очень не скоро решаемой — исторической задачей. Никакие контакты, встречи и договоренности по частным вопросам сами по себе не приближают ее решение. Более того, попытки войти в современный мир с грузом старых притязаний на исключительность, а также со старыми имперскими амбициями создают новые опасные тупики на пути продвижения к этому миру.

Как мы видели, большинство россиян соглашается с тем, что страна «рано или поздно» пойдет по общему пути цивилизации. Но это скорее декларация. Реальный выбор во времени — это уже выбор между «поздно» или «еще позже». Но более важен выбор «места» в том едином и разнообразном мире, который как будто начал формироваться с конца прошлого века. Допустим, это может быть место в ряду множества своеобразных, больших и малых стран, имеющих общие ценности и «прозрачные» для взаимного влияния рубежи, — или место изолированного анклава, который другие вынуждены просто терпеть из опасения катастрофических коллизий. Второй вариант условно можно называть «китайским»; считается общепринятым, что исключительность такой позиции не нуждается в доказательствах. Россия и в наступившем столетии все еще стоит перед этим выбором. И это положение стимулирует попытки превратить реальные и мнимые особенности собственной истории, включая пороки и слабости, в идол, в предмет поклонения. Пока такое положение будет сохраняться, будут, видимо, существовать и парадоксальные сочетания либеральных деклараций с консервативными иллюзиями.

«Человек советский» и его рамки самоопределения

Результаты последней волны исследования по программе «Советский человек» (2003, N=2000 человек; предыдущие волны: 1989, N=1250; 1994, N=3000; 1999, N=2000; далее, если это специально не оговорено, приводятся данные только этих исследований) дают возможность для более обстоятельной разработки проблем самоидентификации — как в содержательном, так и в методологическом плане. Ранее эта проблематика рассматривалась на основе исследований 1989 и 1994 годов¹.

Представляется очевидным, что феномен социальной идентификации значительно сложнее принадлежности к определенным группам. В настоящей статье идентификация анализируется как самоопределение человека в социальной «среде» (общности, системе групп и ролевых функций), а также в системе *типов социального действия* (поведенческих типов).

Столь же очевидно, что сами по себе декларации исследуемых субъектов не могут служить достаточным основанием для заключения о характере или о векторе их отнесения к соответствующим группам или типам: значение и значимость «признаний» нуждаются в разносторонней проверке «делами», т.е. показателями реального поведения.

¹ Левада Ю. Человек в поисках идентичности: проблема социальных критериев // Мониторинг общественного мнения. 1994. № 4 [= Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки, 1993–2000. М., 2000. С. 422–437].

Человек «советский» или человек «русский»?

Возьмем самую простую — и самую демонстративную — пару определений.

Таблица 1. «Чувствуете ли Вы себя...»

(% от числа опрошенных)

	1994	2003
...советским человеком?		
Да, постоянно	35	33
Да, в отдельных случаях	23	28
Практически никогда	19	26
Затрудняюсь ответить	24	14
...русским человеком?		
Да, постоянно	63	77
Да, в отдельных случаях	17	13
Практически никогда	5	3
Я не русский и никогда не чувствую себя русским	7	4
Затрудняюсь ответить	8	3

Первое впечатление: «советская» идентификация не только не уменьшилась, но даже окрепла («в отдельных случаях»), хотя доля никогда не прибегающих к ней также возросла за счет тех, кто ранее затруднялся ответить. Параллельное увеличение доли «русской»

идентификации вызывает как будто меньше вопросов, поскольку явно связано с переменами в официальном языке, документации и пр. Присмотримся поближе к «советскому» самоопределению.

Таблица 2. «Чувствуете ли Вы себя советским человеком?»

(% от числа опрошенных в каждой социально-демографической группе)

		Постоянно	В отдельных случаях	Никогда	Затрудняюсь ответить
Возраст, лет					
15–25	1994	21	21	33	26
	2003	15	15	52	18
25–39	1994	28	23	23	26
	2003	22	27	35	17
40–54	1994	38	26	12	23
	2003	37	36	16	12
55 и старше	1994	47	21	12	21
	2003	52	30	10	8
Образование					
Высшее	1994	26	27	26	22
	2003	29	29	29	13
Среднее	1994	30	23	21	25
	2003	33	28	26	13
Ниже среднего	1994	43	20	14	22
	2003	34	26	26	15

Изменения как будто происходят одновременно в разных направлениях: самые молодые заметно реже относят себя к «советским» (как «постоянно», так и ситуативно) и чаще вообще не используют такой идентификации. Но уже в рабочих возрастных группах (как младшей, так и средней) «советское» ситуативное самоопределение встречается чаще, чем десятилетием ранее. В старшей же группе (55 лет и старше) оба типа «советской» идентификации заметно укрепились. Но аналогичные процессы произошли во всех группах по образованию (единственное исключение — снижение постоянного «советизма» среди малообразованных). В то же время во всех группах, кроме самой старшей, в разной степени возросла доля тех, кто никогда не прибегает к «советизму» как средству самоопределения.

Стоит задуматься над особенностями «постоянного» и ситуативного («в отдельных случаях») самоопределения. Первое из них выступает как *привычное*, стабильное, не требующее особых усилий для осознания или оправдания. Второе, напротив, предполагает некую *проблемную ситуацию*, которая нуждается в определенном осмыслении, выборе адекватной реакции. Поэтому наблюдаемый в ряде социальных групп рост ситуативно-«советской» идентификации за счет привычной вряд ли может трактоваться как уменьшение значимости такого самоопределения, скорее всего речь идет о важном изменении самого механизма идентификации («от привычки — к проблеме»).

Налицо все более демонстративная — как официальная, так и массовая — ностальгия по временам ушедшим, точнее, по привычной идентификации, которую пока ничто не может заменить. Между тем «русское» самообозначение, даже становясь все более привычным в качестве «метки», «ярлыка» (обиходного или официального), не означает еще социальной идентификации; почти два десятилетия перемен

и потрясений базы для такого самоопределения не создали. Об этом можно судить по данным таблицы 3.

Таблица 3. «Чувствуете ли Вы себя русским человеком?»

(% от числа опрошенных в каждой социально-демографической группе)

		Постоянно	Иногда*	Никогда	Не русский**	Затрудняюсь ответить
Возраст, лет						
16–24	1994	56	20	5	7	11
	2003	78	11	2	5	3
25–39	1994	55	20	6	8	11
	2003	74	16	2	5	3
40–54	1994	69	15	5	6	6
	2003	76	14	3	5	2
55 и старше	1994	72	13	3	7	5
	2003	79	12	4	2	4
Образование						
Высшее	1994	60	21	6	5	8
	2003	72	18	3	4	3
Среднее	1994	61	16	5	8	10
	2003	76	14	3	5	3
Ниже среднего	1994	67	16	4	7	6
	2003	79	11	3	3	4

* «В отдельных случаях».

** «Я не русский и никогда
себя не чувствую русским».

В этой таблице вся динамика показателей вполне тривиальна: русское (российское) самообозначение становится все более привычным и все более универсальным, проблемные ситуации — все более редкими. Понятно, что характеристику «русские» чаще использует более молодая часть населения (ср. показатели для среднего возраста), «советские» — более пожилая.

Правомерно выяснить, несет ли такое самоопределение какую-то идеологическую нагрузку.

Таблица 4. «Согласны ли Вы, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года?»

(% от числа опрошенных по группам ответивших на указанные в таблице вопросы)

		Согласен	Не согласен	Затрудняюсь ответить
Чувствуете себя советским человеком?				
Постоянно	1994	59	22	19
	2003	66	22	12
Иногда	1994	39	38	23
	2003	45	35	20
Никогда	1994	35	33	31
	2003	21	53	26
Чувствуете себя русским человеком?				
Постоянно	1994	47	32	21
	2003	46	36	18
Иногда	1994	37	40	23
	2003	41	33	26
Я не русский	1994	47	31	22
	2003	34	40	26
Никогда	1994	46	32	22
	2003	40	47	13

Среди «советских» доля согласных с тем, что было бы лучше, «если бы все было как до 1985-го», за десятилетие заметно возросла, среди «не-

советских» — снизилась. Это лишний раз подтверждает, что «советское» самоопределение остается идеологически (ценностно) нагруженным и в этом смысле консервативным. Определяющие себя как «русские» в целом менее привержены образу ситуации «до 1985-го» (что объясняется более молодым возрастом). Примечательны изменения оценок среды тех, для кого это определение остается ситуативным, т.е. проблемным: доля «советских» увеличилась, а «несоветских» — уменьшилась.

Наконец, возьмем еще одну идеологически значимую установку — отношение к лозунгу «Россия для русских».

Таблица 5. «Как Вы относитесь к идее „Россия для русских“?»

(2003, % от числа опрошенных по группам ответивших на указанные в таблице вопросы)

	Поддерживаю	«В разумных пределах»	Отрицательно, это фашизм	Неопределенно*
Чувствуете себя советским человеком?				
Постоянно	27	34	14	25
Иногда	21	33	21	26
Никогда	19	32	21	28
Затрудняюсь ответить	14	29	13	44
Чувствуете себя русским человеком?				
Постоянно	23	34	16	27
Иногда	18	35	21	27
Никогда	16	20	14	50
Не русский	12	8	36	44
Затрудняюсь ответить	6	17	22	56

* Сумма ответов «меня это не интересует», «не задумывался над этим», «затрудняюсь ответить».

Человек «советский» несколько более идеологизирован (как позитивно, так и негативно) по отношению к националистической системе ценностей, чем человек «русский». Но в обоих вариантах самообозначения большинство склонно целиком или с оговоркой («в разумных пределах») поддержать лозунг; отрицательное отношение к нему преобладает только среди этнически нерусских.

Связи между «советскими» и «русскими» самоопределениями оказываются довольно сложными. Ведь предметом «советского» самоопределения служат не только официальная терминология и границы бывшего государства, но и «внутренние» его характеристики (общественный строй, идеология, жизненные привычки и пр. — в том виде, как они сохранились в общественном мнении). В то же время нагрузка «русского» самоопределения значительно беднее и слабее, поскольку как раз внутреннего содержания оно практически лишено. Поэтому «русская» (российская) маркировка в большинстве случаев, для большинства населения, выступает лишь новой оболочкой для старого, «советского» самоопределения, которое в общем и целом остается декларативно доминирующим. Это утверждение содержит две существенные оговорки. Во-первых, далеко не всегда — скорее даже довольно редко — численное преобладание имеет решающее значение; влияние активного меньшинства чаще всего существенно важнее. Во-вторых, демонстративное самоопределение или самообозначение, как уже отмечалось, далеко не тождественно «реальной» идентификации с определенной группой, с определенной системой ценностей, с определенным типом поведения.

Человек и работа: предпочтения и рамки выбора

Для начала, следуя советской традиции, обратимся к «трудовым» самоопределениям человека.

Таблица 6. «Что бы Вы предпочли, если бы могли выбирать?»

(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999	2003
Небольшой заработок, но больше свободного времени, более легкую работу	10	4	3	4
Небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне	45	54	60	54
Много работать и хорошо получать, пусть даже без особых гарантий на будущее	26	23	23	22
Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск	9	6	6	10
Затрудняюсь ответить	10	13	8	10

Как видим, за все годы распределение основных типов *предпочтений* (иными словами, идентификация с определенным предпочтительным типом поведения) остается довольно стабильным, наблюдаемые колебания невелики. Доминирующим остается «советский» тип предпочтений — небольшой, но гарантированный заработок. Было бы нелепо объяснять такие склонности привычкой или социальным характером человека, не принимая во внимание реальные обстоятельства его жизни и работы. До сих пор около половины работающего населения занято в государственном секторе, а пенсионеры и получатели пособий практически полностью зависят от бюджета. Для человека 1989 года установка на то, чтобы «много работать и зарабатывать без гарантий», — пожелание, для человека 2003-го — реально ограниченная возможность. Заметим, что перечисленные в таблице варианты предпочтений — по понятным причинам — не предусматривают такой возможности, как «много и гарантированно зарабатывать».

Обратимся теперь к динамике типов *реальных действий* за тот же период.

Таблица 7. «Как Вы устраиваете свою жизнь в сложное переходное время?»

(% от числа опрошенных)

	1994	1999	2003
Не могу приспособиться к нынешним переменам	23	33	17
Средний возраст, лет	50	52	56
Живу, как жил раньше, для меня ничего особенно не изменилось	26	16	34
Средний возраст, лет	43	42	43
Приходится вертеться, подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь	30	38	32
Средний возраст, лет	40	39	41
Удастся использовать новые возможности, начать серьезное дело, добиться большего в жизни	5	5	10
Средний возраст, лет	32	32	30
Затрудняюсь ответить	16	9	7

Для оценки отраженной в этой таблице динамики вариантов адаптации нужно напомнить, что исследование 1999 года проводилось в обстановке переживаний после дефолта. В 2003-м происходило восстановление утраченных позиций, а по некоторым позициям («не могу приспособиться» и «удастся использовать новые возможности») заметны явные позитивные сдвиги.

Соотнесем теперь предпочтительные варианты поведения с реальными (т.е. «чего хотели бы» с тем, «что получилось») (табл. 8). Чаще всего отвечают, что «живут как раньше», предпочитающие свободное время и легкую работу; в значительной мере это женщины, домохозяйки. Но и среди сторонников «советского» образа действий относительно больше тех, кто не видит изменений в своей жизни. А желающим много работать и зарабатывать больше других «приходится вертеться», — если, конечно, они не довольствуются жизнью по-старому.

Таблица 8. Типы предпочтений и типы приспособления

(2003, % от числа опрошенных по группам ответивших на указанные в таблице вопросы)

Что предпочли бы?	Не могу приспособиться	Живу как раньше	Приходится вертеться	Удаётся добиться
Свободное время, более легкую работу	16	39	23	10
Твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне	19	36	33	6
Много работать и хорошо получать, без особых гарантий	12	28	40	14
Собственное дело, на свой страх и риск	5	31	26	31

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Результаты исследования 2003 года позволяют более обстоятельно выяснить, чем довольствуются российские граждане в своей жизни и работе.

Таблица 9. Оценки достигнутого

(% от числа опрошенных по группам с разным типом приспособления)

	Добился всего, доволен жизнью	Устраивает то, что есть	Мало получилось, недоволен	Другое, затрудняюсь ответить
Не могу приспособиться	7	43	38	12
Живу как раньше	11	56	17	16
Приходится вертеться...	10	49	22	19
Удаётся добиться...	22	32	6	39
Затрудняюсь ответить	11	39	17	33
Всего	11	48	21	20

Если оставить в стороне сугубо парадоксальные — но неизменно присутствующие в общественном мнении — моменты (7% из неприспособленных «добились всего», а у 6% из самых удачливых «мало получилось...»), то бросается в глаза практически всеобщая готовность удовлетвориться «тем, что есть». Больше всего она заметна у тех, кто не замечает изменений, менее всего — у добившихся большего. Здесь перед нами — вариант известной социологической закономерности: более всего довольными бывают те, кому мало нужно, недовольными — те, кто многого достиг, но хотел бы добиться большего («правило Матфея»).

То же явление заметно в динамике показателей наиболее осязаемых дефицитов в разных сферах жизни (табл. 10).

Прежде всего обращает на себя внимание непрерывно и все более быстро растущий уровень первого показателя — не хватает материального достатка. Как известно по данным госстатистики (а также и по опросам), за последние четыре года уровень доходов населения возрос примерно на треть, но за тот же период доля упоминаний о материальной нужде увеличилась более чем на 20%. При этом в самой нижней

группе по уровню жизни («едва сводим концы с концами...») об этом говорят 82%, в следующей («на еду хватает...») — 86%, а среди самых состоятельных (могут купить все, что угодно) — даже 92%. Правда, в численно крупных группах среднего доходного уровня, где трудности возникают при покупке товаров длительного пользования или жилья, на материальную нужду жалуются несколько реже. Вероятно, фактор возрастания запросов в наиболее чистом виде действует в среде самых обеспеченных, а на низших уровнях обеспеченности главным служит ощущение собственной бедности — в том числе относительной, т.е. в сравнении с более высокими группами по доходу и статусу. Поэтому потенциал роста такого индикатора на обозримое будущее представляется неограниченным.

Таблица 10. «Что в первую очередь не хватает сегодня человеку в России?»
(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999	2003
Материального достатка	51	54	68	83
Уверенности в себе	15	26	20	42
Возможности отдохнуть	6	7	5	12
Политических прав	11	5	2	8
Уважения к своему прошлому	6	13	6	16
Трудолюбия, хозяйственности	35	13	9	23
Нравственных принципов	15	12	12	15
Культуры, воспитанности	41	25	12	30

Показатели «нематериальных», социальных, ценностных дефицитов требуют иных объяснений, хотя иногда они оказываются аналогичны отмеченным выше (ведь на деле в опросе выявляется не собственно экономический феномен, а его социальное восприятие). Так, на протяжении трех опросов — если опустить провал после дефолта — заметно растут упоминания недостатка «уверенности в себе». Причем наиболее заметен он в последние годы, при явном улучшении показателей социального оптимизма, имиджа власти, международного престижа страны и пр. Здесь явно действует принцип возрастания или, скажем, самоиндукции, притязаний по мере их демонстративной реализации. Следует учесть, что запуск исследовательской программы (1989) пришелся на момент наибольшего распространения настроений неуверенности, растерянности, самокритичности в обществе; в частности, это видно по оценкам нехватки трудолюбия и культуры.

«Свои» и «чужие»: рамка самоутверждения

Из обширного круга проблем, связанных с национальной самооценкой, в данном случае возьмем только те, в которых проявляется тенденция *самоутверждения*. Это не просто самоопределение или самообозначение как средство отличать «своих» от «иных», «чужих», но поиск *самооправдания, обоснования* (ценностного, ролевого) своей позиции. Необходимость самоутверждения как у человека, так и у социальной общности, нации возникает преимущественно в неустойчивых, переходных ситуациях (например, в подростковом возрасте). Для устоявшихся, «зрелых» организмов, в том числе и социальных, самоутверждение не является проблемой.

В исследованиях программы «Советский человек» процедуры самоутверждения наиболее наглядно представлены суждениями о том, кем респонденты осознают себя «с гордостью».

Таблица 11. Кем Вы осознаете себя с гордостью?

(% от числа опрошенных)

	1989	1999	2003
1 Отцом (матерью) своих детей	43	57	56
2 Сыном (дочерью) своих родителей	19	24	27
3 Хозяином в своем доме	15	32	32
4 Жителем своего города, села, района	11	21	35
5 Хозяином на своей земле	10	9	9
6 Сыном (дочерью) своего народа	8	10	8
7 Специалистом в своем деле	24	23	23
8 Советским человеком	29	13	14
9 Верующим человеком	4	7	11
10 Русским человеком	-	43	49
11 Гражданином России	-	-	45
12 Членом своего кружка, компании	3	3	8
13 Работником своего предприятия, учреждения	9	9	13
14 Человеком своего поколения	13	19	25
15 Человеком, занимающим видное положение	1	2	2
16 Человеком, достигшим своим трудом материального благополучия	-	9	9
17 Представителем рода человеческого	9	9	13
18 Ветераном Великой Отечественной войны	7	2	2
19 Ветераном войны в Афганистане, в Чечне	4	1	1
20 Участником великих строек, стахановцем	1	2	1
21 Коммунистом	4	3	2
22 Демократом	-	0	2
23 Патриотом своей страны	-	-	16
24 Сторонником президента В. Путина	-	-	7

Примечание: варианты ответа не задавались.

Наиболее значимый и устойчивый вариант «горделивого» самоутверждения человека — осознание собственного отцовского (материнского) статуса. Статус «детей», младшего поколения действует заметно слабее и преимущественно в собственно молодежной среде (15–25 лет). Второй по распространенности фактор самоутверждения — принадлежность к «русским людям» (10); почти столь же значимо и положение гражданина России (11), эти признаки перекрывают друг друга более чем наполовину. Фактор «советской» принадлежности в значительной мере утратил свою роль к 1999 году и не претерпел изменений позже; он сохраняет значение преимущественно для старших возрастных групп. Примечателен рост такого показателя самоутверждения, как «малая родина» (4 — «местный» человек), житель своего города, ср. также 5 — «хозяин в доме»), вполне соответствующего распространенной (мнение 43% в 2003-м) связи представлений о своем народе прежде всего с местом рождения. В два с лишним раза реже таким фактором выступает сейчас патриотизм «большой» родины (23). Ссылка на «свое поколение» (14) становится все более значимой для самоутверждения, причем она чаще встречается у самых молодых (33% для 15–25-летних) и самых старших (29%), т.е. среди переходных групп («входящих» в социальный актив и «выходящих» из него). Более редкие апелляции к статусу ветеранов Отечественной войны объяснимы причинами естественными, а в отношении статуса ветеранов афганской и чеченских войн, скорее всего, действует общественная переоценка самих конфликтов.

Не лишена интереса новая ниша самоутверждения — «патриот России» (23). Примерно в равной мере это сторонники «Единой России» и КПРФ, среди них «постоянно» считают себя русскими 84% («иногда» — еще 9%), «советскими» — соответственно 37% и 27%.

Обратимся теперь к *этническим* самооценкам, которые под определенным углом зрения можно рассматривать как факторы самоутверждения (иногда, впрочем, амбивалентного, неоднозначного).

Таблица 12. «Какие из перечисленных качеств чаще всего можно встретить у русских?»

(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999	2003
Энергичные	9	22	20	23
Открытые, простые	59	72	67	75
Надежные, верные	26	44	30	38
Миролюбивые	50	52	42	49
Ленивые	25	26	27	41
Терпеливые	52	62	63	62
Свободолюбивые, независимые	20	27	23	26
Непрактичные	31	39	22	34
Завистливые	10	12	8	13
Безответственные	22	29	16	26
Готовые прийти на помощь	51	61	55	57
Религиозные	7	14	14	16
С чувством собственного достоинства	14	22	21	21
Трудолюбивые	27	42	35	30
Забитые, униженные	10	17	16	22

Примечание: указаны только наиболее часто упоминаемые признаки.

Константы самооценок русских — миролюбие, терпение, собственное достоинство, готовность помочь — несомненно позитивные опорные точки национального самоутверждения (насколько они обоснованы реально, в данном случае не обсуждается); особые комментарии здесь вряд ли требуются. Как и в отношении несколько более частых упоминаний о религиозности. Что же касается явно изменчивых признаков, то в них наблюдаются весьма примечательные пары как будто взаимосвязанных полярностей. Одна из них относится к «внешним» характеристикам *положения* группы: в 2003 году стало относительно более распространенным (по сравнению с «провальным» 1999 годом) представление о свободолюбии, но одновременно выросла заметно (и абсолютно) частота упоминаний о «забитости, униженности». Кстати, в комплекс «униженности» входит (по мнению 86% опрошенных) и самооценка «простоты», а 77% связывает униженность с терпеливостью.

Особый интерес для анализа представляют пары признаков, относящихся к «внутренним» характеристикам группы, к особенностям ее *поведения*. Заметно реже отмечается трудолюбие, заметно чаще — лень. (В списке качеств, от которых России следовало бы избавиться, эту черту национального характера упомянули в 2003 году 45% опрошенных.) С этим очевидно сопряжено и подчеркивание непрактичности, безответственности, а также и «простоты, открытости». В целом такой набор признаков воспроизводит сводный социально-типический «автопортрет» персонажа простого и доброго, ленивого и безответственного,

непрактичного и постоянно кем-то унижаемого. Известно полуироническое его самоназвание — «совок», составляющее одновременно средство самоуничижения и самооправдания, точнее — самоутверждения через демонстративное самоунижение. Подобный прием означает закрепление привычного, заведомо низкого уровня социальных притязаний, отказ от ориентации на более высокие, более цивилизованные образцы. (Знаменитая «достоевская» формула «полюбите нас черненькими...» предполагает, что «мы» сами себя в этом качестве любим и в иное переходить не намерены.) Данные таблицы 12 показывают, что дефицит позитивных ресурсов самоутверждения вынуждает массового человека постоянно возвращаться в своих самооценках к этому комплексу.

«Обобщенный чужой»

Необходимый компонент социального самоутверждения в ситуации все более интенсивного размывания традиционных барьеров (социальных и культурных, государственных и повседневных) между странами, народами, группами — целая серия попыток конструирования искусственных заграждений, в том числе на уровне массового сознания. Они находят довольно широкую поддержку, поскольку преодоление таких барьеров оказывается болезненно противоречивым, создает сложные проблемы при отсутствии наличных средств для их решения или понижения. (В роли «новых» фортификаторов могут выступать политики, идеологи, проповедники доктрин патриотического изоляционизма.)

Простейшим, а потому, наверное, и самым распространенным способом самоутверждения при таких условиях служит снижение оценки иной культуры, традиции, ориентации и пр. («негативное самоутверждение» в терминологии Л. Гудкова²). «Иной» предстает как чужой, чуждый, заведомо непригодный в качестве универсального образца. К тому же, как видно по исследованиям общественного мнения, образ «чужого» генерализуется, как бы включая представления о конкурентах, врагах, нарушителях привычного порядка, традиций и пр. — причем напряженность установок в отношении какого-либо одного компонента такого образа распространяется на другие. (Стоит напомнить, что греческий термин *ксенофобия* в буквальном значении — опасения в отношении *любых «чужих», «посторонних»*.)

Характерный пример — обострение негативных установок по отношению к представителям различных этнических групп, замеченное в конце 2002 года, вскоре после трагических событий на Дубровке (N=1600 человек). Нетрудно понять, почему доля испытывавших раздражение, неприязнь, недоверие и страх перед чеченцами выросла с 53% (в 2000 году, N=1600 человек) до 66%, но одновременно в том же направлении изменились оценки цыган (с 43% до 52%), азербайджанцев (с 29% до 39%), американцев (с 10% до 17%), арабов (с 15% до 28%), евреев (с 12% до 15%), немцев (с 6% до 11%), японцев (с 5% до 9%). Как будто резкая боль в одной части организма создает ощущение, что «болит все»... Спустя год, в конце 2003-го, острота переживаний боли несколько уменьшилась и уровень негативизма ко всем упомянутым группам в той или иной мере снизился³.

2

См.: Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. М., 2004.

3

См.: Общественное мнение² 2003. М.: ВЦИОМ-А, 2003. С. 65–66.

Противоречивую динамику показывают установки по отношению к девиантным или нетрадиционным группам.

Таблица 13. «Как следовало бы поступить с...»

(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999	2003
Проститутками				
Ликвидировать	27	18	12	14
Изолировать от общества	33	23	20	25
Оказывать помощь	8	12	20	13
Предоставить их самим себе	17	30	29	36
Гомосексуалистами				
Ликвидировать	31	22	15	21
Изолировать от общества	32	23	23	27
Оказывать помощь	6	8	16	6
Предоставить их самим себе	12	29	29	34
Наркоманами				
Ликвидировать	29	26	21	25
Изолировать от общества	24	23	24	23
Оказывать помощь	24	38	47	44
Предоставить их самим себе	39	5	3	5
Больными СПИДом				
Ликвидировать	13	7	8	9
Изолировать от общества	24	20	26	23
Оказывать помощь	57	68	56	62
Предоставить их самим себе	1	1	1	3
Бродягами, «бомжами»				
Ликвидировать	9	10	7	8
Изолировать от общества	25	20	15	22
Оказывать помощь	44	55	60	58
Предоставить их самим себе	7	5	5	6
Алкоголиками				
Ликвидировать	7	9	7	7
Изолировать от общества	22	20	15	18
Оказывать помощь	59	59	66	63
Предоставить их самим себе	6	5	5	7
Членами религиозных сект				
Ликвидировать	4	6	14	27
Изолировать от общества	6	12	23	27
Оказывать помощь	5	8	9	5
Предоставить их самим себе	57	51	29	24

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Обращает на себя внимание резкий рост самых жестоких предложений («ликвидировать!») в адрес гомосексуалистов, в меньшей мере — и проституток. Происходит это на фоне нынешней общемировой, цивилизационной тенденции не только более терпимого восприятия нетрадиционных сексуальных ориентаций, но гражданской легитимации таковых. Призывы к ужесточению санкций в данном случае — явный признак неспособности власти и элиты предложить общественному мнению цивилизованные средства решения соответствующих проблем.

Непосредственная причина поразительного массового озлобления по отношению к сектантам достаточно ясна: по мере все большего — и все более признаваемого в СМИ и в общественном мнении — фактического огосударствления «своей» патриаршей православной церкви иные конфессии (католики, сектанты, кришнаиты и пр.) становятся более «чужими», подвергаются различным ограничениям. Прав-

да, признают необходимость привилегий для «церкви большинства» всего 22% (против 50%), но среди них доля сторонников «ликвидации» сектантов доходит до 34%.

В том же ряду изменений массовых оценок — динамика отношений населения, особенно жителей крупных российских городов, к мигрантам, приезжим с Северного и Южного Кавказа, из бывшей советской Центральной Азии, с Дальнего Востока. Для власти и для массового обывателя это прежде всего «чужаки», опасные и плохо контролируемые, поэтому преобладающей реакцией на миграционные волны остаются запреты и барьеры (впрочем, преодолеваемые традиционным способом, с помощью взяток). По исследованию 2003 года, 58% опрошенных испытывают раздражение, неприязнь или страх по отношению к «выходцам из южных республик», проживающим в их городе, районе. 66% (против 22%) одобрили бы ограничение переезда «нерусских народностей» на территорию России, а 58% (против 22%) — за то, чтобы запретить пребывание в своем городе или районе «приезжих с Кавказа».

Нельзя обойти вниманием такой специфический, хотя и привычный с советских времен, вариант официально предлагаемого — и в значительной мере принимаемого общественным мнением — самоутверждения через принижение образа внешнего «врага». Когда возникла проблема оправдания российских действий в Чечне, поначалу на первый план вышел традиционный и малоэффективный призыв к невмешательству во «внутренние дела»; после 11 сентября 2001 года появился новый, но тоже не слишком эффективный лозунг «антитеррористической коалиции». С началом американских операций в Ираке, особенно после обострения обстановки весной 2004-го, СМИ почти единодушно принялись убеждать россиян, что коалиционные силы действуют в оккупированной стране еще более грубо и неумело, чем отечественные на Кавказе...

Человек и государство: «лукавый» симбиоз

Текущие исследования последних лет, например в период избирательных кампаний 2003–2004 годов, неизменно показывают высокое доверие граждан России к носителям государственной власти. Но динамика представлений о «моральной» связи людей с государством обнаруживает совершенно иные тенденции (табл. 14).

Почти незаметны изменения только в отношении «близких родственников». Во всех остальных случаях чувства моральной ответственности сейчас слабее, чем 15 лет назад. Это значит, что страна и власть для населения все более становятся отчужденными. Наиболее заметны такие сдвиги у самых молодых. Так, безусловную ответственность за действия своего правительства отмечают в 2003 году 13% среди старших (55 и лет и более) и 9% самых молодых. В 1989 году такую ответственность признавали 22% пожилых и 11% молодых людей. А на отсутствие ответственности за события в стране указывают 26% пожилых (в 1989 году — 14%) и 36% молодых (в 1989-м — 22%).

Отсюда, между прочим, следует и оправдание лукавой «игры» человека с государством: все большая доля граждан считает правомерным не исполнять свои обязанности перед государством. По исследованию

1999 года, 48% опрошенных не видели ничего или почти ничего предосудительного в том, чтобы *уклоняться от военной службы*; в 2003 году это мнение разделяют 52%. В 1999 году 58%, а в 2003-м — 64% не видели ничего особенно плохого в том, чтобы *ездить «зайцем»* в городском транспорте. А *сокрытие доходов* с целью не платить налоги в 1999 году оправдывали 42%, в 2003-м — 46%.

Таблица 14. «Несет ли человек моральную ответственность...»
(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999	2003
За действия своего правительства?				
Безусловно несет	14	8	9	11
В какой-то мере несет	29	31	31	35
Безусловно не несет	37	42	43	44
За деятельность своего предприятия?				
Безусловно несет	49	31	27	24
В какой-то мере несет	40	50	46	49
Безусловно не несет	5	17	14	20
За действия лиц своей национальности?				
Безусловно несет	20	10	10	12
В какой-то мере несет	32	28	34	38
Безусловно не несет	28	40	35	40
За происходящие в стране события?				
Безусловно несет	22	9	10	12
В какой-то мере несет	42	35	40	45
Безусловно не несет	17	33	27	33
За действия своих близких родственников?				
Безусловно несет	45	39	42	43
В какой-то мере несет	34	42	43	43
Безусловно не несет	13	11	9	9

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Неизбежным дополнением лукавства в отношении с государством, как и ранее, оказывается лукавая «игра» человека с самим собой — *сделки с собственной совестью*, заведомо несправедливые поступки.

Таблица 15. «Приходилось ли Вам когда-либо поступать вопреки тому, что Вы считаете правильным, справедливым?»
(% от числа опрошенных)

	1989	1999	2003
Я никогда так не поступаю	17	12	18
Приходилось, под давлением коллектива	4	6	8
Приходилось, под давлением начальства	18	13	11
Приходилось, под давлением семьи, близких	5	16	13
Приходилось, когда это было нужно для пользы дела	24	32	31
Бывало, из-за собственной слабости	13	15	12
Бывало, из-за страха за родных и близких	4	9	11
Так приходится жить постоянно	6	4	4
Затруднились ответить	21	20	15

Примечание: сумма ответов превышает 100%, так как некоторые респонденты отмечали более одного варианта.

Изменения за 15 лет не слишком велики. Существенный признак времени: меньше приходится лукавить с самим собой по требованию *начальства*, но зато больше — под давлением *коллектива* или *семьи*.

В 2003 году имеющие высшее образование чаще других вынуждены кривить душой для начальства (14%), но еще чаще (41%) ради «пользы дела». На «собственную слабость» в большей мере ссылаются предприниматели и руководители.

Подведем некоторые итоги. Спустя почти двадцать лет с начала реформирования советского общества самоидентификация человека остается сложной проблемой. Не сформировалась «новая» (современная, европейская, демократическая, гражданственная) основа для его самообозначения, тем более — для самоутверждения. Поэтому точкой отсчета — если не демонстративной, то реальной — остаются характеристики «человека советского». Эта тенденция подкрепляется официальными поисками «советской» легитимации через обращение к символике, стилю, приемам управления (правда, при постоянных попытках сочетать черты стиля различных периодов: победные марши военного времени со стабильностью «застоя», административные перетряски в хрущевском духе с произволом переломных лет и т.п.). Сохраняет свое значение характерный для советской эпохи механизм «негативного» самоутверждения, достигаемого с помощью принижения образов «врага» или «обобщенного чужого». Однако в массовом сознании, во многом следуя в фарватере официальной политики, нарастает отчуждение от власти и государства, а идентификация с их ценностями выглядит лукавой, двусмысленной. Человек вынужден искать защиты у власти, но не хочет ей служить.

Продолжая анализ результатов последнего опроса по программе «Советский человек» (2003, N=2000 человек; предыдущие опросы: 1989, N=1250; 1994, N=3000; 1999, N=2000), никак нельзя обойти вниманием довольно сложный кластер проблем, выраженных в динамике общественных настроений и, как представляется, приводящих к пониманию некоторых моментов природы и функций этого феномена, а также к оценке значения социологических (опросных) средств его исследования. Без обращения к таким методологическим рамкам целый ряд полученных в ходе опроса данных не поддаются объяснению. Это относится, в частности, к наблюдаемому за период между двумя волнами исследования резкому взлету ряда показателей массовых настроений.

Что изменилось?

Сопоставим данные исследований по программе «Советский человек» 1999 и 2003 годов относительно того, как сами респонденты оценивают изменения общественных настроений за минувшее десятилетие (табл. 1). При этом в обоих случаях имеется возможность сопоставить представления об изменениях чувств «других» («у окружающих людей») и чувств собственных («у себя лично»).

Самые общие выводы достаточно очевидны: «позитивные» показатели настроений (причем в первую очередь наиболее распространенных, описывающих собственное состояние людей) заметно выросли, а «негативные» (усталости, страха, обиды, растерянности, агрессивности и пр.) — снизились. Относительно чаще стали упоминаться и позитивные социально ориентированные настроения (уверенность, свобода, ответственность, гордость), хотя их показатели ограничены немногими процентами опрошенных. Практически во всех случаях положительные показатели собственных настроений («у себя»), как и позитивной их динамики, существенно превышают соответствующие оценки настроений окружающих («у других»). В то же время остались на прежнем уровне все показатели «зависти» и возросли показатели «одиночества». Наиболее распространенными при оценке состояния «других» остаются чувства усталости и безразличия, но при характеристике собственного состояния на первый план вышла надежда. Каждая из отмеченных тенденций, выраженных в отдельных компонентах таблицы 1, нуждается в объяснении.

Ничего удивительного в том, что чаще всего — применительно к себе и по отношению к другим, к окружающим — респонденты указывают более «простые» чувства, характеризующие эмоциональное состояние человека, и значительно реже — «сложные», которые относятся к положению человека в обществе. Разумеется, в контексте массового опроса фиксируются преимущественно социально значимые эмоциональные состояния. Различия между показателями настроений (а так-

же в оценках материального положения, перспектив, опасений и др.) «у себя» и «у других» неизбежно связаны с особенностями восприятия социальной дистанции «ближних» и «дальних», «своего» и «чужого», «собственного» и «общего». Кроме фактора перспективы, здесь действуют и особенности каналов получения информации: это непосредственный, собственный опыт, трансляция чужого опыта (разговору, слухи), содержание СМИ.

Таблица 1. «Какие чувства проявились, окрепли за последние годы...?»
(% от числа опрошенных)

		1999	2003	
1	Усталость, безразличие	У других*	52	40
		У себя**	38	33
2	Надежда	У других	10	30
		У себя	23	38
3	Страх	У других	29	15
		У себя	18	10
4	Обида	У других	26	18
		У себя	29	15
5	Растерянность	У других	24	18
		У себя	20	14
6	Отчаяние	У других	37	14
		У себя	26	11
7	Ожесточение, агрессивность	У других	37	18
		У себя	13	5
8	Уверенность в завтрашнем дне	У других	3	11
		У себя	6	15
9	Чувство свободы	У других	4	14
		У себя	7	17
10	Чувство собственного достоинства	У других	3	11
		У себя	8	17
11	Одиночество	У других	5	8
		У себя	10	11
12	Зависть	У других	8	8
		У себя	2	2
13	Ответственность за происходящее в стране	У других	2	4
		У себя	5	4
14	Гордость за свой народ	У других	2	4
		У себя	3	5
	Затрудняюсь ответить	Про других	3	11
		Про себя	5	8

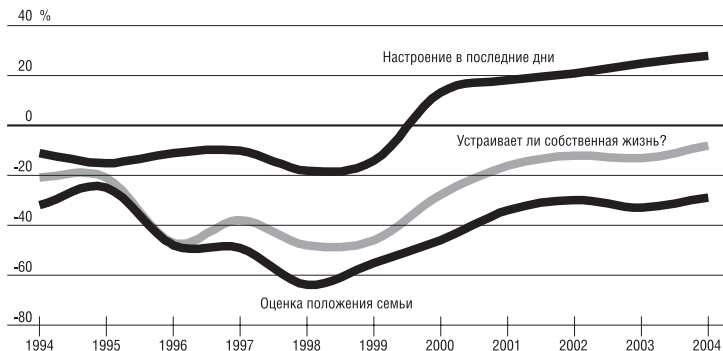
Примечание: ответы ранжированы по частоте упоминаний. * «У окружающих Вас людей». ** «У Вас лично».

Что же касается динамики оценок общественных настроений, которая видна по исследованиям программы «Советский человек», то ее можно понять с помощью более регулярных данных мониторинга социальных настроений, получаемых ВЦИОМом на протяжении более десяти лет каждые два месяца. Обобщенным выражением этих данных, как известно, служит индекс социальных настроений (ИСН). На рисунке 1 приведены сводные значения, а также некоторые компоненты ИСН за период наблюдений.

На рисунке 1 выделены моменты проведения исследований по программе «Советский человек» 1994, 1999 и 2003 годов (в опросе 1989 года аналогичные позиции отсутствовали). Первые два опроса проводились в ситуации заметной неуверенности общественных настроений, когда колебания показателей ИСН располагались в зоне негативных значений, на 20–30 процентных пунктов ниже нулевых отме-

Рисунок 1. Индекс социальных настроений и некоторые его компоненты, 1994–2004

(Разность между числом опрошенных, выбравших позитивные и негативные суждения относительно указанных вопросов, %)



ток. После общественно-политического перелома 1999–2000 годов, стимулировавшего явный рост социальных надежд, такие колебания практически постоянно происходят в зоне позитивных значений, примерно на 20 процентных пунктов выше нулевой линии. (Единственное исключение за последние годы — падение показателя «настроения в последние дни» до отрицательных значений летом 2000-го, явная реакция на поведение президента после катастрофы «Курска».)

Вряд ли было бы правильно трактовать перемену общего «тона» социальных настроений в 1999–2000 годах как признак какой-то высокой «политизированности» российского общественного мнения. Скорее это показатель устойчивого *патернализма*, чуть ли не мессианского ожидания персонального «спасителя» после череды разочарований в политиках и политических комбинациях предыдущих лет. Причем, что весьма важно, с самого начала критерием оценки патерналистского доверия явились не какие-либо достигнутые успехи, а *надежды на успехи будущие* (как известно из текущих исследований, такая расстановка факторов одобрения и поддержки президента сохраняется до последнего времени). Соответственно критерием обоснованности таких надежд оказывается не столько сопоставление с перспективными целями, сколько контраст с *прошлыми неудачами* в различных сферах, далеко не только экономическими или потребительскими. Чуть ли не внезапно возникшее и все еще устойчивое массовое «легковерие» по отношению к носителю высшей власти объясняется еще и тем, что в условиях вынужденного политического «воспитания бедствиями» уровень общественных притязаний оказался весьма невысоким.

Если проследить взаимные соотношения настроений в двух последних волнах «Советского человека», можно заметить изменения в *смысловых корреляциях «надежды»*: в 1999 году респонденты, отмечающие эту позицию, чаще всего указывают еще ожесточение (21%), усталость (19%), страх (18%), растерянность (17%). А в 2003 году у надежды уже совсем иные главные «попутчики»: свобода (25%), уверенность (22%), чувство собственного достоинства (19%). Правда, упоминания усталости и безразличия столь же часты (20%), и именно с этими фоновыми чувствами по-прежнему теснее всего (около 50% сочетаний) связаны переживания обиды, растерянности, отчаяния, ожесточения.

Из набора более социализированных чувств возьмем «зависть» — категорию, в которой суммируются оценки положения других лиц и групп, вариантов социальной мобильности и др. Как видно из таблицы 1, распространенность чувства зависти не изменилась за последние годы, а заметно более редкие упоминания этого чувства как *собственного* переживания, видимо, свидетельствуют о том, что такое переживание люди не склонны демонстрировать, как бы стесняясь его. Однако обращение к *предметам* зависти позволяет заметить некоторые особенности распространенных в обществе и довольно устойчивых ориентаций.

Таблица 2. Зависть как черта национального характера
(«Какие из перечисленных качеств чаще всего можно встретить у...»)
 (% от числа опрошенных, отметивших «зависть»)

	1989	1994	1999	2003
Англичан	1	3	2	6
Русских	30	12	8	13
Евреев	3	23	4	20
Узбеков	6	16	9	—
Азербайджанцев	—	—	—	19

Как можно предположить, в данном контексте зависть рассматривается как фактор достижения (или возвращения) определенных статусных позиций. Образ англичанина выступает эталоном «достигшего», которому просто некого догонять и некому завидовать. А к числу «завидующих» отнесены национальности, которые в общественном мнении выступают как догоняющие, ориентированные на достижение позиций, обозначенных другими. Поэтому посткризисный 1999 год смотрится как самый «незавидный», поскольку там доминировала установка на выживание, а не на достижение, а 2003 год как бы возвращает национальные группы — в представлении общественного мнения — на траектории статусного продвижения. Добавим, что чаще всего (18%) в 2003 году отмечали зависть как черту русских в группе 40-летних (40–49 лет).

Таблица 3. «Кому окружающие Вас люди чаще всего завидуют?»
 (% от числа опрошенных)

	1999	2003
1 Богатым, обеспеченным	60	70
2 Удачливым, тем кому везет	38	39
3 Талантливым, умным	15	22
4 Сильным, упорным	9	9
5 Молодым, здоровым	20	20
6 Красивым, имеющим успех	13	11
7 Занимающим высокое положение	25	26
8 Тем, кто поездил по миру	16	11
9 Свободным, независимым	9	9
10 Никому	4	5
11 Затрудняюсь ответить	10	5

Как видим, за последнее время поднялись только показатели зависти к «богатым» и «талантливым», несколько реже высказывается зависть по отношению к «красивым» и «повидавшим мир». Основной предмет зависти — богатство, обеспеченность, все прочие позиции с этой несравнимы.

Таблица 4. «Кому окружающие Вас люди чаще всего завидуют?»

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Возраст, лет											
	До 20		20–29		30–39		40–49		50–59		60 и старше	
	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003
Богатым	55	69	67	72	63	73	64	77	54	66	55	62
Удачливым	42	47	38	44	43	44	38	37	37	39	30	31
Талантливым, умным	18	24	15	20	13	20	14	23	13	24	15	21
Сильным, упорным	7	10	10	7	9	10	9	8	9	9	9	7
Молодым, здоровым	13	10	15	20	21	17	22	19	21	25	23	22
Красивым	24	16	30	14	13	15	9	10	6	6	3	5
Высокопоставленным	16	27	28	28	23	25	28	31	22	23	25	22
Поездившим по миру	21	12	16	13	17	11	23	10	12	13	10	9
Свободным	10	12	7	7	11	11	6	9	14	12	6	7
Никому	6	7	0	3	2	3	5	4	4	6	7	6

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Только двум страстям «все возрасты покорны» — зависти к богатым и, в меньшей мере, зависти к талантливым. В обоих случаях показатели заметно выросли во всех возрастных группах. «Удачливым» больше всего завидуют, когда делают карьеру, «занивающим высокий статус» — когда ее теряют. «Сильным» и «свободным» завидуют довольно редко, заметных перемен здесь не видно. Примечательно, что зарубежные вояжи все реже служат предметом зависти, превращаясь в более или менее привычное дело.

Регулярно задаваемый (в исследованиях типа «Экспресс», ныне «Курьер») вопрос о *целях семьи* практически дает своего рода измерения действующей зависти по отношению к более благополучным.

Таблица 5. «Какие цели Вы, члены Вашей семьи ставите перед собой?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	1998, ноябрь	1999, март	2000, январь	2000, декабрь	2001, ноябрь	2003, март	2004, апрель
Выжить, пусть на самом примитивном уровне	28	22	21	24	18	16	18
Жить не хуже, чем большинство в своем городе, районе	48	55	46	51	48	56	50
Жить лучше, чем большинство в своем городе, районе	12	10	19	12	17	17	21
Жить так, как средняя семья в Западной Европе, США	9	10	11	11	13	9	8
Жить лучше, чем средняя семья в Западной Европе	3	2	3	3	3	2	3

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Заметим, что динамика ответов вполне понятна в свете развития социально-экономической ситуации и не содержит никаких резких перепадов.

Чувство (социальная установка, настроенность) зависти — один из самых сильных факторов человеческой деятельности в современном массовом обществе¹. Оно может быть как движущей силой, если «завистник» стремится освоить и превзойти достижения других, так и силой

1

По замечанию известного французского исследователя общественного мнения А. де Вульпиана, зависть к более обеспеченным, более свободным, имеющим более широкий набор запросов и большие возможности для их удовлетворения, является важнейшим атрибутом общества, преодолевшего сословные и подобные им разграничения. См.: *Voulpian A. de. À l'écoute des gens ordinaires.* Paris, 2003.

деструктивной, если усилия направлены на то, чтобы разрушить такие достижения (эгалитаризм XIX–XX веков). В некоторых — хорошо известных из отечественной истории — ситуациях зависть к чужим достижениям в сочетании с представлениями о невозможности приблизиться к их уровню стимулирует в массовом сознании новые барьеры (по известной формуле «зелен виноград»).

Сопоставление ряда полученных в нашем исследовании данных позволяет, как представляется, подойти к пониманию социальных функций чувства зависти в сегодняшнем российском обществе. Ограничусь только самым распространенным его вектором — зависти к богатым.

По данным опроса 2003 года, 25% опрошенных полностью согласны, а еще 39% скорее согласны с тем, что «мы привыкли довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством». Но при этом из разделяющих такое мнение 70–71% признают, что окружающие их люди завидуют богатым. А из числа несогласных с приведенным суждением отмечают такое чувство у окружающих 69% и 64%, т.е. почти столько же. Перед нами как будто причудливое сочетание стереотипа демонстративной «национальной скромности» с реальной, повсеместной, действующей завистью — некий вариант *массового двоемыслия*. Последнее предположение, правда, требует своего объяснения; кроме того, вряд ли можно говорить о сознательном *массовом* лицемерии. Скорее всего, дело в том, какие функции исполняет зависть как социальная установка в конкретных общественных условиях.

Возьмем динамику отношений к миллионерам по данным разновременных исследований по программе «Советский человек».

Таблица 6. «Как Вы относитесь к тому, что у нас в стране появились люди, легально получающие миллионы?»

(% от числа опрошенных)

	1989	1999	2003
Ничего не имею против	8	14	17
Положительно, если эти деньги заработаны честно	31	34	30
Против, поскольку честно таких денег не заработаешь	49	42	44
Против таких денег, даже если они заработаны честно	8	4	5
Затрудняюсь ответить	8	6	5

Если теперь сравнить данные двух последних столбцов таблицы 6 (в 1989 году вопрос не задавался) с распределением представлений о зависти, получим, что в 1999 году из числа отметивших зависть к богатым первые две позиции этой таблицы разделяют 13% и 36%, а в 2003-м — 17% и 31%, — т.е. в обоих случаях не заметно *никаких отличий от средних* показателей по всей выборке.

Обратимся к более «практическим» показателям — типам адаптивного поведения («что Вы делаете, чтобы сделать лучше свою жизнь...?»). «Не могут» приспособиться 17% из всех опрошенных в 2003 году, из отмечающих зависть к богатым — тоже 17%, живут как раньше 34% (33%), приходится «вертеться» 32% (33%), удается использовать новые возможности 10% (11%). Опять — никаких различий. 63% от всех опрошенных полагают, что свобода предпринимательства принесла больше пользы стране, 19% — что больше вреда. От числа отмечающих зависть к богатым — 65 и 19%. Ничем не отличаются средние данные о важности появления слоя состоятельных людей (14% — очень важно, 22% — довольно важно) от аналогичных данных

из числа отмечающих зависть к богатым (14% и 24%). Наконец, если рассматривать трудовые предпочтения, то на твердый заработок ориентированы 54% в целом и 55% от «завистников», а на то, чтобы много работать и зарабатывать, — 22 и 23%.

Интерпретировать изложенные данные можно следующим образом. Ссылки на зависть к богатым — не дифференцирующая характеристика определенного сегмента общественного мнения, а просто общая его черта в современных условиях, она не несет практически никакой ценностной или идеологической нагрузки. Поэтому такие ссылки легко совмещаются с самыми различными установками — от «скромной бедности» до энергичного предпринимательства. Несколь-ко ниже мы увидим, что это не единственное общее (или «пустое»?) место в нынешнем общественном мнении.

Человек свободный: от чего?

В рамках данной исследовательской программы вопрос о «свободном человеке» задавался лишь в 1999 и 2003 годах. Чтобы представить динамику мнений более полно, привлечем данные ряда мониторинговых опросов предшествующих лет.

Таблица 7. «Можете ли Вы сказать, что чувствуете себя свободным человеком?»

(N=2400 человек, % от числа опрошенных)

	1995, январь	1996, январь	1997, январь	1999, март	2003, июль–август
Да	12	14	14	14	35
Скорее да	17	19	22	22	31
Скорее нет	29	26	26	27	21
Нет	29	27	26	24	8
Затрудняюсь ответить	14	15	14	13	5

Чтобы объяснить столь крутой подъем показателей «свободного человека» в 2003 году, нужно, видимо, более детально представить динамику этого понятия и его значение в общественном мнении.

Таблица 8. «Можете ли Вы сказать, что чувствуете себя свободным человеком?»

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Возраст, лет	Да*		Нет**		Затрудняюсь ответить	
	1999	2003	1999	2003	1999	2003
До 20	61	82	27	15	12	2
20–29	45	80	45	17	10	3
30–39	39	72	41	24	9	3
40–49	25	58	40	37	10	5
50–59	28	53	38	40	15	8
60 и старше	31	58	45	35	18	8

* Сумма ответов «да» и «скорее да».

** Сумма ответов «скорее нет» и «нет».

Заметное увеличение доли считающих себя свободными людьми произошло во всех возрастных группах, особенно среди более молодых. Соответственное снижение доли не разделяющих такой самооценки наблюдается преимущественно среди опрошенных до 40 лет.

Из числа считающих себя свободными людьми в 1999 году 17%, а в 2003-м — 24% отмечали, что у них за последние годы окрепло «чувство свободы»; у окружающих такое чувство усматривали в 1999 году 9%, а в 2003-м — 17%.

Уровень образования практически не влияет на самоидентификацию свободного человека: из имеющих высшее образование считают себя таковыми в 2003 году 67%, среднее — 65%, ниже среднего — 69%. Но уровень благосостояния явно имеет значение: среди наиболее нуждающихся («едва сводим концы с концами») свободными людьми считают себя 46%, из тех, кому хватает только на продукты, — 58%, кому хватает и на одежду — 74%, кто без труда приобретает и так называемые «товары длительного пользования» (мебель, бытовая техника и т.п.) — 81%. Аналогичным образом влияет и статус (по 10-балльной шкале, сведенной к трем позициям): в высшей группе 80% «свободных», в средней — 65%, в низшей — 47%. Среди добившихся «всего, что хотели», довольных своей жизнью свободными людьми считают себя 76%, среди неудачников — 48%. Складывается впечатление, что самохарактеристика свободного человека выступает как *мера жизненного успеха*.

Если же рассматривать трудовые *предпочтения*, оказывается, что из выбирающих вариант небольшого гарантированного заработка таковых 64%, а среди тех, кто хотел бы много работать и хорошо зарабатывать, — 68%. Различия не столь велики. Аналогичная картина получается и с распределением *ожиданий от власти*. Среди ожидающих заботы о гражданах к свободным относят себя 66%, столько же и среди ожидающих поддержания порядка в обществе, среди ждущих охраны прав и свобод — 69%. Возникает предположение, что ценностные ориентации не имеют заметного влияния на самоопределение «свободного человека». Попытаемся проверить его по другим данным исследования 2003 года.

Из полагающих себя свободными людьми 61% (при средней 55%) положительно оценивают сближение России со странами Запада, 18% (22%) — отрицательно. Политические свободы считают «очень» и «довольно» важными 51% «свободных» (средняя — 45%). В этой группе согласны с тем, что было бы лучше, если бы все в стране сохранялось «как до 1985 года» 38%, не согласны — столько же (средние показатели — 44:35). «Русскими людьми» постоянно чувствуют себя 82% (средняя — 77%). Некоторое превышение прогрессивных мнений, очевидно, обусловлено возрастным, т.е. более молодежным, составом группы. 45% ее представителей считают нынешнее время «своим», только 26% сожалеют, что «их время» уже ушло (средние показатели — 31% и 36%).

Но вот «советскими людьми» из числа «свободных» постоянно чувствуют себя даже чаще, чем в среднем — 38% (33%). А идею «Россия для русских» полностью поддерживают среди них 26% (в среднем — 21%), в целом одобряют 54% (средняя — 53%), отрицательно оценивают 16% (18%). Время правления Сталина из числа «свободных» оценивают позитивно 28%, негативно — 45% (в среднем 28:45).

Подытоживая приведенные данные и соображения, можно утверждать, что понятие «свободного человека» в сегодняшнем общественном мнении не связано политическими, гражданскими, интеллектуальными свободами. Это прежде всего признак жизненного успеха (наличия ресурсов или надежд для него). Заметный рост числа считаю-

щих себя свободными в последнее время связан преимущественно с динамикой оптимистических настроений в обществе, о которой шла речь в начале статьи. Об их истоках и природе еще придется говорить.

Где «счастья ключи»?

Перейдем теперь к самому общему и наиболее, видимо, субъективному показателю состояния общественных настроений. Готовность определить собственное существование или жизнь своей семьи как счастливые обусловлена такими обстоятельствами, как оценки прошлого состояния, надежды на будущее, сравнения с положением и aspirations других субъектов, критерии успеха и благосостояния, а также возможности различных бедствий и т.д. Значительную роль здесь играют также национальные традиции, психологические ресурсы терпения и оптимизма. В свое время В. Даль относил к словарной статье «счастье» и успех, и удачу, и благополучие. Все эти компоненты представлений о счастье и счастливых людях заметны и в результатах исследований.

Таблица 9. «Если говорить в целом, Вы счастливы?»

(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999	2003
Да, совершенно	6	6	6	18
Скорее да	39	40	43	55
Скорее нет	29*	28	28	18
Нет, совершенно	2	6	9	2
Затрудняюсь ответить	24	21	14	8

* Сумма ответов «скорее нет» и «не это главное».

Очевидно резкое увеличение доли считающих себя счастливыми за последние годы; за это время заметно уменьшилось число несчастных. Рассмотрим более внимательно соответствующие данные по различным возрастным группам (табл. 10).

«Счастливые» настроения более всего возросли среди молодых, но и в старших возрастах самооценки заметно улучшились. Более наглядно представлена динамика индекса (последней колонки табл. 10) на рисунке 2.

Уровень образования оказывает определенное, но не особенно сильное влияние на распределение «счастливых» билетов. Вполне счастливыми считают себя в 2003 году по 19% имеющих высшее и среднее образование и 16% — среди малообразованных. «Скорее счастливыми» — соответственно 60%, 56% и 50%, скорее и совершенно «несчастливыми» — 15%, 18% и 25%. Иное дело — уровень *благосостояния*. Среди самой низшей группы («едва хватает на продукты») всего 42% счастливых, несчастливых — 48%, а среди состоятельных («хватает на товары длительного пользования, дачи и пр.») — соответственно 83% и 12%. А из тех, кто *добился всего*, что хотел, счастливыми считают себя 92% против 3%, из неудачников — 41% (не так уж мало!) против 51%. Главными признаками счастья, как и во времена В. Даля, выступают благополучие и удача (и еще в большей мере — это касается молодежи — надежды на достижение того и другого).

Таблица 10. «Счастливые» и «несчастливые» в различном возрасте

(% от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Возраст, лет		Да*	Нет**	Индекс***
До 20	1989	37	27	10
	1994	44	35	9
	1999	68	25	43
	2003	90	6	84
20–29	1989	47	25	22
	1994	57	24	33
	1999	62	27	35
	2003	77	11	66
30–39	1989	44	26	20
	1994	49	27	22
	1999	53	34	19
	2003	77	13	64
40–49	1989	35	40	-5
	1994	43	36	7
	1999	41	43	-2
	2003	66	25	41
50–59	1989	39	35	4
	1994	43	36	7
	1999	44	45	-1
	2003	68	23	45
60 и старше	1989	38	40	-2
	1994	38	42	-4
	1999	37	45	-8
	2003	59	32	27

* Сумма ответов «да» и «скорее да».

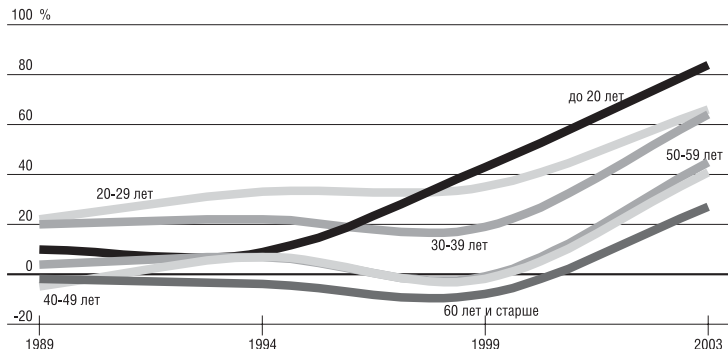
** Сумма ответов «скорее нет» и «нет».

*** Разница «положительных» и «отрицательных» ответов.

Добавим некоторые штрихи к социальному портрету «человека счастливого». Он несомненно больше живет сегодняшним днем, ищет удовлетворения своих запросов в нынешней реальности. Вполне счастливые скорее не согласны с тем, что лучше бы сохранить в стране положение «как до 1985 года» (37% против 42%), в то время как у самых несчастливых соотношение мнений обратное (65% и 22%). Счастливые чаще (48% против 42%) признают, что в последние годы произошли большие изменения, несчастливые чаще (52%) полагают, что «по сути ничего не изменилось». Среди несчастливых преобладает представление о том, что СМИ были более интересными в советское время (50%), чем сейчас (20%), тогда как «счастливые» предпочитают (52%) СМИ последних лет и только 23% выше ставят их работу в советский период.

Рисунок 2. Индекс «счастья»

(разность между числом опрошенных, назвавших себя «счастливыми» и «несчастливыми», %)



Счастливые чаще признают моральную ответственность за происходящее в стране (18% против 10%) и за работу своего предприятия. Если бы можно было выбирать, 40% счастливых и 50% не относящих себя к ним предпочло бы небольшой гарантированный заработок, — различия не столь велики. Но «много работать и хорошо зарабатывать» в первой группе хотели бы 27%, во второй — только 9%. Завидуют те и другие, конечно, прежде всего богатым, притом почти в равной мере — 69% и 65%, затем талантливым, и тоже одинаково часто (30% и 29%), зато удачливым счастливые завидуют вдвое чаще (40% против 19%), — опять выходит на поверхность связь понятий счастья и удачи.

Но вот что кажется труднообъяснимым: к счастливым готовы отнести себя многие из неудачников и даже аутсайдеров позитивных перемен. Если взять обычную шкалу вариантов приспособления (адаптивного поведения), то среди тех, кто «не может приспособиться» к переменам, 54% считают себя более или менее счастливыми, среди живущих «как раньше» — 75%, среди тех, которым «приходится вертеться», — тоже 75%, ну а из числа нашедших «новые возможности» таких все 90%. К счастливым относят себя 83% полностью «свободных» и 57% тех, кто совершенно не считает себя свободными. Или, скажем, 92% называющих себя «удачливыми» и 32% «неудачников».

Как у бессмертного Козьмы Пруtkова: «Если хочешь быть счастливым, будь им»? Распространенность желания видеть себя счастливым требует объяснений уже за пределами понятий удачи и благополучия. Одно из них — в массовом воображении за желанное счастье охотно принимаются отдельные признаки такого состояния или сопутствующие ему феномены, например, отсутствие крупных несчастий, бед, конфликтов, появление оптимистических надежд и, разумеется, реальные или преувеличенные сдвиги в положении страны и материальном положении граждан. В динамике социальных надежд сказывается механизм, подобный тому, который в экономике называют мультипликатором: относительно небольшие сдвиги в реальном положении (как к лучшему, так и к худшему) вызывают значительно более заметные изменения масштабов соответствующих ожиданий. В числе прочего, это связано и с масштабами самих ожиданий, запросов (в контексте данной статьи — критериев счастливых и несчастливых самооценок).

Можно отметить, что общественный оптимизм последнего времени практически во всех возрастных группах носит некоторый «ювенильный», порой даже инфантильный оттенок, поскольку обусловлен завышенными надеждами, в частности — на «отеческую» власть и ее высшего носителя.

Парадокс агрессивности

Как уже отмечалось, существование чувств озлобленности, агрессивности в 2003 году отмечают реже, чем четырьмя годами ранее, и еще реже респонденты признаются в их наличии у себя. Сейчас агрессивности чаще всего сопутствуют усталость, отчаяние, а также зависть (как «у других», так и «у себя»). Чаще всего (25%) отмечают агрессивность «у других» 50-летние, реже всего — самые молодые, до 20 лет (9%).

Но если рассмотреть реакции носителей различных общественных настроений на одну актуальную и острую проблему — отношение

к приезжим «с Юга», получим картину несколько неожиданную и довольно однообразную. Наиболее распространенными оказываются в среднем подмеченные «у других» чувства раздражения (25%) и неприязни (27%) к мигрантам, реже упоминается страх (6%); почти половина (44%) никаких особых чувств не испытывает. Примечательно, пожалуй, что в этом пункте практически почти незаметны отличия в оценках чужих и собственных настроений («свои» чувства в тех же терминах описывают 23%, 28%, 4% и 43% соответственно). Признающие, что у них окрепли собственные чувства ожесточения, агрессивности, чаще других отмечают раздражение (38%) и неприязнь (36%) к чужакам. Примечательно другое: носители иных настроений в данном случае не слишком отличаются в описании своих эмоциональных установок. Скажем, из тех, кто отмечает у себя усталость, безразличие, о раздражении и неприязни говорят 31% и 30%, из отчаявшихся — 31% и 35%, из обиженных — 32% и 31%, из одиноких — 34% и 27%. Немного лучше и чувства тех, кто собственные переживания описывает скорее позитивно: так, из носителей «надежды» раздражение и неприязнь к приезжим испытывают 23% и 28%, «чувства собственного достоинства» — 23 и 29%, «свободы» — 25 и 26%, «уверенности» — 22 и 23%. Короче говоря, если не две трети, то более половины или почти половина выражают свои переживания в связи с массовой миграцией «чужих» в резко негативных терминах, — *но не связывают такие установки с ожесточением, агрессивностью*. Объяснить последнее можно, видимо, массовым характером и привычностью враждебных (как известно, действующих и на официальных уровнях) установок в отношении «чужих». Кроме того, в общественном мнении такие реакции, скорее всего, расцениваются как защитные по отношению к «коренному» большинству населения.

Примерно такую же расстановку акцентов можно отметить и в отношениях к носителям нетрадиционных или отклоняющихся типов поведения². Склонные выносить самые суровые «приговоры» девиантам не усматривают у себя агрессивности. Так, из высказавшихся за «ликвидацию» проституток отметили у себя рост агрессивности лишь 5%, надежды — 37%; из предложивших аналогичную кару гомосексуалистам признали рост агрессивных чувств 6%, надежды — 34%; из готовых уничтожать сектантов — соответственно 7% и 35%.

Чего боимся

Сравнительные данные по трем последним волнам исследования (в 1989 году вопрос о страхах не ставился) позволяют видеть снижение общего уровня тревожности как по сравнению с посткризисным 1999 годом, так и с 1994-м (табл. 11).

В тревожном 1999-м опрошенные в среднем чаще высказывали опасения в отношении безработицы и возврата к массовому террору, но также — очевидно, под влиянием общей атмосферы — в отношении вечных проблем болезней, смерти. А в оптимистически успокоенном 2003-м заметно реже стал упоминаться страх не только перед социальными бедствиями (безработица, война, насилие, криминал, произвол власти), но и перед несчастьями естественного порядка — стихийными

2

См. статью «„Человек советский“ и его рамки самоопределения» в настоящей книге.

бедствиями, болезнями. Налицо еще одно подтверждение методологически значимого феномена: наличие или отсутствие определенной эмоционально отмеченной оценки — это отнюдь не непосредственная реакция на конкретный раздражающий фактор, но скорее рамка восприятия подобных факторов.

Таблица 11. «Бойтесь ли Вы и в какой мере...»

(средняя оценка по пятибалльной шкале)

	1994	1999	2003
Стихийных бедствий	3,08	3,05	2,95
Безработицы, бедности	3,51	4,05	3,36
Болезни, мучений, смерти	3,61	3,89	3,57
Возврата к массовым репрессиям	3,22	2,86	2,43
Публичных унижений, оскорблений	3,20	2,99	2,64
Болезни близких, детей	4,34	4,51	4,17
Мировой войны	3,56	3,55	3,12
Насилия на почве национальной вражды	3,46	3,32	3,12
Нападения преступников	3,93	3,64	3,48
Произвола властей, беззакония	3,73	3,83	3,35

Примечание: шкала рассчитана от ответа (1) «совершенно не испытываю страха» до ответа (5) «испытываю постоянный страх».

Дополнение: взгляд «со стороны»

Все рассмотренные выше показатели общественных настроений были получены в результате оценки респондентами собственных эмоционально окрашенных установок. При иной постановке вопросов, когда респондентам предложено было оценить как бы со стороны (квазиэкспертным методом) динамику настроений в стране, «у других», результаты оказываются существенно иными.

Таблица 12. «За последние четыре года в России стало больше или меньше...»

(Январь 2004 года, N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	Определенно больше	Скорее больше	Скорее меньше	Определенно меньше	Затрудняюсь ответить
Радости	8	33	34	13	12
Уверенности	6	36	34	14	10
Свободы	10	42	26	7	14
Порядка	4	28	34	24	10
Страха	22	34	26	5	13

Таким образом, при взгляде «со стороны» респондентам представляется, что в стране стало *меньше* радости (41:47), уверенности (42:48), порядка (32:58), но *больше* таких явлений, как свобода (52:33) и страх (56:31).

«Больше радости» и «больше уверенности» усмотрели только в среде молодежи до 30 лет. Лишь самым юным, до 20 лет, кажется, что в стране стало больше порядка и меньше страха. Единственная позиция в списке, относительно которой во всех возрастах однородное распределение мнений, — стало «больше свободы» (в самой младшей группе так считают 62% против 19%, в самой старшей — 49% против 33%).

По опыту многих исследований за ряд лет известно, что собственное положение, как и собственные настроения, опрошенные обычно

оценивают заметно лучше, чем соответствующие показатели у других, в своем городе, районе, в стране. Точнее говоря, при оценке собственной и «чужой» ситуации у человека действуют различные рамки восприятия (в социологической терминологии — рамки соотнесения или координат, *frames of reference*). «Чужое» хуже не только потому, что «дальше» от непосредственно личной проблемной ситуации, но также и потому, что видится через иную «оптику» (в значительной мере через инструменты массовой информации). Эти часто используемые соображения пригодны для объяснения ряда отмеченных выше феноменов — того, что при росте массового «собственного» оптимизма преобладает мнение о том, что радости в стране стало меньше, а страха — больше. Не требует особых пояснений ситуация, когда те, кто чаще отмечают рост радости, чаще видят и рост свободы. Но для того чтобы понять, как соотносится как будто общепризнанный рост «свободы» с доминирующим представлением об уменьшении «порядка», видимо, нужно принять во внимание содержание самих этих понятий в общественном мнении. Оказывается, что отметившие «определенно больше» свободы в стране соотношение мнений о росте и падении порядка представляют как 30:67, а у отметивших уменьшение свободы в стране такое соотношение еще резче — 11:85. Скорее всего, дело в том, что сама «свобода» и в данном случае — ранее об этом шла речь применительно к понятию «свободного человека» — часто воспринимается как возможность действовать без каких-то ограничений («свобода от...»), вне установленного «порядка».

Подводя итоги изложенным выше соображениям, следует признать недостаточной, а то и просто неверной употребительную трактовку показателей общественных настроений только как некоего «эмоционального фона» или «эмоционального баланса» в социальных процессах. Скорее всего, это показатели распространенных, принятых в обществе или определенных социальных группах, *общественных установок*, т.е. обобщенных и нормативно значимых ожиданий. Такие установки определяют рамки массового восприятия событий, социальных институтов, деятелей. Общественные настроения — это не текущие эмоциональные состояния множества людей, а значимая для деятельности этих людей *«настроенность»* на определенное восприятие и оценку социальных фактов. Фигурально выражаясь, общественные установки задают не просто «фон», а скорее *«тон» общественного мнения* (который и делает его «музыку», придает значение совокупности изменений фактов). Этот «тон» изменяется медленнее, в других масштабах времени по сравнению с текущей обстановкой, поэтому в общественном мнении привычные стереотипы восприятия явлений или лиц могут сохраняться как бы вопреки очевидности. Динамика общественных настроений российских граждан на протяжении четырех волн исследований по рассматриваемой программе дает обширный материал для анализа процессов такого типа.

Предварительные замечания:
категории фиктивные и функциональные

При интерпретации данных изучения общественного мнения самым простым и тривиальным представляется сопоставление позиций «большинства» и «меньшинства»: большинство поддерживает, возражает, доверяет, не одобряет и т.д.; меньшинство, соответственно, придерживается противоположных мнений. Тем самым исследуемая совокупность как бы заведомо разделяется на две обособленные части, которым приписываются определенные свойства, предпочтения, установки и пр. — т.е. происходит конструирование своего рода макросубъектов социальной деятельности. Между тем опыт показывает искусственность и даже опасность такой конструкции, способной вводить в заблуждение как исследователей, так и практических пользователей получаемых данных.

В настоящей статье основным материалом служат исследования по программе «Советский человек» (1989, N=1250 человек; 1994, N=3000; 1999, N=2000; 2003, N=2000), каждое из которых может рассматриваться как представляющее характерный момент социально-политической драмы совокупного, многоликого человека. Первая волна исследования отражает настроения и ожидания, которые были свойственны наиболее бурному и наименее определенному периоду пика, а затем падения ожиданий, связанных с перестройкой (т.е. примерно 1988–1991 годы). Две следующих волны относятся к разным фазам периода «постперестроечных» реформ и катаклизмов (1992–1999). Последняя волна исследования проведена уже в обстановке «авторитарной стабилизации», провозглашенной в 2000 году. В качестве дополнительного материала по каждому периоду используются также данные других массовых опросов, проводившихся примерно в те же или близкие сроки.

О критериях

В различных ситуациях линии разделения данной совокупности на «большинство» и «меньшинство» можно проводить по различным основаниям: например, по возрасту (молодые — пожилые), уровню благосостояния (бедные — богатые), социально-групповой принадлежности (рабочие — руководители), политическим позициям («левые» — «правые») и пр. Очевидно, ни одна из таких линий не является универсально пригодной или объясняющей. Кроме того, далеко не всегда работают «парные» (дихотомические) деления, приходится учитывать промежуточные, переходные варианты позиций и положений. В социально-практическом плане понятия «большинства» и «меньшинства» применительно к обществу в целом приобретают реальный смысл довольно редко — в ситуациях всеобщих выборов или референдумов, к тому же

только при дихотомическом выборе. Да и здесь обычно речь идет об *относительном* преобладании определенной позиции в числе участников голосования (известно, например, что победитель в президентской гонке 1996 года в России получил поддержку 37% населения, в 2000-м — 36%, в 2004-м — 46%; только в экстремальных обстоятельствах лета 1991 года избранныка поддержали 61% граждан страны). Во всех иных ситуациях, как стабильных, так и переломных, значение имеет определенное (*необходимое, достаточное, значимое* при данных условиях) «меньшинство». В тех же случаях, когда исследования показывают уровни одобрения, доверия или, наоборот, несогласия, недоверия и т.п., выражаемых большей частью опрошенных по отношению к какому-то деятелю, партии, позиции, — то это, как правило, показатели настроений, а не готовности действовать. В любом случае действующей силой является не «большинство» или «меньшинство», а структура, организация, институт, солидарная группа. В численном же плане (количество инициаторов и их активных сторонников) такая структура всегда составляет «лишь» *меньшинство* населения, даже одну из его фракций.

Подтвердить такую закономерность можно как социально-историческими примерами, в том числе из недавней отечественной практики, так и — что теоретически более значимо — соображениями относительно природы и функций изучаемых феноменов. «Большинство» и «меньшинство» — статистические, количественные категории, непригодные для характеристики действующих элементов (сил, структур) какого-либо социального действия. В некотором модельном («идеально-типическом») упрощении разделение функций между названными категориями можно связать с разделением способов организации жизни «обыденной» и жизни «общественной». Если для регулярного поддержания и воспроизводства «обыденной» жизни требуются «всеобщие» (в буквальном смысле) постоянные усилия, действия массового человека, то для ее организации в национальных, социальных масштабах необходимы специализированные группы, структуры, организации. Иначе говоря, действия «специализированного» («элитарного») человека. Следует подчеркнуть, что в данном контексте «элитарность» — это никак не оценка моральных или интеллектуальных способностей индивидуума или группы, а только признак специализации его функции, подкрепленной спецификой социализации, авторитета и пр. В сложных и изменяющихся обществах именно элитарные структуры способны закреплять или переоценивать нормы, образцы, критерии социального поведения. Это относится не только к репродуктивным, но и к «реконструктивным» структурам, которые можно обнаружить во всех переменах, переворотах, сдвигах, процессах. (В таких ситуациях *динамической структуры* оказывается взаимодействие компонентов процесса.) Поэтому то, что для «количественного» наблюдателя предстает как соотношение большинства и меньшинства (или, скажем, «массы» и «элиты»), в макросоциологически понимаемом действии является функциональным механизмом общественных процессов, «связкой» массовидных и специализированных компонентов. Такое разделение, конечно, сильно упрощает реальные общественные механизмы, но дает некоторое представление об их функциях.

«Массовидные» функции в любых общественных структурах и процессах — это поддержка, одобрение, согласие с заданным образом или направлением. А поскольку именно эти функции могут осу-

ществляться в параметрах количественного «большинства», это последнее тривиально оказывается гомогенным, послушным, готовым к управлению «извне», т.е. со стороны специализированных структур. Разнообразными, гетерогенными, «внутренне» организованными по определению могут быть только структуры, группы, составляющие количественное «меньшинство». Становясь «большинством» — что иногда происходит, — они изменяют свои функции (например, когда претензии на изменение институциональных структур уступают место слепой поддержке режима и т.п.), а также и структурные позиции (передача элитарных ролей иному иерархическому уровню).

Особый характер имеют в обществе замкнутые (эзотерические) группы, которые не стремятся стать ни большинством, ни значимым меньшинством, но лишь сохранить свою маргинальную изолированность.

В изучении общественного мнения мы сталкиваемся с подобными механизмами, в частности, при выявлении степени массового интереса к политике или к участию в определенном электоральном процессе.

Как известно, при всех перипетиях нашей политической жизни последних лет уровень *активного интереса* к политике в обществе почти не изменяется. Для немногих процентов этот интерес означает участие в какой бы то ни было политической деятельности¹.

Аналогичным образом данные о возможном участии населения в следующих парламентских выборах регулярно показывают, что определенные политические симпатии в относительно «спокойной» обстановке, т.е. вне предвыборной горячки, обнаруживает лишь половина потенциальных избирателей.

Наконец, если взять такой регулярно изучаемый показатель, как отношение к «продолжению реформ», то определенное мнение по этому поводу неизменно высказывают примерно 60% опрошенных, 40% воздерживаются.

Но когда возникает вопрос об одобрении/неодобрении лидера (первого лица), остающихся в стороне почти нет (например, при регулярных замерах одобрения лидера в опросах типа «Экспресс» и «Курьер» воздерживаются от ответов не более 2%). Чем еще раз доказывается приоритет личностных ориентаций общественного мнения по отношению к «идейным».

Но получаемые в массовых опросах показатели симпатий, поддержки, доверия и пр. — атрибуты декларативного, вербального поведения. Они резко отличны, например, от показателей реального участия в политической деятельности. Вряд ли можно ли объяснить такое распределение показателей какими-то особенностями истории или современного положения российского общества. За исключением редких периодов массовой экзальтации, какова бы она ни была, повседневные интересы людей всегда и везде безусловно преобладают. По всей видимости, главный «секрет» работающей демократии заключается в способности граждан сочетать собственные (личные, семейные) обязанности с гражданскими (региональными, общенациональными) — притом как в обычных, так и в чрезвычайных обстоятельствах. Отечественная специфика — и беда — в том, что слишком долго подобное сочетание достигалось преимущественно принудительно, а потому воспринималось населением как зло, которого следует по возможности избегать.

1
Зоркая Н. Думские выборы 1993–2003 гг.: К проблеме социальной цены постсоветского «партийного строительства» // Вестник общественного мнения. 2004. № 4.

В первоначальных концепциях классического рационалистического либерализма (XVIII век) доминировало представление о рациональном и свободном человеке как субъекте общественного договора, а тем самым — и основе государства. Реальное становление современных государств (на «первой линии» модернизации) происходило все же несколько иначе: осевая конструкция универсалистских институтов была противопоставлена иерархическим, сословным, традиционным порядкам, а далее разворачивались два взаимосвязанных процесса — адаптации массового человека к этим институтам и модификации самих институтов (как известно, всеобщее голосование, равноправие, тем более социальные права — позднейшие нововведения). В странах поздней, «догоняющей» модернизации, к которым принадлежит и Россия, институты, а точнее, «фасады», внешние формы или ярлыки современной демократии появились первоначально как прикрытие традиционных, авторитарных, тоталитарных режимов. В различных вариантах «неклассической демократии» и элитарные, и массовые структуры оказывались неготовыми, неспособными принять всерьез «правила игры» современной демократической государственности. А «фасадная» демократия, как показывает и отечественный опыт, довольно легко трансформируется в авторитарно-популистскую, со всем набором механизмов манипуляции общественным мнением — и готовностью принять такую манипуляцию.

Более сотни лет отечественной истории заняли, как известно, попытки ряда сменявших друг друга элитарных групп «разбудить» косную народную массу. За ними следовали неизменные поиски виноватых в неудачах или непредвиденных последствиях — то ли в природе, привычках, сознании «массы», то ли в характере самих элитарных групп. В сегодняшних условиях исследовательская мысль постоянно возвращается к истокам событий, к новому пересмотру итогов пройденных этапов, к «невозможному», в строгом смысле, вопросу «а если бы... иначе». Когда-нибудь, после исторической переоценки нынешних общественных пристрастий, перемены и катаклизмы, например, минувшего столетия послужат конкретными примерами действия структурно-функциональной парадигматики. В современных условиях долеют другие задачи — попытаться объяснить некоторые повороты последних лет при помощи социологических категорий и, естественно, материалов массовых опросов.

Акт I: 1989-й и около него.

Структура «всеобщих» надежд как социологическая проблема

Период «развитой» перестройки, примерно 1988–1989 годы, неизменно привлекает ностальгическое (или критическое) внимание в разноравленных общественных течениях. По сути дела, именно в эти годы определились как крушение партийно-советской системы, так и неудача попытки ее усовершенствования или осторожного демонтажа.

В интересующем нас плане, пожалуй, самым неожиданным и явно невоспроизводимым явилось чуть ли не всеобщее — заметное приблизительно до середины 1990 года — согласие с переменами или, по меньшей мере, отсутствие сколько-нибудь организованного сопротивления им. В опросных данных это выражалось в весьма высоких показателях

поддержки (одобрения деятельности) М. Горбачева. Притом что направленность — да и управляемость — начатых перемен воспринималась населением довольно смутно.

Таблица 1. «Как бы Вы определили главную задачу, стоящую перед страной сегодня?»

(1989, % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

	Все	Возраст, лет					
		До 20	20–30	30–40	40–50	50–60	60 и старше
Установить подлинную справедливость без привилегий и льгот	30	20	30	28	35	40	27
Возродить национальную культуру	8	12	9	6	4	6	8
Снять все запреты с предпринимательской деятельности и потолки с зарплаток	8	12	9	6	4	6	8
Обеспечить каждому народу право самостоятельно решать свою судьбу	6	12	8	6	4	2	5
Вернуть стране ее первенствующее положение в мире	5	5	5	5	4	2	7
Обеспечить народу материальное благополучие	40	36	45	40	41	35	41
Возвратиться на путь строительства подлинного социализма	11	8	12	15	10	9	10
Возродить деревню, сельское хозяйство, крестьянский уклад	32	12	22	25	37	44	42
Возродить моральные устои общества	14	13	12	13	14	14	17
Построить свободное демократическое общество	15	27	21	21	10	8	7

Как видим, представления о целях изменений в массовом сознании (как и в официальных декларациях того времени) были довольно смутными, преобладали все же умеренные ожидания совершенствования уже существующих порядков. Это вполне понятно: перестройке не предшествовало никакое идеологическое или программное размежевание. *Реальный* ориентир массовых настроений — ожидания чего-то неопределенно нового от лидера, которому поверили в данный момент. Ясного представления о тех же целях не было (по крайней мере, его не было недвусмысленно выражено) у первых лиц за все последние 15 лет². Что и позволяло им получать поддержку от самых разных направлений — от либерально-коммунистических до национал-патриотических и радикально-демократических. Так, из числа полностью одобрявших деятельность М. Горбачева (в июле 1991 года, незадолго до ее завершения; N=1600 человек) почти половина (44%) хотели бы в будущем видеть Россию «демократическим социалистическим государством», 14% — «социал-демократическим» государством, примерно по 7% предпочли бы «сталинский» социализм или западный капитализм. Но и ожидания тогдашних сторонников Б. Ельцина, как будто жаждавших более решительных перемен, отличались лишь большим акцентом на «социал-демократическую» перспективу (26%) и несколько более распространенным (11%) западным вариантом. Кстати, если бы сторонники М. Горбачева знали в 1985 году, к чему приведут начатые перемены, их поддержали бы (по данным того же опроса) только 39% (против 31%), а из сторонников Б. Ельцина — 29% (против 46%). На первом плане опять оказывается доверие/недоверие (одобрение, надежды) по отношению к лидеру, а не оценка содержания перемен.

2

Ясности на этот счет не существует и поныне. Согласно одному из исследований июля 2004 года (N=1600 человек), 26% опрошенных считали наиболее подходящим для России «социализм советского типа (как был в СССР)», 22% — строй, сочетающий черты социализма и капитализма, и только 12% назвали капитализм западного типа. Реже указывались варианты «китайского» социализма (7%) и «соборного» строя на основе православия (4%).

Динамика отношений к основным деятелям «первого акта» видна из сопоставления опросов 1988 и 1991 годов.

Таблица 2. Степень одобрения деятельности Горбачева, Ельцина и Сахарова, 1988 и 1991

(Декабрь 1988 года, N=2480 человек; июль 1991 года, N=2800 человек, % от числа опрошенных)

	1988			1991		
	Вполне	Не вполне	Не одобряю	Вполне	Не вполне	Не одобряю
М. Горбачев	52	32	7	16	41	32
Б. Ельцин	29	29	18	58	24	8
А. Сахаров	45	14	7	—	—	—

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Очевидно, произошла смена лидера общественных симпатий, общественного мнения, сами же симпатии (ожидания) остались прежними и столь же малоопределенными. Уровень мобилизации общественных надежд вокруг нового лидера на первых порах оказался чрезвычайно, невероятно высоким. В том же опросе июля 1991 года 94% респондентов из числа голосовавших месяцем раньше за Б. Ельцина выразили одобрение его деятельности (в том числе 78% — полностью одобряли), причем эти оценки могли означать в тот момент всего лишь высокое доверие к декларативным обещаниям. Главной чертой личности Б. Ельцина опрошенные летом 1991 года — значит, опираясь на те же декларации — сочли его «решительность». Тем болезненнее оказалось последующее разочарование.

Важно отметить, что смена адресата общественных надежд не привела к заметному общественному разлому: «перестроечная» часть политической элиты склонилась к поддержке Б. Ельцина, массовое сознание, следуя прежним образцам, признавало авторитет власти. Попытки организовать политическую оппозицию в 1990–1991 годах («Слово к народу» и пр.) не получили заметной поддержки. Сколько-нибудь значимого оппозиционного «меньшинства» не оказалось.

Но высокий уровень общественной поддержки лидера никогда не означал и — как сейчас видно — не означает «буквального» единодушия. Многочисленные опросные данные позволяют судить о довольно сложной структуре самого феномена такой поддержки.

Как видим, даже на пике своей политической карьеры (который, по данным опросов, пришелся на время ожиданий, т.е. на время до начала деятельности во главе государства) Б. Ельцин получал безоговорочную поддержку менее чем от половины голосовавших за него на президентских выборах в июне 1991 года, остальные сопровождали свою поддержку рядом условий и оговорок.

Правомерно предположить, что на любом уровне общей поддержки (одобрения деятельности, голосования «за») определенного лидера имеется некоторая шкала позиций сторонников (как и оппонентов). Иначе говоря, даже в моменты наиболее высоких ожиданий готовность полностью одобрить лидера выражает *меньшинство* его сторонников. В тех же случаях, когда «единодушное одобрение» выражают 80–90%, а то и 99% населения, — если, конечно, принять на веру подобные цифры — имеет место иной социально-политический феномен, что-то вроде демонстрации всеобщей верности лидеру или строю. В тоталитарных

государствах такая массовая реакция может быть восторженной или испуганной, лицемерной или искренней («растворение» в массе как фактор безответственности и самооправдания человека), но она никогда и нигде не прибавляла устойчивости режиму.

Таблица 3. «С какой оценкой деятельности Б. Ельцина на посту президента России Вы бы скорее могли согласиться?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	1991, июль	1993, ноябрь	1996, март
Полностью разделяю его взгляды и позиции	30	7	4
Поддерживаю его до тех пор, пока он является лидером демократических сил	10	12	8
До сих пор он мне не очень нравился, но надеюсь, что он будет полезен России в качестве президента	16	4	6
Поддерживаю за неимением других достойных кандидатов	14	15	12
Раньше он мне нравился, но в последнее время я в нем разочаровался	7	29	20
Я не являюсь его сторонником	8	16	30
Я считаю, что следовало бы голосовать за кого угодно, только не за него	3	6	11
Затрудняюсь ответить	12	11	9
Индекс «поддержки»*	52	-13	-31

* Разница «положительных» и «отрицательных» ответов.

Если попытаться кратко подвести итоги «первого акта», можно отметить, что на всем его протяжении сохраняла действие «советская» модель взаимодействия компонентов общественной структуры: квази-единая политическая элита и послушное, временами восторженно-послушное, «большинство» (причем отнюдь не большинство населения, а лишь субэлитарной его части — более образованной и политизированной, куда входили руководители, специалисты, т.е. те, кого ранее было принято относить к «активу»). Это значит, что никакого функционально значимого «меньшинства» и «большинства» просто не существовало. Все переакцентировки происходили в рамках старой, монопольной структуры общества и общественного мнения. Сопrotивление курсу М. Горбачева (как и позднее начальная оппозиция режиму и реформам Б. Ельцина) сложилось в результате внутреннего кризиса и разложения в лидирующей элите, точнее, в ее верхушке. Вынужденные обстоятельства демократические шаги и декларации выводили на передний план закулису личных интриг и амбиций лидеров. «Массовая» жизнь всеми этими процессами была затронута в основном через нараставший потребительский дефицит. В этих условиях серия уникальных «протодемократических» конкурентных выборов 1989–1991 годов (народных депутатов Союза, России, президента России) играла скорее демонстративную и мобилизующую роль, не оказывая прямого влияния ни на государственное управление, ни на расстановку политических сил.

Акт II: структуры разочарований и конфронтаций

Условные границы периода — с начала 1993 года до осени 1999-го. На этот период пришлось две волны исследования «Советский человек» (ноябрь 1994-го, январь 1999-го). Внешне это был период распада

властной монополии, когда на политическую сцену вышли организованные силы оппозиций — сначала «умеренные» (Верховный Совет 1992–1993 годов), позже «левые» (коммунисты и патриоты); временами казалось, что президентская власть держится на волоске, а конфронтация с «левой» оппозицией превращается в борьбу без правил, доходящую до вооруженной, как в октябре 1993 года.

Однако на деле конфронтация ограничивалась столичной околовластной площадкой, «левая» оппозиция не сумела превратить широкое недовольство результатами реформ в организованный массовый протест. Демократически ориентированные группы, не имея своей массовой базы, неизменно надеялись использовать свое влияние на власть или собственное участие в ее структурах, поэтому так и не смогли составить реальной оппозиции. Не менее значимой была и программная, идейная слабость оппозиционных сил. «Левая» (точнее, консервативно-патриотическая) оппозиция надеялась на реставрацию советских порядков, демократические силы — на воспроизведение ситуации перестроечных иллюзий, т.е. те и другие в значительной мере выражали утраченные надежды прошедших лет. Никаких стратегических альтернатив программам (на деле — прагматически-неуверенным шагам) власти никто всерьез не предлагал.

Политические конфронтации 90-х предельно обострились в середине периода, в 1995–1996 годах, когда влияние оппозиции и президентской власти в общественном мнении, как казалось, единственный раз практически сравнялись и наметилась возможность успеха КПрФ на

президентских выборах. Один из уроков тогдашнего кризиса (за которым нам довелось внимательно следить³) — в принципиальной невозможности понимания политической ситуации в стране по анализу внешней, зримой на уровне общественного мнения стороне происходящих про-

цессов. При отсутствии сложившегося *общественно-политического* поля главным их участником, основным «игроком» оставалась *государственная власть*. Поэтому реально противостоящими силами являлись не симпатии или потенциальные голоса партий, а власть (при всей своей слабости — а точнее, именно из-за собственной слабости — готовая использовать и силу, не считаясь ни с какими законами) и ее противники. И поэтому «равновесие» сил весны 1996 года было мнимым, было как бы результатом взвешивания на несуществующих весах.

Во второй половине 90-х определилась практика вынужденных сделок между номинально реформаторской властью и консервативно настроенным парламентским большинством (в обеих палатах), губернаторами «красного пояса» и др. Определенную роль в поддержании такого рода сделок играла квазиоппозиция неизменно присутствовавшей на политической сцене партии В. Жириновского (сочетавшей демонстративную оппозиционность с «теневой» поддержкой власти). Но устойчивая система взаимных сдержек и противовесов, характерная для плюралистических или дуалистических парламентских государств, даже не начала складываться. Каждая «большая» сторона вынужденной сделки видела в ней всего лишь краткосрочную уступку противнику (миноритариев такая ситуация скорее устраивала, поскольку создавала им возможность существования). При более благоприятной для себя конъюнктуре — как мы это видели позже, в последнем из наблюдаемых актов — власть готова избавиться от всех следов таких уступок.

3

См.: Президентские выборы 1996 года и общественное мнение. М.: ВЦИОМ, 1996.

Побочным результатом всей серии сделок и конфронтаций служило сохранение атмосферы общественных прав и свобод на протяжении 90-х годов. Но отсюда же и слабость, ненадежность таких прав; последующее развитие эти характеристики неоднократно подтвердило.

Еще одно важное следствие «государственной» принадлежности российского политического поля — неработоспособность моделей политического спектра западного (европейского) типа с их противопоставлением «левого» и «правого» флангов. Отечественные «левые» — вчерашняя правящая бюрократия, более или менее удачно использовавшая в 90-х годах патриотически-популистские лозунги. Причем удачи эти как будто прямо обусловлены тем, что ни власть, ни демократы не могли — и даже не пытались, что по меньшей мере непростительно, — показать, что только развитая современная экономика способна обеспечить реальное улучшение жизни человека, работающего, пенсионера, учащихся и т.д. И тем самым как будто отдавали значительную часть общественного мнения «левым».

Нуждается в объяснении один парадокс общественного мнения образца 1999 года. Весной этого года, согласно опросам, преобладало массовое осуждение войны в Чечне, более половины опрошенных одобрило бы объявление импичмента президенту Б. Ельцину за развязывание военных действий. Но осенью, после начала новой военной кампании, большинство ее поддержало. Это показывает, что на деле тогдашнее «антивоенное» большинство (которое составляли сторонники коммунистов и, отчасти, демократов) было настроено не столько против войны, сколько против президента; фактическая смена лидера изменила общественные настроения.

Именно в годы максимальной социально-политической неустойчивости были получены основные результаты экономических и социальных перемен — со всеми их плюсами и минусами, возможностями и ограниченностью. А также со всеми последствиями на «человеческом» уровне. Стали привычными — а значит, и не привлекающими особого внимания — исчезновение потребительского дефицита, частный бизнес, зарубежные поездки, конкурентные выборы, информационные свободы и пр.

В общем за 90-е годы — в совокупном итоге реформ и кризисов — «простой человек» не стал жить лучше, но стал жить *иначе*, вынужден был шаг за шагом приспосабливаться к новой социальной и экономической реальности. И очередной раз в отечественных условиях не сработала «классическая» (а точнее, кажущаяся таковой) модель соотношения экономических структур и демократии. Вынужденное приспособление к рыночной системе само по себе не порождает и не закрепляет демократические образцы общественного устройства. На деле России было закреплено «лояльное» *отчуждение* «массового» человека от государства, от власти, от политики.

Весьма важный показатель этого типа отношений — распределение ответов на вопрос: «Чего не хватает человеку?» Согласно исследованию 1989 года, 51% ответили, что человеку не хватает материального достатка, 11% — что не хватает политических прав. В опросе 1994 года (N=2000 человек) первую позицию отметили уже 54% (в 1999 году — 68%, в 2003-м — 83%), а вторую — только 5% (в 1999-м — 2%). Если воспользоваться историческими формулами, можно сказать, что «нашему» человеку, по его собственному признанию, не хватает скорее «севрюжины с хреном», чем «конституции»...

Другой показатель в том же ряду — суждения об ответственности человека по отношению к институтам и событиям.

Таблица 4. «Несет ли человек моральную ответственность...»

(% от числа опрошенных)

	1989	1994	1999	2003
За действия своего правительства				
Безусловно	14	8	9	11
В какой-то мере	29	31	31	35
Не несет	37	42	43	44
За происходящие в стране события				
Безусловно	22	9	10	12
В какой-то мере	42	35	40	45
Не несет	17	33	27	33

Примечание: данные о затруднившихся ответить не приводятся.

Очевидный вывод из данных таблицы 4: с 1994 года отмечается формирование «отчужденного» типа отношений между человеком и государством, который сохраняется, даже рутинизируется, несмотря на некоторый прилив этатистских ресурсов за последний период. С этим в определенной мере связано и негативное отношение к политике, политикам, политическому выбору. 50% опрошенных в 1999 году по программе «Советский человек» утверждали, что выборы, происходящие в последние годы, скорее «раскалывают» общество, чем сплавляют его. По мнению 40%, многопартийные выборы принесли России больше вреда, чем пользы. Не согласны с таким суждением 29%, причем они составляют большинство только среди тех, кто моложе 30 лет, среди избирателей СПС и «Яблока». Почти две трети (61%) сочли «слишком большим» влияние политиков в нашем обществе. И одновременно 50% (против 8%) оценили влияние армии в обществе как «слишком малое», 37% (против 16%) таким же образом оценили влияние органов госбезопасности.

Разочарование явилось практически всеобщим, притом не только в том смысле, что оно охватило все слои населения, но и в том, что его адресатами оказались и власть (президент Б. Ельцин), и все реформаторы и сторонники реформ, да и все многообразные участники декларативной оппозиции. «Победителей» просто не оказалось. В этом, видимо, одна из причин широко распространившейся готовности обратиться надежды не на лица и партии, а на сохранившиеся структуры старого порядка. Нетрудно заметить, что распределение общественных симпатий к началу 1999 года выглядит как ожидание «сильной власти», в которой опорой для нее являлись бы армия и службы безопасности. Иначе говоря, общественное мнение было как будто готово к пришествию В. Путина задолго до того, как узнало его имя.

Здесь нужна существенная оговорка. Всякий анализ динамического ряда событий, совершаемый, естественно, задним числом, постфактум, имплицитно содержит некий соблазн исторического фатализма, т.е. установки на предопределенность, «предзаданность» наблюдаемого результата. В данном случае вопрос заключается в том, существовала ли альтернатива варианту социально-политического развития, начавшегося в конце 1999 года — в ситуации фактически всеобщего кризиса,

глубина которого стала видна позже. В принципе из каждой ситуации, видимо, существуют различные выходы, более или менее вероятные, в разной мере подготовленные, заметные, популярные и т.д. в данный момент. А уже от соотношения действующих сил, в том числе и личностных (лидерских), зависит, какой из вариантов исторического сценария и как именно реализуется. Можно заметить, например, что в годы «перестроечного» перелома благодаря уникальному сочетанию сил и обстоятельств реализовался самый маловероятный, а потому никем не ожидавшийся сценарий. По сравнению с ним следующий перелом, 1991–1992 годов, был уже более вероятным и более ожидаемым. «Путинский» же сценарий казался весьма вероятным, по крайней мере, с середины 90-х. Альтернативу ему могла бы создать влиятельная оппозиция тогдашней власти — то ли демократическая, то ли консервативная («левая»), опирающаяся на солидную, значимое «меньшинство». Но, как мы уже видели, такой силы в стране просто не было. Отсюда — видимая безальтернативность перелома 1999–2000 годов.

Акт III: структура «безальтернативной» поддержки

Исследование 2003 года и последующие опросы показали принципиальные изменения на российской общественно-политической сцене, в том числе в характере политического лидерства и структур поддержки. За отмеченным ранее «всеобщим» разочарованием в политике и политиках последовала все более полная замена политических механизмов и ресурсов власти административными⁴. Одним из результатов этих изменений стала деградация политической оппозиции всех типов, теряющей не только парламентские места, но и свою роль в государственной системе.

⁴ См. статью «Свобода от выбора? Постэлекторальные сопоставления» в настоящей книге.

Выборы в Думу в декабре 2003 года знаменовали решающую победу административных структур над политическими. Успех государственной (президентской) партии «Единая Россия» был обеспечен преимущественно использованием административных ресурсов, прежде всего — официальной поддержкой со стороны президентских структур и лично президента. При этом партии нового думского большинства не требовалось предъявлять избирателям какой-то более привлекательной программы действий по сравнению с программами (или лозунгами) оппозиционных сил; произошло простое присвоение чужих идей и терминов, которое лишило оппозицию собственного идейного багажа. Сблэзн получить реальную прибавку к зарплате или пенсии оказался сильнее «протестных» стимулов.

Согласно данным четвертой волны программы «Советский человек» (2003), 50% опрошенных считали, что люди в России больше всего ждут от власти «заботы о материальном благополучии граждан», 20% упомянули ожидание «поддержания порядка», 10% — «охраны законных прав и свобод». (Значительно меньше, 5%, отметили ожидания снижения налогов; по мнению 4%, граждане ждали лишь того, «чтобы их оставили в покое», а 10% полагали, что люди от власти «ничего особенного не ждут».) Следует отметить, что приведенная выше иерархия приоритетов ожиданий свойственна всем возрастам и электоратам всех без исключения партий, представленных на тот момент в Думе. Понятно, что таким ожиданиям скорее соответствует не плюралистическая

демократия, а патерналистская (по крайней мере, по своим декларативным намерениям) система с единой вертикалью власти, безальтернативностью правящей верхушки и пр.

Сходство с образцами не столь далекого прошлого очевидно. Вопрос в том, насколько действенной является или может являться такая имитация. Ведь ни идейного, ни репрессивного, ни массово-эмоционального механизмов поддержания былого «единодушного одобрения» власти и лидера не существует. Так, в августе 2004 года (N=1600 человек) 68% опрошенных «в целом» одобряли деятельность президента, но 30% ее не одобряли. При общем весьма высоком уровне доверия к президенту (те же 68%) полностью доверяли ему 11%, не доверяли 27%. Если взять показатели эмоционального отношения к В. Путину, то явно позитивные чувства (восхищение, симпатии) испытывали 29%, сдержанные (не могут сказать ничего плохого о нем, нейтральные, настороженные) — 59%, негативные (ничего хорошего, антипатия, отвращение) — 9%. Довольно сложная, многоступенчатая структура поддержки первого лица в динамике последних лет представлена в таблице 5.

Таблица 5. «С какой оценкой деятельности В. Путина на посту президента России Вы бы скорее могли согласиться?»

(N=1600 человек; % от числа опрошенных)

	2001, май	2002, май	2003, декабрь	2004, июль
Полностью разделяю его взгляды и позиции	19	17	28	13
Поддерживаю его до тех пор, пока он является лидером демократических сил	28	27	25	30
До сих пор он мне не очень нравился, но надеюсь, что он будет полезен России в качестве президента	9	10	9	6
Поддерживаю за неимением других достойных кандидатов	17	18	19	19
Раньше он мне нравился, но в последнее время я в нем разочаровался	10	7	8	11
Я не являюсь его сторонником	10	12	7	14
Я считаю, что следовало бы голосовать за кого угодно, только не за него	1	1	1	1
Затрудняюсь ответить	6	8	3	7
Индекс «поддержки»*	52	52	65	42

* Разница между «положительными» и «отрицательными» ответами.

Таким образом, за исключением момента предвыборного накала массовых эмоций, преобладает условная поддержка президента, а доля отказывающихся от нее составляет от одной пятой до одной четвертой всех опрошенных. Кстати, в августе 2004 года (N=1600 человек) даже среди избирателей президентской партии, «единороссов», только 26% заявили, что полностью разделяют позиции В. Путина, а 20% — что поддерживают его за неимением других достойных деятелей. А из полностью доверяющих президенту (таких, напомним, 11%) безусловно поддерживает его половина (50%), 31% — пока он считается лидером демократов, 9% — за отсутствием других достойных. Из числа же «скорее доверяющих» президенту (их 57%) полностью согласны с ним — 12%, с упомянутым условием — 42%, за отсутствием других деятелей — 24%. Если же обратиться к показателям одобрения деятельнос-

ти В. Путина, оказывается, что в августе 2004 года из числа «одобряющих» полностью разделяют его позиции 13%, условно — 39%, а 10% вообще отказали президенту в поддержке. Получается, что и «одобрение деятельности» президента оказывается сложным, имеет свою многоступенчатую структуру. Одобряют «в целом» чаще, чем разделяют взгляды, чаще, чем доверяют. И, добавим, значительно чаще, чем видят успехи В. Путина в различных областях деятельности — от наведения порядка в стране до решения чеченской проблемы (соответствующие данные неоднократно публиковались).

Таким образом, отсутствие видимой *внешней* конкуренции не порождает «единодушного одобрения». В этом можно усматривать существенное отличие нынешней, имитационной модели массовой поддержки лидера от тоталитарной. Если вообразить — в порядке мысленного эксперимента — возможность массовых опросов в классические советские времена, то показатели рейтингов одобрения наверняка не отличались бы от результатов всенародных голосований, — причем не из-за всеобщего страха или организованной фальсификации данных, а просто потому, что в общественном мнении отсутствовала модель условного одобрения, сомнения, отстранения и пр.

Объяснить же высокий (при всей тенденции к некоторому снижению, заметной в последние месяцы) уровень одобрения «в целом» деятельности президента можно, видимо, прежде всего уже упомянутым фактором «безальтернативности», отсутствием реальных конкурентов. А сам этот фактор, как приходилось писать ранее, обусловлен природой административного механизма власти, который исключает конкуренцию личностей и стратегий; в этом смысле позиция первого лица в системе всегда «исключительна».

По той же системной причине не столь уж малое число (20–30%, иногда и более) не одобряющих, не поддерживающих, не доверяющих и т.д. не составляет политически значимого «меньшинства» и не создает в нынешних условиях базы для реально значимой оппозиции. Реальный политический плюрализм, предполагающий систему взаимодействия «большинства» и «меньшинства» (точнее, наличие определенного набора или спектра «меньшинств», способных стать «большинством» или влиять на него), возможен только вне административной системы государственного управления.

Вместо заключения

Проблема «большинства» и «меньшинства» в обществе — не социально-арифметическая, а социально-политическая. Там, где в общественной жизни нет *значимого* меньшинства, где не слышен голос отдельного человека, не существует и «большинства». Всякого рода тирании и диктатуры в давнем и недавнем прошлом могли получать поддержку *толпы* (хотя опирались не на толпу, а на организованный слой преторианцев, опричников и т.п.). В толпе же — разгневанной, восторженной или напуганной — по определению *невозможно ни меньшинство, ни большинство*, там можно либо поступать «как все», либо быть раздавленным этими «всеми». Единственный голос, который слышен в толпе, — призывный клич вожака. Конечно, сопоставлять общество, тем более современное, с толпой правомерно лишь с большой долей условности,

на модельном уровне. Лет полтораста тому назад один радикальный публицист (Н. Добролюбов) с гневом и печалью писал, что, если бы на десять тысяч «дураков» нашелся один «умный», «все развалилось бы в двадцать четыре часа». Понятно, что речь шла о степени послушания режиму и правителю, на современном социологическом языке — о структуре поддержки; цифры же имели смысл сугубо метафорический. Времена меняются, нерешенные задачи остаются. В том числе — социально-историческая задача формирования общественных структур, в которых имели бы значение и большинство, и меньшинство, и отдельная личность.

Поддержанию теоретического интереса к теме социального типа человека способствуют перипетии сугубо практического, событийного плана: образ человека ушедшей эпохи — на различных его уровнях — не только не уходит со сцены, но порой приобретает новые значения. Ссылки на этот образ («нашего человека», «совка», «русского человека» — «чего от него ждать?» или «что же с ним можно сделать?» и т.п.) нередко исполняют в обществе функцию оправдания сложившейся типовой социально-политической ситуации. Многие данные текущих опросов общественного мнения можно использовать для подтверждения тезиса о том, что именно эта ситуация соответствует интересам «большинства». Ранее приходилось рассматривать сомнительность самой аргументации в парадигме «большинства» и «меньшинства»¹. Но другая слабость, если не порочность, «социологического» оправдания действительности — в игнорировании условий сохранения, воспроизводства (и использования) получаемого в опросах образа человека. Только в последнее время становится более или менее ясно, в какой мере эти условия сохраняются или трансформируются в обстановке социальной нестабильности, как меняются функции демонстративных и латентных факторов, «большинства» и «меньшинства».

¹ См. статью «О „большинстве“ и „меньшинстве“» в настоящей книге.

«Обыкновенность» человека: рамки и переходы

В контексте различных исследовательских задач используются различные варианты определений и классификаций типов социального человека. В частности, такие термины, как «массовый», «простой», «средний», обозначают, что предметом внимания является неспециализированный, незлитарный, неисключительный тип и т.д. В настоящей статье делается попытка рассмотреть тот же по существу предмет исследования под другим углом зрения — не содержания, а скорее *состояния*. Обыкновенное состояние человека следует ограничить от состояния *возбужденного* (напряженного, экстраординарного). Обыкновенное не сводится к «повседневному», так как с необходимостью предполагает функциональное взаимодействие будничного и праздничного, ритуального и инструментального, трагического и иронического и прочих начал или сфер жизни человеческой. Поэтому же несводимо оно и к «обычному» (возникают ненужные аналогии с обычаем, обычным правом и пр.). Нельзя описывать «человека обыкновенного» как меньшинство, большинство, часть и т.п. — это «все», но в определенном состоянии (или — соотношении компонентов), за довольно редким исключением одержимых собственным величием политических маньяков и их фанатичных поклонников. Это те самые «все», которые более или менее удачно (а чаще — просто привычно или по примеру окружающих) сочетают «дружбу» и «службу», обязанности

и привязанности в различных сферах, отнюдь не противопоставляя их друг другу. Которые при определенных обстоятельствах могут выходить из состояния обыденности, отдаваясь волнам массового страха, восторга, ненависти, поклонения или какого-то безудержного увлечения (соблюдая принципы аналитической объективности, стоит остерегаться описания таких *фазовых* переходов как подъема или, наоборот, падения). И каждый раз возвращаются из особого («возбужденного», чрезвычайного) состояния к обыкновенному.

Применимо же представленное различие состояний не только к социальному типу человека, но также к типам *общества* или социального *времени* (периодам). Бывают времена напряженные (жертвенные, трагические и пр. — все это можно представить как варианты «мобилизационных» состояний) и времена обыкновенные, когда подвиги не требуются, а жертвы воспринимаются как случайные и огорчительные потери.

В напряженные времена от «человека обыкновенного» требуют того, на что он в принципе не способен, поэтому его пытаются унижать, пугать, ломать, понуждая его хотя бы сделать вид, что он готов к подвигам и жертвам, точнее, к страданиям и потерям. (А он стремится лишь к тому, чтобы уцелеть в невозможных условиях.) В переходные, «разоблачительные» эпохи становится общепризнанным, что значительная часть подвигов сочинена, а позорные потери выданы за искупительные жертвы. Во времена обыкновенные все виды принудительной напряженности уходят в мифологическую память, а деятели, претендующие — по должности — на великие свершения, выдают себя за простых парней «как все». Опыт избирательных и тому подобных имиджевых кампаний в разных странах дает множество поясняющих примеров (ср. недавнее заявление российского лидера об отсутствии намерений выдавать себя за выдающегося деятеля века...).

«Смещение» времен, о котором идет речь, многократно создавало — и постоянно воссоздает вновь — почву для *имитационных* структур деятельности, соответствующих символов и персонажей. По мере того как откладывается в туманное будущее формирование общественной системы, способной к «социальному самовоспроизводству», в том числе к воспроизводству моральных и эмоциональных факторов собственного существования (например, надежд и доверия в отношении социальных институтов, властной иерархии, ее функционеров), неизбежно усиливается соблазн использования имитативных структур, легитимации существующих порядков с помощью символов исторической мифологии, апелляции к «великому (чаще — легендарному) прошлому» и т.п. Результатом, впрочем, оказывается также сугубо имитативная конструкция — самооправдание для какой-то части высшей элиты, которое даже она сама не принимает всерьез (функциональная аналогия «платья» известной коронованной особы). Оказавшись в пограничном слое между вызовами реальности и навязанными иллюзиями, «человек обыкновенный» чаще всего предпочитает лукавую и, в принципе, бесперспективную позицию — не перечить, но и не принимать всерьез то, что ему предложено в качестве имитации священных символов, опор или прикрытий. Можно сформулировать содержание такого приема в более строгих терминах: определение собственной ситуации через отдаление человека от центральных (или болевых, напряженных) локусов системы социальных значений. Или,

перефразируя известную фольклорную формулу: «человек обыкновенный» обыкновенно (т.е. в «нормальной» для него ситуации) ищет, где спокойнее, и эту позицию признает «лучшей».

«Близкое» и «далекое» как параметры социального расстояния

Характеризовать относительное расположение социальных феноменов, видимо, можно по-разному, учитывая варианты долгосрочных и кратковременных интересов в соответствующих условиях и пр. Один из приемлемых подходов — оценка («измерение») расстояния рассматриваемой позиции от позиции, «близкой» для человека.

Два примера. «Вторая чеченская» начиналась, как известно, под массовые аплодисменты, как решительная, но далекая от «человека обыкновенного» акция обновленной власти; массовое участие и массовые жертвы (со «своей» стороны, — а по опросным данным, людей только она и волнует) не предполагались. Когда же по обоим этим показателям война оказалась все более близкой (а ее успех — все более далеким), критерии и оценки бесповоротно изменились, поскольку военные действия стали восприниматься в плане «своих» жертв и «своей» боли, — не говоря уже о почти повсеместном страхе перед новой, террористической опасностью. Немалая часть российского населения переживает чеченский опыт как непосредственно личный (сами или их близкие прошли через эту войну). Эту ситуацию *приближения* в принципе не изменило превращение переживаний, связанных с чеченской войной, в привычные — произошла своего рода смена острой боли хронической.

Противоположное направление смещения значений — *отстранение* — обнаружило развитие событий вокруг ЮКОСа и его руководства в 2003–2004 годах. Осенью 2003-го арест М. Ходорковского вызвал чуть ли не шоковую реакцию — недоумение, возмущение — примерно у половины опрошенных, а предстоящий суд над крупнейшим бизнесменом страны чаще оценивался как несправедливый и преимущественно политически мотивированный. Спустя несколько месяцев ситуация явно изменилась, большинство опрошенных обнаружило готовность признать преследование компании экономически обоснованным, а суд — справедливым. Как известно, и в политически ангажированном слое, и даже в бизнес-элите первоначальные голоса протеста практически смолкли. В числе факторов такой перемены — установившееся за последнее время представление о том, что давление власти направлено лишь на одну неугодную компанию, а потому вся эта история разворачивается *далеко* от жизни интересующего нас персонажа, «человека обыкновенного», к какому бы общественному слою он ни принадлежал. Судя по опросным данным, эта позиция непоследовательна и неустойчива, время от времени она уступает место сомнениям, подозрениям — например, о том, что разорение ЮКОСа принесет пользу лишь чиновникам и кучке близких к власти дельцов, или о том, что за «делом» М. Ходорковского последует череда аналогичных операций против бизнеса. Скорее всего, в данной ситуации процедура отстранения приводит к позиции упования, надежды (известно, впрочем, что как раз массовые надежды оказываются самым прочным опорным камнем социального доверия и поддержки политических авторитетов).

Прямые и косвенные последствия процедуры устранения многообразны. Отграничение «ближнего» круга социальной жизни от «дальнего» отделяет сферу непосредственного влияния или воздействия человека, т.е. того, что он способен изменить, от сферы (институтов, организаций, авторитетов), к которой он может лишь приспособиться. Или, иными словами, область его непосредственного личного действия и область его «зрительского» *соучастия* в процессах и событиях, на которые он влиять не может. (Вне пределов своего профессионального или специализированного, статусного и тому подобного действия любой и каждый человек выступает как «человек обыкновенный» и в «больших» делах принимает участие как «зритель».) Такое разделение подкрепляется принципиальным отличием информационных источников, которыми человек пользуется: в первом случае это собственный опыт, во втором — все более могущественная масскоммуникативная сеть.

Замыкание человека в собственном «малом» мире — важная предпосылка, с одной стороны, его адаптации к социальной реальности, а с другой — его изоляции в кругу собственных дел и интересов. (Точнее, пожалуй, это *такая* адаптация, которая неизбежно предполагает изоляцию.) Никакие экономические, потребительские, информационные, даже политические возможности, обретенные за последние полтора десятка лет, принципиально не изменили такого положения. Безразличное и безропотное принятие большинством населения «авторитарных» сдвигов последнего времени лишний раз это подтверждает. В какой-то мере подобная ситуация универсальна для любого современного массового общества, где человек со своим «малым» миром семьи-работы-досуга связан с «большой» социально-политической реальностью через аналогичную систему массмедиа. «Наш» вариант — это безальтернативные массмедиа, это люди, не привыкшие фильтровать и оценивать приходящую информацию. А главное же — изолированный человек, инкапсулированный в своем мире, не принимает гражданской ответственности за «происходящее в стране» и не только не готов, но и не испытывает склонности к гражданскому, коллективно-ответственному действию. Это прямое наследие советского, тоталитарного периода, которое как будто сохранилось в «первозданном» виде — за одним, правда, исключением: рассеялся, и, видимо, безвозвратно, тот универсальный страх, который допускал лишь один вид коллективного поведения — коллективное заложничество (если «все» считаются ответственными «за одного», это означает, что «все» принуждены, вынуждены и заранее готовы ради собственного спасения этого «одного» выдать и растоптать...). Сегодня кажется, что *такой* страх снят, а «менее страшные» опасения стать объектом произвола, угрожающего карьере или благополучию, к *таким* последствиям не ведут, не могут вести. Но главный результат советского антигражданского, антиколлективистского воспитания — «человек изолированный» (и даже самодостаточный в своей изолированности) — устойчиво сохраняется и вне атмосферы всеобщего устрашения.

Свое и чужое

Свое и чужое — важнейшие категории самоопределения человека. Их не стоит смешивать с оппозициями «близкого — далекого» или «хорошего — плохого». «Свое» может выглядеть и отрицательным, а воз-

можно и далеким, чужое — быть предметом восхищения или зависти и т.п. Но в любом случае «свое» (генетически «фамильное») оценивается по иным правилам, в другой системе координат, чем какое бы то ни было «чужое». Параметры такого разделения, простые и понятные в традиционных обществах, в условиях модернизационных перемен и растущей взаимосвязанности регионов, народов, культурных систем становятся размытыми и проблемными, но сохраняют свое значение для многих людей и сообществ.

Нельзя упускать из виду, однако, что это отчуждение нередко является прямым или косвенным следствием *вынужденных* процессов реального (миграционного, экономического, культурного) сближения, взаимодействия, взаимной ассимиляции (если понимать этот термин в буквальном смысле, как уподобление) людей и групп — процессов, которые приняли лавинный характер после разрушения многих локальных и социальных рамок советской системы, ее закрытой экономики и пр. Понятно, что реакция на эти процессы, стремление сохранить в неприкосновенности привычные формы локальной или этнической идентичности также могут рассматриваться как неизбежная характеристика этой ситуации. Притом что ни власть, ни общество (как элиты, так и «массы», причем со всех сторон) не готовы и не способны к «нормальному», т.е. цивилизованному, решению возникающих проблем. В том числе, к преодолению этнических фобий. В итоге действующей фигурой остается «человек обыкновенный», растерянный, не имеющий за душой (в культурном багаже) ничего, кроме утративших свою эффективность стереотипов. А потому вынужденный мучительно трудно, с постоянными срывами и катаклизмами приспосабливаться к изменяющейся обстановке (или столь же трудно сопротивляться ей).

Не происходит ли нечто подобное и с *«государственно» чужими*, т.е. с новыми (да и «старыми») иностранцами? При всех существующих — и особенно декларируемых — барьерах, в истории России еще не было столь тесных контактов с «дальним Западом», в том числе на межличностном уровне. Отсюда и практическая актуальность многосторонней проблемы сближения/отдаления или контактов/изоляции в этом плане.

Один из показательных поворотов темы «своих и чужих» в сегодняшнем общественном (да и в официальном) мнении — представления о необходимости неких обязательных ограничений для «своих». Так, неприязненное, если не сказать «агрессивное» отношение к недавним переменам в Украине явно обусловлено укорененным образом этой страны и ее народа как «своих», которым «не положено» быть самостоятельными или проявлять реальное стремление к сближению с Европой.

Новые комплексы «врага»?

В социально-политической мифологии мобилизационного общества, советского и, в значительной мере, постсоветского, образ «врага», как известно, занимал не менее важное место, чем противопоставленные ему образы «героя», «жертвы» и т.п.² Очевидным «достижением» последнего политического периода, согласно опросам, можно считать обновление общественного внимания к этому образу: по исследованию 1999 года (N=2000 чело-

2
См.: Гудков Л. Идеология «врага» // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. М., 2004.

век), 65% опрошенных (против 14%), а в 2003-м (N=2000 человек) — уже 77% (против 9%) отмечали, что у сегодняшней России «есть враги». Причем из молодых, до 20 лет, признавали их существование 74%, а из 50-летних — 82%.

Но в последние месяцы, особенно в конвульсивной политической риторике после Беслана (сентябрь 2004 года), вариации образа врага приобрели новые смыслы: как будто после весьма долгого — более чем пятидесятилетнего — перерыва поднялись на официозную поверхность темы «мирового заговора» против нашей страны, внутренних врагов, «предателей России». Вопросы о том, насколько обоснованны или с какими целями используются такие инвективы, разумеется, не входят в рамки исследования общественного мнения. Но весьма важно предоставить, кто сейчас готов воспринять — и *насколько серьезно* воспринять — давно испытанную терминологию как средство объяснения современных кризисных ситуаций.

В конце сентября 2004 года (N=1600 человек) почти половина опрошенных (45% против 39%), следуя официальным декларациям, усмотрела существование «мирового заговора против России». Но различия в позициях возрастных групп оказались довольно значимыми: так, среди самых молодых, до 25 лет, соотношение мнений верящих и не верящих в «заговор» составило 37:46, а у пожилых, 55 лет и старше, — 44:32. Если же взять «партийный» расклад мнений (по намерениям голосовать на будущих выборах), то получается, что наибольшей готовностью поверить в заговор отличаются избиратели «Родины» (66:25) и КПРФ (61:30), скорее не верят в него — что примечательно — в электорате «единороссов» (39:48) и, конечно, менее всего принимают эту версию потенциальные избиратели «демократического блока» (16:66). Из тех, кто «очень хорошо», относится к США, признают мировой заговор 37% против 49%, а из тех, кто обозначает свое отношение к этой державе как «очень плохое» — 79% против 15%. Наконец, может быть, наиболее показательным, что из одобряющих деятельность В. Путина принимают или не принимают идею заговора одинаково часто (41:42), а из не одобряющих — значительно чаще ее признают (58:31).

Это значит, что тема «мирового заговора» по-прежнему близка преимущественно людям старших возрастов, людям «советской» закалки, тем, кто испытывает ностальгию по старым временам, в том числе по установкам идеологического противостояния. Именно эти группы, как и ранее, составляют привычную опору консервативной оппозиции нынешнему режиму. Кстати, именно по этим группам пришелся «антильготный» удар в начале 2005 года — тем самым власть лишилась возможности найти в них опору. А на собственно путинский электорат эта тема, вброшенная «сверху» и активно распространяемая молодежным авангардом режима («Идущие вместе», «Молодежное единство»), воздействует значительно слабее. Поэтому, должно быть, и не видно сегодня в обществе сколько-нибудь массовой кампании («уроков ненависти», согласно известной формуле) против новоявленных «врагов», как не заметно и изменения общего отношения к предполагаемым центрам «заговора» (США, «Западу»).

В социологическом плане важна, разумеется, не сама по себе конструкция образа «врага», а его *функция* в общественных настроениях и общественном мнении. В определенных условиях, например под влиянием тяжелых поражений (как в начале войны в 1941 году), этот об-

раз может оказаться пугающим, сеющим панику, дезорганизующим. Понятно, что современные идеологические «технологи» рассчитывают на такой имидж неприятелей, который исполнял бы иную, *мобилизующую* роль (т.е. на превращение массовых эмоций страха в организованную ненависть по отношению к врагу и готовность безоговорочно подчиниться военной или государственной дисциплине, жертвуя личными интересами; аналогии с событиями военных и последовавших за ними лет очевидны). Но если «мобилизация ненависти» в борьбе с таким противником, как сегодняшний чеченский сепаратизм, в определенной мере еще связана с надеждами на успех (правда, в общественном мнении в такой успех верят все меньше), то призывы к противостоянию «всемирному заговору» очевидно рассчитаны не на победу над врагом, а только на *внутреннее* потребление, на социальную мобилизацию ради решения каких-то внутривластных или даже внутриклановых задач.

Стоит обратить внимание на то, что терминология «всемирного антироссийского заговора» как будто приходит на смену бытовавшим в последние годы, после сентября 2001 года, ссылкам на «мировой терроризм». (По исследованию 2003 года, N=2000 человек, 61% указал на «международных террористов» как на врагов России.) В этом есть своя логика: «мировой терроризм» для российского человека и власти — некая космополитическая абстракция, создававшая видимость единения России с Западом — единения скорее внешнего, пригодного лишь для использования на уровне саммит-дипломатии и т.п. Как источники, так и адресаты угрозы остаются анонимными, далекими от привычных образов. Кроме того, концепция мирового терроризма предполагает довольно рискованную для российского руководства линию международной легитимизации чеченской войны (международные корни — международное посредничество — международный контроль и т.д. — вплоть до международного трибунала по военным преступлениям). Неудивительно, что на отечественной политической почве такое направление мысли привиться не могло. А «всемирный антироссийский заговор» — совсем иная, традиционная, знакомая идеологическая конструкция; ее адресат понятен, а основные элементы, хотя еще и не названы поименно, очевидны — тот же «Запад», США, «финансово-промышленные круги» (т.е. та же «мировая буржуазия»). Но, как мы уже видели, эта конструкция приемлема в основном не для сегодняшних, а для «вчерашних» общественных слоев. Можно, правда, предположить, что идея «заговора» появилась в рамках подготовки следующего, условно говоря, «послепутинского» политического варианта; проблема его осуществимости нуждается в особом рассмотрении.

Традиционной составной частью концепции мирового заговора служит представление о «внутренних врагах» («предателях», поддерживаемых зарубежными силами во вред нашей стране и ее военным акциям). Между тем значительного резонанса в общественном мнении такие суждения не получают. Согласно данным одного из опросов (ноябрь 2004 года, N=1600 человек), около 40% одобряют действия политиков и общественных деятелей, выступающих за переговоры с чеченскими боевиками, 12% считают их призывы к переговорам вредными для страны, но только 6% склонно видеть в таких людях «предателей и врагов России». (Такой взгляд разделяют всего 2% среди самых молодых, но 9% в 25–39 лет; по партийным электоратам — 18% сторонников ЛДПР, 16% — «Родины», как ни странно, 11% — СПС, но всего

2% — КПРФ и 5% — «Единой России».) А попытку Комитета солдатских матерей установить контакт с представителями противоборствующей стороны одобрили тогда же 64% опрошенных.

Чаще всего в 2003 году (N=2000 человек) в качестве врагов страны упоминались чеченские боевики (69%), что неудивительно. Удивительным — а значит, требующим анализа — можно считать то, что после Беслана не был отмечен резкий всплеск воинственных настроений, сравнимый, например, с тем, который наблюдался после событий на Дубровке в 2002 году. Тогда почти на 20% уменьшилось число сторонников мирных переговоров, а доля сторонников продолжения военных действий возросла примерно в той же мере, так что на короткое время их позиции стали преобладающими. А после трагических событий в Беслане аналогичные изменения общественных настроений оказались заметно более слабыми: если в августе соотношение сторонников войны и переговоров составляло 21:68, то в сентябре — 32:55, т.е. сохранился значительный перевес установок на мирный выход из положения. В октябре 2003 года (N=1600 человек) чувства «ненависти, мести» по отношению к чеченцам испытывали 24% опрошенных, не испытывали 69%; в октябре 2004-го (N=1600 человек) — 29:57. Такой рост негативных установок уместно оценить как довольно сдержанный.

Очевидно, что патриотической мобилизации общественных настроений — сопоставимых с такой, которая отмечалась в США сразу после террористической атаки 11 сентября 2001 года («равнение на флаг»), — в России после серии терактов лета и осени 2004-го *не произошло*. Если полагать, что декларации, прозвучавшие как бы в ответ на бесланские вызовы, были рассчитаны на непосредственный массовый эффект, то в их действительности следует усомниться. «Человек обыкновенный» не был охвачен ни ненавидящей яростью, ни восторгом повиновения, иначе говоря, не перешел из обычного состояния в возбужденное. Но нуждалась ли власть в таком переходе (или, скажем, осторожнее, имела ли основания рассчитывать на такую возможность)? Правоммерно предположить, что реальной целью как будто мобилизующих акций и деклараций служит отнюдь не взвинчивание социальной атмосферы и перевод общественных настроений в фазу напряженности, возбуждения, а всего лишь *имитация* такого перехода, которая служила бы прикрытием — и признанием — собственной неспособности найти реальный выход из созданных за последние годы тупиков. В пользу такого предположения свидетельствуют и упомянутые выше воинственные демонстрации юных послушников власти.

Возникает таким образом весьма интересная в аналитическом плане проблема соотношения и взаимных переходов «прагматических» и символических (ритуальных, имитационных, коммеморативных и пр.) состояний или акций. Такое соотношение методологически удобно рассматривать в рамках смены фаз в процессах, которые можно обозначить, несколько расширяя классическую терминологию, как «рутинизация».

Рутинизация: прагматические и символические аспекты

В рамках терминологии, использованной в настоящей статье, к рутинизации можно относить, например, процессы перехода от возбужденного («героического») состояния общества к обычному, «рутинному».

Динамическая структура процессов такого типа предполагает переоценку как практических ожиданий (прагматики), так и символических облачений социального действия. Как отмечалось выше, в «героические» периоды общественных переломов происходит трансформация общественных ожиданий, представлений о социальных институтах и лидерах, о самих переменах, о противостоящих силах, о собственных потерях и достижениях и т.д. — по канонам социальной мифологии. В результате, скажем, изменения во властвующих элитах представляются переворотом исторического масштаба, высокопоставленные чиновники — лидерами нации, облаченными (массовым воображением при поддержке масскоммуникативного понуждения) в тогу легендарных героев-спасителей, оппоненты и скептики приобретают значения «заклятых» врагов или их «пособников», а последствия хаоса и некомпетентности выдаются за жертвы, приносимые на алтарь будущих успехов. В той или иной форме и в различных масштабах — от гипертрофированных до пародийных — такой набор семиотических признаков обнаруживался в начале каждого значимого периода минувшего столетия, в дальнейшем происходила его деформация и переоценка, своего рода «обратный отсчет» социального времени (правда, неспособный воспроизвести пройденные этапы в их целостности). С чем-то подобным приходится сталкиваться и в последнее время.

Расставание общества (как и отдельного человека) со своими иллюзиями, как показывают исторический опыт и современные наблюдения, простым не бывает. Так, расставание общества (прежде всего его интеллектуально-политизированной элиты) с иллюзиями коммунизма заняло десятилетия, происходило в несколько этапов, с романтикой перестройки прощались не столь долго, но тоже не просто. Трансформация ожиданий и символов последующего периода еще предстоит изучать обстоятельно.

Во всех случаях пути трансформации прагматических и символических компонентов расходились. Уровень практических действий и ожиданий шаг за шагом снижался, фантастические ожидания прорыва к новой жизни, изобилию, мировому уровню и т.п. низводились до некоторого улучшения или даже до простого сохранения достигнутого ранее. (В любом случае отсчет от воображаемого будущего заменялся отсчетом от наличных обстоятельств, происходило «приземление» образца.) Такова, в принципе, *прагматическая* составляющая рутинизации.

Иначе происходит, по-видимому, трансформация символических компонентов этого процесса. В «героические» периоды идеологические символы, лозунги, личная харизма лидеров исполняют существенные мобилизующие, консолидирующие и тому подобные функции. По мере рутинизации такие символы утрачивают «прикладные» значения, но могут относительно долго сохраняться в ином качестве — как сугубо ритуальные или церемониальные условности, как воспоминания об утраченных иллюзиях (фигурально выражаясь — как тени несбыточных надежд). Омертвевшие, опустошенные символические конструкции «второй свежести» не поддаются прагматической критике или ревизии именно в силу своей отрешенности от социальной реальности. В итоге получается, что прагматические надежды угасают, а их тени, символы надежд, остаются, практическое доверие к лидерам заменяется символическим (символы доверия), да и лидеры превращаются в *символы лидеров* (траектория образа выглядит примерно как путь от должностного

лица к лидеру, от лидера к «живому» символу, затем к символу омертвевшему). Примеры таких превращений наблюдались и на исходе советской системы, и в годы кризиса перестройки и ельцинского правления. Если взглянуть на проблему с другой стороны, как бы «снизу», нетрудно заметить, что «человеку обыкновенному» в его нынешнем полудовольном и усталом состоянии вовсе не нужен решительный герой («лидер-преобразователь»), как не нужны и радикальные потрясения с их неизбежными издержками и жертвами — достаточно успокаивать себя представлением о существовании символического «гаранта стабильности». Недаром именно этой маской пользуется власть, даже принимая решения, опасные для «стабильности», в частности для наличного баланса надежд и разочарований. Но, как мы уже видели, образ «героя-лидера» в массовом сознании существует в комплексе (в «одном флаконе») с образами «врага», «жертвы» и пр. И процедура «рутинизирующей модернизации» касается всех этих компонентов: символический лидер проводит символическую мобилизацию под предлогом противостояния столь же символическим противникам и т.д. — впрочем, понесенные утраты нередко оказываются настоящими.

Как известно из регулярных опросов, постоянно наблюдается разительное расхождение массовых оценок деятельности президента и назначаемого им правительства (например, в январе 2005 года, N=1600 человек, разница между позитивными и негативными оценками составляла у президента +33, у правительства — -32). Объяснить это явление можно, скорее всего, отмеченным выше расхождением прагматических и символических функций: первые в общественном мнении относятся к правительственным, а вторые сохраняются за президентом. Поэтому министрам приходится отвечать — правда, только перед общественным мнением — за все беды и трудности, а президентские рейтинги остаются почти неприкосновенными, «тефлоновыми». (Из той же логики разделения функций вытекает и приписывание президенту достижений в росте зарплат и пр.)

Ту же, по существу, картину можно выразить в терминах надежд — практических (приближенных к реальности) и предельных, как бы надежд «с большой буквы». Надежды всегда более устойчивы, чем практические расчеты, потому что люди, «человек обыкновенный», в мире неопределенности в них нуждаются постоянно, а уж абстракция «Надежды» довольно долго сохраняется почти при любых обстоятельствах. Поэтому «герой Надежды» как *символическое* средоточение общественных ожиданий — а именно эта функция возложена общественным мнением на образ президента — всегда оказывается в более выигрышном положении, чем любой практический руководитель. Правда, по мере рутинизации это положение тоже усложняется и представленная выше его логическая модель требует соответствующих оговорок. Самый распространенный массовый аргумент в пользу сохранения высокого уровня доверия и надежд в отношении нынешнего президента — «больше не на кого надеяться» (мнение 41% опрошенных в августе 2004 года, N=1600 человек). Показатели более приземленных надежд на то, что президент «сможет справиться» с конкретными проблемами страны, довольно устойчиво снижаются. В целом траектория трансформации общественных ожиданий выглядит примерно как последовательные переходы от реальных ожиданий к туманным надеждам, далее к символам надежд и т.д. вплоть до всеоправдывающего аргумента «безальтернативности».

Дополним приведенные выше данные ответами на другой регулярно задаваемый вопрос.

Таблица 1. «Согласны ли Вы с тем, что население России уже устало ждать от В. Путина каких-то положительных сдвигов в нашей жизни?»

(N=1600 человек, % от числа опрошенных)

	2000, март	2000, август	2001, июнь	2003, июль	2004, апрель	2005, январь
Согласен*	45	50	47	50	57	57
Не согласен**	42	42	43	41	38	34
Индекс согласия***	3	8	4	9	19	23
Затрудняюсь ответить	13	8	10	9	5	9

* Сумма ответов «определенно согласен» и «скорее согласен».

** Сумма ответов «скорее не согласен» и «определенно не согласен».

*** «Разность» между «согласными» и «несогласными».

Рутинизация общественно-политического режима или, шире, социально-политической системы — процесс довольно сложный, его последствия могут быть различными. Рутинизация советского строя, происходившая после размывания и конца сталинизма, примерно с 60-х до 90-х годов прошлого века, в конечном счете привела не к его стабилизации, а к ослаблению его основ и последующему крушению. Как период правления М. Горбачева, так и период президентства Б. Ельцина привели не к рутинизации, а к *кризисам*, за которыми следовали перемены в типах режима и составе правящих элит. В нынешних условиях тенденции рутинизации сочетаются с кризисными поворотами во внутренней, внешней, экономической политике и соответствующих сдвигах на уровне лозунгов и установок. Это, видимо, свидетельствует об отсутствии достаточно стабильного баланса интересов, а также механизма принятия решений, кадровой преемственности, особенно на верхних этажах власти.

Потенциалы «человека обыкновенного»: до и после января 2005 года

Какую роль играет — или *может* играть — в таких процессах интересующий нас персонаж, «человек обыкновенный»? Как уже отмечалось, простейший и самый очевидный вариант его поведения — приспособительный (понижающая адаптация, снижение запросов, устойчивая тревожность «как бы хуже не было», сочетаемые, впрочем, с надеждами на «чудо твердой руки»). Но ни очевидность, ни распространенность не делают этот вариант *единственно возможным*. Латентные факторы вроде кризиса или неоправданных акций «сверху» при накоплении скрытого раздражения «снизу» могут приводить и к разрушению стандартных моделей массового поведения. В определенной мере это показал и опыт общественных трансформаций и кризисов последних 20 лет в России, в советских границах и вблизи их рубежей.

Каждый из таких кризисов означал — в интересующем нас плане — изменение *собственного состояния человека*, т.е. переход от «обычного» (адаптивного) состояния в возбужденное, мобилизованное. Другая примета трансформации — появление на авансцене иного типа коллективной идентичности: место коллективно-унизительного «мы-заложничества» занимает коллективно-возвышающее «мы-осво-

бождение». Вряд ли можно обозначить пригодные для разных условий количественные параметры подобных переходов: число их участников, никогда не достигающее большинства (неважно, населения или авангардной группы), оказывается достаточным, если способно воздействовать на значимую (опять-таки не вычисляемую заранее) массу людей.

Проникавшая на газетные плоскости перспектива «уличной» мобилизации, «баррикад» и т.п. в общероссийских масштабах (или значениях), вне зависимости от мотивов и направленности подобных акций, до последнего времени представлялась просто нереальной, точнее — крайне маловероятной. Это как будто вполне объяснимо особенностями российского социального пространства, наличными дистанциями между людьми, обсуждавшимися выше эффектами изолированности человека, настроениями равнодушия, готовностью довольствоваться малым, надеяться только на власть имущего и т.п. — при отсутствии серьезных организующих (или солидаризирующих) факторов, как внутренних, так и навязанных извне. Массовые выступления в различных регионах России с января 2005 года (по случайному историческому совпадению, в столетнюю годовщину аналогичных событий «первой» русской революции) показывают, что «маловероятные» варианты — к явному удивлению властей, наблюдателей и самих участников событий — оказываются реальными и значимыми.

Как известно, «инициатива» в данном случае исходила сверху, со стороны властей, не сумевших ни подготовить реформу монетизации льгот, ни предвидеть ее социальные последствия, ни своевременно реагировать на массовые протесты. Запоздалые и частичные корректировки скорее (на момент подготовки данной статьи, в феврале 2005 года) подливают масло в огонь массовых протестов, чем гасят его. Уже сейчас ясно, что «баррикады» (в современном смысле, т.е. акции типа перекрытия магистралей) оказались возможными и даже эффективными средствами массового социального протеста.

Можно полагать, что действия государственных органов послужили детонатором давно назревавшего социального кризиса. Притом касающегося не только сферы социальной политики, а всего комплекса отношений между властью и народом в стране. Очевидные — при всем различии периодов и участников — дальние аналогии из отечественной истории последнего столетия дают события начала 1905 года и февраля 1917-го. Нуждаются во внимательном сравнительном анализе более близкие по времени и структуре социальные и социально-политические протесты 50–80-х годов в странах тогдашнего советского блока. В данном случае ограничимся некоторыми сопоставлениями только с самыми недавними процессами в соседних с Россией странах — Грузии и Украине.

Человек в поляризованном свете — «розовом» и «оранжевом»

Последние российские события придают особое значение анализу сходных и различных черт массовых акций в трех отмеченных ситуациях. Отличительная особенность обеих «цветных» революций состоит в том, что они явились ответной реакцией на конкретный *политический вызов* со стороны властных структур (подтасованные выборы), вызов, адресованный не только определенным политическим оппонен-

там, но и народу в целом (предполагалось, что последнему все равно придется принять предложенные результаты). Отсюда непосредственно политическая направленность протеста — требования пересмотра результатов выборов и устранения правящей верхушки, обвиненной в фальсификации. Причем в обоих случаях имелись заранее подготовленный состав альтернативной лидерской группы и фигура ее неоспоримого харизматического руководителя. В более широком плане существующий режим обвинялся в коррумпированности и неэффективности. При этом ни экономические проблемы, ни социально-экономические требования на первый план не выходили.

Главным средством воздействия на властные структуры явились умело организованные массовые акции, получавшие поддержку значительной части населения. По всей видимости, в Грузии значительную роль играла импульсивная, эмоциональная возбужденность участников действия (захвата парламента, давления на президента), в Украине — рациональная организованность массовых акций в общенациональном масштабе (прежде всего в столице, в центральных и западных областях). Ничего подобного классическим описаниям агрессивного поведения «толпы» (у С. Московичи и др.) не наблюдалось нигде. В украинской ситуации ноября–декабря 2004 года наглядными были элементы веселого и доброжелательного социально-политического карнавала.

В обоих случаях психологическим фоном и ресурсом массовых акций служила атмосфера широкой *национально-политической мобилизации*. Признаками национальной мобилизации можно считать ситуацию массового эмоционального подъема, охватывающего значительную часть социально активного населения страны и связанного с фактором коллективного самоутверждения. (Речь идет, конечно, не об этническом, а о национально-государственном самоутверждении и самоорганизации массы как «народа».) Предпосылками такой мобилизации служат сложившаяся ранее поляризация политических сил и элитарных групп в обществе, слабость правящей элиты, наличие популярных лидеров и мобилизующих символов, каналов массового воздействия, — а также, разумеется, определенного ресурса социальных иллюзий. При этом, что важно подчеркнуть, речь идет о мобилизации, позитивно ориентированной на самоутверждение участников акций и страны в целом, при фактическом отсутствии мишени какого-либо внешнего «врага».

Одно из самых устойчивых препятствий общенациональной *позитивной* мобилизации в России — пережиточный имперский комплекс, постоянно воспроизводящий фактор «мобилизации против» («*негативной мобилизации*», как выразился бы Л. Гудков). Ориентиром всех попыток имперской мобилизации служит *прошлое* состояние государства и общества, а инструментом — *старые* силы и стереотипы мышления, что обрекает такие попытки на неудачу, причем главным неудачником в конечном счете оказывается «имперская» сторона.

Непосредственные результаты «цветных» революций известны: быстрая и бескровная, институционально легитимизированная всеобщими выборами смена состава политической верхушки. Требуется определенное время, чтобы с уверенностью судить, в какой мере такие перемены скажутся на стиле и содержании общественно-политической жизни в соответствующих странах, на их демократических институтах и пр. Попытки перехода от «постсоветского тупика» к, условно выра-

жаясь, «европейской» норме через напряжение национальной мобилизации, массовые акции, смену типа лидерства и т.п. не могут быть простыми, неизбежны откаты, сделки, расколы и пр. Поскольку ни в одной из переживших такие перемены стран нет «идеологически» оправданных и институционализированных партий, сохраняет свое значение «массовое» определение лидеров: их хотят видеть в качестве лидеров, от них чего-то ждут и им что-то позволяют. Отсюда и неизбежная проблемная «неустойчивость» самих лидеров, вынужденных постоянно подтверждать свою профпригодность.

Правомерность сравнения и различения массовых акций в Грузии, Украине и России, естественно, определяется наличием некоего «общего знаменателя» ситуации в этих странах. Таковым можно считать ситуацию «постсоветского тупика», характерного для многих стран советского наследия (кроме Балтии), а отчасти и «православного» южного угла бывшей Восточной Европы. Утвердившиеся в этом регионе порядки уместно определять как имитативную демократию, или псевдодемократию, в которой сохраняются авторитарные или административно-бюрократические порядки, стиль личной власти при почти полном отсутствии политического плюрализма, возможностей реального выбора и пр. — и неизбежной тотальной, государственно-организованной коррумпированности власти и общества. В подобной ситуации трудно рассчитывать на какую-либо «плавную» эволюцию сложившейся системы в результате очередных выборов или парламентских голосований и тому подобных «регулярных» процедур, но сохраняется возможность воздействия внесистемных импульсов (массовых, внешних, верхушечных, личностных), которые время от времени возникают. Нечто подобное происходило и в странах классической демократии в периоды ее формирования или кризисов.

О прямом влиянии «цветных» революций (особенно украинской) на российскую ситуацию говорить трудно. Массовые настроения в России в конце 2004 года скорее отталкивали от подражания опыту соседей, чем привлекали к нему внимание³. Но с уверенностью можно отметить одно важное обстоятельство: масштабы и характер встревоженности, если не паники российских властных и околотовластных (советники, «технологи» и т.п.) структур, вызванной развитием украинских событий, прямо повлияли на оценки теми же силами протестных выступлений в России.

ности, если не паники российских властных и околотовластных (советники, «технологи» и т.п.) структур, вызванной развитием украинских событий, прямо повлияли на оценки теми же силами протестных выступлений в России.

3

См.: Дубин Б. Россия и соседи: проблемы взаимопонимания // Вестник общественного мнения. 2005. № 1.

Российский кризис начала 2005 года: ожидаемое и неожиданное

В конце минувшего года «большой» социальный кризис в стране представлялся невозможным, хотя признаки общественного беспокойства и недовольства — в большой мере связанного с ожиданием замены льгот — нарастали, и это постоянно подтверждали опросы общественного мнения. Из различных источников было известно, что предлагавшиеся правительством меры по «монетизации» льгот подготовлены наспех, без должных расчетов и без необходимой разъяснительной работы среди населения. Здесь также явно сказывалась привычка авторитарной власти видеть в населении послушную массу, которая «съест все, что дают», поскольку не имеет возможности разобраться в навязанных изменениях и, тем более, сопротивляться им. Повсеместные

акции массового протеста оказались шоком для властных структур и в первые же недели существенно изменили обстановку в стране. Привыкший терпеть и приспосабливаться «человек обыкновенный» впервые за многие десятилетия показал себя возмущенным и активно протестующим.

Чтобы оценить масштабы выступлений, недостаточно сведений об их непосредственных участниках, весьма важны показатели поддержки и сочувствия (обычно заявленная в ходе опроса «готовность участвовать» на деле означает выражение поддержки). В своем городе, районе 30% видели акции против замены льгот. В январе 2005 года (N=1600 человек) лишь около полупроцента опрошенных сообщили, что сами принимали участие в таких акциях, 26% — что могли бы в них участвовать, 41% заявили, что поддерживают действия протеста, еще 41% — что относятся к ним с пониманием, хотя не поддерживают.

Чаще всего выражают поддержку протестным действиям люди старших возрастов (55 лет и старше — 51%), а также — что весьма примечательно — имеющие высшее образование (42%). Причем обратили внимание на такие действия в своем городе прежде всего высокообразованные — 44% (из имеющих низшее образование — только 22%). Непосредственно участвовали в протестах преимущественно люди в возрасте 25–40 лет, они же чаще всего (60%) полагают, что акции носят стихийный характер. Версию наличия «подстрекателей, провокаторов» разделяют 17–19%. Стоит добавить к этому данные о том, что начало замены льгот вызвали недоумение, обиду, возмущение более чем у половины населения (56%). Сопоставление приведенных показателей приводит к выводу о существовании — впервые за многие десятилетия — серьезной волны общественного недовольства в общенациональных масштабах.

Другая сторона создавшейся ситуации — неожиданная растерянность власти, неспособной признавать всерьез собственные ошибки, но готовой отступать под нажимом протестов. Это относится не только к льготам: как только появились сообщения, что в некоторых городах к возмущенным пенсионерам присоединяются студенты, встревоженные намерением военного ведомства отменить отсрочки от призыва, тут же появились официальные опровержения...

Чтобы судить о значении и потенциале нынешней протестной волны, как представляется, следует отойти от категорий социальной политики и ограниченно-экономических стереотипов наподобие оппозиции «прогрессивных» денежных выплат «консервативным» (в советском стиле) льготам. За вышедшим на улицы спором о льготах и монетизации кроется гораздо более важная проблема отношений между «властью» и «народом». Дело в том, что «льготы», унаследованные с советских времен или накопленные позже, — это ключевое звено в том негласном «социальном контракте», который обеспечивал относительную стабильность и спокойствие в дефицитарном и бедном обществе, это та самая «кость», которую бросал народу режим, неспособный обеспечить эффективность экономики и нормальный уровень благосостояния, получая в ответ дешевую и послушную рабочую силу, а также массовую готовность равнодушного одобрения власти и ее носителей. Пospешная и неподготовленная отмена льгот при отсутствии развитой экономики, при уровне жизни, не достигшем позднесоветских показателей (1991 года), фактически взрывает весь этот «социальный контракт».

Вряд ли можно объяснить такой чуть ли не самоубийственный шаг только социальной некомпетентностью или чиновным рвением каких-то функционеров. В его основе — стремление имитировать «современность» и местами даже «либерализм» существующей социально-политической системы при отсутствии действительно современной экономики, политики, правового государства и эффективного управления. Результатом оказывается убогая и социально опасная пародия на либеральные реформы, дискредитирующая и власть, и либерализм.

Пока (к началу февраля 2005 года) социальные протесты в стране носят диффузный, неорганизованный характер. Не видно политических сил (старых или новых), которые способны были бы придать движению организованный характер. Существенное значение имеет демонстративно «нестоличный» вид протестного движения, которое довольно тщательно обходит Москву стороной. Почти не видно и собственно политических лозунгов (хотя в наших исконных условиях любое несогласие несет политическую нагрузку). Не существует и никакой политической альтернативы, подобной той, что предлагалась в Грузии, в Украине. Состав сложившейся в последние годы властной верхушки, видимо, исключает какие-либо антипрезидентские реакции на этом уровне.

Варианты развития нынешней протестной волны в российском обществе зависят от многих разнопорядковых факторов — от способов политизации массовых выступлений, действий власти (например, в отношении обещанной «реформы» ЖКХ), «весенних» общественных настроений и пр. Трудно сомневаться в том, что одним из наиболее важных последствий нынешних выступлений станет дальнейшее разрушение — прежде всего в сознании «человека обыкновенного» — «нерушимого единства партии (власти, президента...) и народа» в России.

- Общественное мнение у горизонта столетий
Мониторинг общественного мнения. 2000. № 6.
- Три «поколения перестройки»
Мониторинг общественного мнения. 1995. № 3.
- Поколения XX века: возможности исследования
Мониторинг общественного мнения. 2001.
№ 5; републ.: Отцы и дети: Поколенческий
анализ современной России. М., 2005.
- Заметки о «проблеме поколений»
Мониторинг общественного мнения. 2002. № 2;
републ.: Отцы и дети: Поколенческий анализ
современной России. М., 2005.
- Время перемен: предмет и позиция исследователя.
Ретроспективные размышления
Мониторинг общественного мнения. 2003. № 4.
- Исторические рамки «будущего» в общественном
мнении
Вестник общественного мнения. 2004. № 1;
републ.: Куда идет Россия?.. Вып. 11: Пути
России: существующие ограничения и
возможные варианты. М., 2004.
- Свобода от выбора? Постэлекторальные
сопоставления
Вестник общественного мнения. 2004. № 2.
- Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября
в общественном мнении России и мира
Мониторинг общественного мнения. 2002. № 5.
- Уроки «атипичной» ситуации. Попытка
социологического анализа
Мониторинг общественного мнения. 2003. № 3.
- Восстание слабых. О значении волны социального
протеста 2005 года
Вестник общественного мнения. 2005. № 3.
- Двадцать лет спустя: перестройка в общественном
мнении и общественной жизни
Вестник общественного мнения. 2005. № 2.
- Парадоксы и смыслы «рейтингов»: попытка
понимания
Вестник общественного мнения. 2005. № 4.
- Сегодняшний выбор: уровни и рамки
Вестник общественного мнения. 2005. № 5.
- Механизмы и функции общественного доверия
Мониторинг общественного мнения. 2001. № 3.
- Люди и символы. Символические структуры
в общественном мнении
Мониторинг общественного мнения. 2001. № 6.
- Варианты адаптивного поведения
Мониторинг общественного мнения. 2002. № 1.
- «Истина» и «правда» в общественном мнении.
Проблема интерпретации понятий
Мониторинг общественного мнения. 2002. № 3.
- Фактор надежды
Мониторинг общественного мнения. 2003. № 2;
печатается с дополнениями и исправлениями.
- Человек в корруптивном пространстве
Мониторинг общественного мнения. 2000. № 5.
- Координаты человека. К итогам изучения
«человека советского»
Мониторинг общественного мнения. 2001. № 1.
- «Человек советский»: реконструкция архетипа
Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2.
- Перспективы человека: предпосылки понимания
Мониторинг общественного мнения. 2001. № 4.
- «Человек ностальгический»: реалии и проблемы
Мониторинг общественного мнения. 2002. № 6.
- «Человек советский» в эпоху перемен
Вестник общественного мнения. 2003. № 1.
- «Человек советский» как человек «особенный»
Вестник общественного мнения. 2003. № 2.
- «Человек советский» и его рамки самоопределения
Вестник общественного мнения. 2004. № 3.
- Функции и динамика общественных настроений
Вестник общественного мнения. 2004. № 4.
- О «большинстве» и «меньшинстве»
Вестник общественного мнения. 2004. № 5.
- «Человек обыкновенный» в двух состояниях
Вестник общественного мнения. 2005. № 1.

- А Александр Македонский 71
Александр Невский 71
Александров А. 201, 261
Артемов И. 137
Афанасьев Ю. 27
- Б Бен Ладен У. 95, 98, 192
Березовский Б. 216
Берлин И. 221
Бжезинский З. 96, 101
Брежнев Л. 40, 67–72, 173, 185
Булгаков М. 220, 293
Буш Дж. 96, 101, 107, 109, 118
- В Вайда А. 18
Валлерстайн И. 165
Вебер М. 51, 219, 265, 280
Вознесенский А. 41
Вульпиан А. де 340
Высоцкий В. 293
- Г Гаганова В. 199
Гагарин Ю. 65, 70–72, 293
Гадамер Х. 220, 222
Гайдар Е. 27, 65, 256
Гастелло Н. 199
Гегель Ф. 72, 213
Герцен А. 46, 219, 313
Гитлер А. 71, 72, 101
Глазьев С. 81, 138
Глинка М. 201
Горбачев М. 27, 30–32, 43, 53, 58, 67–72, 78, 83, 86, 89, 143–148, 185, 186, 200, 253, 264, 276, 281, 282, 293, 354–356, 374
Горький М. 71, 198
Греф Г. 137
Гудков Л. 103, 173, 195, 199, 216, 250, 260, 331, 368, 376
Гэллп Дж. 19
- Д Даль В. 224, 344
Данилов В. 41
Дарвин Ч. 71
Дени В. 199
Джеймс У. 40
Дзержинский Ф. 71, 296
Добролюбов Н. 363
- Дубин Б. 7, 16, 103, 104, 181, 197, 221, 377
Дюркгейм Э. 190
- Е Евтушенко Е. 199
Ежов Н. 198
Екатерина II 71, 74
Ельцин Б. 27, 43, 53, 58, 67–69, 78, 79, 83, 86, 89, 124, 147, 150, 177, 179, 180, 182–186, 200, 201, 257, 281, 282, 292, 354–356, 358, 359, 374
Есенин С. 71
- Ж Жириновский В. 87, 121, 172, 211, 357
Жуков Г. 71, 72, 293
- З Зорге Р. 199
Зоркая Н. 352
Зурабов М. 134, 137, 150
Зюганов Г. 79, 150, 218, 297
- И Иван IV Грозный 71, 72
- К Кайуа Р. 72
Кадыров А. 126
Камю А. 48
Канто-Спербер М. 169
Карл I 296
Касьянов М. 81
Киров С. 198
Козьма Прутков 346
Кольцов М. 198
Кондратенко Н. 138
Коперник Н. 221
Коржавин Н. 173, 223
Королев С. 70, 71
Космодемьянская З. 199
Кромвель О. 296
Кузнецова Н. 199
Кутузов М. 71
- Л Лебедь А. 79, 177, 183
Ле Бон Г. 12
Ленин В. 70–72, 195, 198, 199, 201, 240, 293, 313
Лермонтов М. 71
Лигачев Е. 31, 147
Липпман У. 222
Ломоносов М. 71
Лужков Ю. 80
- Лукашенко А. 137
Лютер М. 280
- М Манхейм К. 191, 267
Маркс К. 70, 71
Мартин Э. 169
Матросов А. 199
Мау В. 279
Маяковский В. 198
Менделеев Д. 71
Мережковский Д. 12
Мид М. 49
Миллс Ч. 271
Милош Ч. 269
Милошевич С. 21
Михалков С. 194
Мичурин И. 199
Морозов П. 199
Московичи С. 12, 376
Музиль Р. 11
Мушарафф П. 98, 99
- Н Набоков В. 269
Наполеон 71, 280
Немцов Б. 183
Николай II 68, 69, 71
Ньютон И. 71
- О Ортега-и-Гассет Х. 12
Оруэлл Дж. 20, 72
- П Павлов И. 71
Паккард В. 237
Парсонс Т. 97
Петр I Великий 64, 71, 72, 234
Покровский М. 198, 290
Попов Г. 27
Примаков Е. 80, 124, 179, 183
Принцип Г. 195
Птолемей 221
Путин В. 58, 64, 65, 67–69, 71, 72, 80, 82–84, 87, 88, 99–101, 122, 124, 134, 137, 139, 142, 143, 151–160, 177, 179, 181, 183–186, 201, 210, 214, 218, 229, 230, 234, 242, 257, 273, 282, 291, 292, 329, 359, 361, 362, 369, 374
Пушкин А. 71, 72, 213

- Р Рисмен Д. 269
 Роже Ф. 104
 Ростоу У. 19
 Роуз Р. 291
 Руа О. 110
 Рузвельт Ф. 71
 Рыбкин И. 81
- С Сахаров А. 27, 30–32, 71, 144, 147, 293, 355
 Смит А. 235, 283
 Солженицын А. 71, 293
 Сталин И. 27, 35, 65, 67–69, 71, 72, 101, 137, 173, 196, 198, 199, 220, 293
 Стаханов А. 199
 Столыпин П. 71
 Суворов А. 71
 Сусанин И. 193
- Т Тард Г. 12
 Тимофеевский А. 109
 Тойнби А. 113, 116
 Токвиль А. де 83
- Толстой Л. 16, 71, 293
 Томас У. 290
 Троцкий Л. 46
- У Уайльд О. 14
- Ф Фадеев А. 46
 Федотов Г. 277
 Фрадков М. 81, 137
 Франклин Б. 187
 Фромм Э. 76, 269
 Фукуяма Ф. 165
- Х Хантингтон С. 114, 165
 Ходорковский М. 157, 169, 366
 Хрущев Н. 35, 67–71, 146
 Хуссейн С. 21, 89, 118
- Ц Цинь Ши-хуанди 72
 Циолковский К. 70, 71
- Ч Чаадаев П. 219, 250
 Чайковский П. 71
- Чапаев В. 198, 293
 Чемберлен О. 198
 Черномырдин В. 150, 179
 Черчилль У. 146
 Чубайс А. 79
- Ш Шатров М. 199
 Шмидт О. 199
 Шолохов М. 293
- Э Эйнштейн А. 71
 Энгельс Ф. 71
- Ю Юлий Цезарь 71
- Я Явлинский Г. 177, 218
 Ядов В. 250
 Яковлев А. 27

A leading Russian sociologist Yury Levada's book, entitled *We Are Looking for a Man: Sociological Essays, 2000–2005*, comprises his latest papers on the dynamics of public opinion regarding the thorniest questions of the economic, political, societal and cultural development of Russia; changing and permanent features of 'Homo Sovieticus'; analytical scopes and limits of the sociological approach. These papers are based on the materials of the regular opinion polls organized by the most authoritative sociological institution in contemporary Russia — Levada Center (before 2003 known as All Russian Public Opinion Center, VCIOM), and, as a whole, represent a systematic picture of Russian society on the present and previous stages of its development. The book consists of three parts devoted to such sociologically significant phenomena as the nature of power and the particularities of Russian politics, social mobilization and adaptive strategies, atypical (extraordinary) situation and 'rutinization' of social order, mass patience and protest, institutional corruption and public confidence, generation dynamics and functions of symbolic structures of action, collective expectations, isolationism, massive nostalgia. The closing section is a kind of a book within the book: it includes the texts prepared in the framework of the most ambitious and well-known research project of VCIOM — Levada Center, *The Soviet Person*. They enrich the analysis of 'Homo Sovieticus' in the post-Soviet world.

Юрий Левада
Ищем человека

Социологические очерки, 2000–2005

Выпускающий редактор Андрей Романович
Корректор Мария Смирнова
Верстка Тамара Донскова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
103009, Москва
Брюсов переулок, дом 8/10, строение 2
Телефон 629 6493
e-mail info@novizdat.ru
<http://novizdat.livejournal.com>

Оптовые продажи
103009, Москва
Брюсов переулок, дом 8/10, строение 2
Телефон 629 2633
e-mail sales@novizdat.ru

Подписано в печать 30.07.2006
Формат 70×90 1/16.
Гарнитуры Octava, Helios
Объем 27,48 условных печатных листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 1000 экземпляров
Заказ № 008

Печать ООО «Вердана»
103009, Москва
Брюсов переулок, дом 8/10, строение 2